Иностранная литература

1
1962

ЖАН ЭФФЕЛЬ:
Мои новогодние пожелания людям —

МИР,
ХЛЕБ,
РОЗЫ

1
1962
Иностранная литература

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

1

ЯНВАРЬ

1962

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

ЮЗЕФ ОЗГА-МИХАЛЬСКИЙ — Ключ от седьмого неба (Стихи) 4

ЖАК-СТЕФЕН АЛЕКСИС — Деревья-музыканты (Роман. Предисловие Виктора Некрасова) 6

НАЗЫМ ХИКМЕТ — Солома волос, ресниц синева... (Поэма) 68

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ — Реквием? 78

ДЖОН СТЕЙНБЕК — Зима тревоги нашей (Роман) 79

ЭРВЕ БАЗЕН — Благочестивая песня. Неизбежное возмездие. Подтверждение правила. Сжальтесь над посудой. Вши. Анкета. Швырни его в мой сад (Стихи) . . 140

ЛЮДВИК АШКЕНАЗИ — Гость из ночи (Пьеса в трех актах) 142

ПУБЛИЦИСТИКА

МАРИУС МАНЬЯН — Во имя поющего завтра (Заметки французского коммуниста) 177

ЭМ. КАЗАКЕВИЧ — Ленин в Париже . . . 186

КРИТИКА

Б. РЮРИКОВ — Социалистический реализм и его «ниспровергатели» 191

И. ЛЕВИДОВА — В театр приходит новый герой (Заметки о молодых драматургах Англии) 201

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

ЛЕОН КРУЧКОВСКИЙ — Позиция художника, пути искусства 209

Эрнест Хемингуэй о литературном мастерстве 212

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 219

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

АНРИ АЛЛЕГ — Бойцы в плену 226

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

ТАТЬЯНА КАРСКАЯ — «Божена Немцова, борющаяся» (К 100-летию со дня смерти) . 242

СЕМЕН КИРСАНОВ — О Назыме Хикмете (К 60-летию со дня рождения) 243

ЮРИЙ СУРОВЦЕВ — Весь этот мир — твой! 245

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Степан Злобин — Волки и люди. ◇ Григорий Бакланов — Обязанность быть человеком 249

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Я Фрид — Дружба, окрепшая в трудное время. ◇ Г. Злобин — Кто в ответе? ◇ Д Жантиева — Политика и кассовые сборы. ◇ Л. Симонян — О бдительности о доверии 255

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ПИТЕР ТЕМПЕСТ — Эрн Брукс 262

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 269

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ 271

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

ПРИЛОЖЕНИЕ

Из юношеских стихов КАРЛА МАРКСА

На обложке рисунок французского художника ЖАНА ЭФФЕЛЯ, присланный им для журнала «Иностранная литература».

ЮЛИАН ОЛАРИУ *(Румыния)*. Республика.

ЮЗЕФ ОЗГА-МИХАЛЬСКИЙ

КЛЮЧ ОТ СЕДЬМОГО НЕБА

КОММУНИСТЫ

Лучшая из поэзий —
поэзия железа и хлеба,
свежевыпеченного хлеба
с корочкой подрумяненной...

Слушайте, люди:
нашелся
ключ от седьмого неба —
ключ от седьмого неба
у коммунистов в кармане.

Дрогнули двери Пространства,
Время стучится в Завтра:
в беспредельном поле Вселенной —
мужество космонавта!

Лучшая из поэзий —
это
когда воистину
гордо штурмуют небо
летчики-коммунисты.

Время вперед несется,
не обратится вспять!
Что же богам остается?
Только горшки обжигать...

■ ■ ■

Пегасы человеческой мечты
уже нетерпеливо рвут постромки,
и у меты
не дальние потомки,
а я и ты.

В приемниках
межзвездных раций свист,
людское сердце сделалось крылатым
по вехам лет:
вода,
и пар,
и атом —
летит далеко
олимпийский диск!

Когда-то
в дальний вглядывались свет
из тьмы столетий
Ньютон и Коперник.
Наш современник,
славный их соперник,
стирает
пятна белые
с планет!

Как напряглась
рабочая рука,
земное счастье
людям добывая:
в турбинах
Волга — матушка-река
и реки
Желтая
и Голубая!

К планетам
от медлительных телег
прошел
Победоносный Человек!

Перевод
с полесского
АЛЕКСАНДРА
ГОЛЕМБЫ

ЖАК-СТЕФЕН АЛЕКСИС

РОМАН

■

Перевод с французского
М. ВАКСМАХЕРА и О. МОИСЕЕНКО

Под редакцией
Н. НЕМЧИНОВОЙ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ РОМАНА

Гаити... Что знаем мы о Гаити? Спроси меня кто-нибудь об этом, совсем недавно еще, года два назад, и я ответил бы, что это остров где-то неподалеку от Кубы, что он разделен на две части: одна из них — Доминиканская Республика (там Трухильо), другая — Гаити, там тоже какой-то диктатор, но не помню какой. Кроме того, Гаити — первое в мире негритянское государство, и во времена Наполеона там был «Черный консул», о котором когда-то в детстве читал увлекательную книгу. Вот, пожалуй, и все, что я мог бы сказать. И уж, во всяком случае, меньше всего мог предположить, что мне когда-нибудь суждено будет сдружиться с гаитянином.

А вот случилось. И не просто с гаитянином, а даже с правнуком императора Жака I. И я очень горжусь этой дружбой.

Правнук императора — высокий, стройный, с удивительно живыми, веселыми, умными глазами — появился в мае пятьдесят девятого года в ялтинском Доме творчества и тут же покорил всех его обитателей. Звали его Жак-Стефен Алексис.

Большинству из нас это имя тогда ничего не говорило. Мы знали только, что наш гость — писатель, активный борец за свободу своего народа, что в Советском Союзе он впервые: приехал на III съезд писателей. Только полтора года спустя появился у нас перевод его романа «Добрый генерал Солнце». «Деревья-музыканты» — второй роман Жака-Стефена Алексиса, вышедший в Париже в 1957 году, начинает печататься в этом номере журнала.

Я не собираюсь анализировать творчество Алексиса — его романы о жизни почти незнакомой нам страны говорят сами за себя, а его статьи и выступления (в 1956 году он выступал в Париже на I конгрессе негритянских писателей и художников с докладом о реализме гаитянского романа) мне, к сожалению, неизвестны. Хочется просто сказать о нем несколько слов как о человеке.

Пожалуй, не много встречал я в своей жизни таких обаятельных, простых, таких веселых и в то же время серьезных людей, как Жак Алексис. С первых же минут знакомства кажется, что этот молодой, очень даже молодой (хотя ему уже тридцать девять лет) человек с золотисто-каштановым отливом кожи и очень черными чуть-чуть ироническими глазами — твой давнишний закадычный друг. Так, во всяком случае, по-

чувствовал я с первой же минуты, хотя по-русски он не знал ни слова, а я по-французски объясняюсь далеко не бегло.

Секрет его обаяния таится, по-моему, в каком-то удивительном умении совершенно раскованно, свободно и, я бы сказал, изящно держаться в любом обществе — будь то дети или взрослые, маститые литераторы или портовые рабочие. Он со всеми одинаков — мил, прост, весел, даже дурашлив. Но за всем этим чувствуется и другое — большое человеческое достоинство, ум и прорывающийся вдруг даже в простой беседе, темперамент человека, у которого есть ясная цель в жизни, темперамент борца.

Таким вот — веселым, энергичным и целеустремленным — представляется мне и его прадед Жан-Жак Дессалин, тот самый, что возглавил в 1803 году вооруженную борьбу за независимость Гаити и отбросил к морю французскую армию генерала Леклерка. Не будем осуждать прадеда за то, что впоследствии он провозгласил себя императором,— он был взбунтовавшимся негром-рабом, поднявшим на борьбу свой народ, и этого более чем достаточно, чтобы уважать его.

В Алексисе ничего нет от раба, хотя народ его сейчас и порабощен. Не увидел я в нем и каких-либо заметных черт вождя или государственного деятеля, хотя свобода его родины для него дороже всего и, судя по дальнейшим событиям, нынешнее реакционное гаитянское правительство именно этого и испугалось.

Жак много рассказывал нам о своей родине, заселенной когда-то индейцами, полностью уничтоженными еще в XVI веке, о своем народе, потомках привезенных из Африки негров-рабов. С горечью говорил он о тяжелом положении четырехмиллионного народа сейчас. Рассказал он и о себе. Оказывается, он не только писатель, не только общественный деятель, у него есть еще и профессия, причем основная,— он врач-невропатолог.

Я в шутку спросил его:

— А кем выгоднее у вас быть: врачом или писателем?

Он подмигнул веселым глазом:

— Выгоднее всего иметь такую жену, как моя. Она шьет...

Жак не долго пробыл в Ялте, всего несколько дней. Вскоре он уехал. И стало вдруг скучно. Даже на пляже, куда мы с Жаком несколько раз ездили и где он покорил молодежь, главным образом как пловец, к нам подходили и спрашивали:

— А где Жак? Не простудился ли? У них там, вероятно, пожарче, чем у нас.

Потом я встретил его в Москве. В те дни он был очень занят, но урвать вечерок нам все-таки удалось. На Гаити было неспокойно, но Москва, по его словам, действует на него «тонизирующе», и он был весел, остроумен, горяч. Совсем как в Ялте. Он совершенно влюбил в себя всех сидевших за столом, особенно десятилетнего сынишку наших хозяев, Павлика, которому разрешено было по случаю «высокого гостя» не готовить сегодня уроки и позже обычного лечь спать. Он притащил Жаку глобус, и тот поставил крестик в том месте, где он живет, в Порт-о-Пренсе. Потом Жак подарил ему автограф — несколько строк пожеланий, чтоб Павлик рос таким-то и таким-то. Павлик с таинственным видом убежал, а через полчаса вернулся со сложенным вчетверо листком бумаги. На нем крупными буквами по-французски было написано: «Дорогой Жак! Обещаю тебе всю жизнь быть честным, правдивым и смелым. Твой Поль».

Не знаю, как у других, но у меня что-то заскребло в горле. У Жака, по-моему, тоже. Павлик же когда Жак ушел, не выдержал, бросился матери на шею и, превозмогая всхлипы восторга, признался ей, что это был самый, самый счастливый день в его жизни...

Уезжая, Жак обещал писать. Кто верит таким обещаниям? Но он не обманул — спустя некоторое время пришло от него длинное письмо, написанное аккуратным, кругленьким, с забавными закорючками, почерком. В нем он писал о романе, который никак не может закончить, о том, как трудно сейчас работать и как надо все же работать, несмотря на тяжелую атмосферу, из которой соткана наша жизнь.

«Где оно, то время, когда среди советских друзей я мог спорить об артистической судьбе нашего общего друга, человека искусства, того искусства, что порождает красоту жизни и счастье существования. Где это время, когда в Ялте я был предметом всеобщего вашего внимания и, отдыхая на каменистом крымском пляже, вдыхал чистый воздух свободной земли, где живут свободные люди? Где оно?»

Письмо кончалось трогательной просьбой: «Ответьте мне и «передайте», если можно, немного тепла (un peu la température) вашей страны, которая переживает сейчас дни энтузиазма после «прилунения» ракеты, открывающей, наконец, врата во Вселенную»

Несколько месяцев назад в заграничной, а затем в нашей прессе появилось тревожное сообщение о том, что Жак-Стефен Алексис схвачен у себя на родине, брошен в тюрьму, что его истязали, били. В ответ на запрос французской газеты «Леттр франсез», гаитянское посольство в Париже грубо ответило, что ему ничего не известно об этом и что обращаться надо к правительствам тех стран, куда он ездил.

Последние сведения о судьбе Алексиса вселяют еще больше тревоги — говорят, что он убит. Нам не хочется верить этому, так как мы знаем, что народ Гаити не допустит расправы над ним. Это один из лучших его сынов.

И мы верим в нашу встречу, верим, что пожмем его смуглую руку, верим, что увидим еще не раз веселый, не затуманенный никакими тюрьмами блеск его черных чуть иронических глаз. Верим, что прочтем еще не одну его книгу.

ВИКТОР НЕКРАСОВ

I

ироко разверстое устье реки, живое, трепетное, ненасытное, готовое, кажется, поглотить горизонт, жадно сливается с открытым морем; зыбкая плоть воды вздрагивает в прозрачном лунном свете.

— ...Да говорят же тебе: оборотни!

— Оборотни?..

— Вот опять, опять, слева по борту!.. Оборотни! Гляди, гляди!

— Оборотни?..

— Экий безмозглый парень! Да ты с луны, что ли, свалился? Неужто ни разу про оборотней не слыхал? Днем — такие же люди, как мы с тобой, а ночью — оборотни. А все почему? Во что бы то ни стало разбогатеть хотят... Они не кривляются, как другие колдуны, у кладбищ, и не выплясывают на перекрестках, и не подстерегают христиан возле церквей, а просто ловят рыбу... Как настанет вечер — и не какой-нибудь особенный, а самый обыкновенный вечер,— они мигом стянут с себя всю кожу, как перчатку, спрячут где-нибудь в доме, ну, скажем, за кувшином с водой, и улетят. Как птицы. Всякие заклинания знают и могут поймать любую рыбу, самую что ни на есть лучшую. Сколько угодно наловят, стоит им только окунуть в море хвост... Да, да. свой хвост!..

И впрямь, то здесь, то там встают над водой призрачные облачка пара, словно сотканные из света и тени; они колышутся, пляшут под лучами луны и вдруг рассыпаются искрами в сыром теплом воздухе.

Рыбачьи лодки стоят на якоре в речном устье, тесно прижавшись друг к другу. Порой над ними проносится шорох, точно шелестит бумага.

Наступает ночь. Завернувшись в камышовые циновки, укрыв свое иссеченное морскими брызгами, разбитое усталостью тело, посасывая последний кусочек сахарного тростника и делая последнюю затяжку, рыбаки в дремоте отдаются очарованию ночи и волшебных сказок карибских широт. У каждого сердце готово поверить в любое чудо, слипающиеся глаза околдованы тысячью и одним миражем, в голове звенят сотни легенд... И наконец мечтатели погружаются в сон.

Земля сыновей и дочерей Гаити сверкает немыслимой россыпью чудес, и трудно поверить, что среди такой красоты могут пустить корни горе и нищета. Столько ослепительных красок вспыхивает, расцветает, струится со всех сторон, что сказочное, сверхъестественное неудержимо бьет ключом из почвы, из неба, из воздуха, сливаясь в мир живой, правдоподобный и зримый.

Остров Гаити, обманчивый рай земной, преисполнен великолепия, дающего крылья самым дерзким мечтам.

Вон там, вдали, вереницей тянутся в соседний городок крестьяне; на плечах у них — тяжелая ноша, но шаг упруг и благородна осанка.

А там, подгоняемый пятками юной наездницы, семенит осел; вытянув шею, он долго и старательно ревет в бледнеющем сумраке.

В городе, торопясь к заутрене, уже встают богомольные старухи.

На заре в голубом тумане портов Сен-Марка и Пор-де-Пе, Пти-Гоава и Капа бегают по сходням грузчики и, обгоняя друг друга, спешат наполнить тяжелыми гроздьями бананов черные трюмы судов.

Роман печатается с сокращениями.

Страшная одноглазая акула из Сен-Луи-дю-Сюд выходит на охоту. Среди древних затонувших пушек форта Оливье и Английского форта торжественно и невозмутимо, чуть шевеля плавниками, проносит она сквозь белую листву кораллов свое длинное синеватое тело. Будто принимая парад, оглядывает она стайки рыбок-«докторов», которые снуют в поисках корма меж коралловых веток, неутомимо ведя бесконечные ученые споры. Акула ждет.

В долине Кюль-де-Сак, повинуясь звенящему голосу карибского ветра, легкие волны, пробегающие по зарослям тростника, меняют направление и устремляются в сторону моря.

Дети гаитянской земли вновь принимаются за свой тяжкий труд; а иные спят, иные еще танцуют, иные уже поют. Древняя каравелла нашей истории, старинный корабль морского бога Агуэ Арройо, скажи, куда, к каким берегам влечешь ты в это новорожденное утро конкистадоров новых времен, их послушную челядь и беспокойных сыновей трех рас и бог весть скольких цивилизаций?..

■

Два часа дня. Высунешься из-под навеса — и вмиг тебя ослепит, ошеломит, испечет. Неистовое солнце исходит жаром, разливает волны огня, низвергает неоновый дождь, отражаясь в охровой пыли улиц. Брызги лучей рассыпают сверканье, как булавки, зажатые во рту портнихи; серебристо-синий плащ неба искрясь свисает к земле где-то за косой вершиной Сторожевого Холма; точно в ознобе, вздрагивает листва, опаленная зноем.

Забившись в угол винной лавки госпожи Леони Осмен, маленькая Сефиза дрожала от страха; она никак не могла прийти в себя: уж в очень страшном припадке ярости только что билась ее хозяйка. Леони и прежде славилась уменьем весьма эффектно проявлять свой гнев, но такого, как сегодня, с ней, пожалуй, еще не случалось. Чтобы облегчить душу, чтобы хоть на миг перевести дыханье, когда от диких воплей горло сжимают спазмы, мамзель Леони могла обрушить на свою тринадцатилетнюю служанку целый град затрещин и оплеух; Сефиза хорошо это знала. Правда, хозяйка, видит бог, вовсе не злая и только в редкие минуты ярости колотит ее — но тогда уж держись: из-за пустяка набросится с кулаками.

Сефиза украдкой следила за мамзель Леони. Сквозь батарею бутылок с водками и настойками, сквозь плававшие в них стебельки аниса и лимонника виднелось упрямое и энергичное лицо. Под хитроумным узором листьев с сетью прожилок, под геометрически правильными очертаниями цветов, похожих на кристаллы снежинок, лицо это казалось грубее, чем было на самом деле; оно мучительно кривилось и морщилось — то ли от гнева, то ли повинуясь причудам бутылочного стекла. Поставив одну ногу на стул и подперев рукой подбородок, Леони застыла в раздумье. Юбки, зажатые между коленями, казались на могучих бедрах этой негритянской Венеры необъятными шароварами зуава. Крылья носа, широкого, как ястреб, распластавшийся в небесной синеве, нервно вздрагивали; ноздри — что жерло тромбона в день Четырнадцатого июля на площади Согласия, как сказали бы молодцы из порта. Она вздохнула — шумно, с присвистом — и рявкнула:

— Разрази меня гром, убей меня на месте дева Мария!..

Топнув ногой с таким грохотом, точно бухнул паровой молот, она молниеносно исчезла в соседней комнате.

До Сефизы донеслось позвякиванье эмалированного таза, тяжелое дыханье, шум льющейся воды. Девчонка ящеркой шмыгнула к дверям. Леони, в желтом трико, туго обтянувшем ее пышный зад, нагнулась над

тазом и, фыркая, как тюлень, с силой плескала на себя полные пригоршни воды. Одна грудь вырвалась из лифчика на свободу и мерно раскачивалась, как огромный спелый абрикос на ветке в индейском раю. Потом Леони натянула чулки, вмиг обулась, схватила с кровати ярко-красное платье и столь же стремительно влезла в него. Живо повязала голову синим платком и таким же платком свирепо стянула талию, задрала подол, засунула за чулок большую бритву и устремилась обратно в лавку.

Сефиза едва успела укрыться в углу и принять прежнюю позу, олицетворяющую страх. Леони сделала несколько глотков из горлышка первой попавшейся бутылки и, потрясая огромной суковатой палкой, крикнула оцепеневшей Сефизе:

— Если до моего прихода выйдешь из лавки — голову разобью!

Через секунду она была уже на улице — без шляпы под палящим солнцем — и зашагала, печатая шаг, словно гренадер 1804 года, неистово размахивая рукой и стуча палкой по земле. Она шла в сторону Портала Ля-Сьери.

При ее приближении жизнерадостный осленок, резво скакавший вдоль живой изгороди и пощипывавший то веточку апельсинового дерева, то листок лавра, то пучок притаившихся в канаве «капитанских конфет», очень испугался. Леони занимала всю ширину дороги. Не зная, куда податься, серый вытянул шею и прянул в сторону. Леони огрела его палкой по спине. Осленок умчался прочь.

Пройдя еще с полкилометра, Леони перелезла через ограду и очутилась на лугу, по которому протекала речушка. Над банановой рощей показалась ветхая кровля из потемневшего шифера, почти совсем черная, как и все здешние кровли, проглядывая сквозь буйную зелень, одевающую город, они кажутся нелепыми наростами на шкуре молодого здорового зверя.

Леони вихрем обежала вокруг дома и чуть не споткнулась о милую парочку, расположившуюся на циновках. Молодая полураздетая женщина раскинулась в томной позе около своего дружка, в руке у нее была тяжелая виноградная гроздь. Рыжеволосый здоровяк лежал, опираясь спиной на опрокинутый стул, покрытый плотной циновкой, и покусывал фиолетовую гроздь, то и дело ускользавшую от его оскаленных желтых зубов. При виде яростно жестикулирующей Леони, которая в своем алом наряде словно вынырнула из преисподней, человек живо вскочил на ноги.

Это явно был чужеземец, человек белой расы. В распахнутый ворот рубашки видна была рыжая курчавая растительность, покрывающая грудь по самую шею и даже плечи. Застыв в изумлении, он сперва позеленел, потом пожелтел и вдруг кинулся к черной сутане, валявшейся на циновке.

— Вон! Вон! — завопил он, весь дрожа от бешенства и стыда.— Вам здесь нечего делать! Убирайтесь!

Леони быстро шагнула вперед и наступила ногой на сутану. Изрыгая проклятия, он тщетно пытался выдернуть из-под ее башмака свое облачение.

— Нет, я не уйду, отец Кервор! Даже если бы мне пришлось для этого спуститься в ад, я все равно добралась бы до тебя! Благодарю небо за то, что мне не пришлось срывать с тебя это священное одеяние. Ну-ка, поговорим, как мужчина с мужчиной! Я задам тебе сейчас такую взбучку, отец Кервор, что о ней будут помнить до страшного суда. Ну, повтори-ка еще разок, что я мерзавка, ведьма, потаскуха!..

— Я никогда не...— пробормотал священник.

— Ты вздумал лезть в политику, отец Кервор? Ладно, допустим. Ты хочешь помешать мэтру Дезуазо стать депутатом? Ладно, куда ни шло. Но не смей впутывать мое имя в свои грязные махинации!..

Подкрепляя слова делами, Леони кинулась на отца Кервора, схватила его за ноги и с поразительной легкостью швырнула на землю. Кюре повалился навзничь. Не давая ему опомниться, Леони принялась обрабатывать ему бока. Он защищался так смешно, что весь гнев Леони мигом испарился.

— Помни, отец Кервор, в другой раз ты не отделаешься трепкой. Я тебя так разукрашу, распутник паршивый, что на тебя не польстится даже самка орангутанга!

Подняв платье, она показала ему заткнутую за чулок бритву. Теперь Леони могла, наконец, перевести дух. Хохоча, как сумасшедшая, она повернулась и преспокойно ушла.

Возвратившись в лавку, Леони рухнула в кресло, разулась и завопила во все горло. Через минуту весь квартал был на ногах, лавка наполнилась народом. Леони голосила не умолкая. Наконец, залпом проглотив принесенную соседкой круто посоленную настойку вербены, Леони приступила к объяснениям:

— Ай!.. Во всем виноват этот мерзавец, отец Кервор! Мало ему было ославить меня на весь приход, обозвать меня мерзавкой, потаскухой, ведьмой! Когда я заставила его подавиться собственной ложью, он посмел мне угрожать!.. Поклялся, что мой сын Диожен после окончания семинарии не получит никакого места!..

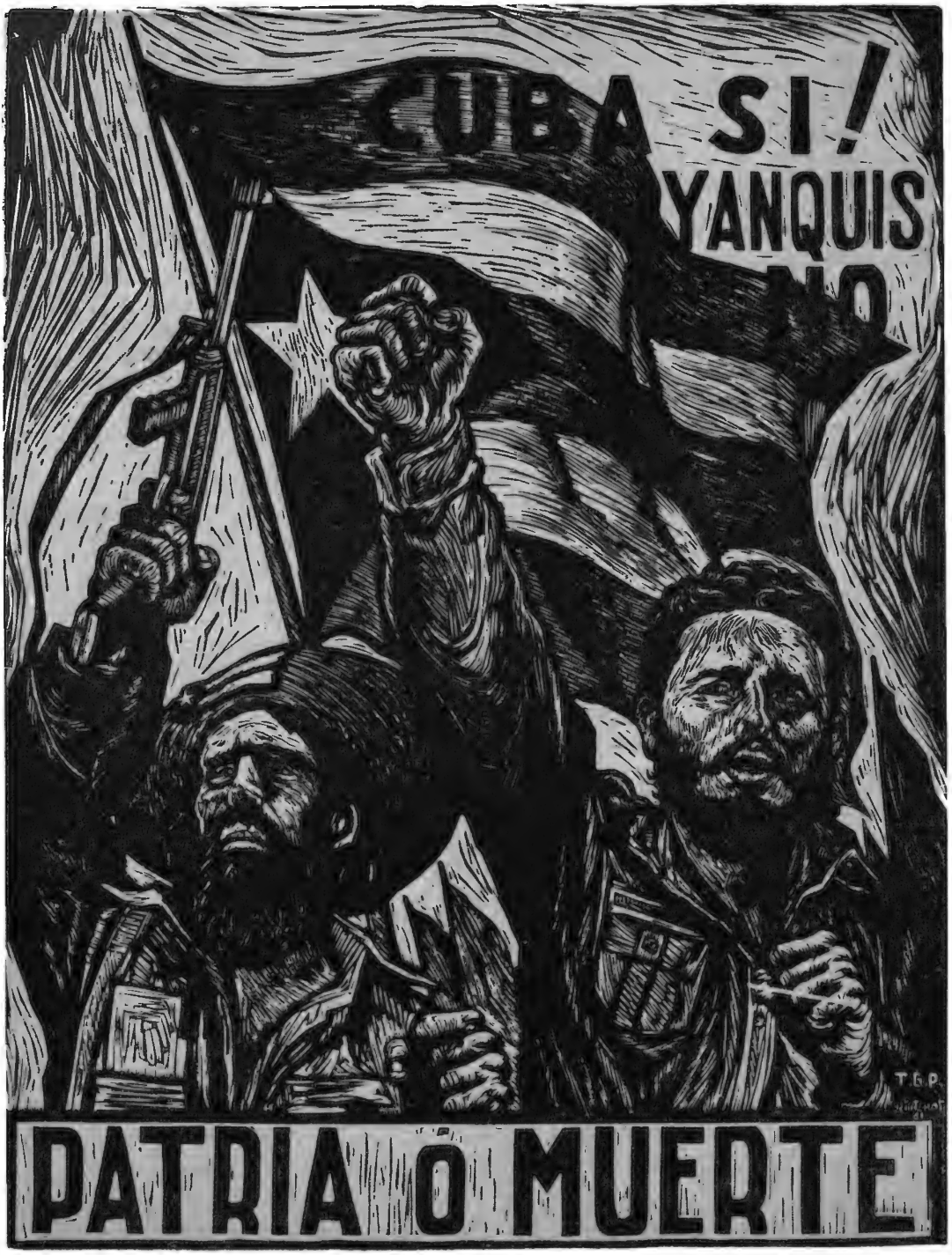
Город был охвачен волнением. Скоро все от мала до велика — все, даже лев святого Марка, что дремлет в городском соборе,— уже знали, что отец Кервор, тяжко оскорбивший Леони Осмен, был застигнут ею у известной развратницы Розы Жарви в разгар ужаснейшей вакханалии и получил основательную взбучку. Люди передавали друг другу мельчайшие подробности пикантной сцены. Каждый готов был поклясться, что кюре дал зарок не допустить Диожена Осмена до рукоположения. Некоторые уточняли, что отец Кервор успел предупредить телеграммой монсеньора архиепископа. Утверждали даже, что отец Кервор заперся в приходской церкви и служит сейчас черную мессу на погибель Леони...

Уже наступила ночь, а дом героини был все еще полон людей. Ей ставили на шею пиявки, то и дело лили на голову холодную воду, она не вынимала ног из горчичной ванны и поминутно глотала всяческие снадобья. Здесь же со скорбным и высокомудрым видом пребывал ее подопечный — мэтр Дезуазо, кандидат в депутаты. До самого рассвета разносились по кварталу жалобные стоны пострадавшей. То была ночь накануне сражения. Наутро ранней пташкой в лавку впорхнул Эммануэль Аксидантель, соперник мэтра Дезуазо. Он явился засвидетельствовать Леони Осмен свое почтение. Начиналась суровая битва; судьбы многих людей поставлены были на карту. Из этой игры мэтр Дезуазо и Эммануэль Аксидантель должны были выйти один депутатом, другой — нулем. Или отец Кервор покинет страну, или Диожен Осмен получит приход где-нибудь в Уганде — и то еще в случае большой удачи. Леони войдет в церковный совет прихода, станет дамой-патронессой всех и всяческих филантропических затей, членом духовной конгрегации — или будет отлучена от церкви.

■

Если бы лейтенанту Эдгару Осмену было суждено явиться на свет отпрыском крупного помещика из северных провинций, или наследником какого-нибудь «большого дона»* с берегов Артибонита, или потомком коммерсанта-фрахтовщика с запада страны — о, тогда бы он себя пока-

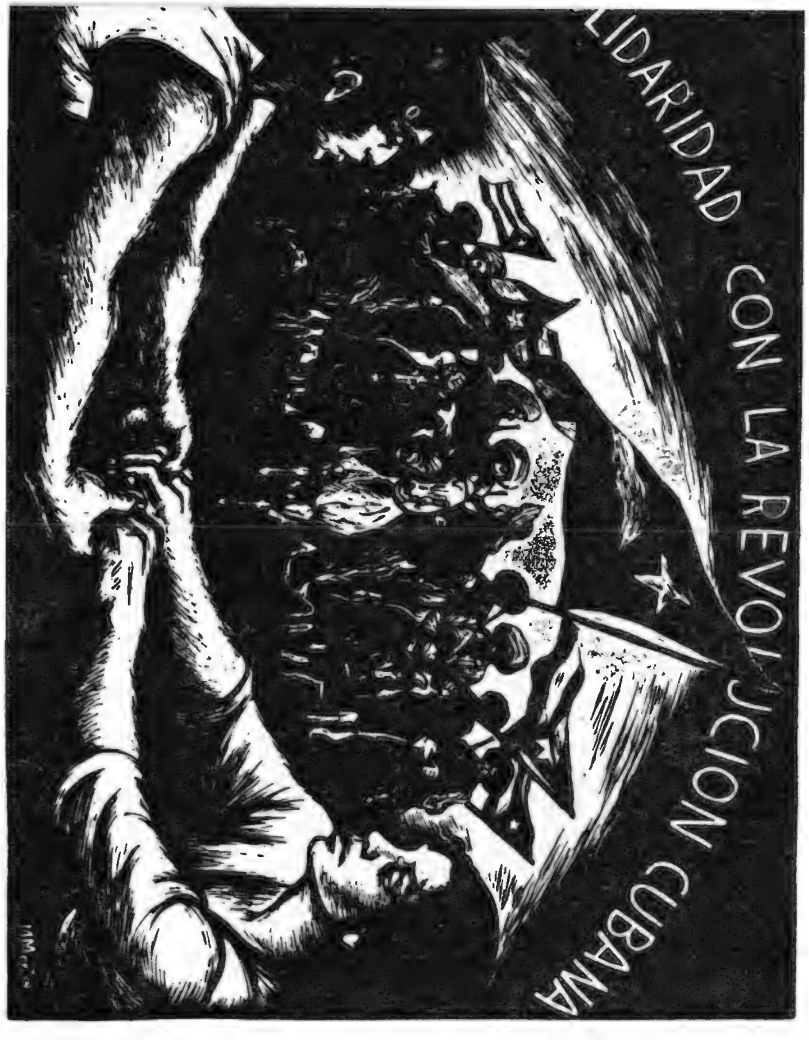
* Крупного землевладельца (Здесь и далее — примечания автора).



АДОЛЬФО КИНТЕРОС

«Куба — да, янки — нет!
Родина или смерть!»

ЭЛИЗАБЕТ КАТЛЕТ
«Образование на Кубе».



МАРИЯ ЛУИСА МАРТИН
«Солидарность с кубинской революцией»

зал! Праведный боже, что за темперамент! И аппетит — просто чертовский. Сколько Эдгар Осмен мог выпить за один раз — невероятно! Но у этого циника, страстно мечтавшего о власти над людьми, у этого тщеславного павлина сохранилась все же в душе крупица чистоты. Он не забыл еще блуждающих огоньков, что блестят над бугристой почвой народных предместий, огоньков, с которыми никогда не может до конца расстаться тот, кто вырос рядом с простыми людьми и человеческим горем. Этот дремлющий, но всегда готовый к прыжку хищник иной раз поражал своей проницательностью, даже блеском ума и способен был проявить сердечность.

Эдгар Осмен так ничего и не добился в жизни. Всего лишь лейтенант. Да, разумеется, он состоит в личной охране президента республики, но в конце концов просто младший офицер. На большее Эдгар уже не надеялся и готов был на все махнуть рукой — отчасти из отвращения к самому себе, а главное из-за реалистического склада ума. Он пришел к такому убеждению: выбраться из болота можно, лишь заручившись поддержкой во влиятельных кругах, в политических сферах. Иметь зацепку, черт возьми! Иметь родных, с которыми люди вынуждены считаться, иметь протекцию в гареме президента, влиятельных друзей, наконец хоть маленькую кубышку — тогда при случае можно купить чью-нибудь совесть, а настанут черные дни — не умереть с голоду. И не только добиться чего-то, но удержаться и потом двинуться дальше, карабкаться все выше и выше. А оступишься, пошатнешься, упадешь — это ведь неизбежно! — суметь подняться, оправиться и лезть дальше. Без родни, без друзей, без денег нечего и пытаться. Какая у него родня? Мать — мелкая лавочница, провинциальная бой-баба, политиканствует в маленьком городишке! О братьях лучше и не говорить, братцы друг друга стоят: непутевый поэт да поп без пяти минут. Что касается друзей, то все, кто хоть сколько-нибудь достоин этого имени, сами рассчитывают на его поддержку. А денег — ни гроша. Не принимать же в расчет его жалованье да скудные сбережения матери. Оставалось уповать на счастливый случай. Только он один мог переменить судьбу Эдгара Осмена!..

И Эдгар ждал случая спокойно и стойко. В одном ему несомненно повезло: вылеплен он был из того же теста, что какой-нибудь негритянский царек,— та же покорность судьбе и те же необузданные аппетиты. Самые невероятные мечты — и вера в свою звезду. И внезапные вспышки нежности к людям, подобные тропической грозе в жесточайшую засуху... Эдгар не боялся жизни, не страшился заплатить за преуспеяние любую цену — настоящий князь тьмы, одержимый страстями и миражами... Блестящие стеклянные бусы, треуголки с плюмажем, удивительные музыкальные шкатулки с загадочными фигурками механических танцовщиц... Да, точно так же, как эти африканские царьки, печальные владыки времен работорговли, он сидел и терпеливо ждал, когда к нему явится купец за черным товаром и потребует рук, ног, сердец его врагов — его братьев. Что такое жизнь? Разве не по воле богов сердце человеческое гложут термиты желания?

— Мир? Мир состоит из людей. Из коршунов и их жертв,— отвечал он, когда какой-нибудь краснобай пытался пробить броню его упрямого молчания и завести с ним спор о смысле бытия.

Однажды вечером, когда лейтенант Эдгар Осмен проходил по веранде семейного пансиона, где он снимал комнату, его окликнули из группы молодых людей:

— Вы что же, лейтенант? Уже не хотите узнавать старых друзей!

Это были студенты-медики, толпившиеся в вестибюле. Ночную тишину нарушали раскаты веселого смеха.

— Скажите-ка, лейтенант, так ли уж обязательно знать анатомию, чтобы по всем правилам искусства тюкнуть человека по черепу? Не желаете ли хватить Арманьяка по башке, а то он несет всякую чепуху насчет строения черепных костей...

Эти стрелы с милой улыбкой пустил в лейтенанта Осмена его собственный двоюродный братец Эрнест Кормье. Эдгар мгновение смотрел на него тяжелым взглядом, потом заставил себя улыбнуться и обменялся рукопожатиями со всей компанией. В последнее время он не знал, как ему держать себя со своим кузеном и его друзьями. Многих из них он помнил еще с той поры, когда они протирали штаны за партами лицея Петиона; кроме них, ему почти не с кем было словом перемолвиться в этой проклятой столице, которую оказалось так трудно завоевать.

— Ну, так как же? Значит, не хочешь рассказать, что́ ты выкинул этой ночью? А ведь обычно ром развязывает тебе язык. Э, голубчик, да ты, я вижу, хватил изрядно! Ублажил себя, верно?

Эдгар махнул на прощанье рукой, и этот неопределенный жест относился скорее к нему самому, чем к приятелям... Усталость, незадачливость, скука...

Усталость, незадачливость и скука преследовали Эдгара Осмена повсюду, где ему приходилось служить, в двух десятках гарнизонов и в доброй сотне городишек и деревень. Но в столице он особенно жестоко — гораздо больше, чем где бы то ни было, больше, чем в своем родном Сен-Марке,— страдал от презрительного высокомерия высшего общества, в которое его влекло неудержимо. Всякий раз, как он осмеливался переступить невидимую черту, которой эта безмозглая и беспощадная буржуазия, разделяющая людей на касты по цвету кожи, ограждает свои владения,— ему давали вежливые, но весьма чувствительные щелчки по самолюбию. Ради чего сделали бы для него исключение? Он не обладал оружием против этих господ, чтобы принудить их принять его в свой круг. Ах, как он ненавидел этот большой многоцветный город и его волшебные виллы, каменные кружева дворцов, утопающих в зелени и цветах, ненавидел благоухающие сады, где нежатся недоступные ему женщины, чья кожа тронута червонным золотом всех оттенков, женщины, чувственные до мозга костей, с искрящимся, как шампанское, умом, женщины яркие, нарядные, блистающие сказочными драгоценностями... Неужто до конца дней своих будет он прозябать в своей серенькой среде, застряв где-то на полпути между настоящим мраком и настоящим светом? Он потерял вкус к истинным радостям, к простым и захватывающим наслаждениям; он больше не хотел бороться за обладание светскими дамами, припадать к прелестным ножкам, не пытался проникнуть в замкнутые клубы фешенебельных кварталов, в кружки, где задают тон молодые денди; но все это жило в его памяти. Он искал забвения в диком разгуле, в эгоистических, животных страстях... И каждый раз, когда он задумывался над своей жизнью, своей судьбой, из самых глубин его существа возникало слово — как будто для того, чтобы пресечь несбыточные мечты: «Да, неудачник! Я неудачник!..»

Но, черт побери, ведь не единственный же он неудачник на свете! Будь, что будет! Не стоит загадывать! И чаще всего тоскливые раздумья кончались кабаком, грязной зловонной ямой.

Словно не замечая последнего всплеска насмешливых восклицаний, он еще раз уклончиво помахал друзьям рукой. Медленно поднимался он по лестнице, с каким-то странным удовлетворением слушая, как пронзительно скрипят под его тяжелым шагом рассохшиеся ступени, шел с полузакрытыми глазами, поглаживая ладонью полированные перила; горькая складка залегла в уголках рта. Доброй тебе ночи, смеющаяся молодость! Доброй вам ночи, все помыслы, хорошие и плохие,

и тебе, терпеливость усилий, и вам, и вам, и вам, обманчивые слова, ласковая волна надежды, бесконечный труд, беззаботность, легкомыслие, зависть, нечаянная жестокость, злоба... Он открыл дверь, вошел в свою комнату, заперся на задвижку, постоял пошатываясь, потом, волоча ноги, добрел до зеркального шкафа. Собрав все силы, щелкнул каблуками, вытянулся во фронт и отдал честь собственному отражению. На губах блуждала сардоническая улыбка.

Не раздеваясь, он повалился на кровать. Под тяжестью большого тела протяжно застонали пружины, стон рассыпался стайкой коротких жалобных всхлипываний. Эдгар лежал неподвижно, уткнувшись лицом в подушку. Старался сосредоточиться, прогнать винные пары, окутавшие мозг. Прогнать туман — но сохранить подольше это возбужденное состояние, эту обостренность всех чувств и способностей. И тогда пронесется в мозгу фильм о его будущем. Да, именно фильм. Там, где другие взвешивали, прикидывали, рассуждали, он видел. Внезапно его пронзило странное ощущение — уверенность, что однажды он уже пережил этот миг, пережил в такой же час, в той же комнате. Чувство тайны властно надвинулось на него, впечатление чего-то сверхъестественного было упорным, цепким, манило и влекло. Такие, как он, молчальники никогда и никому не выдают секретов сердца, странностей своего «я», никому не говорят о тех мгновениях, когда человеку кажется, что он соприкоснулся с необычным и жгучим, с чем-то запутанным, как клубок водорослей, податливым и упругим, как морская губка,— с первозданной таинственностью бытия. Она, эта непостижимая стихия, пронизывала порой его внутренний мир, взбаламучивала холодную гладь души, заглядывала в темные казематы памяти. Кто он такой? Самоучка, ничего не читал, верил только собственной интуиции; все, что не было связано с делами службы, оставалось для него книгой за семью печатями. И все же!.. Все же — в силу особого склада души — он был близок самым первоосновам жизни. Истинный сын мансенильи *, он всегда брал чутьем. Слова были ему не нужны.

Эдгар Осмен поднялся, сел на край кровати и задумался, подперев руками голову. Честное слово, он даже будет рад, если президентский проект и в самом деле произведет в стране переворот. Он чувствовал в себе силы создать нечто ужасающее и величественное, под стать гигантским начинаниям Кристофа ** в период Северной монархии. Укрепленные замки, дворцы, трудовые армии, строжайшая регламентация жизни, немыслимая иерархия, железная дисциплина... Увы! Все осталось прежним: бесчеловечность, жестокая эксплуатация, презрение к человеку. У правящей олигархии начисто исчезло чувство национального величия. Сибарит, обладающий творческой жилкой,— еще куда ни шло. Но ведь теперь тираны стали пигмеями. Поднятые на щит, они являют собой печальное зрелище. Такое гнилье!.. Где уж им придать своему самодурству хотя бы видимость величия!..

Несмотря на магическое слово «каучук», он не верил соблазнительным посулам главы государства. Опять — в который раз! — игру ведут янки. Сколько еще бедствий сулит в настоящем и будущем эта распродажа страны с молотка? Золотой дождь, рог изобилия, о коем так распинается президент,— эти сказочные блага осчастливят отнюдь не всех. А обещанный век процветания... Хорошо, если он протянется месяц-другой. Нужно поскорее урвать свою долю, а для этого надо быть из породы сильных, драться за свой кусок с яростью дикого зверя. Осмен прекрасно знал: как только он согласится стать комендантом тех земель,

---

* Мансенилья — растение из семейства молочаевых, в народе ему приписываются волшебные свойства.

** Кристоф, преемник императора Дессалина, был основоположником феодальной доктрины на Гаити.

с которых начнется кампания экспроприации крестьян,— над ним нависнет тысячеликая опасность. Против него будут пущены в ход самые коварные яды, в каждом глотке воды затаится отрава, грозящая безумием, камни будут валиться на него прямо с неба, а кинжалы — с коротким свистом влетать в его окно... На каждом шагу будет подстерегать его один из тех неисчислимых, леденящих душу секретов мести, которым научились негры в деревнях за долгие века жестокого гнета. Горе тебе, человек, который осмелился навлечь на себя народный гнев! Вспомни, что́ говорит об этом неписаная история. Как разъяренный осиный рой, будет он преследовать тебя до конца, а если тебе удалось отвести смертельный удар, не спеши ликовать, знай: тебе дана только краткая передышка!..

Обещанная ему капитанская звездочка — это, разумеется, дешевая приманка, рассчитанная на простака. Звездочку он вырвал бы у них в любом случае. Главное — разузнать, какая достанется ему доля барыша. Такой колоссальной добычи еще не знала гаитянская история с того времени, как Национальный банк перепродал компании «Стандард фрут» концессию на электрическое освещение. Сейчас в аферу втянуты все тузы: почтенные сенаторы, депутаты, министры; идут слухи о диких сценах, о драках, о настоящих баталиях в Национальной ассамблее — на заседаниях, которые проходят при закрытых дверях. Если Эдгар возьмется руководить первым этапом экспроприации, ему перепадет немалый куш, но тут нужно выговорить точную цифру и твердые гарантии. Он должен также добиться для себя права непосредственно держать связь с соответствующей компанией и с посольством. Из этого дела нужно выйти богачом, иначе игра не стоит свеч.

Внезапное волнение охватило лейтенанта. Кровь горячей волной хлынула к сердцу, по руке поползли мурашки, от нервного тика задергался уголок рта. Сорвав с себя мундир и мокрую от пота рубашку, он распахнул окно, за которым уже бледнели звезды, и, высунувшись из него, жадно глотал воздух. Предрассветная прохлада немного освежила его. Затворив окно, он медленно подошел к шкафу, достал бутылку рома и пачку писем. Хлебнул из горлышка. Потом снова повалился на кровать.

Ему стало невыносимо грустно. Он чувствовал себя таким одиноким, таким неприкаянным! Если вдуматься, к чему вся эта житейская суета! Засыпая, он не раз испытывал такое чувство, точно он вот-вот умрет. Если не принимать в расчет присущий каждому человеку инстинкт самосохранения, не поддающийся контролю рассудка, он, Эдгар, пальцем бы не пошевельнул ради своего спасения, когда настал бы его смертный час... Но так же верно и другое: он никогда не отважился бы на самоубийство. И обе эти мысли были в равной мере грустны...

Говоря по правде, он любил лишь одного человека на свете — Перро, своего товарища, офицера одного с ним выпуска. И как чудно́ они подружились! Жили в одной комнате, в общежитии военного училища, и друг друга терпеть не могли, почти ненавидели. У них бывали яростные стычки. В один прекрасный день, тайком от всех, они встретились за городом, на пустынном берегу. Началась драка; каждый скорее согласился бы умереть, чем отступить хоть на шаг. Наконец они остановились — окровавленные, измазанные грязью, в изодранной одежде — и вместе двинулись к городу. Зашли на окраине в какой-то бар, сели за столик, выпили, потом вместе вернулись домой в такси. С тех пор они стали неразлучны. Ни разу в жизни не сказали они друг другу ни слова о своей дружбе, не обменивались клятвенными заверениями. Они помогали друг другу в ученье, а зачастую и в делах, не слишком поощряемых начальством, защищали друг друга, но говорили при этом лишь самое главное:

— Такой-то подстроил мне то-то. Мне кажется, что такой-то затевает против тебя пакость.

Повздорить с одним из них означало приобрести сразу двух врагов. Потом жизнь разлучила их, каждый успел сменить добрых два десятка гарнизонов, они переписывались, но их письма отличались поразительным лаконизмом:

«Все в порядке. Я подсчитал свои капиталы; посылаю тебе сумму, которую ты просишь. С таким-то произошла вот какая история... До свиданья».

Любопытный образчик человеческой породы его друг! Один из тех странных, непонятных типов, которые вырастают на рубежах Артибонита и Севера, на полпути между наследием Дессалина * и идеями Кристофа. Все умещалось в сердце лейтенанта Перро: любовь к родной земле и к людям этой земли, небрежный героизм, бунтарский неукротимый дух, а рядом с этим — бессознательная рисовка, щегольство своей отвагой, жажда геркулесовых подвигов, феодальный неронизм Севера. Патриотизм, доходивший у Перро до крайности, превратился у него в своего рода внешнюю обрядность. В последние годы американской оккупации он, еще совсем юношей, с восторгом участвовал в самых дерзких выступлениях правого крыла национального движения. Но, несмотря на предостережения, которые можно было почерпнуть в словах Жака Румена и его соратников, он быстро привык довольствоваться чисто показными проявлениями вновь обретенной национальной независимости. Вот почему он вступил в армию. Он служил в дальних пограничных гарнизонах, порицал слишком уж кричащие факты предательства национальных интересов, а посему попал под подозрение, но не настолько, чтобы это причинило ему серьезные неприятности, и постепенно Перро, этот Дон-Жуан-женоненавистник, Альцест с охотничьим ружьем, сельский Соломон, пришел к молчаливому компромиссу с марионетками, стоящими у власти, и со всей антинациональной кликой. Он участвовал в многочисленных пограничных стычках и пользовался любовью своих подчиненных. Он не был плохим человеком, отнюдь нет,— просто мелкий буржуа, взгляды которого были проникнуты идеологией какосов ** и вместе с тем феодальными пережитками.

После кошмарной резни, устроенной Трухильо, после этой зловещей «Доминиканской вечерни», Перро решил, что пробил его час. Сгорая от нетерпения, но оставаясь при этом дисциплинированным служакой, он ждал приказа. Оружие в его ротах было начищено до блеска, каждый затвор сверкал, как новенький пиастр, только что отчеканенный на монетном дворе; он ждал наступления, о котором мечтал с юношеских лет, и был озабочен лишь тем, чтобы как-нибудь ненароком не помешать осуществлению общего плана операций. Когда он понял, что золото Трухильо сделало свое дело и парализовало Венсана, что доминиканская пятая колонна разъедает, как язва, весь государственный аппарат и что правительство заставит народ испить горькую чашу до дна, его свалила с ног тяжелая желтуха. Поправившись, он сперва впал в мрачное уныние, а потом развил бешеную деятельность. Не медля ни дня, он вступил в контакт со всеми офицерами, которых считал достойными задуманного дела; он стал душой заговора, одним из тех, кто должен был убить майора Армана и капитана Мерсерона, главную опору режима. Заговор провалился не по вине Перро, а сам он погиб, и если рассудить

---

* Дессалин развернул борьбу против рабства, внеся в нее дух политической независимости, равенства и социальной революции. Гаитянский аграрный социализм, осуществить который пытался Жан-Жак Акао, явился продолжением дессалиновской идеи раздела земли.

** Какосы — безземельные крестьяне.

как следует, то даже лучше, что он не остался в живых. Если бы Перро знал, за какую сволочь отдает он жизнь, отказываясь отвечать на допросах, если бы он увидел, как люди, в которых он верил, тоже продались доминиканскому шакалу, обагренному кровью пятидесяти тысяч гаитян,— он сошел бы с ума.

Эдгар держал в руке предсмертное письмо казненного. Накануне расстрела Перро удалось переслать другу последнее прости. Это было длинное послание, долгий монолог, проникнутый горечью и болью сердца; впервые в жизни изливал он другу свою душу. Не разделяя воззрений Перро, Эдгар никогда не судил и не осуждал его. Всякий раз, как нужно было принять какое-либо важное решение, он вновь перечитывал письмо — итог неудавшейся жизни. Господи, ведь в этом прощанье было все, все, что нужно знать, о чем всегда следовало помнить,— самая суть эпохи, смысл их существования, величие и превратности поприща, которое за неимением лучшего пришлось им избрать, и необходимость соблюдать осторожность, искать обходных путей, и высокие радости, и цирковая акробатика, и дурман наслаждений...

Остаток ночи он проведет в мыслях о погибшем друге. Дремотные раздумья, паломничество в страну воспоминаний, языческая, но от этого не менее ревностная молитва, одинокая всенощная... Завтра, полный решимости, он устремится в гущу жизни, неудержимо, словно неистовые притоки Агуамучо, кипящие в красных обрывистых берегах. Да, он решил, он кинется в эту корриду, искрящуюся, пеструю, рискованную,— со всеми ее перспективами и последствиями.

■

Лежа на узкой кровати в стиле ампир, облаченный в величественную вышитую рубаху, монсеньор архиепископ весь был испещрен полосами тени и света, пробивавшегося сквозь жалюзи, отчего казался гибридом тюленя и зебры. Он бодрствовал. С четырех часов утра, когда прозвонили к заутрене, пропал сон. А может быть, дело не в колокольном звоне? Ведь, казалось бы, к колоколам пора ему и привыкнуть... Стареет он, вот что! Проблемы все усложняются, а он все старится да все разбухает, как тыква под лучами солнца...

Он сел. Живот качнулся вправо, потом влево и остановился, подрагивая, как желе в заливной гусиной печенке. Прочитал ли его святейшество письма, которые он послал? Этот треклятый карманный линкор «Граф фон Шпее» мог выкинуть еще какую-нибудь штуку. И папа так бы и не узнал об этом. Да, хороши дела, нечего сказать!

Утренний свет, трепеща, уже просачивался в комнату сквозь ставни. Монсеньор встал, облачился в фиолетовую сутану, надел на палец пастырский перстень и сел перед небольшим секретером кедрового дерева. Подперев голову руками, он погрузился в невеселые мысли.

Война принимала довольно странный оборот. А ведь он был пастырем, более того — в глазах хищной своры своих каноников и аббатов он один отвечал за неприкосновенность своей епископской вотчины, которая по давней традиции была бретонской. Если кусок уплывет из-под носа, эти шуаны всегда свалят вину на него, какие бы объяснения он ни придумал. Разве угадаешь, какие новые сюрпризы преподнесет тебе война!.. И потом еще это письмо, в котором он поздравлял маршала Петена с «национальной революцией»... В случае поражения нацистов уж ему постараются все припомнить... Да и папский нунций его недолюбливает. Уже нашептывает кое-кому... Теперь на все церковные приходы и епархии Гаити метят янки!

Архиепископ встал, хлопнул в ладоши. Тотчас вбежал мальчик, поставил на место туфли с рубиновыми пряжками, потом бросился открывать ставни. Монсеньор остановил его движением руки.

— Хорошо ли почивали, ваше преосвященство?

Архиепископ неопределенно покачал головой.

— Антенор, сегодня я буду завтракать у себя в кабинете. А сразу после завтрака приму новых дьяконов... Ступай...

Монсеньор опять сел перед секретером, играя визитной карточкой, на которой значилось:

«Жозеф Колиньон, эсквайр.
Священник монастыря
Пречистой девы Марии».

Быстрыми движениями карандаша монсеньор нарисовал над именем эсквайра кардинальскую шляпу. Левой рукой он ощупывал сигары «Коронья», уложенные в ароматную коробку; жирные пальцы обхватывали каждую сигару, поглаживали ее, на миг останавливались, словно подсчитывая, сколько в ней табака, потом снова пробегали по сигарам, легкие, ласкающие... Передумав, он выдвинул ящик, достал большую коробку сигар «Упман» в алюминиевом футляре. Открыл коробку, лизнул сигару, обрезал кончик и поднес спичку.

В комнате опять потемнело, на мебель легли тени. Скоро монсеньор исчез в облаках дыма; виднелся лишь толстый затылок под фиолетовой муаровой шапочкой.

■

Диожен Осмен спешил. Два раза заходил он к брату, но заставал лишь запертую дверь. А ему очень хотелось повидать Карла.

Диожен и Карл обожали друг друга. В самой их несхожести было нечто, делавшее их неразлучными. Насколько будущий кюре был человеком медлительным и прилежным, до всего доходил усердным трудом и всегда добивался нужного результата, настолько брат его, поэт-дилетант, был натурой стремительной, одаренной, яркой и, пожалуй, даже слишком яркой, чтобы осуществить хотя бы один из своих ослепительных замыслов. Карл и к стихам своим относился столь же легкомысленно, как и к профессии адвоката, которую, впрочем, лишь чисто теоретически можно было назвать его профессией.

Итак, Диожен спешил. Если не удастся повидать брата до вечерни, придется ждать до следующего воскресенья — раньше из семинарии не отпустят. Диожен и Карл были словно две половинки одного и того же существа. Они любили рассказывать друг другу о своих делах, но редко когда рассказчик получал от слушателя совет. В сущности, каждый из них искал совершенства. Один, терпеливый, прекрасно знающий собственные возможности, жаждал достичь небесного, вечного блаженства путем добродетельной жизни и молитв; другой, неисправимый искатель абсолютной истины, стремился к блаженству земному и мечтал стать настоящим художником, который впитывает в себя все многообразие впечатлений, не боится безнравственности и поет в полный голос, создавая прекрасные произведения — небрежные и скептические.

Карл был дома. Он стоял во дворе над маленьким бассейном и усердно полоскал горло, выделывая сложнейшие рулады, кудахтая и

квакая. Он улыбнулся и, не закрывая рта, промычал что-то невнятное. Вода струйками стекала у него по подбородку.

— Что?— переспросил Диожен.

— Глу, гле, глям, га, гли, глог! — ответил Карл.

— Что?.. Что ты говоришь?..

Карл выплюнул воду.

— Я говорю, что у меня болит горло!

— Неужели? Ведь у тебя луженая глотка!

— Говорят тебе, болит! Наверно, простудился... И, знаешь, я совсем не намерен выслушивать твои поучения. В домашнем проповеднике не нуждаюсь... Каким ветром тебя занесло? Да еще в этот час? Почему ты не на вечерне? И не клянчишь чего-нибудь у господа бога?

— А ты-то хорош! Как раз, когда ты нужен, тебя с собаками не найти. Все шляешься по притонам. Насколько я понимаю, выпивка была отменная!

— В евангельских заповедях выпивка грехом не считается. Если бы вы, наши пастыри, вступили в общество трезвости, интересно, как бы вы тогда служили мессу и угощались кровью христовой?

Преподобный Диожен Осмен пожал плечами и отступил. Карл сел на своего конька, его не переспоришь. Не дожидаясь новых богохульств по поводу патриарха Ноя и чуда в Кане Галилейской, Диожен сразу приступил к цели своего визита.

— В последние дни в архиепископстве страшный переполох...

— А мне-то какое дело... Ты сам ввязался, никто тебя не заставлял идти в попы. Небось, два кюре затеяли потасовку?.. Если они дерутся из-за тебя, прими их драку как молитву во спасение моей души. Мне это, честно говоря, не помешает...

Они помолчали. Карл снова заговорил:

— Садись! Чего стоишь?.. Может быть, это Колиньон причиняет вам столько хлопот?.. Я заходил посмотреть на его ремесленную школу... Ну и ну! В самом центре владений монсеньора архиепископа! Да, эти канадцы здорово работают! Не то что вы!

— Я думаю, что в вертограде господнем найдется место для всех работников...

Карл взорвался:

— В вертограде господнем? Красивые словечки! Прямо из церковной проповеди... И все же должен тебе признаться: хотя бретонские священники не бог весть что, но американские и канадские попы, на мой взгляд, еще хуже. Начинают с благотворительности, с долларов, а кончают — сам знаешь чем!

— Сегодня монсеньор созвал нас у себя в кабинете и говорил с нами... Потом всех отпустил, а меня оставил и беседовал со мной целый час... Я думал, речь пойдет об этой истории с мамой, а он о ней и словом не обмолвился...

— Так о чем же он говорил?

— Он обещал мне место священника при первом же назначении...

— Черт возьми! Вот не думал, что у нашей старухи такие длинные лапы! Он действительно ничего тебе не сказал? Никакого намека? После скандала с отцом Кервором я решил, что на твоей карьере можно поставить крест. Во всяком случае, в Гаити... Так к чему он все-таки клонит, твой архиепископ?

— Это еще не все... Он предложил мне стать его секретарем.

— Вот так штука! Высоко взлетаешь! А не предложил ли он тебе заодно сменить его на посту архиепископа?

— Брось острить... Ты ведь знаешь, я мечтал совсем о другом — о скромной должности викария где-нибудь в глухом углу, в крохотном

приходе, где я мог бы спасать человеческие души, если уж не удалось спасти твою... Я чувствую, что не создан для таких вещей, понимаешь? Боюсь я всей этой атмосферы интриг, сплетен, боюсь политики, наконец. Не для этого я решил пойти в священники... Но как отказать архиепископу?..

— ...И ты еще называешь меня отвратительным материалистом! Я знаю, ты хотел бы жить достойно и смиренно в благоухающем сельском уголке, благословляя, исповедуя, причащая людей за приличную мзду: за великолепных жирных цыплят, свеженькие яйца, позолоченные солнцем плоды,— и мирно стареть в размышлениях, молитве и безделье!..

— Карл!..

— Не злись, пожалуйста. Я вовсе не осуждаю тебя, я просто описываю, какую жизнь мечтал ты вести в своем потерянном раю. А потом, ведь ты же сам пожаловал сюда и рассказываешь мне, старому вольнодумцу, ваши святые дрязги! Чего же ты от меня ждал? Ну да ладно, дело не в этом... Так что же ты ответил?

— Я поблагодарил его преосвященство за то, что он вспомнил обо мне в связи со столь щекотливым делом... Сказал, что его предложение застигло меня врасплох, что я мечтал посвятить себя более скромной деятельности, что я буду молить всевышнего просветить меня... Что я не хотел бы заранее загадывать, способен ли я выполнить эти задачи, и что прошу дать мне некоторое время для размышления и молитвы...

— И что же он тебе в конце концов ответил?

— Он только покачал головой и сказал, что будет ждать меня завтра в своем кабинете. А может, он еще передумает?..

— Ну и наивный же ты человек! Неужели ты не понимаешь, что тебе предлагают самую обыкновенную сделку? Если вся наша семья — и особенно Эдгар — согласится вступить в игру на стороне архиепископа, тогда отцу Кервору придется укладывать чемоданы... В противном случае расплачиваться будешь ты...

— Карл! Как тебе не стыдно!

— Но ведь так оно и есть! Пропади ты пропадом со своей наивностью! Для осуществления своих планов архиепископу нужны козыри, нужна информация из первых рук... Офицер президентской охраны, связанный с духовенством,— да ему только того и надо! Яснее ясного... Сам решай, как тебе поступить. Может быть, Эдгару этот сговор придется по душе, но ты! Разве есть у тебя лисье лукавство? Создан ли ты для этих интриг?.. Но кто знает? Быть может, за твоим смиренным послушанием таится жажда власти... Загляни в свое сердце, Диожен...

— Я не могу поверить...— пробормотал Диожен.

После долгого молчания Карл сказал:

— Завтра я отправляюсь в Фон-Паризьен... Уголок, где жизнь течет, словно медовая река... Так что, видишь, безрассудство — это еще не самое страшное на свете! Желаю тебе избавиться от своих терзаний... Почему бы тебе не повидаться с Эдгаром? Он мог бы дать совет получше, чем я, и вся эта история, наверно, его заинтересует...

— Мне? Говорить с Эдгаром о подобных вещах? Да он пошлет меня ко всем чертям. Ты сам прекрасно знаешь, какого он мнения о нас с тобой.

— Смотря по обстоятельствам... Очень может быть, что это его и заинтересует. Да, в конце концов, есть же еще маменька! Нужно посоветоваться с ней... Бедный малыш, ты совсем растерялся!..

Они взглянули друг на друга, немного растроганные.

— А зачем тебя понесет в Фон-Паризьен?

Карл похлопал брата по плечу, улыбнулся и легонько толкнул:

— Отправляйся... Тебе пора идти. Ну-ка...

II

Лежа на соломенном тюфяке, Гонаибо услышал дребезжащий крик игуана. Судя по звуку, игуаны были где-то недалеко; нежатся, должно быть, в траве, пьянея от солнца, или гоняются за бабочками и жуками, или играют в кошки-мышки среди скал и камней. Он вскочил на ноги и негромко свистнул сквозь зубы. Резцы сверкнули в полумраке, словно капельки молока на тяжелом вымени коровы ранним апрельским утром. Странные зубы: разделенные вверху тоненькими светлыми язычками — отростками бледных десен, они, казалось, бежали в хороводе, в веселом «золотом маисе» *. Зубы ровные, острые и удивительно красивые, несмотря на то что необычное строение десен говорило о давнем рахите. Должно быть, нежная зелень диких трав и соки лесных плодов вовремя остановили болезнь.

Гонаибо свистнул еще раз — протяжно, мелодично. Ответа не было. Он гневно топнул ногой и опять засвистел. Хижина вздрогнула всей своей соломой, и под пенье шуршащей сухой травы сверкнула стремительно молния, сверкнула и замерла у ног мальчика. Это была светло-серебристая змея средних размеров. Она лежала неподвижно, развернувшись во всю длину, и пристально глядела на хозяина маленькими красными глазками.

— Почему ты так крепко спишь? — спросил Гонаибо.

Змея не пошевельнулась, лишь тихонько зашуршали чешуйки на шее.

— Зеп! Не дури! Если ты еще хоть раз не ответишь, когда я тебя зову,— берегись!

Змея метнулась в сторону. Хоп! Исчезла в стене, среди пучков соломы и растрепанных коробочек хлопка.

— Зеп!

Короткий шорох, треугольная головка выглянула и снова спряталась.

— Зеп! Зеп!.. Послушай... Да послушай же!..

Трудолюбивый ветер косит высокие травы, пригибает их к земле — не знающий устали жнец на бескрайней ниве земной. Лес на горах все поет и поет свою извечную песню, перекликаясь со скрипками раннего утра, звенящими над водами древнего озера Азюэй. Плотная завеса листвы, скрывая неясные очертания берегов, отзывается на эту песню далекой мелодией, музыкой изменчивой, судорожной и суровой, родной сестрой духовных гимнов итальянского кватроченто. Кружатся птицы, беспокойные водяные курочки взлетают над болотами, как взлетали они еще в незапамятные времена, на заре существования земли Кискейя. Над зеленоватым глянцем зеркальных вод хмурые горы вздымают к звездам свои крепкие молодые сосцы. Скалы громоздятся под хрустальным куполом неба; плиты, конусы, овалы, кубы, в шероховатой броне резких тонов, наперебой проталкиваются вверх, катятся кубарем, срываются вниз, в долину. Перевал меж двух крутых кряжей, озеро, лес, долина. Этот пейзаж — святыня Гаити. Почва в ущелье Кюльде-Сак полна следов древних цивилизаций, здесь все говорит о славе минувших веков. Драгоценности, украшения, гончарные изделия, скульптуры, идолы, тотемы... Оружие конкистадоров, амулеты, цепи и маски первых беглых негров... Вечерами, когда с Южного моря прилетает горячий ветер, ущелье трубит в рог и над лохматыми берегами озера пробуждается многоголосое эхо — отзвуки нашего прошлого, где переплелись традиции, видения и миражи всех рас, укладов, веков...

Гонаибо привезли в эти края грудным ребенком, и ему казалось, что он вышел из самого чрева этой земли, точно так же, как вырастает в

* Народный детский хоровод.

полях пучок травы, стебелек проса или ствол кампешевого дерева. Покинутая всеми на свете, его мать забрела сюда как-то вечером в поисках пристанища; выбиваясь из последних сил, она шла, завидев вдалеке блеск воды, как идут сквозь ночь на огонек. Она сама построила себе жилище на берегу озера, вдали от дорог, в безлюдном уголке, отгородившемся от мира зарослями кустарника и глубокими оврагами. Родители выгнали ее за то, что она принесла в дом младенца. Молоко — «перегорелое молоко», как говорится,— бросилось ей в голову, но помешательство было безобидным. Она так и осталась навсегда чудаковатой...

Мать воспитала сына в дружбе с травами, водами и со всем окрестным зверьем. Несмотря на то, что в ее сердце жила обида на безжалостную родню, она познакомила мальчика со всеми вековыми традициями, бережно передававшимися из поколения в поколение. В светлые минуты она обучала его всем ремеслам родного Басен-Зима: прясть хлопок и делать из него пестрые гамаки, лепить из глины посуду, растирать в муку сушеные клубни маниоки... Она раскрыла перед ним целебные тайны трав. Она влила в его сердце любовь к одиночеству, недоверие к людям, нежность к природе, верность древним гаитянским корням — и прочно привязала его к озерному краю. Почувствовав приближение смерти, она взяла с Гонаибо клятву, что он будет по-прежнему жить один, избегая всякого общения с людьми.

— И будешь так жить, пока не зацветет маленькое дынное дерево под горой... Тогда ты уже будешь настоящим мужчиной и спустишься в город, к людям. Крепкий, как дуб, ты станешь бороться, не боясь злых людей, и отвоюешь у них место для своих корней, ты заставишь себя уважать и сам будешь уважать других и заживешь свободный и гордый, как молодой кайман.

В иные дни, желая испытать силу своих рук, он с остервенением набрасывался на какое-нибудь молодое дерево, чаще всего на байягонд, потому что байягонд упруг, неподатлив и дик, он — подлинный князь лесных чащ. Гонаибо не успокаивался до тех пор, пока не пригибал противника к земле. А как его тянуло померяться силами с молодым бычком! И со старым неприветливым кайманом, который жил в озере, иногда всплывал на поверхность и показывал над водой спину, покрытую, точно маленький островок, тиной, илом, водорослями и даже цветами и травами.

Так и жил Гонаибо вдали от людского глаза, любопытства и злобы.

Лишь один человек посмел однажды приблизиться к нему. Это был Данже Доссу, грозный колдун. Как-то лунной ночью он подошел к самой хижине. Гонаибо сидел в дверях, у его ног свернулась змея. Он встал навстречу незваному гостю, чья огромная фигура и короткая тень отчетливо выделялись в прозрачном лунном свете. Лицо Доссу сверкало, как черные камни посреди озера, в ушах поблескивали огромные кольца. Он был в полинялой синей куртке и таких же штанах. Колдун глядел на мальчика ледяными глазами кондора, выследившего добычу. Гонаибо шагнул к нему.

— Вон с моей земли! — закричал он.

Данже не пошевелился.

— Зеп! — крикнул Гонаибо.

Змея подползла к колдуну и зашипела. Пришелец отступил. Змея преследовала его по пятам, пока он не скрылся в лесу.

С этого дня уже никто не смел посягать на владения Гонаибо. Разумеется, его иногда узнавали, например, когда он приходил на рынок в Бокан Тикошон или в Ля-Фурнию, по ту сторону границы, чтобы продать свои кувшины, корзины и гамаки, но никто не решался с ним заговорить. Впрочем, он бы все равно никому не ответил. Данже Доссу

вынужден был молчаливо признать безраздельную власть ребенка со змеей над саванной, зарослями кустарника и берегом озера. Это были два властелина. Старый колдун, полномочный представитель зловещих сил и великих тайн, не смел тронуть молодого волшебника, загадочного и яростного, которому, по убеждению Данже Доссу, покровительствовали неведомые божества — повелители зверей и вод. Оба гордые, как деревья, наблюдали они издали друг за другом, исполненные взаимного уважения и ревнивой тревоги за свои права.

Гонаибо шел по саванне, направляясь к небольшой рощице байягондов, желтевших неподалеку от берега. Взобравшись на невысокий холм, он остановился и оглядел лес. Он стоял, в своих изодранных штанах, выставив вперед ногу, одну руку положив на бедро, а другой сжимая рогатину, и казался лесным духом, юным сильфом, окаменевшим в высокой траве. Он продолжил путь. В такт своим шагам он напевал старинную песню:

Я собирал для тебя кофе!
Я собирал для тебя хлопок!
Я собирал для тебя бататы!..

Солнце поднималось все выше и все жарче жгло молодого бога, шагавшего по своим Елисейским Полям.

Вот он нырнул в листву, лег на землю и пополз быстро и бесшумно. Наметанным глазом он разглядел несколько темных камней, разбросанных среди травы и цветов. В свежем воздухе неумолчно звенели цикады. На гниющем стволе сидела пузатая древесная ящерица и, раздув зоб, пыжась, как матадор, пугала позеленевшую от страха противницу. Вспорхнула чета сварливых сорок, продолжая высоко в небе свою семейную перебранку. Весь этот животный и растительный мирок дышал, трепетал, вздрагивал, счастливый, неутомимый, многоцветный, удивительно прекрасный, непрестанно обновляющийся, жестокий, кровожадный. На каждом клочке земли шла яростная борьба, в каждом цветке торжествовала любовь, на каждой былинке расцветало счастье, в каждой капле росы зрела жизнь, в каждом бутоне рождались соки, яды и дурманы. Смерть подстерегала живое. Первичное, неорганическое, инертное соединялось и распадалось, живая материя пожирала мертвую. От земли поднималось облако благоуханий, многоярусный коктейль густых ароматов: вот запахи причудливые, летучие, едкие; чуть повыше — роскошные, переливчатые, плотские; поближе к земле — тяжелые, стойкие, терпкие. Песнь песней земли сплетала и расплетала свои мелодии и аккорды, рассыпала шумы, лилась могучим многоголосьем.

Гонаибо с трудом различил трех затаившихся в зелени игуанов, неподвижных, оцепеневших, поражающих совершенством своей мимикрии. Чуть позолоченные солнцем, они лежали на прогалине, как зеленоватые камни. Лишь самый крупный вертел головой из стороны в сторону, и на его сером горле колыхались мягкие перепонки. Два других выставили толстые хвосты, покрытые вкривь и вкось грубой чешуей; по всему позвоночнику шел острый зубчатый гребень. Гонаибо пододвинул к себе увесистый камень, взял поудобней рогатину и издал короткий пронзительный крик. В ответ прозвучал точно такой же скрипящий звук... Гонаибо улыбнулся, весь сжался, как пружина, и вскочил на ноги. Рогатина со свистом рассекла воздух. Игуан дернулся, получив удар в бок, и, перебирая скользящими лапами, кинулся с безумной быстротой наутек; в боку у него торчала рогатина, колотившая по высокой траве. Зеп, змея, тут же вступила в игру, преграждая обезумевшим игуанам путь к бегству. И тогда Гонаибо бросил камень, придав его полету абсолютно точную параболическую траекторию. Игуан с размозженной головой забился в агонии и застыл. Мальчик вытер потное лицо, запля-

сал от радости, повалился на траву; накатавшись вдоволь, он снова исполнил бешеный танец охотника за скальпами.

Камень пробил животному затылок. Липкая кровь забрызгала шею, хвост еще трепетал, и лапы бились в судороге. Гонаибо воткнул рогатину в горло игуана. Потом свистнул. Змея послушно обвилась вокруг его руки. Перекинув рогатину с добычей через плечо, он зашагал дальше.

Возле дороги местность становилась особенно изрытой, ухабистой, вся в природных ловушках и колючих кустарниках. Сухая растрескавшаяся земля могла каждую минуту осесть под ногой, и человек проваливался в густую вонючую жижу. Здесь росли бузьетты — кусты, которые при малейшем прикосновении так обжигают руку, что она вспухает до самого плеча и покрывается волдырями. Встречались здесь и мансенильи с прелестными цветами, но, говорят, даже тень этих цветов смертельна; попадались и кусты, покрытые колючками, укол которых оставляет незаживающие язвы... И свирепые слепни, и бесчисленные гигантские пауки и скорпионы.

Но Гонаибо любил это место; оно служило ему наблюдательным пунктом, куда никто не отважится забрести. Часто, спрятавшись за кустом, он глядел отсюда на дорогу. Люди, человеческие существа, с которыми он не желал общаться, внушали ему жгучее любопытство. Он видел пассажиров, сидящих в автобусах рядами, как луковицы на грядках, видел молодых красоток, которые, возвращаясь с рынка, озорно смеются и толкают друг друга, удерживая в равновесии корзину на голове, видел волов, запряженных в телеги, и крестьян, дремлющих на возах под медленный скрип колес, видел горожан в охотничьих костюмах, и по-воскресному разодетых паломников, направляющихся к Вильбонер, и усатых сельских жандармов, восседающих на низкорослых крепких лошадках или на заморенных клячах...

Вдруг он остановился как вкопанный перед неглубокой ямой. Уткнувшись носом в землю, вытянувшись во весь рост, в ней лежал человек с окровавленной лодыжкой, лопнувшей, как спелый гранат под лучами солнца. Дыханье человека сливалось с пофыркиваньем лошади, топтавшейся рядом в траве. Лошадь была оседлана, но седло перевернулось, сползло под брюхо. Как видно, этот горожанин не затянул подпругу как следует и, когда лошадь переварила корм, седло соскользнуло при первой же рытвине и увлекло за собой седока. Случай, можно сказать, классический. Впрочем, седок, кажется, был под хмельком.

Присев на корточки, Гонаибо разглядывал спящего: одет в рубашку и брюки цвета хаки, плетеный из тонкого тростника шлем валяется рядом. Лицо светло-коричневое, волосы слегка курчавые, на затылке коротко подстрижены. Гонаибо смотрел, внутренне холодея, смотрел, раздираемый странными, противоречивыми чувствами. Незнакомец разметался в беспокойном сне, дышал натужно, прерывисто. Мальчик долго сидел неподвижно, в полной растерянности, потом вскочил и бросился бежать прочь. Шум шагов разбудил спящего, и он закричал:

— Помогите! Помогите!.. Есть здесь кто-нибудь?

Гонаибо остановился. Раненый продолжал молить о помощи. В мучительной нерешительности Гонаибо присел на пень. Кто этот незнакомец? Как он оказался в этих местах? От него несет спиртным... Наверно, здорово выпил. Сюда никто не заглядывает, значит, если он, Гонаибо, не окажет помощи, незнакомец погиб. Он истечет кровью, умрет от лихорадки и пронизывающего холода ночных туманов, и труп будет гнить на солнце, источенный рыжими муравьями, искромсанный зубами мангуст и клювами мальфини. Как поступить, столкнувшись с этой драмой жизни и смерти? А завещание умирающей матери, путеводные слова, навсегда врезавшиеся в память? Нас окружают бесы и люди!..

— Если ты хоть раз заговоришь с людьми... О, тогда я предвижу твою участь так же ясно, как сам Антуан Лангомье *...

Так сказала ему умирающая мать.

Что же это за сила, более великая, чем память, более властная, чем взлелеенная им мечта,— сила, которая превращает беспомощного раненого человека, простертого на земле у тропинки, в могучий магнит?

Гонаибо медленно встал. Сквозь листву ему видно было, что человек по-прежнему лежит ничком и, поднимая голову, зовет на помощь. Гонаибо шагнул было к нему, потом остановился, готовый убежать. Но колебание длилось недолго. Он решительно подошел к раненому и, не произнося ни слова, помог ему подняться. Положив руку незнакомца к себе на плечи, поддерживая его, Гонаибо повел его к тропе. Раненый подскакивал на здоровой ноге, лицо его было искажено гримасой боли.

— Куда ты ведешь меня? — спросил он с тревогой.

В ответ Гонаибо молча протянул руку в направлении озера.

■

Когда дьякон Диожен Осмен и его брат, лейтенант Эдгар, прибыли в город, там творилось нечто невообразимое. Скрипя тормозами, машина остановилась перед домом Леони.

— Ну вот вам, пожалуйста! — воскликнула Леони.— Вот как дети любят свою мать! Конечно, Карл не явился. Он и не подумал, что нужно поддержать свою мать в день битвы... О Диожен, дитя мое! Если б ты только знал, каких только уангà ** не пустили *они* в ход против твоей матери! Еще сегодня утром *они* набросали у моих дверей всякой пакости... Тебе придется изгнать злых духов из дома и покропить святой водой... Но — помяни мое слово, это говорю я, Леони Осмен! — завтра в этот час мэтр Дезуазо будет депутатом, и никакое колдовство *им* не поможет!

— Мама! — прервал ее шокированный Диожен.

— Заткнись, поп несчастный! Думаешь, если ты не станешь делать, что я велю, что-нибудь изменится? Хватит с меня одного такого сыночка, как Карл! Обойдусь без второго болвана!.. Не хочешь меня слушаться — убирайся!.. Ай-ай-ай!.. Будь наш Карл серьезным парнем, клянусь, он бы завтра же стал депутатом, он — и никто другой!

В лавке было полно молодцов, которые с превеликой деловитостью и усердием потягивали из бутылок ром. Плевки залпами летели во все стороны и пачкали паркет, несмотря на возмущение Леони. С бешеной скоростью промчался автобус, битком набитый избирателями в лохмотьях.

— Да здравствует Эмманюэль Аксидантель! — орали они.

Из лавки Леони Осмен ответили дружным криком:

— Да здравствует мэтр Дезуазо!

Леони первая выскакивала на веранду и задавала тон своему хору — всему этому сброду, истошно вопившему во славу Невера Дезуазо.

Открыли две бочки спиртного. В огромных котлах шипела тушеная свинина. Несколько парней с лоснящимися красными физиономиями выстроились в очередь у кухни и, со стаканом вина в одной руке, с теплым круглым хлебцем в другой, ждали своей порции жаркого, толкаясь, крича и распевая во все горло:

---

* Верховный жрец культа воду́ из Гранд-Анса; в народе ему приписывается дар ясновидения.

** Колдовство, заклятье, порча.

Невер Дезуазо — депутат!
Мы другого не хотим!
Мы Невера изберем!..

Водка лилась рекой. Леони умела заворачивать дела. Если во всех остальных кормушках, устроенных в честь Невера Дезуазо, так угощали избирателей, Эмманюэль Аксидантель мог уже сейчас, не откладывая до завтра, оплакивать свою неудачу. При лавке Леони была даже маленькая комната для видных сторонников кандидата, где они могли вкусить рома, можжевелового джина, мадеры, портера, отведать пирогов со всякой начинкой и всевозможных сандвичей, а дамы к тому же и освежиться стаканчиком колы.

Весь город являл собой картину разгула. Возле форта Бержерак, у самого моря, надрывно гремели барабаны. У Портала Фрейсино неистово отплясывали «На этот лад» *. Девицы из предместья извивались и прыгали в адском ритме, и маэстро Катор собственной персоной отбивал такт:

На этот ли лад,
На тот ли лад —
Дирижер Катор
На любой лад рад!..

Харчевни были устроены кандидатами чуть ли не на каждом шагу.

— Господа депутаты сейчас меряются — чьи рога подлинней. Дерутся, как быки из-за коровы, пока один другого не запыряет. Кто больше денег в последнюю минуту отвалит, тот и одолеет... Выпьем, старина! Не стоит упускать такой случай, и пусть они тузят друг друга, пусть подыхают! Напьемся, куманек, вдрызг, потому как завтра — фьюить! — от них ни гроша не увидишь...

Так говорил «средний избиратель», который, прекрасно понимая суть этого мрачного фарса, с легкой душой принимал в нем участие. Не испытывая ни малейшей неловкости, эти люди вопили во всю мочь: «Да здравствует мэтр Дезуазо! Да здравствует Эмманюэль Аксидантель!» — и по очереди восславляли обоих в зависимости от того, в чьей закусочной подкреплялись и выпивали в данный момент.

Говоря по правде, кого бы ни выбрали, любой новоиспеченный депутат тотчас преспокойно примется грабить и наживаться, ссылаясь на свои большие расходы во время избирательной кампании. Значит, пей да ешь сколько влезет да хватай сколько можешь для своих малышей — ведь их-то не допустили до пиршества! Голодное брюхо к ученью глухо... Назавтра встанешь с горечью во рту — и опять клади зубы на полку, снова кишки ветром набивай да гоняйся за неуловимой наградой, обещанной кандидатом...

В центре города толпились группы оборванцев; они собирались вокруг барабанов, бамбуковых труб и рекламных щитов кандидатов, толклись на перекрестках, дрались или обходили драку стороной — в зависимости от степени опьянения. К полудню избирательный котел клокотал вовсю. Прошел слух, что группе самых дерзких приверженцев Эмманюэля Аксидантеля удалось проникнуть в штаб-квартиру Невера Дезуазо и выкрасть пачку избирательных бюллетеней — ни много ни мало тысячу штук. Слух подтвердился, только число украденных бюллетеней оказалось гораздо скромнее. Дезуазо отдал приказ все начисто опровергать. Сторонники Эмманюэля Аксидантеля ответили удвоением первоначально названной цифры.

В укромном уголке, позади лавки, Леони оттирала специальным снадобьем собственного приготовления большие пальцы на руках изби-

* Народный танец округа Сен-Марк.

рателей, успевших проголосовать. Каждый избиратель, выполнивший свой долг, отмечался чернильным пятном на большом пальце; чернила считались несмываемыми. Снабженные новыми бюллетенями, стада избирательных оборотней тут же снова посылались к урнам. Не сидеть же им весь день в лавке и пить да жрать на даровщинку! Сколько раз проголосуешь, столько раз получишь выпивку. Таков закон, и с Леони не очень-то поплутуешь.

Диожен сидел полузакрыв глаза; казалось, его бесконечно удручали все эти гнусности. Он тихонько бормотал покаянные псалмы и молитвы. Потом, не выдержав, встал:

— Мама, мне пора... Я должен остановиться в церковном доме и не могу явиться туда прямо на ночлег... Я еще приду...

— Знаю, знаю, почему ты уходишь!.. Боже милосердный! За какие грехи послал ты мне таких сыновей?.. Во всяком случае, я бы дорого дала за то, чтобы поглядеть, какую рожу скорчит сегодня отец Кервор, когда увидит тебя!.. Надеюсь, вы хоть спите-то с ним не в одной постели? — прыснула Леони.

— Мама? Как можно так шутить...

— А что, это для него так уж зазорно? Разве вы оба не являетесь достойными слугами господними?.. Нет, если уж говорить серьезно, отец Кервор скорее умрет, чем ляжет в одну постель с негром... С негритянкой — дело другое... Как бы то ни было, но мне нужно, чтобы ты сегодня вернулся. Не вредно будет, если люди увидят, что бог на нашей стороне. Глядя на сутану, даже идиот призадумается...

Невер Дезуазо явился сразу же после отъезда Диожена. Желтые кожаные сапоги, тонкий хлыст, клетчатая рубаха навыпуск, серые кавалерийские штаны, белая каска, череп голый, как головка голландского сыра... Безобразен, точно дьявол, что извивается в церкви под пятой Михаила-архангела. Дезуазо ликовал. Он не мог удержаться от потока излияний, настойчиво осведомлялся у Эдгара о намерениях главы государства относительно его персоны, хорохорился, пыжился. И говорил, говорил...

— Что бы вы сказали о небольшой верховой прогулке, дорогой Эдгар? Я привел для вас рыжую лошадку, ведь она вам понравилась... Совершим маленькую прогулочку по городу, а?.. Это будет великолепно: завтрашний депутат гарцует на коне в обществе адъютанта президента! Во Фрейсино танцуют в мою честь, этим нельзя пренебрегать... А потом мы отправимся в Моро, посмотрим на бой петухов. Там наверняка будет Аксидантель со своим доминиканским цыпленком, но я-то знаю, что мой кагосский петушок задаст перцу его индюшонку... Словом, повеселимся. Или вам это не улыбается?

Прогулка состоялась — к великому огорчению Эммануэля Аксидантеля, который тоже кричал на всех перекрестках, что он правительственный кандидат... Немало хлопот доставили ему его собственные избирательные агенты: чтобы вытянуть у него побольше денег, каждый из них стал обвинять другого в сговоре с партией противника. Аксидантель решил повидать командующего военным округом и попытаться разузнать у него, как смотрит правительство на его кандидатуру. А пока что — копить силы и втихомолку готовить что-нибудь такое, что может произвести переворот в общественном мнении. Что касается мэтра Дезуазо, он совершил парадный выезд с лейтенантом Эдгаром Осменом под приветственные клики своих пьяных приверженцев. Победа была уже у его ног, оставалось лишь нагнуться и поднять ее.

Избирательная возня не смолкала до глубокой ночи. Гул, треск, грохот... Государственные мужи готовились спасать Республику под эти дикие звуки...

■

Гонаибо смотрел на своего гостя спокойным и пытливым взором. В его глазах светилось простодушное любопытство.

Опухоль на ноге незнакомца спала, и рана представляла собой зигзагообразную полоску с чуть приоткрытыми краями, на которых темнели капли запекшейся крови. Раненый довольно легко двигал стопой; можно было сказать почти уверенно, что перелома нет. Отвар из целебных трав совершил чудо — рана была чистой, быстро заживала. Гонаибо улыбался с затаенной радостью. Это была улыбка одинокого человека, улыбка сердечная и искренняя, возникающая так же естественно, как идет дождь или восходит луна. О да! Он и вправду был юным богом лугов, могущественным и всесильным! Каждый прутик орешника, каждая травинка, каждый корешок, каждая луковица струили свои соки для него! Прозрачная роса, слюна молодого каймана, сок мансенильи — все служило ему на пользу, все годилось для его снадобий и бальзамов!

Он изучал сетку тончайших узоров, вытканных на лице раненого. Каждый человек одет в кольчугу, она плотно облегает его с ног до головы — не так ли?.. Вот уже много лет Гонаибо не видел, как спит, дышит, моргает человеческое существо, как у него сокращаются мышцы, шевелится прядь волос... И в какие бы глубины памяти он ни погружался, перед ним возникал только один образ: покойная мать. Он знал о ней все, знал ее руки, ощущал ее губы на своем лбу, отчетливо видел каждое пятнышко на коже, чувствовал малейший оттенок настроения. Поистине нерасторжимая любовь — взаимная привязанность матери и ребенка...

Гонаибо уменьшался в размерах, он прокрадывался в человека сквозь любую щелку, сквозь глаза, рот, ноздри. Он мысленно располагался внутри незнакомца, дремавшего на ложе из свежей травы. Да, да, стоило Гонаибо захотеть — и он мог перевоплотиться в своего пациента. Ноги гостя становились его, Гонаибо, ногами, он надевал на себя его грудную клетку, натягивал его руки на свои — становился этим человеком. Ему казалось, что он ощущает все его внутренние токи, как свои собственные. Он испытывал все, что испытывал лежащий перед ним человек, все его физические ощущения, тяжесть ноги, закинутой на другую ногу, давление влажной горячей ладони, упавшей на грудь, дремоту недвижного тела, теплоту пульсирующей крови. Он до краев наполнялся тяжелым сном, глубоким и скорбным, в котором цепенел раненый. Он чувствовал, как по нервным пучкам бежит электрический заряд — от мозга, через позвоночник, к горящей от боли лодыжке. О, это проникновение, понимание, пульсация!.. Эти мелькающие, как головастики, мысли, что мечутся во все стороны, трепеща от нетерпения... Нет, человек, лежащий перед ним, не мог быть ни злым, ни жестоким, ни честолюбивым, ни желчным, ни порочным, в нем не могло быть ни одной черты, враждебной Гонаибо. Возможно, его и во сне преследовало прошлое, полное тоски, разочарования, горечи, и все же он спал, как уставший ребенок. Есть ли вообще на свете люди, злые до конца, до самых глубин своего существа?..

Гонаибо улыбнулся самому себе, обвел глазами хижину, поднял глаза к потолку. Он встал, выдернул из опорного бруса глинобитной стены древесную колючку, пошарил за кувшином с водой, распространяющей приятный запах свежести, которой дышат в летние месяцы маленькие речушки, и схватил пучок стеблей.

Присев на корточки возле больного, он бесконечно мягким и нежным движением проколол колючкой одну из капель крови, запекшейся на краях раны. Потом быстро и ловко провернул свою деревянную иглу

между пальцами. Капелька целиком перешла на острие иглы. Так он снял с лодыжки одну за другой все капельки крови и, поднеся к ране один из стеблей, переломил его. Слеза молочно-белого сока упала на рану и застыла. Скоро по всей ране вытянулась цепочка белых капель, и красная полоса скрылась под пленкой естественного коллодиума.

Гонаибо встретился взглядом со своим пациентом, который только что проснулся и следил за манипуляциями мальчика.

— Ты не мог бы найти здесь врача?

Гонаибо не ответил.

— Врача...— повторил человек.

Гонаибо по-прежнему молчал.

— Ты не умеешь говорить?

После секундного колебания Гонаибо сказал вполголоса:

— Завтра ты встанешь на ноги...

И отвернулся.

— Но, может быть, врач...

— Завтра ты встанешь на ноги и уедешь на своем коне... Я привел его. Он пасется в траве за хижиной...

Тон был решительный, резкий. Гонаибо больше не желал говорить. Он схватил свирель, вырезанную из ветки папайи, и сел в дверях. Подползла змея и свернулась клубком у его ног. Гонаибо заиграл. То был напев однообразный, хватающий за душу, что-то похожее на пастораль, мелодия светлая, серебристая, чарующая...

Раненый приподнялся на локте.

— Меня зовут Карл,— сказал он.— Карл Осмен...

Мальчик перестал играть, бросил на гостя взгляд, потом отвернулся и заиграл снова, на этот раз медленнее, чем раньше; мелодия лилась тихой струйкой, как луговой родник.

— ...А тебя? Как зовут тебя?

Гонаибо опять прервал песню, застыл в неподвижности. Тень пробежала по его лицу.

— Как твое имя?.. Не хочешь сказать?

— Гонаибо,— неохотно ответил мальчик. И музыка заструилась, как плющ, что раскинул во все стороны худые ветвистые руки и ищет свои побеги, затерявшиеся среди трав...

■

Сразу же после выборов Диожен вернулся в столицу. Его мать и брат были настроены весьма решительно. Они считали, что сейчас совсем некстати выставлять напоказ свою связь с архиепископом. Поговаривают, что монсеньор внесен свободной Францией в черные списки как петеновец. К тому же президент в настоящее время явно благоволит к священникам канадским и, само собой разумеется, к американским. Какие выгоды сулит Диожену покровительство архиепископа? Эдгар брался все выяснить. Конечно, ни в коем случае не следует выказывать себя противником архиепископа; наоборот, его поддержка может принести пользу; однако не стоит обещать взамен ничего существенного. Диожен на все согласился. Этот вялый и апатичный юноша только и мечтал о том, чтоб кто-нибудь направлял его в делах мирских и руководил его совестью.

С архиепископом все устроилось как нельзя лучше. Монсеньор, точно добрый дядюшка, сделал понимающее лицо и подтвердил свое обещание в самом скором времени рукоположить Диожена в священники. Он сделал, однако, и некоторые предложения, и Диожен понял на этот раз, что их следует считать приказом. Он подчинился.

Рукоположение было теперь совсем близко. В ночь накануне торжественного события Диожен, взволнованный, истомленный, растянулся на полу своей кельи. Он пролежал так, отдыхая, несколько часов, прижавшись лицом к полу. За приотворенным окном виднелась гора — каменистая, изъеденная ветрами и ливнями, изрытая трещинами вздыбленная громада. На боках этого чудовищного геологического ящера, дремавшего во мраке, багровели огни. Наконец в небе появилась круглая ясная луна и просунула в келью свою пухлую белую руку. Нетерпеливый пассат, врываясь в окно, перелистывал страницы библии, лежавшей на полу рядом с Диоженом Осменом, который через несколько часов станет слугой всевышнего. Он собирается быть священником, но сердце его смущено! Он собирается стать пастырем, а его душа колеблется, как новорожденный ягненок, жаждущий материнского молока...

Вот эти посвященные господу руки, какие дела будут они вершить? Ему всегда твердили о суетности всего мирского, а нынче он вдруг понял, как бесплодно существование священника, ибо оно чуждается насущных человеческих забот, человеческих повседневных тревог, оно уводит от жизни того уголка земли, где он впервые увидел свет... Раз нет в его сердце мира и спокойствия, как может он взять на себя ответственность за свою паству — за человеческие души, доверенные его попечению? Быть может, и он потерпит крах, как все эти чужеземные пастыри, явившиеся сюда с «цивилизаторской миссией»?.. Он не желал, чтобы в его сердце закралась ненависть, но все же невольно испытывал неприязненное чувство, глядя на своих белых коллег, своих братьев во Христе... Разумеется, он всегда их защищал от всяческих обвинений, но в глубине души не хотел, чтобы его смешивали с «добрыми белыми отцами», несущими слово божие «бедным неграм»... Вот уже четыреста лет, как пытаются христианизировать эту землю, внести Иисуса Христа в сердца людские вместо африканских богов, и только теперь додумались, как осуществить эту задачу... А может быть, готовится всего лишь очередной обман?.. И он, Диожен Осмен, должен стать его соучастником?..

Диожен всегда убеждал себя, что он прежде всего — слуга господа, но даже в этот вечер, как, впрочем, и во многие другие вечера, он чувствовал себя сыном своей расы, своего народа, своего острова. Его раса — хранительница древних тайн, она издревле обладает непонятными силами, в могуществе которых он не раз убеждался; его раса подвержена дикарским заблуждениям и вместе с тем исполнена глубокой человечности и готовности бороться за свою свободу. Народ, лишенный традиций,— это народ безликий, народ без будущего, разве не так? Его народ вел с жизнью странные споры, на черном лице его народа — следы всех терний и шипов, потому что этот народ шел трудными дорогами... Вот он, Диожен Осмен, будет священником... Зачем? Чтобы отстраниться от своих братьев, от всего, с чем он связан от рождения, и посвятить себя отныне поклонению святым угодникам, молитвам и благочестивым размышлениям?.. Нет, он будет жить и бороться в рядах своего народа. Он поистине станет пастырем, и перед ним раскинется путь без конца и края!

И Предвечный знал путь праведников...

Он подавил стон. О, как непрогляден мрак, как тяжела неопределенность! Где же дух святой, о котором говорится в писании, зачем не сходит он на меня, как на апостолов? Почему не слышу я его огненной речи над своей головой?

Однажды Карл, его брат, сказал ему немало горького, обидного. Он все помнит — слово в слово: «...Ты хотел бы жить достойно и смиренно в благоухающем сельском уголке, благословляя, исповедуя, причащая

людей за приличную мзду: за великолепных жирных цыплят...» — и так далее...

Неужели и впрямь эта мечта таится в его душе? Как удалось лукавому проникнуть в нее? На чем основывался Карл, посмевший произнести эти слова? Нет, это неправда!

Конечно, он колебался, он не сразу отказался от предложения архиепископа стать его секретарем. Но если он молил небо вразумить его, то лишь потому, что страшился погубить среди приближенных архиепископа свою душу, утратить веру и самый смысл жизни.

Domine non sum dignus!

Он трепетал при мысли, что его будет окружать скрытая ненависть, коварные интриги. О нет, он никого не осуждает. Кто знает, не кроются ли за слащавыми улыбками епархиальных крыс и придворных аббатов жестокие муки совести? И в самых бесстыдных притонах нечестия могут обитать поистине святые люди, обрекшие себя на добровольную каторгу... Разве великие искушения не сделали долю святого Антония столь прекрасной, возвышенной и завидной? Разве величие сана не состоит именно в приятии вечной борьбы на стороне ангела, против лукавого — именно в вызове силам зла?

Господь — пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться.

О, ножи, вонзающиеся в сердце! Но не есть ли это цена божественного гласа? Где слова, умеющие просвещать? Где вино, способное утолить жажду, где хлеб ангельский? Как раздавать его людям, если у тебя его нет? Как-то проезжий аббат вскользь заметил, что самая тяжкая для священника драма — трудность отречения от сана... И сколько еще таких расстриг живет в монастырях и при храмах!

Ветер перевернул страницы священного писания, лежавшего на полу, и луна ярко осветила первый стих тридцать первой главы книги Иова. Диожен с силой прижал ладонью открывшуюся страницу:

Завет положил я с глазами моими,
Чтобы не помышлять мне о девице.

И перед взором будущего священника предстали девушки родной земли, блистающие, как черное золото, исполненные очарования, каким наделял он их в своих юношеских мечтах; он увидел упругие губы, золотистые груди, гирлянды цветов на гибких бедрах. В эту минуту он постиг всю несправедливость, всю противоестественность того вечного вдовства, на которое себя обрекал.

Он представил себе одиночество летних вечеров, погруженные во тьму деревни, заброшенный глухой угол, бесконечную, тоскливую пустоту, нарушаемую зловещими криками совы... Одиночество, неизбывное одиночество в бесконечной веренице дней. Один вечерами в своей спальне, и никогда в нее не проникнет теплый запах другого человеческого существа. В часы бессонницы, под перекличку котов на крышах, под неумолчную скороговорку стенных часов, битком набитых цикадами секунд, будет он считать звезды на небосводе в тщетной надежде заснуть. Его дни превратятся в ожидание скорбных ночей. Неужели этого хочет от него господь?

Пусть взвесят меня на весах правды,
И бог узнает мою непорочность.

Но он покорно примет грядущие дни — с их неистовым благочестием, с их томлением, и тоской, и с лаской, которую будет дарить он чужим детям,— примет все шипы, которые никогда не вырвать из сердца.

..пусть плечо мое отпадет от спины,
И рука моя пусть отломится от локтя,
Ибо страшно для меня наказание от бога...

Он будет проповедовать бога гневного, бога-мстителя, и дети и старики будут дрожать, слыша его проклятья, трепеща в ужасе при одном упоминании о муках ада, более страшного, чем геенна человеческая.

Я носил бы ее на плечах моих
И возлагал бы ее, как венец...

Завидев его, люди будут шептаться: «Смотри, вон поп навстречу...» Найдется ли хоть одна дружеская душа, способная понять его жертву?

Но и это еще не все. На его долю выпало стать орудием жестокого принуждения. Каких только кощунств не совершит он, сын черной расы, во имя вящей славы бога белых людей! В течение трехсот лет хунфоры * бросали вызов католической церкви! И вот настал день, и утомленный борьбою белый архиепископ сказал:

— Уничтожьте богов древней Африки, ставших богами гаитянской земли! И ты — будь первым! Сожги их — всех до единого!..

И он покорно встанет, без слова, без крика. Он пойдет, пойдет не со словами любви на устах, а с плетью в руке. Пойдет не убеждать, а поджигать. Он превратится в кулак, в наконечник копья, и его посох, увенчанный крестом, станет ножнами разящего меча. Этого хочет бог! Так решил прелат и его чужеземные каноники!..

Если вопияла на меня земля моя
И жаловались на меня борозды ее...

Он пойдет во главе бретонской инквизиции. И люди будут поднимать головы, чтобы взглянуть на человека, предавшего свой народ, на отступника и осквернителя, которому вручили оружие чужеземцы, и уста людей будут неслышно призывать на его голову все кары, какие только сможет послать эта земля.

Диожен встал. Если такова его судьба, если он должен нести служение сие во имя господа— да приидет царствие его,— тогда он счастлив отныне! Терпеливая работа отцов-миссионеров, годами обучавших его, принесла сейчас свои плоды: рассеялись безумные мысли, смущавшие его. Разве не господу принадлежат все земли и страны? Кто смеет противопоставлять глаголу божию старые слова, пусть даже тысячелетиями исчисляется возраст их? Этот остров — лишь малая частица великих владений вездесущего бога. И ничто больше.

Боже мой!.. Он ходил по комнате, и хотя поступь его была еще нетвердой, но он уже стоял на ногах и готов был идти указанным путем... Подняв голову к распятию, смотревшему на него со стены, он надолго задержал на нем взгляд.

...объявил бы ему число шагов моих,
Сблизился бы с ним, как с князем.

Кончился бунт Диожена. Быть может, это поползновение к бунту когда-нибудь и повторится в тишине одинокой ночи, но Диожен справится с собой, отныне Диожен тверд. Он будет повиноваться беспрекословно. Отныне он — лишь слепое орудие гневного бога. Распятие ничего не сказало ему. Он будет отныне слугой исступленной инквизиции, которая в середине двадцатого века собирается разжечь на лучезарном острове свои костры.

Влетел ветерок и с язвительным смехом закружился по келье Диожена Осмена, который завтра станет священником, ибо сегодня он решил, что может убить в себе человеческое сердце.

---

* Святилища языческого культа воду́.

■

Весь Порт-о-Пренс был охвачен небывалым волнением. Президент промурлыкал речь, в которой объявлял urbi et orbi, что его великий «союзник», Соединенные Штаты, заключил с ним договор на чрезвычайно выгодных для Гаити условиях. Соединенные Штаты предоставляют стране много-много миллионов долларов. Правительство передаст эти миллионы американской компании ГАСХО, которая возьмет на себя заботу о сельскохозяйственном развитии страны. План состоит из двух пунктов: производство каучука и разработка сосновых лесов. Благодаря неустанным заботам специалистов, посланных этой «великой дружественной страной», открыто растение, обладающее удивительными свойствами,— «козий рожок», а по латыни cryptostegia americanensis, которое уже через год будет давать каучук.

Судя по официальным дифирамбам, стране наконец улыбнулось счастье. Конечно, необходимые земли будут взяты у крестьян, и компания ГАСХО получает право экспроприации. Страна найдет в себе силы убедить отдельных упрямцев. Мы предупреждаем врагов правительства, узколобых националистов, коммунистов и прочих безбожных фанатиков материализма. Любая, даже скрытая пропаганда против наших мероприятий будет караться с самой беспощадной суровостью. В заключение президент заявил, что отныне его политика будет верным отражением политики Соединенных Штатов...

Вся политическая камарилья была крайне взбудоражена. Ведь должны же американцы понимать, что подписание договора — это еще не все: всегда есть возможность шантажировать, вставлять палки в колеса, наконец, просто не ратифицировать договор!.. Не дадите денег — не получите сливок!

Изнывавшая от бездействия мелкобуржуазная молодежь тут же ринулась в бой. Набрать побольше рекомендательных писем, адресованных этой пресловутой компании ГАСХО! Кинулись было к министрам и прочим столпам «лескотического»* режима. Но выяснилось, что ГАСХО не очень-то считается с этими сановниками, которым она подкинула долларов, а прежде всего желает нанять побольше здоровяков-негров, которые будут надрываться на плантациях. После короткого замешательства жаждущие мест устремились на штурм американского посольства, стали осаждать понаехавших в город янки-бизнесменов. Марсово поле опустело. Праздношатающаяся братия, коллеги по «карусели» **, которые с утра до вечера толклись здесь, теперь ревниво хранили в тайне, какие связи и знакомства пущены ими в ход. Девицы тоже не зевали. Они предъявили своим дружкам решительный ультиматум. Не сумеете раздобыть себе тепленького местечка, чтобы поскорее повести своих дульциней к алтарю,— ищите себе для забав кого-нибудь другого! С милым рай и в шалаше? Дудки! Появление ГАСХО дает редкую возможность выскочить замуж; папа с мамой и так еле-еле сводят концы с концами и вовсе не хотят, чтобы их дочки засиделись в старых девах, как последние дуры. Приходится самой устраивать свои дела, черт побери!

Возбуждение докатилось и до кварталов, где расположены веселые дома.

—...Люз-Мария, дорогая моя, пожалуйста, не глупи! Твой франтик из благородных как-нибудь переживет разлуку! Нам придется перенести наше заведение в те места, где будут выращивать каучук!.. Криптостегию, моя дорогая...

---

* Презрительное наименование режима президента Леско, «благодетеля отечества» в годы войны.

** «Карусель» — безработица. Когда-то в том углу Марсова поля, где теперь собираются безработные, была карусель.

Фежита, Андреа, Селеста, Долорес и все прочие дамы с камелиями принялись укладывать чемоданы. В Порт-о-Пренсе дела не сделаешь: коммерция меняет свою географию. В глубине души эти несчастные девицы мечтали и о другом: глотнуть деревенского воздуха своими прокуренными легкими, хоть разок погулять в лесу, отдохнуть от угара пьяных ночей.

Что касается народа... Увидев, какой ажиотаж охватил господ политиков и торгашей, народ с присущим ему лукавством и сообразительностью быстро смекнул, что вся эта затея ничего хорошего ему не принесет. Дьявольщина! Он хорошо помнил Дж. Г. Уайта и прочие аферы. У всех на устах была неизвестно кем сложенная песенка. Едкая, желчная, прилипчивая и мелодичная, она порхала по всей стране:

Вы сожрете деньги ГАСХО,
А платить придется нам,
А платить придется нам...
Но потом и вам!..

Народ платил, но предупреждал тех, кто торговал родиной, что рано или поздно он призовет их к ответу. Министр полиции, толстяк Гонтран, в свое время король Карнавала, ничего не мог поделать с этой песней. В тюрьму ее не посадишь! Его ищейки рыскали с огромными пистолетами на заду. Попробуй поймай эту грубиянку, эту мятежницу! Она была повсюду. Любой парень, встречая товарища, такого же работягу, как он, обязательно шептал ему на ухо, подмигивая да пожимая руку,— шептал, точно пароль: «...Но потом и вам!..»

Как раз в это время состоялось назначение нового епископа Кайеса. Церемония прошла с превеликой помпой. Архиепископ Порт-о-Пренса и примат Гаити ничего не мог поделать; ему оставалось лишь расточать елейные улыбки. Впрочем, он не считал себя побежденным; чтобы укрепить свой пошатнувшийся престиж, он замыслил великолепный контрудар. В осведомленных кругах стали поговаривать, что архиепископ готовит широкую антиводуистскую кампанию, именуя ее «борьбой против суеверий». Проект довольно смелый: для его осуществления не приходилось рассчитывать на помощь правительства — там было немало приверженцев постыдного культа. Назначение американского попа епископом, шум вокруг ГАСХО, да и вся новая правительственная программа являлись частями обширного плана. Под прикрытием войны дядя Сэм пытался раз и навсегда покончить с последними остатками влияния соперничавших с ним империалистических группировок на Гаити — безразлично, будь то влияние экономическое или культурное. По совести говоря, янки никогда особенно и не доверяли гаитянскому духовенству, последнему оплоту старой Европы в стране, и государственный департамент несомненно приложил руку к назначению нового прелата. Архиепископ все взвесил. В конце концов Франция далеко, действовать придется самому, и без промедления. Война может тянуться долго, и ради сохранения приходов и епархий в своих руках следует оказать американцам какую-нибудь важную услугу. Монсеньор выразил желание встретиться с послом Соединенных Штатов. Посол подумал, посоветовался со своим штабом и послал монсеньору архиепископу Порт-о-Пренса приглашение на завтрак.

■

Тру-Кайман и О-Гайе, озера Азюэй и Кагуани, и Лаго Дольче, которое так любил наш касик Анри, и пруды дель Лимон, дель Кабальеро и дель Трухин, и все другие озера, усеявшие величественное царство Золотого Цветка *,— все они возникли из слез, пролитых богами. Быть может,

* Золотой Цветок — королева Анакаона, поэтесса, музыкантша, танцовщица и политическая деятельница.

люди уже успели позабыть, почему наши древние шемесские боги выплакали себе все глаза, почему река Ксарагуа навеки утратила свое счастье в Кровавый день...* И все же озерный край полон бесконечного очарования и прелести.

Прелесть розовых и красных фламинго, взлетающих над зеленой водой.

Прелесть лакомки-гутии **, мелькнувшей в чаше.

Прелесть пальм, вращающих на ветру зеленые лопасти своих мельниц.

Прелесть чернокрылых шумных каосов ***, их хмельные крики среди девственной тишины.

Прелесть сочной мякоти короссолей и мамей, аромат всех плодов, прелесть всех озерных даров, всех красок саванны!

Ослепительная радость Баоруко ****!

В тот год во всех красновато-желтых селеньях, обступающих озеро Азюэй, царили мир и благоденствие. В Фон-де-Шен, в Глоре и Фон-Розо под взрывы веселого смеха, под шутки и песни толкли в ступах просо нового урожая. По обе стороны границы, в Фон-Раве и Дапресе, в Лас-Лахасе и Эль-Фондо, люди перекликались высокими голосами горцев:

— Primo mio! Ví tu campo de maíz y tu huerta de yuccas! Qué maravilla...

— Viste tu el jardín mío? ***** — кричали гаитяне.

— Куманек! В этом году господь милостив! Возблагодарим дождик! — отвечали доминиканцы.

Ибо селенья в озерном крае — братья, братья несмотря на границы, которые воздвигли между людьми ненависть и история. Да, они братья и живут в той же дружбе, которая некогда объединяла деревни индейцев, лепившиеся в тех местах. У народа, живущего на берегах озера, одно сердце, в жилах его течет одна кровь, та самая, которой негры обменялись когда-то с индейцами Касика Свободы. По обе стороны границы живут одни и те же замбосы ******. Мужчины — суровые, ревнивые, мускулистые, худые, немногословные, с большими добрыми глазами и мягкой улыбкой. Девушки — меднокожие, с золотистым отливом, стройные, мечтательные, неутомимые в работе.

Урожай в тот год сняли хороший, давно уж не собирали такого. И нужно быть последним невежей, чтобы не перекинуться словом со своими братьями, живущими по ту сторону границы, не спросить, какой у них урожай. К тому же парни из Химани и Ла-Фурнии, посмеиваясь над редкими в тех местах пограничными постами, приходили в Бокан Тикошан и Солейе поухаживать за тамошними девушками, гордыми и сильными. То же самое было в Тампе, Гуазума, Монте де лос Негрос, даже в Ла-Триншера. И влюбленные, нежно сплетя пальцы, показывали язык самолетам из лагеря Гран-Сабана, которые кувыркались в воздухе, как взбесившиеся мухи. День за днем работали трудолюбивые руки, в полях наливались початки маиса, каждая гроздь бананов орошалась крестьянским потом, величайшей любовью был окружен каждый стручок красной фасоли, каждый стебель иньяма и каждый батат. И вот наконец наступил решающий в крестьянской жизни день — пора было людям собрать плоды своего терпеливого труда. Что скажут торговцы из сосед-

---

* День, когда испанцы убили вождей индейских племен и захватили Анакаону во время приема, устроенного индейцами в их честь.

** Хищный зверек, сородич мангусты.

*** Разновидность вороны.

**** Река на Гаити.

***** — Братец! Я видел твой маис и твое маниоковое поле! Просто чудо!

— А ты видел мой сад? *(исп.)*.

****** Метисы, полунегры и полуиндейцы.

него городка? Почем будет ситец, эмалированная посуда, расписанные цветами стаканы, керосиновые лампы, сахар, соль, мачете, земледельческие орудия? Что нового скажет жизнь в этом году? Что скажет завтрашний день?

В хунфорах пред алтарями громоздились приношения, на озеро спустили пироги, нагруженные винами, настойками, сластями, цветами и фруктами. Агуэ Арройо, бог озер и рек, всегда был отцом и покровителем края, и нужно утолить его голод и жажду, нужно дать ему ладью, в которой он, могущественный лоас, вволю наевшись и напившись, подплывет к берегу и подаст своим детям знак. О, как ждали они этого знака! Что скажут тучи? Что пропоют ветры? Что объявят жрецы, чьи лица всегда так замкнуты? Сбудешь продукты за хорошую цену, тогда запасешься всем необходимым на целый год... Запастись-то запасешься, да разве только в этом дело?.. Никогда не знают покоя люди в озерном крае. Того и гляди — да как раз, когда меньше всего ждешь беды,— нагрянет землевладелец, или окружной начальник, или его советник, или лейтенант, или еще какой-нибудь хищник, и тогда хочешь не хочешь, а подавай ему все, что потребует...

В городке Фон-Паризьен, где все дома источены жучком-древоточцем, скупщик продуктов, налоговый инспектор, землемер и глава муниципалитета держали совет. Да, урожай хорош. Придется теперь крестьянам порастрясти мошну! Местные воротилы разрабатывали настоящий план военных действий... А что говорят столичные газеты? ГАСХО — это что за новый зверь такой объявился? Нацелилась ли эта компания и на Фон-Паризьен? Кем она будет? Союзницей? Или врагом? Вертюс Дорсиль, мэр городка, был настроен совсем не так оптимистично, как его друзья:

— Не рассказывайте сказок, будто ГАСХО станет скупать маис! Что?.. Просо, бататы, манго? Да вы смеетесь! Ах, каучук? А откуда мы его возьмем, ваш каучук? До сих пор жили себе спокойно, так вот, на тебе! Нет уж, извините, я земли не продам. Все мы не прочь иногда пожаловаться на судьбу, а ведь зря сетуем. Испольщики — народ добросовестный, вносят арендную плату в срок. А кроме того, у моей жены — лавка... Куда я отсюда поеду? Разве в мои годы можно менять привычный образ жизни? Нет, никакой ГАСХО здесь не будет, поверьте моему опыту. Выпьем-ка за то, чтобы все осталось как было!

У Фон-Паризьена нет ни границ, ни застав. Главная улица — та же дорога, и вокруг нее роятся домики; они рассыпаны без всякого порядка, просто и естественно, как молодые побеги банана вокруг материнского ствола. Вот и скажи, где он начинается и где кончается, этот городишко. Мирный, тихий уголок, ни шумного колокольного звона, ни военных фанфар.

С котомкой за плечами, в огромной соломенной шляпе, надетой поверх платка, повязанного вокруг головы, колдун Данже Доссу шатался по Фон-Паризьену, поглядывая по сторонам круглыми, как у совы, глазами и рисуя в дорожной пыли своей палкой колдовские круги. Вот уже несколько дней его томила тревога. И тревога эта погнала его в город. Когда он шел через рынок, кругом сразу наступала тишина. Только несколько доминиканских крестьян, приехавших продать свой товар, зашушукались, указывая на Данже Доссу, на колдуна, который известен как заклятый враг Буа-д'Орма Летиро, величественного папалоа*, патриарха и защитника этих мест. Матери хлопали по рукам бедных малышей, которые имели неосторожность показать пальцем на нечестивца, способного отнять у человека его жизнь. Земля словно зазвенела таинственными голосами, в воздухе повеяло чем-то жутким, неотвратимым. Данже Дос-

---

* Титул главного жреца воду.

су, повинуясь неуловимым знамениям, отправился в путь навстречу опасности, которую пока почуял лишь он один. Выпрямившись во весь свой огромный рост и выпятив широкую грудь, колдун шел по городку размеренным трагическим шагом...

III

Фламбуаяны — «пламенеющие деревья», с красными гирляндами на верхушках,— как отряды раненых гигантов, взбираются в гору возле Петионвиля, Ля-Буля, Фермата и других городков. Вокруг горы петляет, вьется дорога, с нее несется неумолчный шум, но тяжелая завеса листвы поглощает все звуки. Тишина долины — лепечущая, прохладная, робкая; в горах тишина становится напряженной и гулкой.

Вилла господина посла стоит на холме, укрытая густой зеленью. Склоны холма — точно палитра, на которую времена года кладут бесконечное множество оттенков зеленого цвета. Бурдон отличается от соседних городков характером несколько скрытным; природа живет здесь жизнью упоительно сладостной, но предпочитает не говорить об этом вслух; дома́ играют в прятки, притаившись во впадинах и ложбинках. Камень, дерево, бетон, черепица, мозаика радуют глаз, внезапно возникая из-за церемонных пальм, кривоногих кенепье и коварных кустарников, всегда готовых отпустить прохожему какую-нибудь колкость. Каждый резидент выбрал холм или ложбину по своему вкусу, но можно подумать, что все эти задумчивые виллы, эти белые, голубые, розовые дворцы, эти стилизованные негритянские хижины с позолоченной соломенной кровлей разместились среди складок земли по четкому плану, повинуясь чьей-то единой воле. Там и сям причудливо изогнутые бассейны для плавания, изумрудные и бирюзовые пруды таращат среди травы свои влажные глаза и удивленно поглядывают на крутые вершины гор, на долину, на блеск далеких озер. Всякого, кто приезжает в Бурдон, сразу очаровывает гармония удивительного пейзажа. Каждый его изгиб, начиная с далекой линии морского берега и кончая гористым горизонтом,— все здесь играет красками, светотенью, бликами, все радует глаз.

Посол приказал повару выбрать для завтрака тропическое меню. Он вовсе не желал угощать своего гостя французскими блюдами; французская кухня, несомненно, возбуждает и подхлестывает человека, но доставляет ощущения слишком изысканные, слишком размеренные и тонкие, которые не в силах притупить остроту ума; наоборот, даже в минуты сладостной истомы они стимулируют мысль, наделяя ее чисто картезианской логичностью. Нет, посол хотел, чтобы архиепископ целиком оказался в его власти, и он решил оглушить гостя, потрясти ощущениями острыми, дикарскими и вместе с тем нежными, поразить резкими и пряными ароматами, ошеломить натюрмортами неистовых тонов, где мясное филе обвито гирляндами из цветов красного перца... Надо охватить его нёбо клещами огня и льда, не дать ему опомниться, уложить на месте и заставить взмолиться о пощаде.

Религия представляла в этой стране немалую силу, и было бы неплохо заручиться ее содействием. Лучшего случая и не придумаешь — архиепископ пожалует сюда собственной персоной. Да, нелегкая, неблагодарная задача выпала на долю посла — орудовать в стране, где народ с такой страстью рвется к свободе. Приходится иметь дело с политиканами чересчур утонченными, слишком, так сказать, латинизированными; чем больше они развращены, тем труднее с ними договориться. И что за олухи сидят в государственном департаменте! Только и умеют, что отдавать приказы в духе повелений Зевса-громовержца, а потом еще удивляются, что провал следует за провалом. Болваны! Надеялись, что все

будет так просто: сиди на куче долларов с большой палкой в руке да веди разговор «с позиции силы», командуя всеми этими неграми, индейцами, метисами, латиноамериканцами и прочими ублюдками! А оказывается, все идет по-иному. Послу приходилось иметь дело с проклятым латинским хитроумием, сдобренным негритянской сметливостью... Пускаться на всяческие уловки... Устраивать завтраки! Исправно играя свою роль могущественного проконсула, он прекрасно сознавал, что в народе бурлят подспудные силы и что янки быстро утрачивают свою власть. Посол видел, какой вред наносит его стране удивительная наивность, свойственная подчас самым опытным американским дипломатам. Так ли уж верно называть наш век американским? Что нужно архиепископу? Говорят, он одинаково опасен и когда поражает собеседника игрой ума и неопровержимой логикой, и когда принимает елейный, благостный вид.

Монсеньор уже поднимался на крыльцо осторожными, мелкими шажками. Он казался воплощением сердечности, простодушия, искренности, сочетавшимися с обычной для духовной особы степенностью. Ну и лукавый старик! Быстрым взглядом он скользнул по лицу супруги посла, вышедшей ему навстречу. Уж эта женщина с седеющими подкрашенными в голубой цвет волосами звезд с неба не хватает. Разумеется, понабралась светскости и изящных манер, но так дурой и осталась. Должно быть, твердит сейчас про себя, как это «восхитительно» — принимать у себя за завтраком католического архиепископа!.. Появился посол, чересчур непринужденный, протянул руку с излишней развязностью, как бы подчеркивая, что он равно готов и к обмену любезностями, и к сражению... Да... Как там, в Европе, титулуют архиепископов? Ваше величие? Тьфу ты, ваше преосвященство!

Шампанское «кордон-вер» наверняка выдержано в подвалах не один год... Дьявольски заморожено... Без сомнения, 1935 или 1936 года. Монсеньор сощурил глаза, поглядывая на развалившегося в кресле посла и его жену, сидевшую на краешке стула как на иголках. Наверно, с этим бокалом в руке он кажется настоящим Рыцарем Тастевенским. Несмотря на забористое шампанское, надо сохранить свежую голову.

Завтрак начался с папайи *, слегка замороженной, с корицей и анисом. Посол радовался, видя, как доволен гость. Действительно, повар Виктор — бесценный человек, мастер своего дела. Сегодня он превзошел самого себя... Беседа шла о красоте Бурдона и его окрестностей. Над столом порхали слова расплывчатые, беспредметные. Супруга посла восседала с восторженным лицом. Нет, посла не назовешь безграмотным ковбоем, и схватка наверняка будет жаркой.

Жена посла была пресвитерианкой; ее безумно интересовали повадки католических епископов, она старалась не упустить ни единого жеста монсеньора. Казалось, он пребывал в задумчивости, и она украдкой изучала его лицо. Однажды ей довелось слышать монсеньора, когда он служил торжественную мессу и голос его наполнял весь храм точно звоном золотого колокола:

— Pater... et Filius... et Spiritus Sanctus... Amen!

Она никогда этого не забудет!

Польщенный похвалой, прелат поудобнее устроился в кресле. Сколько месс в день должен служить архиепископ? Очень ли тяжел его золотой посох?..

Объявить о цели своего визита архиепископ решил в самом конце завтрака. За папайей последовали жареные пискетки **. Выпучив глаза

---

* Плод, похожий на дыню.

** Маленькие рыбки.

и стараясь скрыть жгучие слезы, гость отважно глотал огненную массу. Посол был в восторге.

— Может быть, вашему преосвященству не нравится это блюдо?.. А я специально заказал типично гаитянские кушанья, откровенно говоря, довольно редкие... Чтобы вся обстановка располагала к обсуждению местных проблем...

Его преосвященство запротестовал. Все блюда просто превосходны. Он мог бы воздать завтраку гораздо более пышную хвалу, но почуял ловушку и, опасаясь, что интонации выдадут его, предпочел замолчать. Кровь весело струилась в его жилах, он ощущал удивительную полноту жизни, чуть ли не молодость, а ведь ему следовало тщательно взвешивать каждое свое слово! Посол — превосходный человек, которому не чужды маленькие слабости. А может, в картотеке посла есть даже карточка, где взяты на заметку все вкусы и привычки монсеньора?..

— Монсеньор, мой повар Виктор утверждает, что суп калалу-джон-джон просто восхитителен, особенно когда его запиваешь маби... Знаете, крестьянское пиво?.. Виктор меня убедил. Не хотите ли попробовать? Виктор сам варит это пиво, он владеет всеми тонкостями гаитянской кухни... Открыл Виктора мой предшественник, Норман Армур...

Итак, на столе появился калалу-джон-джон, и чашка этого темного и клейкого грибного супа обожгла его преосвященству нёбо; от каждого глотка калалу вздрагиваешь, а вместе с тем, благодаря маби, эта похлебка освежает. Экзотическое блюдо! Однако оно было для архиепископа более привычным, чем пискетки... Монсеньор делал над собой колоссальные усилия, чтобы не забыть целей своего визита. Что за плутовская страна!..

Все как-то менялось в глазах его преосвященства: багровое лицо посла начало принимать нормальный человеческий цвет, супруга посла, одетая в полотняное платье с вышивкой, вдруг помолодела и вновь обрела пусть несколько примитивную, но по-своему неотразимую прелесть женщин, родившихся на берегах Гудзона. Все трое попались в ловушку, все трое отдали себя во власть жгучих ощущений, рожденных экзотическим завтраком. Нет ничего удивительного, что при такой кухне гаитяне стали народом танцоров. Эти пряные блюда подхлестывают жизненную энергию, как властный звук трубы...

Беседа потекла более непринужденно. Все трое очень любили вкусно поесть, и уж так ли противоположны их интересы? Гаитянское меню, в котором отражена сердечность и искренность народа, его торжествующая любовь к жизни, предстало перед этими гурманами в каком-то похотливом свете. Даже в их чревоугодии не было ни капли непосредственности и простоты. Эта кухня отвечала потребностям народа, вечно полуголодного, ежедневно затрачивающего неимоверные физические усилия; а они воспринимали ее как любители грубо-материальных, животных удовольствий, умеющие ловко прикрывать свое сластолюбие словесной мишурой. На устах одного из сотрапезников всегда наготове слова «свобода», «демократия», «братская помощь» и «западная цивилизация», у другого — «рай», «доброта», «любовь» и «милосердие», но все это легко сводилось к общему знаменателю: оба любили рисоваться и командовать в чужом доме. Может быть, негры, маликоко и как их там еще... может, они и создали нечто приятное, но эти туземцы и сами не понимают всей прелести своих изобретений. Необходимы «цивилизаторы», которые сумеют по-настоящему насладиться любыми ценностями — и показать низшим народам, как нужно жить. В конечном счете, ни чета щедрых амфитрионов, ни их гость нисколько не уважали то, что сами же они провозглашали в пышных фразах,— потому что они не уважали человека. Для них важен был только их *way of life* — их образ жизни, и жизнь имела для них смысл лишь в той мере, в какой они верили в не-

зыблемость своего *way of life*. Жареная козлятина с петрушкой, соус «три разбойника», фаршированные цыплята, пирожки с начинкой из плодов «настоящего дерева», пюре «тамтам» и другие лакомые блюда можно со спокойным сердцем одобрить — так же, как джаз, румбу, примитивное искусство и философию банту. Это ни к чему не обязывает.

Чем больше выпито было французских вин и гудрина *, тем оживленнее становился разговор, тем все более дружеский тон он принимал. Отказавшись от первоначального плана сражения, архиепископ решил дать себе волю. Теперь он не сомневался в победе: посол попадется в собственную ловушку. В конце завтрака, после «цветного риса», подали салат из зикаки, имеющий вкус одновременно груши и сыра. Посол с супругой едва дышали, прелат был совершенно оглушен. Последовали десерт и фрукты, а шампанское из манго достойно завершило пиршество.

Когда подали кофе с превосходным ромом, супруга посла исчезла. Она спешила на заседание дамского благотворительного комитета. Подхватив под руку своего нового друга, посол повел его на веранду. И здесь архиепископ сразу взял быка за рога.

— Что бы ни говорило гаитянское правительство, но задача, за которую берется ГАСХО, будет не из легких,— сказал он.— Весьма вероятно даже, что компания столкнется в этой стране с огромными трудностями: ведь здешние крестьяне трясутся над каждым клочком оставшейся у них земли. Вы, несомненно, слышали о «Маршатере» **? Мы задумали повести борьбу против суеверий... Это совершенно необходимо. Может быть, мы объединим с вами наши силы? Хунфоры представляют собой опорные пункты крестьянского сопротивления. Гаитянское правительство, мне кажется, проявляет нерешительность. Поддержите нас, и вы не пожалеете...

Посол озадаченно смотрел на архиепископа — тот говорил, опустив глаза. Американец был несколько смущен, но ему явно понравилась эта манера говорить без обиняков. Стараясь выгадать время, он заметил:

— Вы умный человек, монсеньор, очень умный...

— Но...

— Если я вас правильно понял, вы хотели бы... ну, как бы это сказать?.. Чтобы впереди трактора шло кропило... Не так ли?..

Архиепископ хранил ледяное молчание. Посол понял, что совершил бестактность, и прикусил язык. Потом, стараясь исправить оплошность, снова заговорил:

— Мы еще успеем побеседовать с вами об этом... Не желаете ли сигару?.. Вам надо бы познакомиться с мистером Фенелом, управляющим ГАСХО. Тоже очень умный человек. Умный и все понимает с полуслова...

■

Пипирит, дерзкая утренняя птаха, самозабвенно заливалась радостной песней в двух шагах от хижины. Рассыпая каскады хрустальных звуков, пернатый будильник приветствовал солнце ликующим гимном. Гонаибо проснулся, прислушался. Потом закачался в гамаке.

— Так! Так! — запели веревки.

Гонаибо потянулся. Птица с новой силой принялась за работу, воздух зазвенел от неистовых трелей. Неужто еще так рано? Да нет, пипирит просто дурачится! Гонаибо хорошо знал эту одержимую пичугу. Всегда или опаздывает, или спешит! Не даст людям поспать, вечно подгоняет их своими нетерпеливыми руладами. Ты что же, так и не замолчишь, нахал ты этакий!..

---

* Искаженное английское «good drink», вино из ананасов.

** Восстание крестьян против американской оккупации в 1929 году.

Гонаибо сел, нащупал пальцами ног землю, вскочил, чуть не вылетев из гамака, и вышел босиком из хижины. За озером поднимался розовый свет. Мальчик подошел к потухшему треугольному очагу, сложенному из закопченных камней, взял щепотку золы, послюнил палец и стал ожесточенно растирать зубы. Прополоскал рот свежей водой, сел на землю. Пипирит восседал на верхушке миндального дерева, похожего на огромный белоснежный и пахучий букет. Время от времени птица наполняла воздух всплесками холодящих, как мята, звуков. В это утро Гонаибо особенно остро чувствовал в себе молодую уверенную силу. Он взял свирель и заиграл, отвечая на каждую трель птицы. Всякий раз пипирит на мгновение замолкал, а потом опять принимался рассыпать хрустальные арабески. Справа густыми волнами плыл запах дикого жасмина, слева несколько ночных красавиц, уже закрывавших на день чашечки своих цветов, наперебой устремляли в воздух фейерверк душистых испарений. Чуть подальше, на склоне холма, магнолии бросали во все стороны свой аромат, и гигантский золотистый иланг-иланг, вытянувшись, точно в молитвенном экстазе, вздымал могучие ветви раздвоенного ствола к белому куполу безмятежного неба.

Дуэт мальчика и птицы продолжался до тех пор, пока совсем не рассвело. Они еще продолжали беседу, когда в ясном небе показалась летящая полукругом стая болтливых каосов. Что нужно этим неугомонным крикунам в такую рань? Чего так галдят эти разодетые во фраки разносчики сплетен? Вот уж у кого действительно язык без костей! Гонаибо швырнул в них горсть камешков. Прочь, проклятые! Тьфу!

Однако это становилось любопытным. Каосы даже не пытались сесть. Они летели плотными стаями, направляясь к озеру. Гонаибо осмотрел горизонт. Где-то очень далеко кружили еще какие-то птицы, как будто уже не каосы. Несомненно, на равнине происходило нечто необычное, нечто такое, что вызвало переполох среди птиц. После короткого раздумья Гонаибо шагнул в хижину и тотчас вышел с мачете за поясом и со змеей, обвивавшейся вокруг его руки. Он пустился в путь.

С каждым шагом в душе Гонаибо все нарастала тревога. Над самой его головой тяжелыми гроздьями испуганно проносились птицы; ящерицы, змеи, всякие лесные зверьки спешили к озеру, как к единственному убежищу. Прежде чем встретиться лицом к лицу с неведомой опасностью, нарушившей привычную жизнь его владений, Гонаибо ощутил потребность разобраться в собственных чувствах. Его владения... Ведь в них — вся его жизнь, его ночи, его дни. Какая опасность ждет его там, вдали? Огонь, пожирающий зеленые кудри равнин? Нет! Он почувствовал бы горячее дыхание пламени, увидел бы зарево в небе. Наводнение? Нет! Не было ни ветра, ни дождя, ни землетрясения. Так что же? Почему все, что было живого в этой бескрайней, поросшей вереском саванне, принадлежавшей до сих пор ему одному, спасалось бегством? Произошло что-то очень серьезное. Гонаибо бросился бежать.

То, что открылось его взору, поразило его. Ничего подобного он еще не видел в своей жизни. И никогда не забудет этой картины. Целые эскадроны белых людей, в одежде защитного цвета, сидели верхом на диковинных железных конях; с непостижимой стремительностью, словно туча разгневанных ангелов, набрасывались они на еще влажную от ночной росы саванну. Все в страхе бежало перед этой бешеной кавалькадой. Сколько их было? Он не мог бы точно сказать, но если даже их было не больше десятка, Гонаибо казалось, что перед ним сотни неистовых всадников. Железные кони, широкие и приземистые, выставляли вперед длинные, сверкающие металлом рога, за которые наездники крепко держались обеими руками. По бокам животных поблескивали новенькие металлические пластины; позади стлался дым; воздух дрожал от сухих коротких взрывов. Кони бешено кружили по степи; лица всад-

ников в кожаных шлемах казались стертыми, бледными пятнами, выделялись лишь темные полоски ремешков под подбородком. Люди переговаривались на чужом языке, звучавшем резко и грубо. Всю степь словно перевернуло вверх дном...

Ужасающий грохот поднимался до самого неба. Что-то трещало, хрипело, стонало, точно на равнине расположилась со своими инструментами целая армия лудильщиков. Конечно, Гонаибо не раз видел на дороге автомобили и автобусы, но те машины не пугали его, те машины не завывали так страшно, как эти дьявольские колесницы, из которых рвутся синие молнии и гремит гром. До сих пор он относился к механизмам равнодушно. Равнодушно смотрел он на самолеты, грузовики, винтовки. С него достаточно мачете, рогатины да камней; а если другим нужны еще какие-то орудия — что ж, это их дело... Правда, иногда его охватывало любопытство, иногда и его влекло неведомое, но ведь он обладал чудесами настоящими, живыми, и ему их вполне хватало. А теперь его царство захвачено чужаками! Он глянул на небо, в котором носились птицы и клубился грязный дым. В воздухе пахло бензином. И Гонаибо поразило предчувствие, что в этот миг кончается его вольная жизнь,— она протекла, как волшебный сон, и вот миновало его господство над необитаемой саванной. До сих пор ни один человек не смел так нагло сюда вторгаться. Эти призраки на железных конях ведут себя как завоеватели, как хозяева. У Гонаибо что-то оборвалось внутри.. То же самое чувство испытали, должно быть, часовые Анакаоны Великой пять веков назад, когда перед ними, точно апокалиптическое видение, возникли всадники Охеды, вторгшиеся в пределы касиката...

Перед Гонаибо был кортеж, возвещавший великие похороны, похороны заживо, когда человек, которого хоронят, еще дышит. Земля, это живое воплощение бога, билась в агонии, извивалась в страшных конвульсиях, распространяя запах плоти своей, своих лугов, деревьев, зверей, запах теплого перегноя, запах своего истерзанного тела. Складчатые склоны горы были траурными знаменами, приспущенными над свежей могилой; солнце пылало в небе, как тысячи свечей, зажженных у гроба; птичьи крики звучали в воздухе нестройным хором плакальщиц; стальной скрежет моторов, окутанных бензиновой гарью, сплетался в громоподобный вопль De profundis. Огромное тело единой и многоликой земли становилось на его глазах жертвой насилия, добычей могильной тьмы. То была трагическая смерть, гибель живого прошлого, отрицание великой преемственности, о которой пела каждая былинка. Земля погибала, и ничто не могло остановить беспощадную руку смерти.

Но разве не был он молодым богом прерий, бессмертным духом земли, воплощением первооснов бытия, самим движением жизни? Разве не был он, Гонаибо, покровителем и защитником озерного края? У него возникло безумное желание — броситься на этих железных коней, гордо, как мстящий за обиды рыцарь, встать во весь рост перед ними, кинуться под неистовые колеса и драться, драться, пуская в ход все, что попадется под руку,— камни, деревья, колючки,— и нечеловеческим ревом сзывать на помощь скалы, воды, ветры, кайманов, чтобы лавиной обрушиться на осквернителей.

Блеянье дикой козочки, оцепеневшей от ужаса, недвижно стоявшей в нескольких шагах от него, привело его в чувство. Промелькнуло человеческое лицо, тонкое, аскетическое, лихорадочно возбужденное. Летя на бешеной скорости, один из мотоциклов задел козу; она отпрыгнула в сторону. Гонаибо схватил ее, обнял, защищая от опасности, но она вырвалась от него, выставила рога, бросилась бежать, наткнулась на другую дьявольскую машину и упала замертво с рассеченным лбом.

Когда он отвел взгляд от мертвого животного и поднялся, вокруг еще клубился дым, плыл едкий запах, в эмалевом небе метались птицы.

Фантастический эскадрон исчез. И тут Гонаибо не выдержал. Его нервы сдали. Он ощутил всю тяжесть своей материальной оболочки. Тяжкий груз собственного тела, человеческой плоти обрушился на молодого бога, на того бессмертного бога, каким он себя мнил,— обрушился и раздавил его. Гонаибо повалился на землю и зарыдал. Он плакал от всего сердца, как плачут только дети, плакал всеми слезами, накопившимися в душе. Он плакал, а вокруг его руки послушно обвилась змея и рядом лежала уже закоченевшая дикая козочка.

Но Гонаибо думал. Он думал, как взрослый мужчина. Никогда еще не приходилось ему думать так напряженно. Теперь он был спокоен, даже холоден. Впервые в жизни он так остро ощутил себя человеком. Кто же подлинная душа прерии — мертвая коза или он? Значит, на свете есть те, кто умирает, и те, кто остается жить. Когда человек перестает быть бездумным козленком, несмышленым мальчишкой? В каком возрасте свершается эта метаморфоза? Он преобразился. Быть может, он остался богом, но теперь он чувствовал себя человеком; теперь он знал, что и его возможностям положен предел. Но как это величественно — быть человеком! Если он хочет вступить в суровый бой, а не просто принести себя в жертву — он должен заранее все обдумать. В этой борьбе ему придется встретиться с насилием, с оружием человеческим, отнюдь не магическим, не сверхъестественным. Мать говорила, что в один прекрасный день он уйдет из саванны, что он должен подготовить себя к этому шагу. Но ему всегда казалось, что здесь, в саванне, таятся источники всех его сил. Кто же он в конце концов? Какие дела предстоит ему свершить? Что предназначила ему судьба? Как достичь высшей радости — ощущения счастья жизни?

Да, он был сын страны «табако», последний из рожденных ею краснокожих сынов. Он был хозяин этой земли! Он будет сражаться за нее, черпая в ее каменистой почве чудесную силу, ту непобедимую энергию, которая подъемлет к солнечному свету кактусы и чертополох, дает жизнь родникам и насекомым. Он должен объявить своим друзьям, одушевленным и неодушевленным, что война началась. Как узнать, о чем думают крестьяне в своих глинобитных хижинах — в земных архипелагах саванны, и старые крестьянки в полях, и пастухи, охраняющие стада, и те, кто плетет циновки и корзины, мастерит трубки и стулья? Чувствуют ли они, что и над ними нависла угроза? Быть может, в предстоящей борьбе он будет не одинок?..

■

Карл Осмен вернулся в Порт-о-Пренс усталый и злой. Подумать только, даже не повидать женщины, ради которой и была затеяна вся эта история! Она надула его! А жаль! У малютки такое стройное атласное тело. И, наверно, хороша в постели. Просто создана для любви. Но так и не удалось ее отыскать. Надула его, мошенница! Да, эта вылазка обошлась ему довольно дорого: путешествие в битком набитом автобусе, потом ночная прогулка верхом по рытвинам, колдобинам и ямам, падение с коня, рана на ноге, ночь, проведенная под открытым небом, в беспамятстве, в сырости, боль, озноб, лихорадка. Наконец трое суток пролежал в хижине одинокого мальчишки без табака и без капли водки — и в довершение всего остался с носом! Но уж так устроен человек. Сейчас проклинает все на свете, а при первом же подходящем случае пойдет на всяческое безрассудство, лишь бы впереди маячил образ заманчивой бабенки или перспектива кутежа в веселой компании.

Приехав, он сразу же отправился к своему приятелю, доктору Панталеону Жану, человеку мудрому, то есть, другими словами, такому же сумасброду, как он сам, брату во Бутылке и товарищу по знаменитой

масонской ложе «Милосердие и приязнь», где встречались самые славные мастера выпивки из квартала Морн-а-Тюф. Узнав от Панталеона, что Диожен назначен священником в Гантье, а Эдгар — командиром пограничного отряда в той же зоне, Карл тотчас взял такси и помчался к Эдгару. Он был без гроша и хотел занять у брата деньжат, пока тот не уехал. Против всех ожиданий, Эдгар принял его весьма приветливо. Лейтенант Эдгар Осмен укладывал чемоданы. Он собирался обновить красный «бьюик», последний крик моды, и, судя по всему, был при деньгах. Потирая руки, Карл обдумывал, под каким предлогом заставить брата раскошелиться. Но тут — еще один сюрприз! — Эдгар сам предложил ему денег.

Эдгар пребывал в расстроенных чувствах. Ему явно хотелось, чтобы их дружба возобновилась. Просто невероятно! Более того, Эдгар казался встревоженным, разочарованным, терзался угрызениями совести. Хлеб, купленный ценой предательства, явно не шел в глотку. Карл опять разругался с братом, наотрез отказавшись быть его сообщником, но деньги взял. Все же Эдгар предложил ему вместе поехать в Сен-Марк, присутствовать на первом богослужении преподобного отца Диожена Осмена. Оттуда они вчетвером, вместе с Леони, отправятся в Фон-Паризьен. Итак, Карл мог бы провести несколько дней в семье, если, конечно, это ему улыбается. Карл снова отказался, и братья обменялись словами резкими и злыми. Эдгар был настроен меланхолически, он не мог вынести одиночества. Карл вдруг понял это и, не испытывая к брату никаких чувств, кроме презрения, все же пожалел его. Да, если разобраться, Эдгар — жалкий человек, несчастный забулдыга, не знающий радости в жизни.

Почти всю ночь братья молча пили. Пили зверски. У Карла, как всегда, был безмятежный вид черного ангела. Эдгар был мрачнее обычного. Когда начало светать, оба лежали одетые поперек кровати, оглашая комнату храпом. Лишь только взошло солнце, механический хохот будильника грубо нарушил их пьяное забытье. Через несколько минут большой красный «бьюик» уже мчался на бешеной скорости по дороге на Сен-Марк...

IV

Чтобы отпраздновать победу своего племянника, мадемуазель Дезуазо устроила прием для узкого круга друзей. Под торжественный вечер был отведен большой салон в стиле Людовика XV, где кресла, собственноручно подписанные Булем *, и обюссоновские ковры, протертые до самой основы, бросали последние отблески былой роскоши. Под дуновением морского ветра хрустальные люстры ухмылялись тысячью и одной подвесками. Рояль, покрытый шелковой попоной, точно слон индийского набоба, скалил вставные зубы из старой слоновой кости и черного дерева.

Получить приглашение могли лишь те, кто насчитывал среди своих прадедов хотя бы одного коммерсанта-фрахтовщика, вассала короля Анри или императора Фостена, или, на худой конец, те, кто сам был «большим доном», владел несколькими сотнями гектаров земли. Теперь, когда Невер, благодарение господу, стал депутатом, можно было без особого ущерба для своих интересов не водить больше знакомства со всякой «мелкотой», которую приходилось терпеть последнее время. Но что поделаешь, признательность становится иногда горькой необходимостью! И мадемуазель Дезуазо вынуждена была согласиться, что

* Французский краснодеревщик конца XVII — начала XVIII века.

нельзя забывать о семье Осмен, тем более что Эдгар мог бы в будущем послужить некоторой опорой для министерского кресла, о котором Невер мечтал днем и ночью. По зрелом размышлении старая герцогиня напыжила морщинистую, как у ящерицы, шею и решила послать Осменам приглашение.

Забавные люди эти старомодные аристократы, сливки провинциального бомонда! Даже новоиспеченные буржуа, пробившиеся благодаря совсем иным качествам — решительности и деловитости,— частенько чувствуют свою неполноценность перед лицом этих последних из могикан. Впрочем, подобная робость в конце концов вполне объяснима: не в состоянии ничем другим подтвердить свое право вращаться в высшем свете, выскочки цепляются за ветви генеалогического древа своих родовитых предшественников. И даже тогда, когда *self-made-man* безжалостно высмеивает аристократов как несомненный анахронизм, он невольно питает к ним некоторое почтение. Ведь эти смешные призраки охраняют то сложное переплетение косности, самодовольства и предрассудков, в котором так нуждается социальный консерватизм. Империя его величества короля Британии держится в значительной мере с помощью медвежьих киверов, красных штанов, геральдов, копий и алебард. И если нувориши хотят, чтобы люди забыли об их плебейском происхождении, им выгодно получить благословение титулованных чудаков, над которыми они сами же и смеются.

О, нужно своими собственными глазами увидеть их, этих ископаемых, преисполненных чванства, поражающих своими нравами и обычаями! Часы с кукушкой в их столовых остановились в прошлом веке, а они упорно стремятся сохранить в обществе «положение», на которое давно не имеют никаких прав. Жалкие, скаредные, они дрожат над последними грошами и пытаются обломками былого величия отгородиться от всего мира. Мадемуазель Дезуазо как раз и принадлежала к числу старых дур, ничего не видящих, кроме портретов своих предков. Род Дезуазо пошел от вольноотпущенников, которые сами стали рабовладельцами и, поднимаясь все выше, превратились в заядлых феодалов и милитаристов — на местный, гаитянский лад,— в карателей и душителей свободы. Мадемуазель Эмилия все не могла забыть роскоши, царившей в доме ее двоюродного дяди, не могла забыть великолепного выезда — шестерки английских лошадей, которым славился этот бывший директор таможенного управления и хапуга большой руки. Она осталась старой девой, и причиной тому были закостенелые воззрения, доставшиеся нашей мулатской буржуазии в наследство от вольноотпущенников Сан-Доминго. Единственная дочь, она была воспитана в ожидании белого жениха, который снизойдет до нее и «улучшит породу». Рассказывали даже — у людей такие злые языки! — что в дни ее молодости мать предупреждала ее о женихах, достойных внимания, условным криком:

— Эмилия! Вот белое!..

Поклонники Эмилии Дезуазо умирали не столько от токсической желтухи, этого ужасного недуга, который убивал многих белых искателей приключений, приезжавших на Гаити, сколько от несварения желудка. С неистовой нежностью вылизывая своего детеныша, мартышка иногда замучивает его до смерти. Так поступали в те времена папеньки и маменьки невест: теряя от радости голову при виде будущих белых зятьев, они кормили их как на убой, потчуя всякими гастрономическими чудесами... Эмилия Дезуазо искала «своего белого» среди белобрысых немцев и длинноголовых датчан с зеленовато-синими глазами. Но все они почему-то ускользнули у нее из рук. С годами, отчаявшись выйти замуж — о Лафонтен, ты так же вечен, как бог-отец! — она готова была удовлетвориться и простым смертным с берегов Средизем-

ного моря, но, увы, таковой не явился. И пришлось Эмилии Дезуазо «хранить до могилы то, что даровано ей в колыбели»... Все это очень прискорбно, но факт остается фактом. И я обращаюсь ко всем сутенерам и сводникам, ко всем безработным конюхам старушки Европы! Есть еще, есть во многих странах нашей благословенной Центральной Америки десять тысяч знатных семейств, которые по-прежнему ждут с нетерпением, чтобы кто-нибудь добавил белизны к их породе!..

Прием был в полном разгаре, когда появились Диожен и Карл. За неимением белых здесь была целая выставка самых редких экземпляров столь разных этнографических типов, что специалист по гибридизации мог бы собрать богатый урожай интереснейших научных наблюдений. Окруженная старыми ящерицами, старыми попугаихами, всеми жеманными дурами, мадемуазель Дезуазо, по традиции, восходящей к мадам Дю-Деффан, восседала в огромном кресле, обитом облысевшим бархатом; на лице — толстый слой белил, вокруг шеи — зеленая бархотка, на плечах — кружевная шаль, ниспадающая до колен; грудь затянута в корсет со стальными пластинками, и к этой иссохшей груди рука прижимает лорнет; платье сшито из голубовато-сизой тафты. Увешанная драгоценностями, вся в кружевах и лентах, точно забинтованная мумия, с отвислой губой и мушкой в уголке рта, она протянула свои морщинистые, унизанные перстнями пальцы сперва Диожену, потом Карлу.

В блестящей мозаике собравшегося в салоне бомонда там и сям мелькали причудливые фигуры живых окаменелостей. Диожен остался возле кресла герцогини, а Карлу, под натиском молодежи, пришлось идти к дряхлому роялю, ввезенному в страну еще при Жефраре *. Лицо у Карла было усталое, на душе мрачно и грустно. Конечно! Им просто нужен пианист! Все же он подошел к роялю, резко провел по клавиатуре тыльной стороной руки. Инструмент был в довольно сносном состоянии. Карл бросил насмешливый взгляд на обступивших его людей, сел. В салоне полились звуки «Звездного вальса» Ламота **. С дерзкой и горькой улыбкой Карл извлекал из рояля романтические аккорды, то бурные, то умиротворенные. Струны дрожали, точно слабые старушечьи голоса на свадебном пиршестве. Несколько нот, совершенно расстроенных, детонирующих, придавали вальсу старомодный и трагический оттенок. Несмотря на почтенный возраст инструмента, музыка гулко отдавалась в зале. Сборище марионеток отодвинулось куда-то далеко. Карл видел всех смутно, точно их скрывала полупрозрачная завеса; он летел в небесах, срывая звезды в черной тьме тропической ночи. На крыльях ветра парил он над морем, а внизу сверкали огни и пенились белые гребни прибоя.

Раздались жидкие аплодисменты, но Карл ничего не слышал. Он просидел несколько минут неподвижно, свесив руки, уставившись в одну точку. Вокруг шептались. Даниэль Деллегрини, молодой рыжеволосый мулат, тихонько зубоскалил:

— Осторожно! Абобо! В этого прелестного негра вселилась Африка!.. Тсс... Осторожно!..

Вдруг он умолк: мимо проходил Диожен. Карл опять поднес руки к клавиатуре. Он начал было играть «Гимн Солнцу» Жюстена Эли, потом, откинув с вызывающим видом голову, заиграл allegro. Стиснув зубы, он вырывал из рояля звуки пылкие и стремительные, говорившие о радостях минувшего, о танцах королевы, о ее смерти и перевоплощении. Зазвучали ритмы прекрасного древнего Аити; верный духу прошлого, музыкант придал им хмельное буйство плясок короля Остро ***

---

* Президент республики Гаити в шестидесятых годах прошлого века.

** Известный гаитянский композитор-романтик.

*** Знаменитый народный танцовщик из карнавальной труппы «Солнечный блеск» в предместье Бэль-Эр.

и его принцев, одетых в расшитые белые туники... Вплелись отрывистые быстрые такты плясовых мотивов, а за ними ликующая юность запела «занми манманана» *...

Подошел Невер и сказал, поздравляя с успехом:

— Вы играли прекрасно... Прекрасно... Но, быть может, мои гости предпочли бы нечто вакхическое из эпохи Регентства, а еще лучше — хорошую танцевальную музыку...

Карл не ответил. Он посмотрел на окружавшие его лица, удивленные, равнодушные или рассерженные. Потом встал и пошел прочь, прокладывая себе дорогу в толпе гостей. Несколько человек отвернулось, стараясь скрыть злую усмешку. У окна Карл встретился взглядом с двумя сверкающими черными глазами, смотревшими на него в упор. Темные тени вокруг глаз говорили о частых слезах, зрачки горели огнем. Лицо было округлое и чистое, как кайемит **. Незнакомка ответила на взгляд Карла улыбкой. Тогда Карл, не довольный своей простодушной откровенностью, ибо за роялем он выдал себя, раскрыв в музыке свои заветные чувства, тоже улыбнулся. Улыбка была насмешливая, злая, вызывающая. И все же первым отвел взгляд он, а не прекрасная незнакомка.

В салоне опять все загомонили. Барышни затараторили, обсуждая последнюю пластинку Тино Росси, фильм «Разносчица хлеба», романы Мориса Декобра, болтая о всяких пустяках. Молодые люди налегали на коктейли и пунши. Господа зрелого возраста занимались высокой политикой. Окруженная целой ротой старых жеманниц, наперебой чесавших свои ядовитые языки, мадемуазель Дезуазо млела от удовольствия. И вдруг произошло то, что неизбежно должно было произойти. Герцогиня в переливчатом голубовато-сизом шелку так ерзала в кресле, а ее приятельницы с такой силой наваливались на спинку этого древнего кресла, что оно не выдержало и с треском развалилось на куски. Все кинулись выручать старуху, которая барахталась на полу среди своих разметавшихся юбок, шалей, оборок, панталончиков и витых ножек несчастного кресла, извергнувшего из своего нутра комья конского волоса и трухи. Преподобный Диожен Осмен не мог сдержаться и разразился смехом, раскатистым, непристойным, с хрипом, присвистом, икотой, с каким-то кудахтаньем, которое, возникая на миг, тонуло в каскадах и всхлипываньях всех тонов и оттенков. То был стихийный, неодолимый смех, смех откровенный, простонародный и такой неистовый, что лицо Диожена моментально взмокло, словно его облили водой.

Кое-кто захихикал было — и тут же смолк. Почтенное собрание сковала ледяная тишина. Супруга префекта поглядела на Диожена, который все еще прыскал, хватаясь руками за живот, и не могла удержать негодующего возгласа «О боже!». Это была катастрофа. Диожен, сконфуженный, потрясенный собственной невоспитанностью, умолк. Зря пропали его многолетние старания подавить в себе здоровую натуру истинного сына квартала Ля-Сьери! Бедняга не знал, куда деваться. За долгие годы, проведенные в католической семинарии, ему ни разу не приходилось смеяться таким смехом. Ах, черт побери, да как он мог утратить достоинство, подобающее его сану! И до такой степени забыться!

Даниэль Деллегрини весь трепетал. Он испытывал обычно почти физический страх перед теми из своих соотечественников, которые принадлежали к явно негроидному типу: они напоминали ему, что и он принадлежит к этой презренной расе. Он не мог им простить, что и в его жилах течет негритянская кровь, которую он считал позорной для гаитянской нации; из-за них ему трудно было объявить себя белым —

---

* Народный детский хоровод.

** Тропический плод.

креолом, в крайнем случае с примесью индейской крови. Он обрадовался оплошности, совершенной Диоженом, и пошел на подлость, заставив несчастного семинариста испить горькую чашу до дна.

— Отец Осмен еще не понимает, как можно и как нельзя смеяться в салоне мадемуазель Дезуазо. Ему не знакомы правила учтивости, и за это мы прощаем его! — провозгласил Деллегрини.— Обвиним лучше тех, кто, желая спасти свою душу и укрепить свои политические позиции, навязал нам общество грязной свиньи!.. Как будто сутана может скрасить плебейское рыло!..

На губах гостей зазмеились злорадные улыбки. Сторонники «улучшения породы» взяли реванш. Невер мгновенно измерил всю глубину опасности. Не желая терять расположение Леони и Эдгара Осменов, он одернул заносчивого мулата:

— Дорогой Деллегрини, я не вижу ничего серьезного в этом мелком происшествии. Вы, конечно, прекрасно знаете все правила светского этикета и получили самое тонкое воспитание, но все же я попросил бы вас не издеваться над моими гостями... Преподобный отец Осмен и его брат — наши друзья...

Мадемуазель Дезуазо поняла своего племянника. Она улыбнулась господину Деллегрини и взяла под руку отца Осмена.

— Прошу к столу, друзья мои,— сказала она.

Вся эта сцена восхитила Карла. Вдруг он почувствовал осторожное прикосновение чьей-то руки. Обернулся и увидел совсем близко все те же черные глаза, горевшие еще более ярким огнем «Пойдем отсюда,— говорили глаза,— пойдем, брось этих марионеток, пойдем, я жду тебя...» Но Карл уже давно решил, что он обязан играть роль насмешника и циника, принадлежащего к богеме и ни во что не верящего. На презрение, которое выказывало ему «хорошее общество», он хотел отвечать еще большим презрением. Он и сюда-то пришел только для того, чтобы втайне потешиться над нелепым спектаклем, бросить вызов этим паяцам. Он судил о них с пристрастием озлобленного человека и даже был несправедлив — считал, что в этой блестящей пустыне нельзя найти ни единого живого ростка. Диожен нечаянно совершил то, что Карл мечтал сделать сам,— и чего он не сделал лишь из уважения к своей матери. Вот почему поэт стойко выдержал устремленный на него нежный взгляд и, напустив на себя надменность, всем своим видом, казалось, говорил: «Я выше всех вас, я всех вас презираю, что бы вы там о себе ни думали, я отказываю вам в правах на мое сердце. Я не делаю никаких исключений — все вы ничтожества! В лучшем случае вы, женщины,— миловидные заводные куклы, совершенно бесполезные и не способные пробудить во мне ни малейшего интереса. Я даже не презираю вас... Я просто не желаю вас знать!»

Он отвернулся, и лицо его снова приняло злорадное выражение — его забавляла человеческая комедия, которую разыгрывали перед ним. Сущий балаган! И наш герой сделал три танцующих шага навстречу какой-то матроне и с самой дерзкой своей улыбкой предложил ей галантно руку.

■

Карл ушел от Дезуазо сразу же после обеда, даже не предупредив брата о своем уходе. Диожену пришлось возвращаться одному по темным улицам. Он шел торопливым шагом, снова и снова переживая свой позор. Обида комком стояла в горле, он не мог ее проглотить, горечь ее была в груди, в сердце, в руках, во всем теле!

Господи, как жестоки творения твои! Разве не с искренней радостью пошел он на этот прием? Почему люди так злы? В голове у него

шумело, уши пылали, нервы были напряжены. Почему бог допускает, чтобы на древе зла, возросшем по бесконечной благости его, расцветала пышным цветом такая злоба? А ведь сегодня, когда Диожен, слуга господен, страдает от уязвленного самолюбия, зерно ненависти может запасть и в его сердце. Зерно это, того и гляди, разрастется и безраздельно завладеет душой...

Недалеко от моста Пьер ему вдруг показалось, что навстречу движется стадо каких-то рогатых животных. Нервно вытер он тыльной стороной руки капли пота со лба, словно изгоняя из головы кощунственные мысли. Что ж это он богохульствует?.. Стадо приближалось с неистовым блеяньем. Козы, длиннобородые козлы, козлята на высоких ножках шарахались из стороны в сторону, толкая друг друга, надвигались на него странным водоворотом, преграждали ему путь. Диожен прирос к месту. Его била дрожь, ноги подкашивались, и горло сдавило спазмами — он не мог произнести ни звука... Там, у перил моста, в сумраке ночи вырисовывалась высокая черная фигура — неясный, расплывчатый силуэт...

Был ли то Дьявол, в существовании которого он только что сомневался? Или на мосту возник призрак Эпаминондаса Гийома, гиганта в семь футов ростом, трагического дервиша, который, по слухам, начинает кружиться волчком всякий раз, как простой смертный осмелится взглянуть в его страшное лицо удавленника? Диожен снова двинулся по булыжной мостовой; он шел потупив взор, дрожа всем телом и чувствуя, как у него от страха бегут по спине мурашки. А если это Лидия Попé, длинноволосая женщина-оборотень, которая может появиться в любой час ночи в образе кота с горящими глазами, а не то обернуться белой свиньей или взлететь орланом на дерево и там растаять, поднявшись к небу спиралью черного дыма? А может быть, перед ним стадо макандасов *, а гигантская тень на мосту — их вожак, злобный колдун, который стоит на голове, скрестив руки и ноги?

Пошатываясь, бормоча заклинания, Диожен развязал веревку, которой была подпоясана его сутана, и крепко зажал ее конец в кулаке. Он двинулся вперед и, высоко подняв над головой руку с веревкой, приготовился нанести удар. Козел бросился ему под ноги. Диожен упал. Запутавшись в сутане, он бешено отбивался, пытаясь встать; наконец он вскочил на ноги, растерянный, с блуждающим взглядом. Значит, вчерашнее посвящение в сан, святое помазание не в силах предохранить его от страха перед злыми ночными духами, на которые так щедра народная фантазия! Он попятился, споткнулся о камень и чуть не растянулся снова. Тогда, с героизмом отчаянья, он ринулся вперед, пробивая себе дорогу. Вот стадо осталось позади. Он побежал. Путь к Порталу Ля-Сьери лежал через лабиринт узких переулков с покосившимися домишками. Он бежал во весь опор. Возле реки послышался дикий хохот, отдававшийся эхом в ночной прохладе. От страха у Диожена стучало в висках. Он помчался вихрем; камешки пулями летели из-под его башмаков.

Добежав до дома Леони, он влетел на террасу и обоими кулаками принялся барабанить в дверь. Мать, встревоженная, полуодетая, открыла ему. Он вошел, захлопнул за собой дверь и привалился к ней спиной, едва переводя дыхание.

■

Карл вернулся домой только утром. Остаток ночи он пропьянствовал в притонах Фор-Бержерака. Глаза его покраснели от бессонницы, но он казался более бодрым и веселым, чем обычно. Периоды нервного воз-

* По народному поверью, колдуны, которые толпами разгуливают по ночам, пугая прохожих.

буждения бывали у него довольно часто, но вслед за ними наступала депрессия, полный упадок сил, беспричинная тоска, свойственные неврастеникам, у которых душевное состояние отличается неустойчивостью. Окружающие не страдали от этих перемен в настроении Карла: каждый раз, когда он чувствовал приближение мрачной хандры, он заранее уединялся; но — великий боже! — как мучительна была эта тоска, это резкое падение жизненного тонуса! Все тело ныло, тревога тисками сжимала грудь, кровь казалась насыщенной смертельным ядом, постепенно отравлявшим душу. Тогда он начинал пить. Потом наступал период подъема. Он спешил воспользоваться этими днями для того, чтобы уладить дела, заработать себе на жизнь, о чем-то подумать, что-то создать — чтобы утешить себя иллюзией, что он не паразит, не лишняя, бесполезная деталь в механизме бытия. Живое существо всегда бунтует против неподвижности, всегда восстает против некоторых черт собственной природы, сближающих его с миром растительным, с травами, грибами, плесенью...

В то утро, когда он вошел в маленькую столовую, его встретил свежий запах простокваши, приятнейший аромат сдобных, еще горячих булочек и сверкающий красками натюрморт, состоящий из подрумяненных кассавов *, плодов авокадо, бананов и манго. Завтрак ждал его. Леони искоса взглянула на сына. Ей очень хотелось дать ему нагоняй — просто для порядка, чтобы показать, что она по-прежнему здесь хозяйка. Но она улыбнулась украдкой, опустив голову, и ничего не сказала.

— Здравствуйте! — сказал Карл.

«Здравствуйте» — всегда самое новое слово на земле! Произнося его в то утро, Карл не только приветствовал свою мать, такую славную женщину, и брата, сидевшего с утомленным видом,— нет, у Карла было чувство, что он приветствует все живущее в мире, всех старых и вновь обретенных друзей: солнце с румянцем во всю щеку, шершавые деревья, горбатую гору с выпирающими ревматическими суставами, утренний бриз, мошкару, которая спозаранку толчется в воздухе, плоды на столе и птицу, что сидит на короссолевом дереве в своем пернатом фраке и с важностью певца-виртуоза поглядывает вокруг. Карл ощущал удивительную легкость, как будто вернулось на миг безмятежное утро его уже далекого детства. Он сел, счастливый, что может отдохнуть у домашнего очага, и принялся за еду. Леони тоже была в хорошем настроении.

— Эдгар должен сейчас вернуться и отвезти нас в Фон-Паризьен,— объявила она.— Почему бы и тебе, Карл, не поехать с нами? Теперь как раз идет сбор урожая, и как адвокат ты наверняка нашел бы несколько выгодных клиентов. Это лучше, чем без толку слоняться по Порт-о-Пренсу...

— Я подумаю,— ответил Карл.

— Почему не решить сразу? Что тебя останавливает? Эдгар приедет с минуты на минуту. Нужно быстро решить.

— А куда мне торопиться? Если нужно ехать в Фон-Паризьен только для того, чтобы встретить еще каких-нибудь Дезуазо, я, пожалуй, предпочту остаться...

Леони не настаивала. С Карлом всегда приходится быть начеку, говорить еще осторожнее, чем с двумя другими сыновьями, иначе, того и гляди, совсем его отпугнешь.

Эдгар появился в десять часов утра. Семья собралась во дворе, под короссолем. Леони уселась в качалку, как в председательское кресло.

— ...Эдгар, говорят, тебя посылают туда в связи с делами ГАСХО. Говорят также, что скоро поведут кампанию против водý, что людей силой заставят отказаться от их лоасов.. Я хотела бы, чтобы вы были со

* Лепешки из маниоковой муки.

мной откровенны. Разумеется, вы избрали себе такие профессии, что приходится выполнять приказы высокого начальства, но всегда можно найти способ не делать того, что тебе не по душе, или уж по крайней мере выполнять приказы на свой лад... Если люди правду говорят, значит, от вас потребуют поднять руку на то, что составляет душу этого глухого края. Молодость безрассудна. Вспомните же, что у нашей земли есть свои обычаи, свои тайны, свои святыни, и всякий, кто посмеет их осквернить, будет сурово наказан! Вы, конечно, считаете себя взрослыми, но, разрази меня гром, я-то знаю, что вы еще дети. Если вы осмелитесь кощунственно посягнуть на то, что дорого народу, знайте: таинственные силы этой страны обрушатся на вас, повергнут в прах, отшвырнут, как жалких марионеток,— или вас там просто-напросто убьют. Благодарите небо за то, что у вас такая мать, как Леони Осмен! Я знаю, вы не можете ослушаться начальства, но обещайте мне ничего не предпринимать, не посоветовавшись со мной. Поверьте, дети, только гвинейская негритянка Леони сможет уберечь вас от опасности!

И долго еще шла беседа под старым короссолевым деревом...

V

— ...Эй, мальчик! Я кому велел пойти за кормом для свиней? Ты до сих пор еще не ушел?..

«Мальчик», иначе говоря Жуазилюс, искоса взглянул на «старую макаку» — на своего собственного крестного, генерала Мирасена. Жуазилюс буквально метнул на него яростный взгляд, но не стал дожидаться нового окрика и убежал.

Генерал Сен-Фор Мирасен, «геал» Мирасен, как называли его в деревне, развалился в пестром гамаке; в руке он держал веер, на животе лежала глиняная трубка, на коленях — ременной кнут; обтянутый полотняным гамаком зад грозно навис над землей. Беззубый, ввалившийся рот Мирасена беспрерывно шевелился. У геала Мирасена были потрясающие усы, похожие на изящную фигурную скобку с устремленными к носу кончиками; густые завитки усов загибались вниз и лезли в рот; казалось, Мирасен без устали жует растущую во рту шерсть. Вот длинная тощая рука свесилась вниз, пошарила по земле, цепкие тонкие пальцы схватили бутылку полынной водки, подцепили серебряную чарку — на миг сверкнула внутри позолота — и доставили добычу в гамак. Мирасен налил себе водки, выпил, поморщился, сплюнул струйкой коричневой слюны и, будто продолжая бесконечный монолог, снова зашевелил губами.

Жара уже спа́ла, в розовых лучах заката листья плясали неистовую джигу. Небо между двумя мысами из свинцово-серых, позолоченных по краям туч казалось лазурным заливом, причудливым и нежным. В нем высились темные, обведенные оранжевой каймой горные цепи, топорщились перламутрово-бледные рифы, тянулись извилистые берега светлых фиордов, проплывали ладьи с розовыми парусами; по небу разбросано было множество островов — красные, охровые, шафрановые, коричневые, фиолетовые архипелаги. Светоносные перья, султаны, помпоны, воздушные леденцы и марципаны... А в глубине небесного моря просвечивали стебли лиловых водорослей, угадывались светлые диски медуз, и среди облачков зеленых брызг плыли страусы и фламинго, пролетали крылатые угри и карпы. То здесь, то там вставали на дыбы белые облачные кони. Вечерний пассат скользил над самой землей, овевая прохладой усталых крестьян, возвращавшихся домой с мотыгами на плече, а листья, это неутомимое племя танцоров, вслух поверяли друг другу свои секреты. Вдали, на краю равнины, равнины щедрой, плодородной, мер-

но дышавшей, как спящий человек,— неподвижное озеро тихо смотрело на таинственный обряд, свершавшийся в небесах. В серебристой озерной глади отражались облачные корабли и огромная облачная акула, медленно проплывавшая по небесному морю.

Жуазилюс просто забыл, что сегодня день, когда надо идти за кормом для свиней, а то ведь прогуляться в город — для него истинное наслаждение! Мир еще не видал такого шалопая, как Жуазилюс. Геал Мирасен был втайне очень привязан к этому сорванцу, который хорохорился и дерзил, даже когда ему задавали хорошую взбучку. Пожалуй, крестный был единственным, кто умел укрощать Жуазилюса. Парень повиновался ему, но повиновался со злостью, словно сердитый зверек, готовый в любой миг царапаться, кусаться, драться.

Городок Фон-Паризьен и его окрестности по существу составляют одно целое. Горожане охотно собирали для свиней геала Мирасена очистки овощей, кожуру бананов и бататов, всякие стручки, отбросы, огрызки. Ни один человек не отказал бы в этом генералу. Жуазилюс обожал бродить по трем пыльным улицам, заходить во дворы, с невинным видом высматривать и вынюхивать все кругом, совать повсюду свой любопытный нос и, вернувшись в деревню, злословить напропалую. И какое блаженство было написано на его физиономии, когда он мог рассказать, что у господина Бонавантюра — водяной пузырь на пятке, что дочка мэра Вертюса Дорсиля носит бюстгальтеры, в которых великолепно уместилась бы пара огромных дынь, что Анж Дезамо, налоговый инспектор, завел шашни с Александриной Аселём, женой землемера,— и уйму других не более пристойных вещей.

Занятный человек этот геал Мирасен! Он ведь и в самом деле генерал, служивший в прежней национальной армии, до того, как янки оккупировали страну, настоящий генерал, который и пороха понюхал, и под картечью погарцевал на коне, и с пушками дело имел. Этот полководец, едва умевший читать по складам, выиграл не одно сражение. Но явились американцы, и славным походам пришел конец. Теперь он жил в деревне, и все его владения состояли из клочка земли да ветхого домишка. С помощью десятка крестников он выращивал маис, просо, бататы, манго, бананы, разводил свиней и птицу, держал быка и трех коров. Генерал опять стал крестьянином...

Появились Аристиль Дессен, Инносан Дьебальфей и Теажен Мелон — три приятеля, которые частенько скрашивали одиночество генерала и поддакивали старику, слушая его нескончаемые рассказы. К тому же под гамаком, дразня и лаская взор, всегда стояла бутылочка... Впрочем, она манила не только наших троих дружков, но еще целую роту крестьян, и генерал никогда не испытывал недостатка в обществе. Это были простые деревенские люди, чей удел — изнурительный труд да соленый пот, люди, которые изредка могут пошутить, посмеяться, а отдыха не знают никогда. Нельзя сказать, чтобы они не испытывали привязанности к радушному хозяину. Нет. За тридцать лет соседства здесь образовались прочные, хотя и незаметные для постороннего наблюдателя узы, перед которыми бессильна мужицкая расчетливость и вечная забота о выгоде.

Во главе троих куманьков шествовал Инносан Дьебальфей, долговязый старик, похожий на «новогоднюю метлу» *, с жесткими рыжими волосами и взлохмаченной рыжей бородой. Застарелый ревматизм согнул его, искривил поясницу; маленькие и юркие глазки горели хитростью и лукавством. Круглый и удивительно гладкий, будто отполированный, нос свидетельствовал о том, что его обладатель был когда-то лихим плясуном, весельчаком и гулякой, каковым, впрочем, и остался до ста-

* Метла на длинной палке для большой уборки.

рости лет. У Инносана Дьебальфея был крохотный участок, засеянный маисом и другими злаками,— недалеко от хижины генерала Мирасена, возле родника О-Момбен. Двое других шагали следом — все в одинаковых синих блузах и синих штанах. Аристиль Дессен был маленький человечек с желчным лицом, готовый наброситься на каждого, кто посмеет назвать его коротышкой. С болтающимся у пояса мачете, переваливаясь с боку на бок и подпрыгивая на своих изъеденных клещами ногах, он точно спешил выложить перед генералом целый мешок новостей. Вот говорун! Он даже соперничал немного с геалом Мирасеном по части хвастливых историй, ведь когда-то он в приступе яростного гнева взял старое ружье, спрятанное на чердаке, как у каждого доброго гаитянина в те времена, и уложил на месте одного наглеца янки, солдата морской пехоты, после чего присоединился к вооруженному отряду патриотов Шарлеманя Перальта и долгие годы принимал участие во всех смелых вылазках партизан.

Теажен Мелон, человек ни худой, ни толстый, ни длинный, ни короткий, отличался уравновешенным характером и рассудительным умом. Он шел неторопливым размеренным шагом, торжественно неся на плечах свою многомудрую голову, и на лице его было выражение глубокого спокойствия. Голова у Теажена непрестанно тряслась, и лишь это выдавало его преклонный возраст. Чопорный, подозрительный, да к тому же еще и заика, он обычно молчал, но если разговор заходил о хозяйстве, он собирался с духом и внезапно разражался какой-нибудь лаконичной нравоучительной фразой.

— Геал Мирасен, ворам удержу не стало! — вскричал Аристиль.

— У меня стянули козленка и трех кур! — объявил Инносан.

— Эти стер... стер... стервятники очистили весь мой сад! — поддал жару Теажен.

Аристиль вовсе не был расположен уступать слово другим жалобщикам. Он был крайне возбужден и, казалось, принял крайне важное решение. Он заговорил, призывая генерала в свидетели:

— Разрази меня гром, геал Мирасен, если они опять заявятся, быть беде! Клянусь, я проучу поганых ворюг, и будь я проклят, если не отрублю кому-нибудь из них башку своим мачете! Клянусь, я устрою у себя в саду такую штуку, что они, мерзавцы, к месту прирастут и будут стоять не шелохнувшись до рассвета, словно в столбняке... Неужто я день-деньской ковыряю мотыгой землю только для того, чтобы негодяи и бездельники вырывали у меня изо рта последний кусок хлеба!.. Угостите глоточком вина, геал Мирасен!..

Он схватил бутылку и отправил в горло большой глоток водки. Тотчас его примеру последовали Инносан Дьебальфей и Теажен Мелон. И все принялись кричать наперебой, не слушая друг друга. С той поры, как был собран урожай, в округе только и говорили что о ворах. А окружной начальник * и его помощник так и не напали на след ночных грабителей. Позор, да и только! Кто они, эти воры, откуда взялись? Этого никто не знал, а разбой продолжался.

Пришли новые гости: Олисма Алисме, Шаритабль Жакотен, Жозельен Жоффе, Бальтазар Фенелюс. И все заговорили хором... Нет, больше нельзя терпеть, нужно наконец проучить этих бродяг, этих разбойников, положить конец воровству! Жакотен высказался совершенно недвусмысленно, намекая на доминиканцев:

— Не знаю, не знаю... Не хочу быть доносчиком, но, думается мне, тут наши соседи виноваты, черт подери!..

Наступило короткое молчание. Генерал Сен-Фор Мирасен рывком приподнялся и сел в гамаке.

---

* Сельский полицейский.

— В мое время,— заявил он,— там, где командовал генерал Мирасен, не могло быть воров! Дьявольщина!.. Президент Терезиас назначил меня комендантом города Маршан. В первый же день мне докладывают, что в четвертом сельском округе бесчинствуют воры. Я не стал особенно голову ломать, а вызвал всех окружных начальников... Собрал их в комендатуре... Вот бы вам меня тогда послушать! Я им сказал: не покончите с ворами — придется выпороть вас самих. Каждую неделю я вызывал их для доклада. Трижды приказал высечь окружных начальников и их помощников... Во всем районе воцарились мир да благодать! С тех пор о ворах и слуху не было, пока я командовал...

— Так-таки не осталось ни одного вора? — усомнился Шаритабль Жакотен.

— Ни одного! Это я вам говорю, Сен-Фор Эзешьель Нереюс Мирасен!

— ...Наверно, геал Мирасен имеет в виду не кражи по мелочам — ну, там, гроздь бананов или, скажем, десяток яиц.. Он говорит о крупном воровстве, о набегах на сады, об ограблениях рынка...— сказал Бальтазар Фенелюс.

— Ничего не было! Ни одной кражи! Ни одного вора, пока я был комендантом.

— Я думаю, геал Мирасен верно говорит,— заметил Олисма Алисме.— Если он приказал при каждом случае воровства пороть окружных начальников, ясно, почему к нему ни разу не привели воров. Кому охота порку получать! Как же! Станет Жозеф Буден, наш окружной, приводить начальству воров только для того, чтобы его тут же выпороли! Да Жозеф Буден скорее сам выпорет всякого, кого обокрали,— только бы к начальству не поступало жалоб!..

Свое изречение Олисма подкрепил ехидным смешком. Аудиенция у геала Мирасена обещала быть весьма оживленной.

— И что же, геал Мирасен, даже и теперь ни один воришка не залезет в ваш сад? — съязвил Аристиль Дессен.

— Никогда! Никогда не было и не будет воров там, где командую я! Все знают, что за человек генерал Мирасен!..

Атмосфера накалялась. Послышались колкости. Беседа явно переходила в спор. Генеральский бас перекрывал все остальные голоса; Мирасен вопил что есть мочи, уснащая свои аргументы всеми ругательствами, какие употребляются на острове Гаити, включая Доминиканскую Республику. Возражавший ему Аристиль орал так, что наверняка разбудил невинные души усопших. Спорщики не забывали, однако, и о бутылке, и скоро ей на смену пришлось принести большую оплетенную бутыль. Остальные посмеивались втихомолку и тоже усердно прикладывались к чарке.

Геал Мирасен пришел в лирическое настроение. Быстрые волны воспоминаний понесли его к берегам, именуемым «а в наше время...» О, как прекрасны были военные парады в ту героическую эпоху! Победитель, разодетый, что твой бубновый король, окруженный роем штабных офицеров, въезжает во главе войск в столицу! Кони гарцуют, взвиваются на дыбы, пляшут, кружатся, точно в кадрили, а вокруг трезвонят колокола, и лают собаки, и ревут испуганные малыши, и раздаются залпы орудийного салюта, и скотина мычит в хлевах, и попы стоят на папертях своих церквей и благословляют победителей... И городские щеголи, разодетые в пух и прах, с саблями наголо, изображая мужественных воинов, проходят между вылощенными батальонами жибозьенцев и сенлузьенцев*. Музыканты-любители в разномастных одеяниях играют, отчаянно фальшивя, военные марши. Офицеры в брюках с лампасами, в

* Отборные полки, гвардия.

красных, зеленых, серо-голубых мундирах, увешанных медалями, шагают рядом с юными новобранцами в лохмотьях, насильно завербованными крестьянскими парнями, которые еще не успели прийти в себя и растерянно пялят глаза на разукрашенную флагами столицу... И наконец, беспорядочными толпами проходят какосы, и какосы-кирасиры в кирасах из сыромятной кожи, и саперы, и прочие хваты в самой невероятной амуниции; они выбегают из колонн и ловко обчищают дома, если хозяева имели неосторожность оставить открытыми двери... О, звуки военных сигналов той незабвенной поры! Рожки упоенно выводят мелодию «Дьявольской руки», флейты, захлебываясь от восторга, поют дессалиновский гимн, горны, сводя с ума уличных сорванцов, трубят зорю, барабаны лихо выбивают дробь, и новенькие двухцветные флаги полощутся на свежем ветру.

— Вот какие были времена!.. Когда еще, в какое другое время простые люди, как мы с вами, становились у нас генералами, префектами, министрами, даже президентами? Ну-ка, пусть назовут мне другое такое время! О, в ту пору можно было всего достичь, была бы отвага да крепкая рука. Я знаю, что́ говорю! Когда работали штыками, каждый человек был на счету. Кем я тогда был? Таким же простым негром, как мы все здесь сегодня,— негром из лесов, негром с гор... А что теперь остается на нашу долю? Орудуй мотыгой, обливайся с утра до ночи потом, купай поросят, лечись, если заболел, травками, а придет день — ложись да подыхай, как скотина, так и не увидав настоящей жизни! И вот сижу я здесь с вами, такими же крестьянами, как я, и вспоминаю добрые старые времена, над которыми старики призадумаются, а молодежь посмеется!..

Такими горькими словами заключил генерал Мирасен свою речь.

Но Аристиль Дессен, еще не остыв от недавнего спора, не пожелал признать себя побежденным. Вопреки своему обыкновению, он разразился вдруг гневной тирадой против нашей столетней феодальной войны:

— ...Если страна доведена сейчас до крайности и ее захватили белые мериканы, в этом виноваты вы, генералы! Только вы одни и виноваты, вы, с вашими оркестрами, с вашими саблями, револьверами, палками и мародерством, с вашими кокардами, нашивками и прочей мишурой!.. Вы — совсем как дурачок из сказки. Хотели родную мать в горяченькой водице искупать — да и сварили ее заживо. Смо́трите, как она корчится, и радуетесь: поглядите, мол, как наша матушка довольна!.. Матушка смеется в ванне!.. Ведь вы убили страну, черт вас дери!..

— Что? Что ты сказал?.. Послушай, Дессен, хоть и говорят, что ты человек гнутый *, но, разрази меня гром!.. Ты еще не знаешь генерала Мирасена! Как ты смеешь оскорблять меня!.. Да еще в моем же собственном доме!..

Еще немного — и дело дошло бы до драки. Лишь соединенными усилиями всей честной компании удалось утихомирить противников. Откровенно говоря, оба и сами уж не рады были, что затеяли спор. Они украдкой поглядывали друг на друга и искали лишь предлога для примирения. Как раз в этот миг появился Буа-д'Орм Летиро, главный жрец. Это был сгорбленный, морщинистый старик, но шел он твердым шагом, опираясь на толстую палку камедного дерева. Все почтительно умолкли. Генерал Мирасен встал, взял его за руку и подвел к табуретке, поспешно пододвинутой кем-то из гостей.

— Добрый вечер, отец Буа-д'Орм! — раздался хор приветствий.

У старика Буа-д'Орма были широкие скулы и своеобразные ромбовидные очертания лица; в ушах блестели большие золотые кольца. Крупный, неправильной формы нос придавал лицу выражение силы, реши-

* Неуязвимый.

тельности и какой-то загадочности; остроконечная борода была тронута сединой, голова — совершенно белая. Лицо могло показаться неприятным и даже уродливым, если бы не глаза; очень большие, то пронзительные и холодные, как сталь, то вдруг удивительно ласковые, они озаряли его таинственным светом. На Буа-д'Орме была просторная синяя блуза, выцветшая, но безукоризненно чистая и отглаженная; она была подпоясана черным шнурком, на котором висел фиолетовый мешочек для водуистских амулетов. Брюки были новые, из простой синей ткани, одна штанина засучена; босые ноги покрылись дорожной пылью.

— Добрый вечер, люди! — сказал Буа-д'Орм.

Он сел. Генерал Мирасен захлопал в ладоши:

— Эй! Где вы там!.. Принесите кофе для отца Буа-д'Орма!

Главный жрец очень редко навещал кого-нибудь. Он обвел собрание ясным взором, закрыл глаза, снова поднял веки и сказал:

— Тяжкие испытания ожидают детей Ремамбрансы.

Все озадаченно переглянулись. Ремамбранса, водуистская секта, пользовалась в озерном крае непререкаемым авторитетом, и Буа-д'Орм был ее патриархом, всеми признанным, всеми почитаемым. Ни разу на их памяти Буа-д'Орм не причинил зла живому существу. Члены Ремамбрансы и их семьи находились под покровительством богов, и ни один волос не мог упасть с их головы без ведома Буа-д'Орма. Таково было общее убеждение. Буа-д'Орм жил тем, что давала ему земля, расположенная вокруг святилища, и никогда не требовал от верующих мзды. Он был до жестокости строг с людьми, не почитавшими древних обычаев, но ни один колдун не смел и пальцем коснуться тех, кто пользовался покровительством Буа-д'Орма. Старик был честен и справедлив, он возвышался, как мощное древо, чья благодатная тень осеняет округу. Даже его заклятый враг, злокозненный ганган-макут Данже Доссу, втайне трепетал при одной мысли об этом мудром и неподкупном страже древних верований.

Собравшиеся взволнованно зашептались.

— Ай! Я вопрошаю. Где укроем мы богов наших предков? Я вопрошаю. Разве Буа-д'Орм причиняет кому-нибудь зло?..

— Нет, отец Буа-д'Орм! — единодушно провозгласили слушатели.

Наступила тишина. Буа-д'Орм обвел всех внимательным взором.

— Я вопрошаю. Куда пойдут святые, наши заступники?..

Аристиль больше не мог выдержать:

— Что случилось, отец Буа-д'Орм? Разве мы не выполнили своего долга перед нашими святыми заступниками? Святые не довольны нами? Говори же, отец Буа-д'Орм! Мы сделаем все, что ты велишь...

Буа-д'Орм не ответил. Он взял поданный ему кофе, вылил несколько жертвенных капель на землю и поднес старую фарфоровую чашку к глазам. Фарфор был легкий, воздушный, прозрачно-розоватый, настоящий севрский фарфор восемнадцатого века. По серой полоске бежала вокруг чашки гирлянда фиалок, окаймленных черной тенью. С умилением взглянул он на женскую головку с высокой прической — темно-фиолетовый силуэт в изящном медальоне на выпуклой стенке чашки.

— Нет...— сказал он.— Мы не можем умереть...

Он отпил глоток, улыбнулся. Улыбка, как луч солнца, озарила его суровое лицо, придав ему непривычную мягкость.

— Не забудьте... Я говорил с вами... Не забудьте!

Он встал, отстранил потянувшиеся к нему для помощи руки, оперся на палку. Сделав несколько шагов, обернулся:

— Сен-Фор, сын мой... Я жду тебя завтра вечером у себя дома. Доброй ночи, люди!

Гости генерала молча смотрели ему вслед.

Как только он скрылся на повороте дороги за кустами «плаща святого Иосифа» *, все загалдели разом.

— Никогда еще отец Буа-д'Орм с нами так не говорил. Случилось что-то серьезное,— объявил Инносан Дьебальфей.

— Да, друзья, что-то случилось,— пробормотал Жозельен Жоффе.

Во двор вбежал Жуазилюс с большой камышовой корзиной на голове.

— Вот и я, геал Мирасен! Принес корм для свиней!..

— Хорошо, можешь идти,— рассеянно ответил геал Мирасен.

Жуазилюс не тронулся с места.

— Ну, что тебе здесь нужно? Слушать разговоры взрослых? — накинулся на него генерал.

— Нет, геал Мирасен, я не слушаю, о чем вы говорите...— ответил Жуазилюс, по-прежнему не двигаясь с места.

Оживленное обсуждение визита Буа-д'Орма и его слов продолжалось, но скоро Аристиль заметил, что Жуазилюс не подчинился приказу крестного.

— Вот дерзкий мальчишка! — возмутился он.— Нынешние дети — все как один нахалы! Посмотрите только на него! Хорош, а? Ты не слыхал, что тебе велено уйти? Чего тебе нужно?

— Это священник, честное слово, дядюшка Дессен!

— Что? — спросил геал Мирасен.

— Да... В Фон-Паризьен приехал священник и с ним лейтенант. Они сняли дом...

— Как! Поселились вместе? — спросил Мирасен, совсем сбитый с толку.

— Да, геал Мирасен.

— Что ты! — воскликнули собравшиеся хором.

Жуазилюс улыбнулся, торопливо поставил корзину на зе́млю, присел на корточки и затараторил:

— Они приехали сегодня под вечер... Сняли большой дом мэтра Вертюса Дорсиля... У них красный автомобиль... На двух грузовиках привезли вещи и мебель... С ними — толстая мадам...

Это было уж слишком! Чтобы в город сразу явились и поп и лейтенант! Да еще поселились в одном доме!.. Любопытство разгоралось, как пламя в сухих камышах. Все говорили разом. Немного погодя посетители стали прощаться: каждый спешил поскорее разнести по деревне потрясающую новость.

■

Данже Доссу остановился в нескольких шагах от городка, у самой дороги, под сенью дерева.

Кто не знает гигантского бавольника с выступающими из земли корнями, того самого, чья тень в вечерний час похожа на силуэт морской птицы? Горе тому, кто не обойдет его стороной; нельзя наступать даже на тень этого дерева, потому что на нем обитают самые зловредные «красноглазые духи»!

Данже устроился со всеми удобствами. Он сел между огромными корнями, похожими на его узловатые руки и точно такого же грязно-черного цвета, как его лицо. Положил на землю палку, снял сандалии, вынул из котомки трубку и принялся старательно ее прочищать. На ветвях дерева висели обычные жертвоприношения: сосуды из выдолбленных тыкв с напитками, еда, всякие пестрые предметы, а поближе к верхушке, кишевшей мириадами насекомых и ящериц,— чучела птиц. На

* Тропический кустарник.

самой верхней ветке виднелся распятый орел-стервятник. Внизу в стволе зияло черное дупло — разинутый рот прожорливых и завистливых богов.

Плоское лицо гангана жило напряженной жизнью. Казалось, эта физиономия, с подвижными, по-бычьи крупными чертами, всегда смеялась молчаливым отрывистым смехом; у губ лежала едва приметная надменная складка.

Послышались легкие торопливые шаги. Приближалась молодая женщина, стройная, гибкая, в самом расцвете вызывающей красоты. Чтобы облегчить себе шаг, она подобрала и подоткнула за пояс грубошерстную юбку, виднелось полное бедро, мускулистое, чуть влажное от пота. Женщина остановилась, застыла в нерешительности. Под тонким, потертым спереди корсажем вздрагивали круглые, ничем не стесненные тяжелые груди. Трепетал от прерывистого дыхания выпуклый живот, обтянутый черным платком, повязанным вокруг талии. Быстрым взглядом женщина обвела окрестность. На красноватом лице была написана робость и тревога, ноздри раздувались — живая чувственная маска Венеры с берегов южного Нигера — «Земля, вскормившая Человечество»...

Казалось, она не смеет подойти слишком близко к дереву — обиталищу богов. Страх и тяжелое дыхание придали всем изгибам ее тела скульптурную рельефность.

— Мирасия!

Из-за корня показалось лицо Данже Доссу.

— Мирасия!

Она отозвалась невнятным возгласом, но не тронулась с места. Голос Данже Доссу загремел — низкий, грозный, повелительный и свирепый, как эхо потока в Трехречье.

— Черт возьми, ты что, не слышишь? Я зову тебя, Мирасия!..

Повинуясь голосу, женщина быстро двинулась к дереву, потом замедлила шаг, заколебалась и встала как вкопанная у самой тени бавольника.

— Иди сюда, тебе говорят!

Наконец она решилась и подошла. Данже Доссу смотрел на нее пристальным взглядом.

— Мамзель Александрина водила тебя к тем людям?

Мирасия утвердительно кивнула головой.

— Они тебя наняли?

Опять кивок.

— Ты помнишь, что тебе нужно делать?

— Да, брат Данже,— пробормотала женщина.

Точно загипнотизированная взглядом колдуна, она сунула руку за корсаж, вытащила какую-то белую тряпицу и протянула ее гангану. Он схватил этот кусок ткани обеими руками, поднес к глазам, развернул.

— Сорочка священника? Уже успела раздобыть?

Она снова кивнула. Лицо Данже Доссу просияло. Он выпрямился, не вставая с колен, откинулся назад, прислонился спиной к корню и, судорожно сжимая в руке сорочку, стал издавать гортанные звуки. Потом запрокинул лицо вверх, к листве бавольника, и засмеялся загадочным смехом. Он сбросил куртку и сорвал с себя темно-красную засаленную рубашку, грязнее всей остальной одежды. Отшвырнул ее далеко в сторону и обтер влажный торс сорочкой, которую дала ему Мирасия. Мирасия, присев на корточки, с ужасом смотрела на него.

Данже Доссу трижды хлопнул себя по груди:

— Я Данже Доссу! Пусть попробуют померяться со мной силами!

И остановил на Мирасии тяжелый взгляд.

— Иди сюда! — приказал он.

Она поползла было к нему на коленях, но остановилась на полпути.

— Сюда, черт возьми!

Повинуясь движению его вытянутого пальца, она легла на землю. Он склонился над ней, задышал в лицо. Потом с протяжным стоном, с каким-то отрывистым ржаньем рухнул на нее.

На корнях обиталища «красноглазых духов» он посвящал тело Мирасии кровожадным богам. Обрядом сладострастия он заранее праздновал свою победу над чужаком священником, который явился сюда, чтобы отнять у него власть. Ужу не бывать кайманом! Он ощущал победу всем своим телом. Он останется Данже Доссу, ганганом, колдуном, доверенным лицом грозных сил. Он тайно поможет священнику сломить всех водуистских жрецов в этом краю, всех до последнего. Даже сам Буа-д'Орм и тот будет низвергнут! А тогда он, Данже Доссу, победит священника — и станет единственным и непререкаемым духовным вождем. Он установит свою власть над озерным краем. Богатый и могущественный владыка, он будет командовать всеми и распространит свое влияние на высшие политические сферы, вплоть до столицы! Ведь он владеет отныне нательной рубашкой отца Диожена Осмена!

■

Одетый в синий форменный мундир со всеми регалиями, Жозеф Буден, окружной начальник, сидел на земле и злобствовал. Вокруг волновался беспредельный океан листвы, и, казалось, горизонт мерно покачивается под вечерним бризом, словно корабль в бортовую и килевую качку. Во дворе едва слышны были торопливые, осторожные шаги, домочадцы Жозефа Будена боялись привлечь его внимание: в гневе окружной начальник бывал поистине страшен. На нашем герое был доломан, распахнутый на голой тощей груди. Он сидел прямо в пыли — в новеньких кавалерийских штанах и начищенных кожаных крагах. Рядом лежала каска защитного цвета, на заду висел огромный кольт. Жозеф яростно колотил по земле стальным мачете, поднимая каждым ударом столбы белесой пыли...

Разумеется, его и раньше ненавидели молчаливой ненавистью, прикрытой лицемерными улыбками, но с тех пор как в округе появились воры, а он оказался бессильным с ними справиться, на него стали смотреть как на пугало, скорее смешное, чем страшное. Пугало, на котором прожорливые птицы вьют гнездо! Ведь ни для кого не секрет, что воры обобрали его собственный сад. Прощай, гордая осанка и звон серебряных шпор! Теперь все от мала до велика твердят, что тот, кого называли «страшный Жозеф Буден»,— фитюлька, ничтожество! Теперь люди смеются ему в лицо, а мальчишки распевают оскорбительные куплеты. Потому-то и сидел Жозеф Буден в пыли, свирепо рассекая землю своим мачете.

Однако приступ гнева длился недолго. Жозеф Буден понемногу успокоился. Да! Он обязательно проведет великолепную полицейскую операцию! Надо во что бы то ни стало схватить несколько разбойников, связать их и торжественно провести у всех на виду до самого Фон-Паризьена. Тогда люди волей-неволей признают, что если страшный Жозеф Буден не изловил воришек раньше, то только потому, что слишком надеялся на своего помощника, советника сельской полиции Канробера Гийома. Власти, которые уже начинают выражать недовольство вялостью окружного начальника, поймут, в чем дело, и этот пост останется по-прежнему за Жозефом Буденом.

Вдруг за густой листвой послышался дружный хохот, а вслед за ним — песня, издевательская, ядовитая, наглая:

В трактире водки ты купил,
Хозяйке ты не уплатил.
Жозеф, скорее уплати,
Хозяйке уплати!

Жозеф Буден вскочил на ноги, швырнул наугад в листву мачете, завопил:

— Гром и молния! Я еще доберусь до вас! Будете помнить Жозефа Будена!

Смех зазвенел еще веселее. Песня прозвучала совсем близко:

Жозеф, скорее уплати...

У окружного начальника все поплыло перед глазами от ярости. Он выхватил револьвер и принялся палить по кустам. Голоса замолкли, послышался топот бегущих ног, и все стихло. Из дома выскочила Эдовия, жена Жозефа Будена, и дочери. Они вцепились в него, стараясь успокоить. Жозеф в бешенстве вырвался, женщины полетели на землю. Обе дочери успели спастись бегством, но Эдовия оказалась менее проворной. Жозеф схватил ее и поволок к хижине, рыча:

— Я тебе, дьяволица, покажу, что значит вмешиваться в дела Жозефа Будена! А-а-а! Ты не дала мне расправиться с этими висельниками? Что ж, сама за них поплатишься!..

Остальные домочадцы и сбежавшиеся соседи держались на расстоянии. Они со страхом слушали, как хлопает кожаная портупея по дряблому телу Эдовии... Хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп!..

Жозеф орал что есть мочи:

— Кричи: «Все женщины — дряни!»

Хлоп!..

— Ой, Жозеф! Ой!.. Все женщины — дряни!..

Хлоп!..

— Громче кричи!

— Жозеф!.. Женщины — дряни!..

И снова «хлоп-хлоп» по тощему заду Эдовии.

■

Аристиль даже не дал себе труда рассказать Майотте, своей жене, какие потрясающие новости волнуют округу. Их семейный очаг был нерадостным — какой же это семейный очаг без ребенка. Они мало говорили между собой, но сердцем всегда понимали друг друга. Каждый жест супругов был проникнут взаимной нежностью, нежностью молчаливой, порой даже угрюмой. Всем известную свою раздражительность Аристиль никогда не обращал против Майотты. Она вызывала у Аристиля странное чувство — смесь уважения, любви и холодности. Майотта была святым и безропотным существом, таившим в сердце неизбывное горе, о котором говорил ее скорбный взгляд. Бесплодная супруга — ненастоящая женщина, ей неведомы настоящие радости, настоящее счастье. Все чувства Майотты словно притупились. Ее не страшил повседневный тяжкий труд, она не замечала, как скудна ее пища — кусок маниоковой лепешки утром и вечером... Радуга светлых мечтаний с годами растаяла — ребенка все не было...

В последние дни Аристиля неотвязно преследовала одна мысль — воры... Сад был для него чем-то неизмеримо большим, чем просто средством к существованию. То была изумрудная, струящаяся в солнечном свете нива; гнуть на ней с утра до вечера спину — и то было радостно: казалось, что ты выполняешь миссию, искони предназначенную человеку. Был ли Аристиль жаден, дрожал ли, как скряга, за свое добро?.. Или просто по-хозяйски расчетлив? Он был, конечно, и жаден, и расчетлив, как всякий крестьянин. Но, работая на своем клочке земли, он изо

дня в день ткал для себя пелену иллюзий, создавал видимость осмысленного человеческого существования... Он должен сдержать слово, должен показать своим односельчанам, этим слюнтяям, что он, Аристиль,— человек в полном смысле этого слова. Разве не был он когда-то героем с возвышенным и чистым сердцем? Герой... Если бы люди знали, как нелегко стать героем... Да, он был одним из самых отчаянных храбрецов в партизанских отрядах Шарлеманя Перальта, он ходил в атаку на янки, шел прямо на их штыки, на их пулеметы. Ах, эти ночи, проведенные в засаде рядом с молчаливыми товарищами, когда перед тобой проходит вся твоя жизнь, и тяжко на сердце, и лежишь, распростершись на влажной земле, осквернённой врагами родины!..

Майотта, высокая, краснокожая, плоскогрудая, с покорным видом оглядела пустой двор. Потом взяла в руки палку и принялась за довольно странную работу. Согнувшись, она ринулась в бой против целой батареи бутылок, разбросанных по земле. Здесь были бутылки любых расцветок и любых размеров, любых сортов и любых форм. И где только она их набрала!

Майотта работала молча, как всегда печальная, тихая. Только глаза выдавали, в какую свирепую игру она сейчас мысленно играла. Держа палку обеими руками, она заносила ее высоко над головой, тщательно прицеливалась и... бац! — по морде! Осколки хохотали, скаля острые стеклянные зубы. Снова прицел и — хлоп по лбу! Несчастная бутылка разлеталась вдребезги, оставляя на земле зубчатую корону донышка.

Аристиль глядел на это побоище с явным удовлетворением. Майотта потрудилась на славу.

— Пойди запряги ослицу... Иди, иди... Я сам закончу,— сказал он.

Майотта подняла голову. Тотчас же ее лицо приняло свое обычное выражение, и она ушла с безразличным видом, но внутренне сожалея, что у нее отняли игрушки. Аристиль схватил палку и несколькими размашистыми ударами завершил побоище. Майотта вернулась, гоня перед собой ослицу, крупное животное со злыми глазами. Майотта несла широкий лист белой жести, две кирки, старую лопату и большую мотыгу. С помощью лопаты и жести они насыпали бутылочные осколки в две плетеные корзины, перекинутые через спину ослицы. Потом процессия двинулась в поле. Впереди шествовала ослица, за ней, весело поигрывая длинным мачете,— хозяин, позади, в развевающейся на ветру кофте, с лопатой, кирками и мотыгой через плечо, шагала Майотта. Встречавшиеся по дороге куманьки да кумушки удивлялись, куда это так деловито идут под самый вечер, со всеми инструментами, Аристиль и Майотта. Но тут же забывали об этом: Аристиль и Майотта жили бедно, а дела бедняков мало кого интересуют.

■

Олисма Алисме протянул руку к очагу, выхватил из груды жара раскаленный уголек и прикурил трубку. Прикрыв веки, он украдкой посматривал на Рен, отдыхающую на циновке. Она устала, она с каждым днем уставала все больше — по мере того, как приближался срок родов. Синяки под глазами, на лице — маска, маска беременной женщины. Она старалась не показывать своей усталости. Приложив руки к животу, в котором шевелился ребенок, она тихонько дышала — сквозь зубы, чуть приоткрыв рот, сдерживая сердцебиение, теснившее грудь...

— Олисма! Так как же? Ты мне не сказал...

— Гм? — проворчал Олисма, притворяясь, что у него рот полон табачного дыма.

— Да... Ты не сказал мне, как ты думаешь расплатиться с мэтром Вертюсом Дорсилем.

— Расплачусь! — уверенно сказал Олисма.

Помолчали. Рен повернулась немного, устраиваясь удобнее.

— Олисма!..

— Ну, что еще?

— Ты уверен, что добудешь денег? Но откуда?

Олисма не ответил. Рен снова начала:

— Олисма, не забудь, что мы должны пятнадцать гурдов Жозельену Жоффе... Не люблю я этого человека... Уж он-то не станет шутить, когда дело дойдет до денег... А, Олисма?.. Чего-чего, а забот у тебя хватает...

Олисма присел на корточки рядом с Рен, ласково погладил ее лоб, но тут же встал, подтянул брюки.

— Посмотри на свой ремень, Олисма... Совсем истрепался! А я разлеглась, точно мне и делать нечего!.. Вот уж несколько дней ни на что не гожусь, не помогаю тебе ни в чем, а, Олисма?..

Бледная тень улыбки скользнула по лицу Олисмы. Он шагнул к дверям.

— Олисма!

— Ну!

— Ты уже уходишь? Оставляешь меня одну, мой милый?

— Рен, уже поздно. Я ненадолго. Сама знаешь, с этими ворами надо ухо держать востро. Ты плохо себя чувствуешь?

— Нет, нет, дорогой! Мне совсем хорошо... Я тебя спрашиваю только потому, что боюсь одного, как бы роды не начались раньше, чем предсказывает сестрица Дада. И мне будет так тревожно во время родов, если я буду знать, что тебе приходится туго. Понимаешь?..

Олисма с явным нетерпением топтался на месте, торопясь поскорее уйти.

— Не беспокойся ни о чем, Рен, все будет хорошо...

Вот любопытная! Загадочные исчезновения мужа интриговали ее. Она поднялась так быстро, как только могла в своем теперешнем положении.

— Олисма, муж мой, почему ты не хочешь мне сказать, где ты возьмешь денег, чтобы заплатить Вертюсу Дорсилю? Ты ведь знаешь, он не упустит случая отнять у крестьянина землю. Никогда нельзя быть спокойной, когда у таких людей власть в руках... И потом еще вода... Скажи, Олисма, Бальтазар оставил тебе вчера воду, как обещал?.. Если ты не наскребешь к сроку пятнадцать гурдов для Жозельена — может, неплохо было бы поговорить с отцом Буа-д'Ормом... Он наверняка сделает для тебя все, что в его силах...

Олисма вернулся с порога, подошел к ней.

— Успокойся, Рен. Ты мучаешь себя из-за пустяков. Мне нужно идти. Я должен взглянуть на сад. Если воры опять нагрянут, вот тогда действительно будет плохо... Говорю тебе, что деньги я достану — сколько нужно, и в срок. А из-за воды я вчера немного поспорил с Бальтазаром. Он твердит, что уже много раз делал мне одолжение, пускал воду на мой участок. Но это неправда. Он говорит, что ему больше нужна вода, чем мне, потому что у него земли больше. Но я не уступлю своих прав, и как будто он это понял. А насчет того, чтобы обратиться к Буа-д'Орму, ты верно говоришь, я схожу к нему... Ну, мне пора.

Он наклонился к ней, поцеловал и быстро вышел.

Уф!.. Да, он добудет денег. После того как воры крепко пощипали его бататы, маис и просо, положение и в самом деле грозило стать серьезным. Но Олисма был человек решительный и трудностей не боялся. Сбор сахарного тростника должен начаться только в январе, и агенты сахарной компании еще не начали скупать дрова для заводских топок, но Олисма съездил в Гантье и повидал господина Луи Балена. Семья

Бален была когда-то очень дружна с семьей Алисме — еще в те времена, когда Алисме жили в достатке. К тому же Олисма как-то раз оказал личную услугу господину Луи Балену. И вот Луи Бален обещал ему, что ко времени переработки сахарного тростника он купит у своего кума все дрова, какие тот успеет заготовить. Остальные крестьяне ждали агентов и еще не приступали к рубке леса, а наш молодец одновременно с полевыми работами занялся и другим делом: стал тайком, не дожидаясь передышки в полевых работах, рубить лес. Он не говорил об этом никому, даже Рен. Женщины не умеют держать язык за зубами. Того и гляди, сама того не замечая, она выдаст секрет кумушкам...

Олисма был удивительно крепок, настоящий негр племени данда *. Проработав целый день в поле, он еще находил в себе мужество идти в Чертов Овраг. Три вязанки здесь, четыре там — глядишь, и набралась немалая поленница. Он как следует укрыл их просяной соломой, и никому, даже Рен, не могло прийти в голову, что огромные ометы на поле — это настоящие тайники. Даже воры и те не догадались, что к чему. А какие дрова! Байягонды в Чертовом Овраге росли густо, будто шерсть новорожденного осленка! Древесина плотная, смолистая, тугая, просто чудо!.. Вот Рен обрадуется! Он выручит за дрова кругленькую сумму, не меньше двухсот гурдов, заплатит все долги и вырвет свою землю из когтей Вертюса Дорсиля. И тогда ему сам черт не брат. Любопытно будет поглядеть, какую рожу скорчит Сена́ Расин, незадачливый жених, которому Рен указала на дверь, да и все эти свахи и кумушки в придачу!..

С тех пор как они с Рен поженились, Олисма только и думал, как бы доказать всем, кто противился их браку, что зря они каркали. Конечно, Рен его любит, но он боялся, что наступит день, когда люди начнут выражать ей свою жалость: ах, мол, бедняжка, какую сделала глупость, предпочла голодранца Олисму сыну богача Калистена Расина... Соседки просто глаз с них не спускали, подглядывали да подслушивали, потом твердили на каждом углу, что Рен живет в пустой хижине, где слепые могли бы драться на палках и ничего не разбить. Нет, Рен ни разу не приходилось просить помощи у своих родителей! Нелегко, конечно, человеку свести концы с концами, когда у него такой крохотный участок, но зато Олисма умел собирать самый лучший урожай во всей округе. День и ночь пахал он и перепахивал поле, поливал, даже — для удобрения — собирал на дороге навоз! Эх, тащишь ли на своем горбе воду, или золото, или навоз — спина ноет одинаково, и одинаково с тебя течет пот... А всего бы лучше носить на руках свою Рен, свое золото, настоящее, чистое золото...

Твердым шагом Олисма шел по тропинке с мачете в руке. Скоро Рен родит малыша... Коричневую куколку! Олисма даже побежал рысцой, сбивая на ходу ударами мачете цепкие зеленые лапы боярышника.

■

Даже птицы и звери — и те уважали достояние храма. Не пропал ни один колосок, ни одно зернышко. По утрам главный жрец обходил поле и бросал птицам горсти зерна. Зеленые волны маиса ласково колыхались вокруг Буа-д'Орма Летиро. Старик остановился на голом островке посреди изумрудного моря злаков и задумался. Прищуренные глаза блуждали по высоким травянистым стеблям, влажным от ночной росы. Могло показаться, что он говорит с самим собой, но ни один звук

* Африканское племя данда славилось когда-то в Сан-Доминго неутомимостью в работе.

не вырывался из его дряблых старческих уст. Губы быстро шевелились, застывали, снова двигались. Он наклонился, внимательно разглядывая растение, свесившее к земле хрупкий стебель. Протянув руку, он высвободил огромный початок из окружавших его листьев, ощупал пальцами, сорвал со стебля. Шелковистые светлые волосы маиса рассыпались золотым дождем по ярко-зеленой оболочке. Буа-д'Орм стал медленно очищать початок от плотного чехла.

То был царственный початок, с зернами белыми, крупными, двойными. Главный жрец задумчиво оторвал одно зернышко, взял его двумя пальцами. По форме своей зерно походило на человеческое сердце! Буа-д'Орм вздрогнул. Он с силой провел пальцем по одной из сторон початка. Посыпался дождь маленьких белых сердец. Старик часто и глубоко задышал, поднес к груди кулак с зажатыми зернами, бросился на колени... Айэ, святые лоасы!

Ведь он — маленький человек, смиренный служитель божий, простой крестьянин среди таких же, как он, крестьян! Почему ему, именно ему, послано новое чудо в грозный час перед бурей? Почему не умер он раньше, чем наступил черный для его страны час? Что еще нужно от него богам? Почему они взвалили ему на плечи непомерное бремя? Он живет почти в нищете, трудится в поле, вкушает скудные плоды трудов своих, рожденные нивой, которая принадлежит богам; он всегда боялся взять лишнюю долю из того, что добывал, трудясь в поте лица своего, ибо все это оставалось собственностью ревнивых ненасытных лоасов.

Они силой толкнули его на этот путь, они, эти боги в образе человеческом! О, он всегда чувствовал их за спиной — всех до единого, лоасов-воинов, лоасов-охотников! А ведь путь жреца никогда не прельщал его. С младенческих лет боялся он этих лоасов, заботливых и деспотичных, злопамятных и верных. И все же выбор пал на него! Кто знает, может, потому его и избрали боги, что он так их боялся. Отыскали его совсем мальчиком в городе, где он учился в школе,— и вернули в родную деревню. Он страдал тогда загадочным недугом, корчился в диких приступах боли, и рука его, сведенная судорогой, неизменно поднималась вверх, точно сжимала деку́ *. Неотступно, ночью и днем, возносили к небесам всемогущие боги скрюченную детскую ручонку. Он уже был при смерти, когда его привезли в Фон-Паризьен. Главный жрец, мудрый Брав Батуала, его предшественник, скончался накануне его возвращения... И ребенок исцелился — внезапно, в тот самый миг, когда его внесли в святилище, в помещение, где стоит алтарь. Мальчик встал на ноги, взял в руки деку. И стал главным жрецом... С тех пор прошло восемьдесят лет...

Иногда он восставал, бунтовал против лоасов, богохульствовал, кричал, что боги ненавидят его, что они привязали его к алтарю насильно. Но в душе он любил их. Был предан им, как верный пес. Был их избранником, и сердце его полнилось от этого радостью... Он хранил в чистоте древние традиции, оберегал тонкую, но прочную нить, связывающую народ с его величественным прошлым. Его правая рука делала все, что повелевали лоасы, его левая рука была незапятнанна. Один, с глазу на глаз со святыми духами, прошел он все ступени таинства. Пусть у богов нрав капризный и тяжкий, но кто же, как не лоасы, протрубил в морскую раковину и подал сан-доминго́нским рабам сигнал к восстанию! Это под их руководством вчерашние рабы нанесли — впервые в истории нового времени! — поражение белым колонизаторам. И родилось первое в мире негритянское государство...

---

* Знак достоинства главного жреца; лишь очень немногие папалоа имеют деку.

Да, святилище возродится! Оно будет возрождаться вечно, в том самом месте, где закопаны священные камни. А ему, Буа-д'Орму, суждено скоро погибнуть. Он это знает. Волна радости нахлынула на него. Он встал с колен. Какая малость — жизнь одного человека! Каждая капля его крови расцветет прекрасным цветком в возрожденных полях!

Он раскрыл ладонь и взглянул на маисовые зерна, на бледные, благоухающие сердца. Потом посмотрел на небо. Стая голубей приближалась к полю. Буа-д'Орм дрожащей рукой вынул из сумки деку. Открыл ее, всыпал зерна, вложил початок. Неся деку на ладони навстречу встающему солнцу, шел он по маисовому полю. Дека пылала золотистым огнем — маленький желтый сосуд из тыквы, испещренный черными узорами, затейливой вязью линий, углов и кругов, опоясанный цепью червонного золота. Буа-д'Орм стряхивал с длинных маисовых листьев чистые капли росы в священный сосуд. Бодрым, уверенным шагом шел он сквозь чащу зеленых стеблей.

Голуби опустились на поле. Взяв из сумы горсть проса, он бросил корм птицам. Крылья вихрем закружились над головой. Буа-д'Орм закрыл деку. Сизый голубь сел ему на плечо. Он улыбнулся, глядя, как птица клюет с ладони зерно. Подобрав с земли посох, с декой в руке и с голубем на плече, старик направился к храму.

(Продолжение следует)

АДОЛЬФО КИНТЕРОС *(Мексика)*
Линогравюра

НАЗЫМ ХИКМЕТ

Солома волос, ресниц синева...

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Перевод с турецкого
БОРИСА СЛУЦКОГО

Вере Туляковой —
с глубоким уважением

На рассвете на станцию неожиданно прибыл экспресс,
весь в снегу.
Я стоял на перроне, приподняв воротник.
На перроне, кроме меня,— ни души.
Предо мною поставил окно свое спальный вагон.
Занавеска слегка приоткрылась.
Я заглянул.
Полумрак нижней полки. Молодая женщина спит.
Солома волос. Ресниц синева.
А капризные пухлые губы — красны.
Кто на верхней полке, я не разглядел.
Неожиданно, тихо отошел от перрона экспресс.
Я не знал, ни откуда экспресс, ни — куда.
Но на полке, на верхней, спал именно я.
Да, я спал. Это было в Варшаве, в отеле «Бристоль».
Да, я сплю на кровати. Она жестка и узка.
Но я долгие годы не спал так крепко и глубоко.
На соседней кровати молодая женщина спит.
Солома волос. Ресниц синева.
Круглая шея высока и бела.
Долгие годы не спала она так глубоко,
хоть кровать ее тоже жестка и узка.
Приближается полночь. Время быстро летит.
Мы годами не спали так глубоко,
хоть кровати у нас — тверды и узки.
Лифт опять не работает.
Я спускаюсь по лестнице с четвертого этажа,
я спускаюсь по лестнице между зеркал.
Двадцать лет мне, а может быть, сто.
Время близится к полночи. Время быстро летит.
Третий этаж. Дверь. За дверью — женский смех.

Роза грусти распустилась в руке у меня.
Второй этаж. На фоне заснеженных окон
балерина из Кубы взбегает навстречу мне.
Смуглый отблеск скользит по лицу моему.
А Гильен — он в Гаване. Вернулся давно.
В европейских отелях,
в азиатских отелях
мы сидели вдвоем за столом
и большими глотками пили тоску по своим городам.
Два лица невозможно до смерти забыть:
материнское
и города, где ты родился, лицо.
Дверь «Бристоля» распахнул предо мною швейцар,
и тулуп его канул в ночи.
Я иду под неоновым светом,
я иду на ветру ледяном.
Время близится к полночи. Время быстро летит.
Вдруг предстали передо мною они.
Светло, как днем,
но только я
увидел их отряд:
да, свастики на рукавах,
да, сапоги гремят,
да, черный китель плюс штаны,
плюс черный автомат,
да, плечи есть,
и каски есть,
и нет одних голов.
Есть шеи и воротники,
но только нет голов.
Я увидал таких солдат,
чья гибель не исторгнет слез
из человечьих глаз.
Мы шли,
шагали — я, они да их животный страх.
Я не скажу, что этот страх
светился в их глазах.
У неимеющих голов
я глаз найти не мог.
Но все-таки я видел страх,
животный, подлый страх.
Тот страх был в громе их сапог,
но разве гром сапог
кому-нибудь когда-нибудь
расслышать страх помог?
Да, слышал я животный страх
в громе их сапог.
Тот страх заставил их поднять
пальбу по всем домам,
по всем живым,
на каждый звук,
на каждый дым.
По улице Шопена — залп,
по тумбе для афиш.
Так что ж ты, тумба для афиш,
нетронутой стоишь?
Хотя дружна и горяча

пальба была,
но ни осколка кирпича,
ни звона от стекла.
Мертвец, даже если он
мертвец из войск СС,
не может резать и стрелять,
покуда не воскрес,
пока, как в яблоко червяк,
он в память не пролез.
Ни нож, ни пуля — только так! —
не может резать и стрелять,
покуда не воскрес
мертвец, даже если он
мертвец из войск СС.
И все-таки я видел страх,
страх мертвецов...
А разве Варшаву не убили раньше их?
Разве ей не дробили каждую кость?
Разве на мыло не пошел ее жир?
Разве канат не сплели из ее волос?
Разве кожу не содрали с нее
и книги в ту кожу не переплели?
Но город стоял на ночном ледяном ветру,
жаром пыша, словно калач из печи.
Я придвинулся к полночи. Время быстро летит.
Я думал о поляках. Я шагал в Бельведер *.
Мой первый, быть может, последний орден
мне дали в этом дворце.
Церемониймейстер открыл белую с золотом дверь.
Мы с молодою женщиной вступили в зал.
Солома волос. Ресниц синева.
А капризные, пухлые губы — красны.
Вокруг — никого.
Одни акварели на стенах и креслица рококо.
И, наверно, поэтому ты
голубовата, как акварель,
и, может быть, есть в тебе фарфор рококо,
а может быть, ты — просто отблеск моих снов.
Полумрак нижней полки. Ты спала.
Твоя белая шея высока и кругла.
Долгие годы не спала ты так глубоко.
Мы в городе Кракове в баре «Каприз».
Мы приблизились к полночи. Время быстро летит.
Стол. Твой кофе и мой лимонад.
Между ними — разлука.
Это ты положила ее.
Разлука — вода на колодезном дне.
Я нагнулся к колодцу и посмотрел:
старый человек улыбается облачку.
Я позвал.
Мое эхо потеряло тебя и вернулось ко мне.
Разлука лежит на столе вместе с пачкою сигарет.
Это ты заказала ее,
хоть принес ее официант.
Разлука — в дымном кольце,

---

* Президентский дворец.

отраженном в твоих глазах.
Разлука в твоей ладони, готовой сказать: «Пока!»
Разлука лежит на столе, рядом с локтем твоим.
Разлука в каждой мысли, бегущей в твоем мозгу.
В той, что скрыта, и в той, что не скрыта тобой от меня.
Разлука в твоем покое, уверенности во мне.
Разлука переполняет твой страх,
что ты полюбишь другого, рывком, как открываешь дверь.
На самом деле ты любишь меня.
Разлука в том, что ты не замечаешь любви.
Разлука не подвластна притяженью земли.
Пушок — и тот подвластен. Тяжесть есть и в пушке.
В разлуке нет тяжести.
И все-таки разлука есть.
Время летело быстро. Полночь близилась к нам.
Мы вошли в темноту готических стен.
Они достигали звезд.
Перед нами, как тощий и желтый пес,
бежало эхо наших шагов.
Время быстро летело назад.
В Ягеллонском университете прохаживался сатана.
Он когтил кирпичи,
он ломал астролябию Коперника, арабский дар,
он плясал рок-н-ролл
с католическими студентами в торговых рядах.
Время летело быстро. Полночь близилась к нам.
Багровое зарево Новой Гуты отражается в облаках.
Молодые рабочие, парни из деревень,
вливают в новые формы свои души и свой металл.
Плавить души стократ тяжелей, чем металл.
На колокольне Святой Марии каждый час трубит трубач.
Он трубит двенадцать на этот раз.
Из средних веков донесся этот сигнал,
предупредив, что к городу подходит враг.
Смолк, поперхнувшись вражьей стрелой,
умер трубач со спокойной душой.
Я думал о горе тех,
кто тоже видел врага,
но кто не успел протрубить про врага.
Время летело быстро. Полночь уже позади.
Она — словно пристань, на которой погасли огни.
На рассвете на станцию неожиданно прибыл экспресс.
Прага вся под дождем —
ларец на озерном дне,
окованный серебром ларец.
Я приоткрыл. Внутри
спала молодая женщина среди стеклянных птиц.
Солома волос. Ресниц синева.
А капризные пухлые губы — красны.
Долгие годы не спала она так хорошо.
Я закрыл ларец, погрузил в товарный вагон.
Неожиданно, тихо
отошел от перрона экспресс.
Опустив руки, я смотрел ему вслед.
Вся Прага была под дождем.
Тебя нет.
Опустел один из прекраснейших городов.

Опустел, как перчатка, из которой вырвала руку ты,
погас, словно зеркало, не видящее тебя.
Воды Влтавы текут, как потерянные вечера.
Улицы совсем пусты.
Шторы опущены на каждом окне.
Трамваи совсем пусты
— кондуктора нет, водителя нет.
Кафе совершенно пусты,
рестораны пусты, бары пусты.
Витрины абсолютно пусты.
Ни тканей, ни хрусталя, ни мяса, ни вина,
ни книг, ни цветов,
ни единой коробки конфет.
В тумане одиночества, окутавшем город,
старый человек
на мосту Легионеров,
чтобы стряхнуть печаль старости,
бросает чайкам хлеб,
макая каждый кусок
в кровь своего слишком молодого сердца.
В одиночестве печаль в десять раз печальнее.
Я пытаюсь схватить время,
и на пальцах — золотая пыль его полета.
В экспрессе «Прага — Москва»
полумрак нижней полки. Молодая женщина спит.
Долгие годы не спала она так хорошо.
Солома волос. Ресниц синева.
А капризные, пухлые губы — красны.
Руки — свечи в подсвечниках из серебра.
Кто на верхней полке, я не разглядел.
Если кто-нибудь спит, то конечно — не я.
Может, верхняя полка пуста.
Время
я попытался схватить, задержать,
и на пальцах полета его золотая пыль.
Брест — в тумане.
Вся Польша — в тумане.
За два дня
не взлетел и не сел ни один самолет,
Но проходят, уходят, приходят
сквозь дымкою застланный взор поезда.
Почему-то айран
называет кефиром
вагон-ресторан.
Официантка узнала меня.
Две мои пьесы она смотрела в Москве.
На вокзале молодая женщина встречала меня.
Солома волос. Ресниц синева.
Белая шея высока и кругла.
Талия тоньше, чем у муравья.
Я взял ее за руку, и мы пошли.
Шли под солнцем, по хрустким снегам.
Шли по ранней весне. В этот день
люди послали Венере привет.
Все были счастливы: я и Москва.
Словом — все.
На площади Маяковского

я потерял тебя, вдруг потерял тебя...
Да, потерял, но не вдруг, потому что сначала
я потерял тепло твоей руки,
мягкую тяжесть ее ладони — моя потеряла,
и только потом твою руку я совсем потерял.
Когда впервые встретились наши руки,
тогда и было разлуки начало.
И все-таки я потерял тебя так нежданно,
так внезапно, так вдруг!
Я останавливал автомобили, плывущие в море асфальта,
и заглядывал внутрь — там тебя не было.
Снега бульваров покрыты следами —
твоих не было.
Я бы сразу признал по следам твои боты,
туфли, чулки и босые ноги твои.
Ничего не было.
Я спросил постовых: может, видели руки ее,
руки — свечи в подсвечниках из серебра?
Постовые
ответили очень вежливо:
— Нет, мы не видели.
В Стамбуле три баржи тащит буксир
против течения у Сарайбурну *.
Чайки кричат.
Я с Красной площади окликнул этот буксир.
Не капитана — он чересчур устал,
к тому же двигатель так грохотал,
что он бы не смог расслышать меня,
капитан, в кителе без пуговиц.
Сам буксир окликнул я с Красной площади.
— Нет, не видели!..
Со временем наперегонки бегу.
То оно обгоняет меня, то я.
Когда оно впереди меня,
мне страшно, что я могу потерять
эти красные кормовые огни.
Когда я оказываюсь впереди,
фары времени освещают меня,
моя тень бежит впереди меня,
и я боюсь потерять эту тень.
Хожу по театрам, хожу по кино, по концертным залам хожу.
В Большой не пойду — сегодня поют
оперу, не любимую тобой.
Пойду в рыбачий трактир, в Каламыш **.
Мы славно говорим с Саидом Фаиком ***.
У него ноет больная печень, а я — уже месяц как из тюрьмы,
и мир — прекрасен.
Часы Страстного монастыря пробили полночь,
хотя монастырь давно снесен
и самый большой кинотеатр в Москве
строится в тех местах.
Здесь я встретил себя девятнадцати лет.

---

* Мыс, отделяющий пролив Босфор от залива Золотой Рог, район Стамбула, где находится бывший султанский дворец (по-турецки «сарай») Топ Капу.

** Местечко на берегу Мраморного моря, недалеко от Стамбула.

*** Саид Фаик (1907—1954) — выдающийся турецкий писатель-новеллист, один из самых популярных в стране.

Мы сразу узнали друг друга.
У меня не осталось его фотографии,
у него не могло быть моей фотографии,
но мы все же сразу узнали друг друга.
Не удивились,
протянули друг другу руки,
и рукопожатие не состоялось
из-за расстояния в сорок лет.
Оно замерзло, как безбрежное северное море.
И на Пушкинскую площадь,
для него еще Страстную,
начал падать снег.
Я замерз, особенно — руки и ноги,
несмотря на меховые перчатки, шерстяные носки и ботинки,
а он стоял с голыми руками,
Рот его ощущал вкус мира,
словно вкус зеленого яблока,
в ладонях его была
упругость девичьей груди.
Ему казалось, что рост песни — километр,
а рост смерти — вершок.
Он не знал ни о чем из того, что с ним будет потом.
Это знал только я,
потому что
всему, во что верил он, я поверил,
всех женщин, которых он полюбит, я полюбил,
все стихи, что он напишет, я написал,
во всех тюрьмах, где он будет сидеть, я сидел,
все страны, где он побывает, я прошел,
всем, чем он заболеет, я переболел,
все сны, что ему приснятся, я досмотрел,
все то, что он потеряет, я потерял.
Я спросил, не встречались ему
солома волос, ресниц синева,
черное пальто, белый воротник,
огромные перламутровые пуговицы?
— Нет, не видел.

Мои девятнадцать лет проходят по площади Баязида, поднимаются на Красную площадь, спускаются на площадь Согласия *, я встречаю Абидина **, и мы говорим о площадях.

Нету площади больше той, которую облетел товарищ Гагарин.
Он вернулся позавчера.
Мы с Абидином сидим в мансарде.
Сена опоясывает Нотр-Дам.
Ночью из моего окна Сена блестит,
как долька луны в гавани звезд.
Кровать стоит возле окна,
молодая женщина входит в мир
дымоходов парижских крыш.
Долгие годы не спала она так хорошо.
Солома волос — в бигуди,
синева ресниц — паранджа.
Абидин говорит со мной
о площади в ядре и строениях в ядре.

---

* Площадь Баязида находится в Стамбуле, площадь Согласия в Париже.

** Абидин Дино — известный современный турецкий художник и публицист, живет и работает в Париже.

Он умеет окрасить полотно
в цвета космических скоростей.
А я те цвета, как фрукты, ем.
И Матисс — космический фруктовщик,
и наш Абидин, и Авни, и Левни *.
Какие краски мы видим в микроскоп!
Какие цвета — в иллюминаторы ракет!

Желтое — настоящее желтое. Синее — как шелка, черное — не бывает черней. И все — земное, все краски, все цвета в любом уголке космоса — земные.

Товарищ Гагарин вернулся из космоса с земною песней.

Даже когда мы полетим на Марс и пройдем сквозь чернейшую черноту, мы найдем там краски Земли.

Потемнее или посветлее, поярче или побледнее — мы увидим там краски Земли.

У Абидина холст полтора на ноль шесть.
Он пишет картину броска.

На холсте Абидина я вижу, как бежит и петляет время, и могу поймать время, как могу увидеть и поймать рыбу в воде.

Вот груша, вот космос, вот лицо человека. Вот я в груше, в космосе и в лице человека. Вот груша, космос и лицо человека, которые были до меня. Вот те, что будут после меня.

И я вижу Сену, похожую на дольку луны.
Молодая женщина спит на дольке луны.
Сколько раз я терял эту женщину, сколько раз находил,
сколько раз буду снова терять ее и находить? Сколько раз!
Так вот, милая, жизни кусок в Сену я уронил
с моста Сен-Мишель,
и крючок мсье Дюпона однажды вонзится в кусок моей жизни
на заре, на рассвете.
Мсье Дюпон его вытащит из воды вместе с синим отраженьем
Парижа.
И увидит, что это не рыба и даже не старый ботинок, а так,
невесть что.
И он выбросит в Сену, обратно, кусок моей жизни вместе
с синим отраженьем Парижа.
Отраженье не сможет уплыть, а кусок моей жизни доплывет
вместе с Сеной до кладбища рек — до огромного моря.
Я проснулся от рокота. Это — кровь в моих жилах.
Рокот крови громче рева волны у мыса Акынты **,
потому что я стал невесом.
Мои пальцы утратили тяжесть:
оторвутся от рук и от ног и — взлетят,
чтоб кружить и качаться над моей головой.
Голова моя также утратила тяжесть
и воздушно, как шар, полетит надо мной.
Верха нет у меня, низа нет у меня, я не знаю, где право,
где лево.
Не забыть подсказать Абидину, пускай нарисует картину
невесомости и незнания «право» и «лево».

Не забыть подсказать Абидину, что павший на площади Баязида студент достоин портрета. И товарищ Гагарин, и товарищ Титов, чье лицо мы еще не видели и чье имя — не знаем, и те, кто идут за ними, и женщина, что в мансарде,— все они ожидают портретов.

* Авни Арбас — современный турецкий художник. Левни — гурецкий художник-миниатюрист XVIII в.

** Мыс в проливе Босфор.

Нынче утром я вернулся с Кубы.
Там, на площади, шесть миллионов — черный, белый, мулат —
с песней, с пляской сажают светлые зерна, зерна зерен.
Абидин, ты сумеешь написать это счастье?
Но — без легких решений!
Но — не ангелоликую матерь, кормящую розовощекого сына,
и не яблоко на скатерти белой,
и не красную рыбку, аквариум, пузыри водяные!
Абидин, ты сумеешь написать настоящее счастье, то есть
Кубу летом 1961 года?
Ты сумеешь, маэстро, нарисовать, чтобы всем было ясно:
слава богу, я дожил, теперь умирать не обидно?
Ты сумеешь, ты сможешь нарисовать, чтобы всем
захотелось родиться в Гаване в это самое утро?
Руку видел я в ста пятидесяти километрах восточней Гаваны,
у стены, недалеко от берега видел я руку.
Та стена была радостной песней.
Рука гладила стену.
Полгода было руке, и она обвивала материнскую шею.
Семнадцать лет было руке, ладони в мозолях, пахнут Карибским морем, она ласкала грудь Марии.
Двадцать лет было руке, она ласкала полугодовалого сына.
Двадцать пять было руке, давно отвыкшей от ласки.
Тридцать лет было руке, когда я увидел ее в ста пятидесяти
километрах восточней Гаваны у стены недалеко от берега.
Рука ласкала стену.

Абидин, ты рисуешь руки, руки наших пахарей и кузнецов, нарисуй же и руку кубинского рыбака Николаса, эту руку — большую, достигшую счастья приласкать и погладить стену домика, залитого солнцем и полученного в кооперативе.

Никогда не отвыкнет ласкать рука Николаса, большая рука,
рука, что недавно
не решилась бы верить, что ей доведется гладить
добрую стену,
рука, что сегодня поверила в радость,
святая рука, полная солнцем и морем,
рука надежд, что быстрей тростника вырываются из-под земли,
зеленеют, наливаются медом на земле, плодоносной,
как слово Фиделя.
Эти руки сажают в 1961 на Кубе дома, что прохладны и
красочны, словно деревья, и деревья, уютные, словно дома.
Эти руки готовы плавить сталь.
Пулемет в таких руках как песня. Песня — как пулемет.
Рука нефальшивой Свободы.
Рука, которую жала рука Фиделя.
Рука, первым своим карандашом на первом листе бумаги
написавшая слово «Свобода».
Когда слышится слово «Свобода», у кубинцев текут такие же
слюнки, как будто взламывают улей с медом — сладкий арбуз.
Глаза их мужчин блестят.
Тела их девушек трепещут, как только губы девушек
касаются слова «Свобода».
А старики вытаскивают из колодца ведро самых лучших
воспоминаний и с наслаждением пьют по глоточку.
Абидин, ты сможешь нарисовать счастье?
Нарисовать слово «Свобода», но — без фальши!
В Париже наступает вечер.

Нотр-Дам, как фонарь, загорелся и снова погас,
и все старые камни Парижа, и все новые камни Парижа
зажглись и погасли.
Я думаю о ремесле поэта, художника, музыканта.
Я понимаю, что с той поры, когда в первой пещере первый
зубр
был начертан рукой человека, с той поры и течет река.
И все новые реки впадают в нее, и новые рыбы, новая тина,
новые вкусы вливаются в ту, что не пересыхает и течет
бесконечно.

■

В Париже,
может быть, и сейчас расцветает каштан, отец всех парижских
каштанов,
из Стамбула, с Босфора пересаженный в землю Парижа.
Жив ли он? Я не знаю.
Если жив, ему больше двухсот.
Я хотел бы поцеловать его руку.
Я хотел, чтоб в тени у каштана отдохнули и я и те, кто сработал бумагу для этой поэмы, кто ее набирал и печатал, и те, кто ее продает в магазине, кто ее покупает на кровные деньги, кто читает ее и кто смотрит картинки, и еще Абидин, и еще — мое горе с волосами цвета соломы.

ЖИРИНА АДАМКОВА *(Чехословакия)*
Будущий космонавт

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ

Реквием

Перевод с польского
БОРИСА ДАШКОВА

— Заглавие это фальшиво,—
Могилы взывают к людям.
— Мы не уснем спокойно.
Доколе не кончатся войны,
Дотоле мы спать не будем.
Нас Ахерон не примет,
Доколе бушуют войны,
Пока вы еще в дороге.
Ночь нам всегда поможет.
Лунными ночами
Мы, мертвые, словно рыбы,
Плывем из могил. За вами.
В дома заплываем, в совесть,
В самую боль, в самый корень;
И смерть шумит высоко,
Как лес, как ветер, как море.
Мы с вас одеяло стянем:
Что же вы дома сидите!
В глаза вам, братья, плюнем,
Если вы нас предадите.
Если вы нас недостойны
И страх допустили в души,—
Не будете жить спокойно,
Мор ваших детей задушит.
Слушайте, европейцы,
Слушайте голос Варшавы:
Места нет колебаньям,
Жизни нет для слабых.
Лавры смелых венчают.
Битвы за мир суровы.
Видите — землю качает!
Это — погибших зовы.
Мы, мертвецы, с вами —
За вас, живые, и с вами.
Сталинград и Варшава
Светят, как звезды, ночами.

■

Нам не нужно симфоний,
Реквиема и кадила,
Для этого нынче не время —
Живому отдайте силы.
Скоро весть о счастье
Вспыхнет над нашей планетой.
Мертвым — Великий Реквием,
Живым — Великий Отдых.

ДЖОН СТЕЙНБЕК

Зима тревоги нашей

РОМАН

Перевод с английского
Н. ВОЛЖИНОЙ
и Е. КАЛАШНИКОВОЙ

ОТ АВТОРА:

Читателям, которые станут доискиваться, какие реальные люди и места описаны здесь под вымышленными именами и названиями, я бы посоветовал посмотреть вокруг себя, заглянуть в собственную душу, так как в этом романе рассказано о том, что происходит сегодня почти во всей Америке.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Когда золотое апрельское утро разбудило Мэри Хоули, она повернулась к мужу и увидела, что он растянул рот мизинцами, изображая лягушку.

— Дурачишься, Итен? — сказала она.— Опять проявляешь свой комический талант?

— Мышка-мышка, выходи за меня замуж.

— Только проснулся и сразу за свое — дурачиться?

— День грядет, и вот уж утро!

— Так и есть — сразу за свое. А ты помнишь, что сегодня великая страстная пятница?

Он забубнил:

— Подлые римляне по команде выстраиваются у подножия Голгофы.

— Перестань кощунствовать. Марулло разрешит тебе закрыть лавку в одиннадцать?

— Милый цветочек, Марулло — католик, к тому же итальяшка. Вернее всего, он и носу ко мне не покажет. Я закрою на перерыв в двенадцать и не открою до тех пор, пока не кончится казнь.

— Это в тебе пилигримы заговорили. Нехорошо так.

— Глупости, букашка. Это у меня по материнской линии. Это во мне заговорили пираты. И казнь есть казнь, знаете ли.

— Никакие они не пираты. Ты сам рассказывал, что твои предки — китоловы и что у них были какие-то документы еще от Континентального конгресса.

— На судах, которые они обстреливали, их называли пиратами. А та римская солдатня называла казнь казнью.

— Ну вот, рассердился. Мне больше нравится, когда ты дурачишься.

— Да, я дурачок. Кто этого не знает?

— Вечно ты сбиваешь меня с толку. Тебе есть чем гордиться: пилигримы-колонисты и шкиперы китобойных судов — и все в одной семье.

— А им есть чем?

— Что? Не понимаю.

— Могут мои знаменитые предки гордиться тем, что произвели на свет какого-то паршивого продавца в паршивой итальянской лавчонке в том самом городе, где они когда-то были хозяевами?

— Ты не простой продавец. Ты скорее вроде управляющего—ведешь всю бухгалтерию, сам сдаешь выручку в банк, сам все заказываешь.

— Верно. И сам подметаю, сам вытаскиваю мусорные урны, стараюсь угодить Марулло как могу, и, будь я вдобавок паршивой кошкой, мне бы полагалось ловить у Марулло мышей.

Она обняла его.

— Давай лучше дурачиться,— сказала она.— Не надо так говорить в страстную пятницу, это нехорошо. Я люблю тебя.

— Н-да,— сказал он через минуту.— Все вы поете одинаково. И не воображай, пожалуйста, что это дает тебе право лежать в чем мать родила рядом с женатым мужчиной.

— Я хотела рассказать тебе про ребят.

— В тюрьму сели?

— Опять за свои дурачества? Нет, пусть они сами тебе расскажут.

— А что же ты...

— Марджи Янг-Хант сегодня опять будет гадать мне.

— На кофейной гуще? Кто она такая, Марджи Янг-Хант, чем она прельщает?...

— Знаешь, если бы я была ревнивая... Говорят, когда мужчина притворяется, будто он и не смотрит на хорошенькую девушку...

— Это она-то девушка? У нее двое мужей было.

— Второй умер.

— Мне пора завтракать. И ты веришь в эту чепуху?

— Но ведь про моего брата Марджи мне нагадала! Помнишь ее слова? «Кто-то из родственников, из самых близких...»

— Кто-то из моих родственников, из самых близких, получит хорошего пинка в зад, если сию же минуту не подаст на стол...

— Иду, иду. Яичницу?

— Ну, допустим. Почему называется великая пятница? Что в ней великого?

— Эх ты! — сказала она.— Тебе бы только паясничать.

Когда Итен Аллен Хоули проскользнул в уголок возле кухонного окна, кофе был уже готов и на столе стояла тарелка с яичницей и гренками.

— Самочувствие великолепное,— сказал он.— Так почему же все-таки великая пятница?

— Весна,— отозвалась она от плиты.

— Весенняя пятница?

— Лихорадка весенняя. Вот она тебя и треплет. Это что, ребята встали?

— Как же, дожидайся! Лежебоки несчастные. Давай разбудим их и выпорем.

— Когда на тебя находит, ты бог знает что несешь. На перерыв придешь домой?

— Нет-с, не приду.

— Почему?

— Женщины. Назначаю им свидание на это время. Может, твоя Марджи заглянет.

— Перестань, Итен! Зачем ты так говоришь? Марджи настоящий друг. Она последнюю рубашку с себя снимет.

— Вот как? А есть ли на ней рубашка-то?

— Опять в тебе пилигримы заговорили.

— Держу пари, что мы с ней в родстве. Она тоже пиратских кровей.

— Ну перестань дурачиться. Вот тебе список.— Она сунула листок бумаги ему в нагрудный карман.— Тут очень всего много. Но не забудь, дело к пасхе. И два десятка яиц, тоже не забудь. Скорее, а то опоздаешь.

— Сам знаю. Чего доброго, упущу одного покупателя и лишу Марулло двадцати центов выручки. А зачем сразу два десятка?

— Красить. Аллен и Эллен просили обязательно принести. Ну, тебе пора.

— Ухожу, птица... Только можно, я поднимусь на минуточку наверх и спущу шкуру с Аллена и Мэри-Эллен?

— Ты ужасно их балуешь, Итен! Так все-таки нельзя.

— Прощай, прощай, кормило власти,— сказал он, захлопнув за собой дверь с металлической сеткой, и вышел в золотисто-зеленое утро.

Он оглянулся на красивый старинный дом его отца и прадеда — дом, выкрашенный в белую краску, с полуциркульным окном над парадной дверью, с лепными карнизами в стиле Роберта Адама* и «вдовьей дорожкой» на крыше. Дом стоял в глубине зеленеющего сада среди столетней, набухшей почками сирени с могучими, чуть ли не в три обхвата стволами. Вязы на Вязовой улице смыкали вершины через дорогу и отливали желтизной сквозь молодую листву. Солнце только что ушло со здания банка и засверкало на серебристой башне газового завода, гоня в город солено-йодистые запахи из Старой Гавани.

На утренней Вязовой улице только один прохожий — рыжий сеттер мистера Бейкера, банкирская собака, Рыжий Бейкер, который не спеша, с достоинством шел по тротуару, время от времени замирая и принюхиваясь к визитным карточкам на стволах вязов.

— С добрым утром, сэр. Я Итен Аллен Хоули. Мы с вами уже встречались, когда вы поднимали ножку.

Рыжий Бейкер остановился и ответил на приветствие размеренным помахиванием пушистого рыжего хвоста.

Итен сказал:

— А я вот стою и смотрю на свой дом. Умели строить в прежние времена.

Рыжий склонил голову набок и раза два небрежно поскреб задней лапой по ребрам.

— А хитрое ли это дело? С их-то денежками! Ворвань со всех морей и океанов и спермацет. Что такое спермацет, вам известно?

Рыжий протяжно вздохнул.

— Видимо, нет? Это прозрачное, чудесно пахнущее розой жироподобное вещество, содержащееся в черепных полостях кашалота. Читай «Моби Дика», пес. Мой тебе совет.

Сеттер задрал ногу на чугунную коновязь у обочины тротуара.

Уходя, Итен бросил ему через плечо:

— Дашь отзыв об этой книге. Может, мой сын что-нибудь у тебя почерпнет. Он даже не сумеет правильно написать слово «спермацет»... и не только это слово.

Через два квартала от старинного дома Итена Аллена Хоули Вя-

* Роберт Адам (1728—1792) — известный английский архитектор, много занимавшийся изучением архитектуры древних.

зовая улица под прямым углом впадает в Главную. Посредине первого квартала хулиганская банда воробьев дебоширила на только начинающей зеленеть лужайке перед домом Элгаров. Воробьи не резвились, а налетали друг на друга, валяли друг друга в траве, норовили выклевать друг другу глаза, и все это с такой яростью, с таким шумом, что даже не заметили, как Итен подошел к ним. Он остановился посмотреть на их драку.

— Дружно в гнездышке живем. Всем пример вам подаем,— сказал он.— Свет не слышал подобного вранья. Вы, братцы, даже в такое прекрасное утро не можете поладить между собой. А святой Франциск носился с вами, стервецами! Кш-ш!— Он ринулся на них, наподдал ногой, и воробьи взмыли вверх в шелестящем гуле крыльев, выражая свое крайнее недовольство скрипучим, как несмазанная дверь, чириканьем.— И разрешите мне поведать вам вот что,— сказал Итен им вслед.— Солнце померкнет в полдень, и тьма покроет землю, и страх обуяет вас.— Он ступил на тротуар и пошел дальше.

В старинном доме Филлипсов во втором квартале теперь открыли пансион. Из его парадной двери вышел кассир местного отделения Первого Национального банка Джой Морфи. Он поковырял в зубах, одернул жилет и кивнул Итену.

— А я как раз собирался заглянуть к вам, мистер Хоули,— сказал он.

— Почему страстную пятницу называют великой?

— Это по латыни,— сказал Джой.— Великус, великиус, великум, в смысле — «препаскудная».

Физиономия у Джоя была лошадиная, и улыбался он по-лошадиному, вздергивая длинную верхнюю губу и обнажая крупные квадратные зубы. Джозеф Патрик Морфи, Джой Морфи, Джой-бой, Морф — отнюдь не старожил Нью-Бэйтауна, но тем не менее личность весьма популярная в городе. Балагур, который отпускает шуточки с бесстрастным выражением лица, будто блефуя в покер, зато прямо-таки скисает со смеху, слушая анекдоты других рассказчиков, даже если и не в первый раз. Чего он только не знал, этот Морф, решительно обо всех и обо всем, начиная с мафии и кончая Маунтбеттеном, но выдавал он свою информацию таким тоном, что она звучала почти как вопрос. Благодаря вопросительным ноткам в нем не чувствовалось самоуверенности всезнайки, и от этого слушателям казалось, будто они причастны к его рассказам, что давало им возможность выдавать их потом за свои собственные. Джой был любопытнейший тип: по натуре азартный, а никто не слышал, чтобы он когда-нибудь заключил хоть одно пари, опытный бухгалтер, замечательный банковский кассир. Директор местного отделения Первого Национального банка мистер Бейкер оказывал Джою такое доверие, что переложил на него почти всю свою работу. Морф был на дружеской ноге со всеми в городе, но никого не называл по имени. Итен был для него мистером Хоули, Марджи Янг-Хант — миссис Янг-Хант, хотя, по слухам, Джой спал с ней. У него не было ни семьи, ни родственных связей, жил он один в двух комнатах с отдельной ванной в старинном доме Филлипсов, столовался большей частью в ресторане «Фокмачта». Его послужной список — безупречный — был досконально известен мистеру Бейкеру и всем членам правления, но Джой-бой так рассказывал истории из жизни якобы других людей, что у слушателей невольно возникала мысль: а не произошло ли все это с самим Джоем — и в таком случае он был тертый калач. То, что Джой не выставлял себя напоказ, вызывало к нему еще большую симпатию. Ногти у него всегда были чистые, костюм хорошо и по моде сшитый, рубашка — свежая, башмаки — начищенные.

Они оба не спеша зашагали по Вязовой улице к Главной.

— Я все хочу спросить вас. Адмирал Хоули вам кем-нибудь приходится?

— Может быть, адмирал Холси?— сказал Итен. — В нашей семье моряков было много, но про адмирала я впервые слышу.

— Я знаю, что дед у вас был шкипер китобойного судна, потому, вероятно, мне и втемяшился этот адмирал.

— Такие городишки, как наш, не обходятся без легенд,— сказал Итен.— Вот и говорят, будто мои прапрадеды по отцовской линии пиратствовали в давние времена, а материнские предки прибыли в Америку на «Мэйфлауэре».

— Итен Аллен? — сказал Джой.— Господи помилуй! Он тоже ваш родственник?

— Очень возможно. Даже наверное,— сказал Итен.— Какой сегодня денек! Лучше, кажется, и быть не может. Вы хотели зайти ко мне?

— А, да! У вас с двенадцати до трех как будто перерыв? Приготовьте-ка мне два сандвича к половине двенадцатого, можно? Я тогда забегу за ними. И еще бутылку молока.

— А банк разве не закрывается?

— Банк закрывается. Я — нет. Маленький Джой так и будет торчать там, прикованный цепями к своим гроссбухам. В такие дни накануне больших праздников все, до последней собаки, лезут в банк, каждый со своим чеком.

— Вот не думал,— сказал Итен.

— Ну как же! Пасха, День памяти павших, Четвертое июля, День труда — да перед любым большим праздником. Если бы я решил ограбить банк, то непременно приурочил бы это к кануну большого праздника. Денежки-то лежат готовенькие, ждут-дожидаются.

— А при вас, Джой, когда-нибудь грабили?

— Нет. Но с одним моим приятелем это стряслось дважды.

— Что же он рассказывал?

— Рассказывал, что здорово струхнул. Делал все, как ему было велено. Лег на пол и — пожалуйста, берите. Деньги, говорил, крепче застрахованы, чем я.

— Сандвичи я занесу, когда закрою лавку. Постучусь в боковую дверь. Вам с чем?

— Не беспокойтесь, мистер Хоули. Долго ли мне перебежать с угла на угол!.. Один с ветчиной, один с сыром. Хлеб ржаной, салат и майонез. И еще, пожалуй, бутылку молока и кока-колы, но это на потом.

— Есть хорошая салями — хозяин-то у меня Марулло.

— Нет, спасибо. Ваш Марулло — здешняя мафия из одного человека. Как он там?

— По-моему, ничего.

— Ну что ж, если даже не любишь этих макаронщиков, все равно перед таким надо преклоняться. Торговал человек с тележки овощами, дальше — больше, и теперь чем только не обзавелся! Да, голова у него работает. Знал бы кто, какое он состояние накопил. Напрасно я об этом говорю. Банковским служащим не полагается болтать.

— А вы ничего не разболтали.

Они вышли на угол, где Вязовая улица упирается в Главную. И оба машинально остановились там и посмотрели на розово-белые руины старинной гостиницы, которую сносили, чтобы освободить место для отделения Вулворта. Выкрашенный в желтую краску бульдозер и высоченный кран с ударной шар-бабой молчали, точно хищники, затаившиеся в утренней тиши.

— Вот кому я всегда завидую,— сказал Джой.— Какое, наверно, наслаждение: вдарил этой стальной штуковиной и глядишь — целая стена рухнула.

— Я во Франции вдоволь этого насмотрелся,— сказал Итен.

— Да! Ведь ваше имя есть на обелиске у набережной.

— А тех, что совершили нападение на вашего приятеля, поймали? — Итен догадывался, что приятель этот был сам Джой. На его месте каждый бы догадался.

— Ну конечно! Попались, как мыши в мышеловку. Налетчики, слава богу, народ не хитрый. А вот если бы Джой-бой написал руководство по ограблению банков, полиция никогда бы никого не поймала.

Итен рассмеялся.

— А откуда вы все это знаете?

— Из первоисточника, мистер Хоули. Читаю газеты, только и всего. Кроме того, один мой хороший знакомый работал в сыскной полиции. Желаете, прочитаю вам двухдолларовую лекцию на эту тему?

— Валяйте на семьдесят пять центов. Мне пора открывать.

— Леди и джентльмены,— сказал Джой.— Сегодня мы с вами приступим... Нет, стоп! Почему попадаются после налета на банк? Пункт первый: рецидивисты, судимость в прошлом. Пункт второй: перегрызлись из-за добычи, и кто-нибудь накапал. Пункт третий: дамочки. Без дамочек не могут, а отсюда пункт четвертый: начинают сорить деньгами. Последживайте за такими, и ваше дело в шляпе.

— Так в чем же заключается ваш метод, господин профессор?

— Метод самый что ни на есть простой. Все наоборот. Никогда не совершайте налета на банк, если вы в чем-нибудь уже замешаны и за что-нибудь привлекались. Никаких сообщников — все в одиночку, и никому, ни единой душе ни слова. О дамочках и думать забудьте. Денег тех не трогать. Убрать подальше, и не на один год. Потом, когда сможете сочинить какое-нибудь объяснение, откуда у вас завелись деньжата, извлекайте их на свет божий небольшими суммами и вкладывайте в ценные бумаги хотя бы. Тратить просто так — нельзя.

— Ну а вдруг налетчика узнают?

— Если он закроет лицо и не произнесет ни слова, как его узнаешь? Читали когда-нибудь показания очевидцев? Они же черт-те что несут. Мой приятель из полиции говорил, что, когда его подставляли для опознания какого-нибудь преступника, потерпевшие то и дело на него показывали. Голову давали на отсечение, что это он самый и есть. Вот вам, извольте, на семьдесят пять центов.

Итен сунул руку в карман.

— За мной.

— Сандвичами будете погашать,— сказал Морфи.

Чтобы попасть в переулок, под прямым углом отходивший от Главной улицы, им пришлось перейти на противоположную сторону. Джой вошел через боковую дверь в здание Первого Национального банка по правую сторону переулка, а Итен отпер ключом тоже выходившую в переулок, но по левую его сторону дверь лавки Марулло «Бакалея, Гастрономия, Консервы и Фрукты».

— С ветчиной и сыром? — крикнул он.

— На ржаном, не забудьте салат и майонез.

Пыльное зарешеченное окно туманило и без того слабый свет, проникавший из узенького переулка в кладовую за лавкой. Итен на минуту задержался в полутьме этого помещения с полками до самого потолка, где впритык стояли картонные и деревянные ящики с консервированными фруктами, овощами, рыбой, плавленым сыром и колбасами. Он повел носом, стараясь уловить, не пахнет ли мышами сквозь злачный аромат муки, фасоли и сушеного горошка, канцелярский запах коробок с корнфлексом, тяжелый, сытный дух колбас и сыра, сквозь отдающие дымком окорока и бекон, зловоние капустных листьев, салата и свекольной ботвы, гниющих в серебристых мусорных урнах у боковой

двери. Не обнаружив прогоркло-плесенного мышиного смрада, он снова отворил боковую дверь лавки и выкатил в переулок наглухо закрытые крышками мусорные урны. В лавку хотел было прошмыгнуть серый кот, но он прогнал его.

— Нет, шалишь,— было сказано ему.— Крысы и мышки закуска для котишки, а этой киске подавай сосиски. Сгинь! Тебе говорят, сгинь!— Сидя на тротуаре, кот вылизывал розовый комочек лапки, но после второго «сгинь» он метнулся через переулок, высоко задрав хвост, и одним махом одолел дощатый забор позади банка.— А слово-то, видно, магическое,— вслух сказал Итен. Он вернулся в кладовую и затворил за собой дверь.

Два-три шага по запыленной кладовой к двери в лавку, но у крошечной уборной ему послышался шепоток струящейся воды. Он отворил фанерную дверцу, включил свет и спустил воду. Потом толкнул широкую внутреннюю дверь с забранным сеткой окошечком и носком башмака плотно вогнал деревянный клин под низ.

Сквозь шторы на двух больших витринах в лавку просачивался зеленоватый свет. И тут тоже полки до самого потолка с аккуратными рядами консервов в поблескивающих металлом и стеклом банках — настоящая библиотека для желудка. Справа — прилавок, кассовый аппарат, пакеты, моток бечевки и это великолепие из нержавеющего металла и белой эмали — холодильник с витриной, в котором компрессор что-то тихонько нашептывает сам себе. Итен щелкнул выключателем, и холодная голубизна неоновых трубок залила нарезанные копчености, сыры, сосиски, отбивные, бифштексы и рыбу. Лавка засияла отраженным кафедральным светом, рассеянным кафедральным светом, как в Шартрском соборе. Итен, залюбовавшись, обвел ее глазами — органные трубы консервированных томатов, капеллы баночек с горчицей, с оливками, сотни не то овальных надгробий, не то сардинных коробок.

Он затянул гнусавым голосом:

— Одинокум и одинорум,— как с амвона.— Один одиносик во славу одинутрии домине... ами-инь! — пропел он. И будто наяву услышал комментарий жены: «Перестань дурачиться, и, кроме того, другим это может показаться оскорбительным. Нельзя так походя оскорблять людей в их лучших чувствах».

Продавец в бакалейной лавке — в бакалейной лавке Марулло,— человек, у которого есть жена и двое любимых деток. Когда он бывает один, когда и где он может остаться один? Днем— покупатели, вечером — жена и ребятишки, ночью — жена, днем — покупатели, вечером — жена и ребятишки.

— В ванной, вот где,— вслух сказал Итен.— И сейчас, до того, как прорвет плотину.— О! Терпкий дух, мысли вслух, неряшливая дурашливость этих минут — чудных и чудных минут.— Сейчас я тоже кого-нибудь оскорбляю, прелесть моя? — спросил он жену.— Здесь никого нет — ни людей, ни их лучших чувств. Никого, кроме меня и моего одинокум одинорума до тех пор, пока... пока я не отворю эту треклятую дверь.

Из ящика под прилавком справа от кассы он достал чистый фартук, расправил его, выпростал тесемки, обтянул им свои узкие бедра, провел тесемки наперед и снова за спину. Потом обеими руками на ощупь завязал сзади узел.

Фартук был длинный, чуть не до щиколоток. Итен воздел правую руку ладонью вверх и провозгласил:

— Внемлите мне, о вы, консервированные груши, маринады и пикули! «И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой синедрион...» Как настал день. Рано принялись за дело, сукины дети! Ни минутки лишней не упустили.

Как там дальше? «Было же около шестого часа дня...» По-нашему, это, наверно, полдень. «И сделалась тьма по всей земле до часа девятого. И померкло солнце». Как я все это помню? Боже милостивый! Долго же Ему пришлось умирать — мучительно долго! — Он опустил руку и вопросительным взглядом обвел заставленные товаром полки, будто ожидая от них ответа.— Сейчас ты мне ничего не говоришь, Мэри, лепешечка моя. Может быть, ты из дщерей иерусалимских? «Не плачьте обо мне,— рек Он.— Но плачьте о себе и о детях ваших... Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» До сих пор не могу спокойно слушать. Тетушка Дебора и не подозревала, как глубоко западет это мне в душу. Но шестой час еще не наступил... нет, еще рано, рано.

Он поднял зеленые шторы на обеих больших витринах, говоря:

— Входи, новый день! — Потом повернул ключ в передней двери.— Прошу пожаловать, мир! — Обе зарешеченные створки настежь, и на них — крюки, чтобы не захлопнулись. И навстречу — утреннее солнце, нежно пригревающее асфальт, как ему, солнцу, и полагалось в эти дни, потому что в апреле оно вставало в том месте, где Главная улица сбегала к заливу. Итен прошел в уборную и взял там метлу подмести тротуар.

День — то, что называется, день-деньской—не един с утра до вечера. Его окрашивает не только взлет света в зенит и спуск в обратный путь, к закату, в нем меняется все — весь строй его, ткань, тон и смысл; его карежат тысячи факторов всех времен года: зной, стужа, затишье, ветер; он подвластен запахам сладости или горечи трав, листа, почки, холоду льдинки, черноте голых веток. И по мере того как меняется день, меняются и все его подданные: букашки и птицы, кошки, собаки, бабочки и люди.

Тихий, затуманенный, обращенный внутрь день Итена Аллена Хоули подошел к концу. У того человека, который размеренно, будто под метроном, подметал тротуар, не осталось ничего общего ни с проповедником, взывающим к консервным банкам, ни с «одинокум одинорумом», ни даже с тем — неряшливо дурашливым. Взмахами метлы он собирал окурки сигарет, обертку жевательной резинки, чешуйки почек с деревьев и просто пыль и ряд за рядом гнал этот нанос мусора ближе к канаве, где его подберут мусорщики с серебристого грузовика.

Мистер Бейкер степенно шествовал из своего дома на Каштановой улице к красно-кирпичной базилике Первого Национального банка. Шаги у него были неодинаковой длины, хотя вряд ли кто-нибудь мог подумать, что, веря в древнюю примету, он боится переломить спинной хребет своей матери.

— С добрым утром, мистер Бейкер,— сказал Итен и пропустил один взмах метлы, чтобы не запылить тщательно отутюженные темные брюки директора банка.

— С добрым утром, Итен. С прекрасным утром.

— Да, действительно,— сказал Итен.— Весна пришла, мистер Бейкер. Крот-то, хитрец, опять оказался прав.

— Да, хитрец, хитрец.— Мистер Бейкер помолчал.— Я все собираюсь поговорить с вами, Итен. Ваша жена получила по завещанию брата... э-э... больше пяти тысяч, кажется?

— За вычетом налогов шесть тысяч пятьсот,— сказал Итен.

— И они лежат в банке просто так. Вложить надо во что-нибудь. Давайте обсудим это. Ваши деньги должны работать на вас.

— Шесть с половиной тысяч много не наработают, сэр. Деньги небольшие, так, про черный день.

— Я не поклонник мертвых капиталов, Итен.

— Да, но... не меньше служит тот высокой воле, кто стоит и ждет.

В голосе у банкира появились ледяные нотки.

— Не понимаю.— Судя по интонации, он прекрасно все понял, но счел это замечание глупым, и его тон кольнул Итена, а укол самолюбия породил на свет ложь.

Метла прочертила чуть заметный полукруг на тротуаре.

— Дело в том, сэр, что эти деньги оставлены Мэри как временное обеспечение. На тот случай, если вдруг со мной что-нибудь стрясется.

— Тогда вам надо взять оттуда некоторую сумму и застраховать жизнь.

— Но ведь они даны ей во временное пользование, сэр. Это имущество брата Мэри. Ее мать все еще жива. И может прожить еще не один год.

— Так, понимаю. Старики частенько бывают в тягость.

— И частенько держат деньги под спудом.— Сказав неправду, Итен взглянул на мистера Бейкера и увидел, как из-под воротничка у банкира проступила краснота.— Ведь знаете, сэр, может так случиться: вложишь во что-нибудь эти деньги Мэри и вылетишь в трубу, как я и сам однажды вылетел со своими собственными и как мой отец разорился.

— Все течет, все меняется, Итен. Все меняется. Я знаю, вы сильно обожглись. Но теперь совсем другие времена, другие возможности.

— Возможностей у меня и тогда было много, мистер Бейкер, гораздо больше, чем здравого смысла. Не забывайте, что я завел лавку сразу после войны. Продал полквартала недвижимости, чтобы закупить товар для нее. И это было последнее наше предприятие.

— Знаю, Итен. Ведь вы же держите деньги у меня в банке. Врач проверяет ваш пульс, а я — ваш текущий счет.

— Еще бы вам не знать. Мне и двух лет не понадобилось, чтобы прогореть почти дотла. Все продал, кроме дома, когда расплачивался с долгами.

— Не взваливайте всю вину на себя. Только что из армии, опыта в делах ни малейшего. И не забывайте еще, что вы угодили домой в самый разгар депрессии, которую мы почему-то именовали спадом. Закаленные дельцы и те уходили под воду.

— Я ушел под воду на самое дно. Первый случай в истории, чтобы член семьи Хоули служил продавцом в бакалейной лавке у какого-то итальяшки.

— Вот тут я отказываюсь вас понимать, Итен. Крах может потерпеть каждый. Но как не преодолеть в себе этого — вам, человеку из рода Хоули, из такой среды, с таким образованием. У вас, наверно, кровь стала жидкая, если вы решили, что это уже на веки вечные. Что вас подкосило, Итен? Подкосило и не дает выпрямиться?

Итен хотел было начать сердитую отповедь: ну, конечно, где вам понять! Вы никогда ничего подобного не испытали... Но вместо этого он подровнял метлой кучку оберток от жевательной резинки и сигаретных окурков и двинул ее к канаве.

— Так не бывает, чтобы человека подкосило и ему сразу конец. Я хочу сказать, что с большой бедой как-то борются. Эрозия — вот что его разъедает и все ближе и ближе подталкивает к гибели. Постепенно он поддается чувству страха. Мне тоже страшно. Электроосветительная компания Лонг-Айленда может выключить у нас свет. Моей жене нужно одеваться. Детям нужна обувь, нужны развлечения. А вдруг они не смогут кончить школу? А ежемесячные счета, врачи, дантисты, удаление миндалин, а, представьте себе, вдруг я сам заболею и не смогу подметать этот тротуар, будь он проклят? Конечно, где вам понять! Процесс

этот медленный. Он выедает человеку все нутро. Я не могу заглядывать вперед дальше очередного ежемесячного взноса за холодильник. Моя работа ненавистна мне, и в то же время я боюсь ее потерять. Разве вы в состоянии понять это?

— А мать Мэри?

— Я же вам говорил. Она держит деньги под спудом. Так и умрет с ними.

— Вот не подозревал! Мне казалось, что Мэри из небогатой семьи. Но я прекрасно понимаю: если заболеешь, то нужны лекарства, может потребоваться операция или электрошок. Наши предки были смелый народ. Вы сами это знаете. Они не позволяли обгладывать себя до костей. Теперь времена изменились. Теперь повсюду открываются такие возможности, о каких они и мечтать не могли. А пользуются этими возможностями иностранцы. Иностранцы обгоняют нас. Проснитесь, Итен!

— А как быть с холодильником?

— Пусть забирают, раз так.

— А Мэри, а дети?

— Забудьте их на время. Вы станете им еще дороже, если выкарабкаетесь из этой ямы. От ваших забот и тревог толку мало.

— А деньги Мэри?

— Рискните, даже если придется потерять их. Действуйте осторожно и прислушивайтесь к добрым советам, тогда все будет хорошо. Риск — это не проигрыш. Наши с вами предки всегда рисковали с точным расчетом, и никто из них не оставался в проигрыше. Я не намерен щадить вас, Итен. Где ваша верность памяти старого шкипера Хоули? Вы в долгу перед его памятью. Ведь он и мой отец сообща владели «Прекрасной Адэр» — одним из самых лучших китобойных судов, построенных в наше время. Подхлестните себя, Итен! Перед «Прекрасной Адэр» вы тоже в долгу, и она с вас стребует. Пошлите холодильник к черту!

Кончиком метлы Итен принудил упрямый обрывок целлофана свалиться в канаву. Он сказал вполголоса:

— «Прекрасная Адэр» сгорела по самую ватерлинию, сэр.

— Да, знаю. Но разве это хоть сколько-нибудь помешало нам? Отнюдь.

— Она была застрахована.

— Разумеется, была.

— А я — нет. Мне удалось спасти только свой дом и больше ничего.

— Выкиньте такие мысли из головы. Это все дела давно минувшие, а вы до сих пор не можете с ними расстаться. Наберитесь мужества, дерзайте! Поэтому я и говорю, что деньги Мэри надо пустить в оборот. Я хочу помочь вам, Итен.

— Спасибо, сэр.

— Мы снимем с вас этот фартук. Вот в чем ваш долг перед старым шкипером Хоули. Он не поверил бы собственным глазам, увидя вас в таком наряде.

— Да, наверно.

— Вот теперь вы говорите дело. Мы снимем с вас этот фартук.

— Если б не Мэри и не дети...

— Говорят вам: выкиньте семью из головы — ради ее же блага. У нас в Нью-Бэйтауне скоро начнутся интересные дела. Вы могли бы принять участие в них.

— Благодарю вас, сэр.

— Я обо всем этом еще подумаю.

— Мистер Морфи сказал, что он останется работать, когда банк закроют на перерыв. Я обещал приготовить ему сандвичи. Могу и вам принести, хотите?

— Нет, благодарю. Джой за меня все делает. Прекрасный работник. Я хочу посмотреть кое-какие земельные участки. Разумеется, не на месте, а в Окружном управлении. От двенадцати до трех там тихо, спокойно. Может быть, и для вас что-нибудь подберу. Мы с вами скоро обо всем поговорим. Ну, всего доброго.— Мистер Бейкер сделал большой шаг, чтобы не наступить на трещину в тротуаре, и пошел к главному входу в Первый Национальный банк, а Итен улыбнулся, глядя на его удаляющуюся спину.

Итен быстро кончил подметать, потому что люди струйками и ручейками текли на работу. У входа в лавку он поставил лотки со свежими фруктами. Потом, убедившись, что прохожих нет, снял с полки три банки консервированного собачьего корма, сунул руку в освободившееся пространство, вынул оттуда зловеще-темный мешочек с деньгами, поставил банки обратно и, нажав пустой клавиш кассы, разложил двадцатки, десятки, пятерки и однодолларовые бумажки по местам, под придерживающие их колесики. А в передней части выдвижного кассового ящика легли, каждая в свою дубовую чашечку, монеты по пятьдесят, двадцать пять, десять, пять центов и по одному пенни. Пока что покупателей было немного: дети, посланные за кирпичиком хлеба, или картонкой молока, или фунтом не запасенного вовремя кофе — большей частью девочки с не расчесанными со сна волосами.

Вошла Марджи Янг-Хант в свитере цвета сомон, вызывающе облегавшем бюст. Твидовая юбка любовно льнула к ее бедрам и подхватывала горделивый зад, но только в глазах Марджи, в ее карих близоруких глазах видел Итен то, чего не могла увидеть его жена, потому что в присутствии жен там ничего такого не было. Хищный зверек, Артемида, охотница за брюками. Старый шкипер Хоули называл такой взгляд «блудливым». И в голосе у нее это тоже слышалось — в его бархатистой тягучести, которую сменяло сладенькое доверительное верещание в расчете на жен.

— Здравствуйте, Ит,— сказала Марджи.— Какой денек! Самый раз для пикника.

— Здравствуйте. Хотите пари? Остались без кофе.

— Если вы догадаетесь, что я осталась без таблеток для шипучки, тогда вас надо обходить за два квартала.

— Здорово кутнули?

— Не так чтобы очень, но... Разъездной торговый агент, порассказал всего с три короба. С нами, разводками, безопасно. Полный портфель бесплатных образцов. У вас такие, наверно, зовутся просто коммивояжерами. Вы, может, знаете его? Не то Биггер, не то Боккер. От фирмы «Б. Б. Д. и Д.» Почему я обо всем этом говорю? Потому что он собирался зайти к вам.

— Мы большей частью заказываем у Вэйланда.

— Этот мистер Бяккер, наверно, уже рыщет по городу, конечно, если самочувствие у него чуточку приличнее, чем у меня. Дайте-ка стакан воды. Для начала я тут выпью.

Итен сходил в кладовую и принес бумажный стакан с водой из-под крана. Бросив туда три плоские таблетки, Марджи дождалась, когда вода зашипит.

— Будьте,— сказала она и выпила шипучку залпом.— Ну, черт, скорее действуй!

— Я слышал, вы собираетесь сегодня предсказать Мэри ее судьбу.

— О господи! Из головы вон! Всерьез, что ли, мне этим заняться? Тогда бы я и свою судьбу устроила.

— Мэри очень это нравится. А вы в самом деле умеете гадать?

— Тут особого умения не нужно. Наслушаешься, что люди, то есть женщины, говорят о себе, а потом им же все это и выложишь, а они считают тебя пророчицей.

— Ну а про высоких брюнетов?

— И про брюнетов, конечно. Но если бы я умела читать в мужских сердцах, не было бы у меня в жизни таких промахов. Ох-ох-ох! И влопалась же я разочка два!

— Ваш первый муж, кажется, умер?

— Нет, второй, да покоится он с миром, сукин... Ладно, замнем. Да покоится он с миром.

Итен участливо поздоровался с престарелой миссис Ежезинской и, стараясь подольше растянуть отпуск четверти фунта масла, даже одобрительно отозвался о погоде, но Марджи Янг-Хант, опохмелившись, не уходила, а с улыбкой разглядывала банки паштета с золотыми наклейками и миниатюрные, как футляры для драгоценностей, баночки черной икры на прилавке около самой кассы.

— Ну? — сказала Марджи, когда старуха, с трудом волочившая ноги, вышла из лавки, бормоча что-то себе под нос по-польски.

— Что — ну?

— Да так, вдруг в голову пришло... Если б я знала мужчин так же хорошо, как женщин, можно было бы гадать с вывеской. Поучили бы вы меня, Итен, что такое мужчины.

— Вы и так достаточно их знаете. Может быть, даже больше, чем достаточно.

— Вот человек! Чувства юмора, что ли, у вас нет?

— Прикажете сейчас начать?

— Нет, как-нибудь вечерком.

— Хорошо,— сказал он.— Кружок. Мэри, вы и двое деток. Тема занятий: мужчины, их слабые стороны, их глупость и как ими пользоваться.

Марджи не обратила внимания на его тон.

— Разве так не бывает, что вам приходится просиживать за работой целые вечера? Отчеты к первому числу и прочее тому подобное?

— Бывает. Работу беру на дом.

Она подняла руки над головой и запустила все десять пальцев в волосы.

— Почему? — спросила она.

— Потому что потому оканчивается на «у».

— А вы многому могли бы меня научить?

Итен сказал:

— «И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятье. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симон. И заставили сего нести крест его. И, пришедши на место, называемое Голгофа, что значит лобное место...»

— А ну вас!

— Да-да, все так и было.

— Вам известно, что вы настоящий сукин сын?

— Известно, о дщерь иерусалимская!

Она вдруг улыбнулась.

— Знаете, что я сделаю? Такого сегодня нагадаю одному человеку, любо-дорого! Вы у меня будете самой что ни на есть важной персоной. Поняли? Чего ни коснетесь, все превратится в золото. Народный глашатай!— Она быстро подошла к двери и, оглянувшись с порога, оскалила зубы в улыбке.— Ну-ка, попробуйте оправдать свою репутацию и попробуйте не оправдать! До свидания, Спаситель! — Как странно звучит цоканье каблуков по тротуару, когда ими отстукивают в ярости.

К десяти часам все изменилось. Распахнулись широкие стеклянные

двери банка, и людская речка потекла туда за деньгами, а потом завернула к Марулло и вынесла оттуда разные деликатесы, без которых пасха не пасха. Итен чувствовал себя как на водяных лыжах — только держись,— и продолжалось это до часа шестого.

Сердитый пожарный колокол на башне ратуши пробил начало часа шестого. Покупатели мало-помалу рассосались, унося с собой пакеты с праздничной снедью. Итен внес в лавку лотки с фруктами, запер входную дверь и без всякой на то причины, а лишь потому, что сделалась тьма по всей земле и в нем самом, спустил плотные зеленые шторы, после чего тьма сделалась и в лавке. Одна только неоновая трубка в холодильнике светила в этой тьме призрачной голубизной.

Зайдя за прилавок, он отрезал четыре толстых куска ржаного хлеба и щедро намазал их маслом. Потом двинул вбок стеклянную дверцу холодильника и взял с одного блюда два ломтика плавленого швейцарского сыра, а с другого — три куска ветчины.

— Сыр и салат,— сказал он.— Сыр и салат. Лезьте на дерево, кому дом маловат.— На верхние куски хлеба густым слоем положен майонез, они придавлены к нижним, выпирающие кромки ветчинного сала и зеленых салатных листьев подровнены. Теперь взять картонку молока и пергаментной бумаги на обертку. Он аккуратно подгибал пергамент с краев, когда во входной двери звякнул ключ и в магазине появился Марулло — широкий в плечах, как медведь, и такой тучный, что руки у него казались непропорционально короткими и не прилегали к бокам. Шляпа у Марулло сидела на самом затылке, а из-под нее торчала жесткая бахрома серо-стальных волос, точно он носил под шляпой еще какую-то шапочку. Глаза у него были со слезой, хитрые и сонные, но золотые коронки на передних зубах сразу блеснули в свете неоновой трубки. Две верхние пуговицы на брюках были расстегнуты, так что виднелись теплые серые кальсоны. Марулло стоял, запустив толстые культяпки больших пальцев за брючный пояс, приходившийся как раз под животом, и щурился, привыкая к полутьме.

— С добрым утром, Марулло. Хотя сейчас уже день.

— Здравствуй, мальчуган! Ты поспешил закрыться.

— Весь город закрылся. Я думал, вы на мессе.

— Нет сегодня мессы. Единственный день в году, когда мессы не бывает.

— Вот как? Не знал. Чем могу служить?

Короткие толстые руки вытянулись вперед и несколько раз подряд согнулись в локтях.

— Болят, мальчуган. Артрит... Все хуже и хуже.

— Ничего не помогает?

— Все перепробовал — грелки, акулий жир, пилюли... болит и болит. Тихо, спокойно, дверь на замке. Может, поговорим? А, мальчуган? — Зубы у него снова сверкнули.

— Случилось что-нибудь?

— Случилось? Что случилось?

— Ладно, подождите минуту. Я схожу в банк. Отнесу сандвичи мистеру Морфи.

— Правильно, мальчуган. Сервис — хорошее дело. Умница.

Итен вышел через кладовую в переулок и постучал в боковую дверь банка. Джой принял от него молоко и сандвичи.

— Спасибо. Напрасно беспокоились. Я бы сам.

— Это сервис. Так Марулло сказал.

— Поставьте на холод две бутылки кока-колы, идет? У меня от цифр во рту пересохло.

Вернувшись, Итен застал Марулло за проверкой мусорных урн.

— Где вам угодно говорить со мной, мистер Марулло?

— Начнем здесь, мальчуган.— Он вытащил из мусорной урны листья цветной капусты — Слишком много срезаешь.

— Так аккуратнее.

— Цветная капуста продается на вес. Швыряешь деньги в мусорный ящик. Я знаю одного умного грека — у него, может, двадцать ресторанов. Так вот, он говорит: «Весь секрет в том, чтобы почаще заглядывать в мусорный ящик. Что выброшено, то не продано». Умный грек, хитрый.

— Да, мистер Марулло.— Еле сдерживая нетерпение, Итен вошел в лавку, Марулло следовал за ним по пятам, сгибая и разгибая руки в локтях.

— Овощи спрыскиваешь, как я велел?

— Спрыскиваю.

Хозяин взял с прилавка пучок сельдерея.

— Суховат.

— Слушайте, Марулло! Какого черта? Замачивать их, что ли? И без того на треть воды.

— Если спрыскивать, они не вялые, а свеженькие. Думаешь, я ничего не знаю? Я с тележки начал — с одной тележки. И все знаю. Учись ловчить, мальчуган, не то прогоришь. Теперь мясо — слишком дорого платишь оптовикам.

— Мы же рекламируем, что говядина у нас высший сорт «А».

— А, Б, В — поди разбери. На ценнике написано, и дело с концом. А вот теперь о самом важном. Должники нас душат. Кто не уплатит к пятнадцатому, кредит закрыть.

— Нет, так нельзя. Ведь некоторые лет по двадцать сюда ходят.

— Слушай, мальчуган. Магазины Вулворта самому Джону Д. Рокфеллеру не отпустят в долг, даже на пять центов.

— Да, но это надежные люди, почти все надежные.

— Что значит «надежные»? Если не уплатили, значит, деньги не пущены в оборот. Вулворт закупает целыми грузовиками. А мы так не можем. Надо учиться, мальчуган. Верно, хорошие люди. Но деньги тоже хорошая вещь. В ящике слишком много обрезков.

— Это сало и кожа.

— Если сначала отвесить, а потом счистить, тогда можно. О себе не мешает подумать. Сам о себе не подумаешь, кто будет о тебе думать? Учиться надо, мальчуган. — Золотые коронки уже не поблескивали, потому что губы над ними были плотно сжаты, как маленькие ловушки.

Злоба всколыхнулась в Итене так внезапно, что он сам себе удивился.

— Я не мошенник, Марулло.

— А где тут мошенники? Это правильная торговля, а если торговать, так только правильно, не то прогоришь. Ты что думаешь, мистер Бейкер, когда платит по чекам, что-нибудь в придачу дает?

Итена взорвало, как перегретый котел.

— Теперь слушайте, что я вам скажу! — крикнул он. — Хоули живут здесь с середины восемнадцатого века. Вы иностранец. Для вас это нет ничто. Мы всегда ладили с соседями, всегда были порядочными людьми. Вы прилезли сюда из Сицилии и воображаете, что вам удастся повернуть здесь все на свой лад? Нет, ошибаетесь! Прикажете освободить место? Пожалуйста! Хоть сейчас, хоть сию минуту. И не смейте называть меня мальчуганом, не то получите по физиономии.

Теперь у Марулло засверкали все зубы.

— Ну, будет, будет. Вот взбесился. Я же добра тебе хочу.

— Не смейте называть меня мальчуганом. Наша семья живет здесь двести лет.— Эти слова ему самому показались ребячливыми, и его злость мгновенно выдохлась.

— Я не очень правильно говорю по-английски. Ты думаешь, Марулло просто итальяшка, макаронщик, шарманщик. Мой genitori, мое имя, может быть, насчитывает две тысячи, три тысячи лет. Мы, Марулло, родом из Рима, о нас сказано у Валериуса Максимуса. Двести лет? Подумаешь!

— Вы не здешний.

— Двести лет назад твои тоже были не здешние.

И вдруг Итен, окончательно остыв, увидел нечто такое, что может заставить человека усомниться в постоянстве данностей внешнего мира. Он увидел, как иммигрант, итальяшка, разносчик фруктов вдруг преобразился, точно по волшебству; увидел купол его лба, сухой крючковатый нос, свирепые и бесстрашные глаза в глубоких глазницах, голову, покоящуюся на мускулистой колонне шеи, увидел в нем гордость, такую глубинную и непоколебимую, что ей ничего не стоило играть в смирение. Это было поистине открытие — из тех, что сражают человека и будят в нем мысль: если я вижу это впервые, то сколько же всего прошло в жизни мимо меня!

— Нечего вам прибедняться,— тихо сказал он.

— Правильная торговля. Я учу тебя торговать. Мне шестьдесят восемь лет. Жена умерла. Артрит. Очень больно. Хочу научить тебя, как торгуют. Может, ты не научишься? Многие так и не могут научиться. И терпят крах.

— Незачем тыкать мне в нос моим собственным крахом.

— Нет. Ты не понял. Я хочу научить тебя, как правильно торговать, чтобы краха больше не было.

— И вряд ли будет. Своей торговли у меня нет.

— Ты еще мальчуган.

Итен сказал:

— Слушайте, Марулло. Если уж на то пошло, так я веду за вас все дело. На мне бухгалтерия, заказы, я вношу выручку в банк. Стараюсь сохранить клиентуру. От меня к другим не уходят. Разве правильная торговля заключается не в этом?

— Да, да! Кое-чему ты все-таки научился. Ты больше не мальчуган. Бесишься, когда я называю тебя мальчуганом. Как же мне тебя называть? Я всех так называю.

— Попробуйте по имени.

— По имени — не чувствуешь дружбы. Мальчуган — по-дружески.

— Несолидно.

— Где солидно, там нет дружбы.

Итен рассмеялся.

— Когда работаешь продавцом в лавке у макаронщика, надо соблюдать солидность — ради жены, ради детей. Согласны?

— Показное.

— Конечно показное. Будь во мне хоть капля истинной солидности, я бы ни о чем таком не думал. Не мешало бы вспомнить, что говорил мой отец незадолго до смерти. Он говорил, что уязвимость находится в зависимости от интеллекта, от чувства уверенности в себе. Слова «сукин сын», говорил он, могут уязвить только того, кто не отвечает за свою мать. А, скажем, Альберт Эйнштейн, чем и как его уязвишь? Он был еще жив тогда. Так что, пожалуйста, можете называть меня мальчуганом, если желаете.

— Мальчуган. Сам видишь, это по-дружески.

— Ну ладно. Что вы там хотели мне сказать насчет торговли? Чего я такого не умею?

— Торговля — это деньги. Деньги и дружба — совсем разное. Слушай, мальчуган. Может, ты слишком по-дружески, слишком приветли-

вый? Деньги и приветливость — это совсем разное. Деньгам нужна не дружба, а еще и еще деньги.

— Вздор, Марулло. Мало ли я знаю дельцов, которые и приветливы, и дружелюбны, и вообще достойные люди.

— Когда дело в стороне — да. Ты, мальчуган, сам узнаешь. А когда узнаешь, будет поздно. Сейчас ты справляешься, в лавке все хорошо, но если она будет твоя, ты по дружбе и прогоришь. Я тебя учу, как в школе. Прощай, мальчуган.— Марулло согнул руки в локтях и, быстро выйдя из лавки, хлопнул дверью, и тогда Итен почувствовал всю тяжесть тьмы, сделавшейся по всей земле.

В дверь резко постучали чем-то металлическим. Итен отдернул штору и сказал:

— Перерыв до трех.

— Впустите меня. Я к вам по делу.

Незнакомец вошел в лавку — сухопарый, с виду вечно молодой человек, который никогда молодым не был; щеголеватый костюм, матово поблескивающие, гладко прилизанные волосы, взгляд веселый, неспокойный.

— Извините за вторжение. Но мне скоро уезжать. Хотел поговорить с вами наедине. Думал, старик никогда не уйдет.

— Марулло?

— Да. Я следил с той стороны.

Итен взглянул на его белые руки. На среднем пальце левой он увидел крупный кошачий глаз в золотой оправе.

Незнакомец перехватил его взгляд.

— Не налетчик,— сказал он.— Я познакомился вчера с одним человеком, который хорошо вас знает.

— Да?

— Миссис Янг-Хант. Марджи Янг-Хант.

— А-а!

Итен чувствовал, как этот человек будто принюхивается к нему, второпях ищет ход, точку соприкосновения, чтобы завязать какой-то узелок.

— Славная бабенка. Расхвалила мне вас — дальше некуда. Вот я и подумал... Моя фамилия Биггерс. Ваш город в моем участке. Я от «Б. Б. Д. и Д.».

— Мы закупаем у Вэйланда.

— Знаю, знаю. Поэтому я и зашел к вам. Думал, может, вы захотите несколько расширить свои связи. Мы в вашем городе новички. Но осваиваем его быстро. Приходится делать кое-какие поблажки, чтобы зацепиться. Вам тоже было бы небезынтересно.

— Поговорите с Марулло. Он всегда вел дела только с Вэйландом.

Голос не стал тише, но в нем появились вкрадчивые нотки.

— Заказы — это ваша обязанность?

— Да, моя. Марулло страдает артритом, а кроме того, у него много других дел.

— Мы могли бы чуточку скостить цены.

— По-моему, Марулло и так скостили сколько можно. Да вы сами с ним поговорите.

— Как раз этого я и не хочу. Мне нужен тот, кто делает заказы, то есть вы.

— Я простой продавец.

— Но заказы делаете вы, мистер Хоули. А что, если вам удастся выгадать пять процентов? Я могу это устроить.

— Марулло вряд ли откажется от такой скидки, если она не отразится на качестве товара.

— Нет, вы меня не поняли. Марулло тут ни при чем. Эти пять процентов будут наличными — никаких чеков, никакой отчетности, никаких

неприятностей из-за налогов. Самые что ни на есть свеженькие зеленые листики перейдут из моей руки в вашу, а из вашей руки к вам в карман.

— Почему же Марулло не может получить у вас скидку?

— Соглашение об оптовых ценах.

— Так. Ну, а предположим, я соглашусь на эти пять процентов и буду отдавать их Марулло?

— Мало же вы их знаете, этих лавочников, а я знаю вдоль и поперек. Пять процентов он от вас примет и будет думать: а сколько вы прикарманили? И вполне естественно.

Итен понизил голос:

— Вы предлагаете мне надувать человека, у которого я работаю?

— Где же тут надувательство? Он ничего не теряет, а вы немножко подрабатываете. Подрабатывать каждый имеет право. Марджи мне говорила, что вы малый не промах.

— Тьма какая!— сказал Итен.

— Да нет. Просто у вас шторы спущены.— Принюхиванье донесло сигнал опасности — так суетится мышь, чуя запах проволоки в мышеловке и аромат сыра.— Знаете что,— сказал Биггерс,— вы подумайте на досуге. Может, и подбросите нам кое-какие заказы. А я в следующий свой приезд к вам загляну. Я каждые две недели сюда езжу. Вот моя карточка.

Рука Итена не протянулась. Биггерс положил карточку на холодильник.

— А вот это сувенир, который мы даем нашим новым друзьям.— Он вынул из бокового кармана бумажник — дорогой, красивый, мягкой кожи. Бумажник лег на белую эмаль рядом с карточкой.— Недурная вещица. С отделениями для водительских прав и для клубной карточки.

Итен молчал.

— Так я загляну недели через две,— сказал Биггерс.— Подумайте. А мне здесь непременно надо быть. Свидание с Марджи. Хороша бабенка.— И, не дождавшись ответа:— Я сам отворю. До скорого.— Потом вдруг подступил к Итену вплотную.— Не валяйте дурака. Все так делают,— сказал он.— Все!— И вышел из магазина, бесшумно притворив за собой дверь.

В темной тишине Итену была слышна глухая воркотня трансформатора для неоновых трубок в холодильнике. Он медленно повернулся к своей тесно сидящей, многоярусной аудитории.

— Я считал вас друзьями! А вы хоть бы пальцем пошевельнули в мою защиту. Вероломные устрицы, вероломные пикули, вероломная мука для оладий. Не слыхать вам больше про одинокума. Интересно, что сказал бы Франциск Ассизский, если бы его укусила собака или птичка накакала бы ему на макушку? Поблагодарил бы: «Спасибо, уважаемый пес, grazie tanto, синьора птичка»?— Он повернул голову, услышав стук, грохот, барабанную дробь в дверь с переулка, и быстро прошел через кладовую, ворча на ходу:— Отбоя нет. Когда открыто, и то спокойнее.

Ввалился Джой Морфи, держа руку у горла.

— Ради господа бога! — простонал он.— На помощь!.. Или дайте хотя бы пепси-колы, ибо — ох! — весь пересох. Почему здесь такая темнотища? Или очи мои поразила слепота?

— Шторы спущены. Чтобы жаждущим банкирам было неповадно сюда бегать.

Итен подошел к холодильнику, достал оттуда заиндевевшую бутылку, сорвал с нее колпачок и полез за второй.

— Я, пожалуй, тоже выпью.

Джой-бой прислонился к освещенному стеклу и отпил сразу полбутылки.

— Эх!— сказал он.— Кто-то забыл свою казну.— И взял бумажник с прилавка.

— Это скромный подарочек от коммивояжера «Б. Б. Д. и Д.». Старался перехватить кое-что из наших заказов.

— Видно, есть из-за чего стараться. Он вас не орешками угостил. Эта вещь не из дешевеньких. Даже с вашей монограммой — золотом.

— Вот как?

— Вы разве не видели?

— Да он только что ушел.

Джой просунул пальцы между кожаными боками бумажника и стал перебирать прозрачные целлофановые отделеньица для документов.

— Скорей вступайте в какой-нибудь клуб,— сказал он. Потом открыл задний кармашек.— Вот это называется чуткий подход.— Он извлек оттуда зажатую между указательным и средним пальцем двадцатидолларовую бумажку.— Я чувствовал, что «Б. Б. Д. и Д.» ведут осаду нашего города, но чтобы сразу двинуть танки!.. Да! Такой сувенирчик не забудешь.

— Это в самом деле там лежало?

— Что же, я, что ли, подсунул?

— Джой, слушайте! Этот тип обещает мне пять процентов от каждого заказа, переданного их фирме.

— Шика-арно! Вот и разбогатеете. и давно пора! Если обещает, значит, сделает. Выставляйте кока-колу. Ради такого дня!

— Неужели вы считаете, что я должен пойти на?..

— А что тут такого? Ведь цены не повысятся? И кто от этого теряет?

— Он не велел говорить Марулло, не то Марулло подумает, будто я получаю больше.

— Ну, само собой. Хоули, да что с вами? Совсем рехнулись? Это, наверно, освещение такое. Физиономия у вас какая-то зеленая. А я тоже позеленел? Уж не собираетесь ли вы отказываться?

— Я еле удержался, чтобы не дать ему пинка в зад.

— Ну, кто еще на такое способен? Только вы да динозавры.

— Он сказал, все так делают.

— Нет, не все. Потому что не всем удается. Считайте, что вам здорово повезло.

— Это нечестно.

— Почему? Кому это во вред? Что тут противозаконного?

— Значит, вы бы согласились?

— Согласился? Да я стал бы на задние лапки, только дайте! В нашем деле все лазейки закрыты. В сущности говоря, если ты простой банковский служащий, а не директор, так для тебя любое ухищрение противозаконно. А вас я решительно не понимаю. Что вы тут мудрите? Если бы вы обирали вашего Альфио, я бы сказал, что это не совсем порядочно. Но ведь дело обстоит не так. Вы оказываете им любезность, они оказывают вам. А их любезность эдакая хрустящая, зелененькая. Не сходите с ума. У вас жена, дети — надо и о них подумать. Воспитание детей что-то не дешевеет, и не предвидится, чтобы подешевело.

— Пожалуйста, уйдите отсюда.

Джой Морфи со стуком опустил на прилавок недопитую бутылку.

— Мистер Хоули... нет! Мистер Итен Аллен Хоули,— ледяным тоном сказал он.— Если вы думаете, что я способен совершить бесчестный поступок или вас на это подтолкнуть, подите вы знаете куда.

Джой с величественным видом зашагал к дверям кладовой.

— Да нет, я не то хотел сказать. Совсем не то. Джой! Честное слово! Просто у меня сегодня и без того тяжелый день, то одно, то другое. И потом — этот ужасный праздник. Ужасный праздник!

Морфи остановился.

— То есть как? А, да! Понимаю. Я все понимаю. Вы верите мне?

— И так каждый год, с раннего детства, только год от году мне все тяжелее, потому... наверно, потому, что понятнее. Я слышу эти слова, и в них звучит такое одиночество: «lama sabach thani»*.

— Знаю, Итен, знаю. Но теперь уже скоро, уже недолго осталось, Итен. Забудьте мою вспышку, ладно?

И железный пожарный колокол ударил на башне ратуши один-единственный раз.

— Кончилось,— сказал Джой-бой.— Теперь все, до следующего года.— Он тихонько вышел в переулок, без стука притворив за собой дверь.

Итен поднял шторы и снова открыл лавку, но торговля в эти часы шла вяло — несколько картонок молока и кирпичиков хлеба ребятишкам, маленькая баранья отбивная и банка зеленого горошка мисс Борчер к ужину. Люди просто не показывались на улице. От половины шестого до шести, когда Итен прибирал перед закрытием, к нему никто даже не заглянул. И он запер лавку и уже вышел на улицу, как вдруг вспомнил, что ничего не взял для дома. Пришлось вернуться, набрать две бумажные сумки всяких продуктов и снова все запереть. Ему хотелось спуститься к набережной, поглядеть, как серые волны колышатся там среди свай пристани, вдохнуть запах морской воды, поговорить с чайкой, которая — клюв по ветру — стояла на буйке. Он вспомнил стихотворение одной поэтессы, когда-то давным-давно пришедшей в экстаз при виде скользящей спирали чайкиного полета. Стихотворение начиналось так: «В тоске иль в счастье крылами веешь, стихии дочь?» Вопроса этого поэтесса так и не выяснила, да, вероятно, и не стремилась выяснить.

С двумя тяжелыми сумками в руках, полными праздничных закупок, было не до прогулки. Итен усталыми шагами прошел по Главной улице и свернул на свою Вязовую к старинному дому семьи Хоули.

ГЛАВА II

Мэри отошла от плиты и взяла у него одну сумку.

— Мне столько всего нужно тебе рассказать. Просто не терпится.

Он поцеловал ее, и она почувствовала, какие у него сухие губы.

— Что с тобой?— спросила она.

— Устал немножко.

— Но у тебя же было три часа перерыва.

— Мало ли там дел.

— Надеюсь, ты не в миноре?

— Такой уж день — минорный.

— Нет, день сегодня замечательный. Подожди, ты еще ничего не знаешь.

— Где ребята?

— Наверху, слушают радио. У них тоже есть новости.

— Что-нибудь неприятное?

— Ну, почему ты так говоришь!

— Сам не знаю.

— Ты плохо себя чувствуешь?

— Да нет! Вот пристала!

— Такие радостные новости — нет, подожду до после обеда. Ну, ты у меня и удивишься!

Аллен и Мэри-Эллен кубарем скатились вниз по лестнице в кухню.

— Пришел!— сказали они.

---

* Господь, зачем ты меня оставил *(древнееврейск.)*.

— Папа, у тебя в магазине есть «Пикс»?

— Корнфлекс? Конечно есть, Аллен.

— Принесешь нам несколько коробок, а? Это те самые, где надо вырезать маску Мики Мауса.

— Не великоват ли ты для Мики Мауса?

Эллен сказала:

— Крышку с коробки срезают, потом надо приложить десять центов, и они пришлют такую штуку для чревовещания и как ею пользоваться. Только что передавали по радио.

Мэри сказала:

— Расскажите папе, что вы собираетесь делать.

— Мы хотим участвовать во всеамериканском конкурсе на «Я люблю Америку». Первая премия — поездка в Вашингтон, встреча с президентом — и родители тоже — и вагон всяких других премий.

— Прекрасно!— сказал Итен.— Но о чем речь? Что от вас требуется?

— Это херстовские газеты!— крикнула Эллен.— Объявили по всей стране. Надо написать сочинение на тему «За что я люблю Америку». Кто получит премии, тех будут показывать по телевизору.

— Блеск!— крикнул Аллен.— Скажешь, плохо — поездка в Вашингтон, гостиница, театры, к президенту и мало ли чего еще? Скажешь, не блеск?

— Скажу, а школа?

— Это летом. Премии объявят четвертого июля.

— Ну что ж, тогда пожалуйста. А на самом деле что вы любите — Америку или премии?

— Слушай, отец,— сказала Мэри.— Не порть им удовольствия.

— Я просто хочу отделить корнфлекс от Мики Мауса. А они все валят в одну кучу.

— Папа, а где это можно взять?

— Что где взять?

— Ну, вроде кто чего об этом писал.

— У твоего прадеда было много хороших книг. Они на чердаке.

— Какие? Про чего там?

— Ну, например — речи Линкольна, и Дэниела Уэбстера, и Генри Клея. Можешь полистать Торо, или Уолта Уитмена, или Эмерсона. Да и Марка Твена. Они все там, на чердаке.

— Папа, а ты сам их читал?

— Твой прадед был мой дед. Он читал мне вслух кое-когда.

— Ты поможешь нам писать сочинения?

— Тогда они будут не ваши.

— Ну, ладно,— сказал Аллен.— Только не забудь принести «Пиксы». В них ведь железо и много всего полезного.

— Постараюсь не забыть.

— Можно, мы пойдем в кино?

Мэри сказала:

— Вы же собирались красить пасхальные яйца. Они уже варятся. После обеда можете заняться этим на южной террасе.

— А можно, мы пойдем на чердак посмотрим книги?

— Если не забудете погасить электричество. Однажды там целую неделю горел свет. Это ты не выключил, Итен.

Когда дети убежали, Мэри сказала:

— Ты рад, что они будут участвовать в конкурсе?

— Конечно рад, пусть только займутся этим как следует.

— Мне просто не терпится рассказать тебе. Марджи сегодня гадала на меня. Три раза подряд, потому что у нее никогда в жизни так не было. Три раза! Я сама видела, какая шла карта!

— О господи!

— Сначала послушай, а потом будешь придираться. Вот ты вечно подшучиваешь насчет высоких брюнетов, а знаешь, что она мне нагадала? Никогда не догадаешься! Ну, попробуй!

Он сказал:

— Мэри, я тебя предупреждаю...

— Предупреждаешь? Да если бы ты знал! Мое богатство — это ты.

Он проговорил сквозь зубы грубое ругательство.

— Что ты сказал?

— Я сказал: «Держи карман шире».

— Это ты так думаешь, а карты думают совсем по-другому. Она три раза подряд раскладывала.

— Карты думают?

— Карты все знают,— сказала Мэри.— Она на меня гадала, а выходило все про тебя. Ты будешь одним из самых важных людей в городе. Слышишь, что я говорю? Одним из самых важных. И это скоро сбудется. Совсем скоро. Какую карту она ни выкладывала, все деньги и деньги. Ты разбогатеешь.

— Мэри, дорогая,— сказал он.— Прошу тебя, остерегись!

— Ты выгодно поместишь деньги.

— Какие деньги?

— Деньги моего брата. Какие же еще!

— Нет!— крикнул он.— Я этих денег не трону. Они твои и так и останутся твоими. Ты сама это придумала или...

— Она ни словом о них не обмолвилась. И карты тоже ничего такого не говорили. В июле ты выгодно поместишь деньги, и с этого все и начнется — одна удача за другой, одна за другой. И как это хорошо получилось! Она так и сказала: «Ваше богатство—это Итен. Он будет очень богатый человек, может быть, самый важный во всем городе».

— Чтоб ей пусто было! Какое она имеет право!

— Итен!

— Отдает она себе отчет в том, что делает? А ты отдаешь себе отчет?

— Я хорошая жена, а она мой хороший друг — вот в чем я отдаю себе отчет. И мне не хочется заводить с тобой ссору, когда нас слышат дети. Марджи Янг-Хант самая моя близкая подруга. Я чувствую, она тебе неприятна. Значит, ты ревнуешь меня к моим друзьям — вот и все. Я весь день радовалась, так нет, надо все испортить! Это очень нехорошо с твоей стороны.

От разочарования и досады лицо у Мэри пошло пятнами, ей хотелось отомстить за эту помеху ее снам наяву.

— Скажите, какой умник нашелся! Сидит здесь и разносит людей на все корки. Ты воображаешь, что Марджи это подстроила? Вот и нет, потому что я все три раза сама снимала колоду. Но если б даже она подстроила, так зачем? По-моему, только из добрых чувств к нам, по дружбе, из желания хоть как-то помочь. А по-твоему, умник? Ну, придумай какую-нибудь гадость, придумай!

— Придумал бы, если бы мог,— сказал он.— Вернее всего, она просто интриганка. Ничем не занята, мужа нет. Вот и взялась плести интриги.

Мэри понизила голос и заговорила презрительным тоном:

— Много ты смыслишь в интригах! Столкнешься с настоящей интригой вплотную — и то ничего не поймешь. Знал бы ты, что бедной Марджи приходится терпеть! У нас в городе есть мужчины, которые буквально не дают ей проходу. Известные люди, женатые, а нашептывают, пристают. Отвратительно! Марджи иной раз просто не знает, куда от них деваться. Поэтому она так и нуждается во мне, вообще в женской дружбе. Чего только я от нее не наслушалась! Кто! Какие люди! Ты в жизни

бы не поверил. Некоторые даже притворяются в обществе, будто она им не нравится, а сами тайком бегают к ней или звонят по телефону, пытаются назначить свидание. Противные ханжи! На словах за высокую нравственность, а на деле... А ты говоришь — интриганка.

— Она называла тебе какие-нибудь имена?

— Нет, не называла, и это тоже в ее пользу. Марджи никому не хочет вредить, хотя сама ото всех терпит. Она только говорила, что про одного человека я бы в жизни не поверила. «Да вы,— говорит,— поседеете, если вам сказать».

Итен набрал полную грудь воздуха, задержал его и шумно перевел дух.

— Интересно, кто бы это мог быть? — сказала Мэри.— Она прямотаки намекала, что это кто-то из наших знакомых, только мы бы про него никогда не поверили.

— Но при соответствующих обстоятельствах от намеков перешла бы к фактам?— тихо сказал Итен.

— Только если бы ее вынудили. Она сама так говорит. Только если бы пришлось в защиту... э-э... ее чести и доброго имени... Как ты думаешь, кто это?

— По-моему, я знаю.

— Знаешь? Ну кто?

— Я.

Мэри разинула рот.

— Фу! Дурак! — сказала она.— Вечно ты меня на чем-нибудь подлавливаешь. Стоит мне зазеваться, и конец. Но лучше так, чем когда ты в миноре.

— Сенсация! Муж признается жене в преступной связи с ее лучшей подругой. Она поднимает его на смех.

— Нехорошо так говорить.

— Муж, вероятно, должен был бы от всего отпереться. Тогда, по крайней мере, жена удостоила бы его своими подозрениями. Родная моя, клянусь тебе всеми святыми: я ни словом, ни делом не повинен в заигрывании с Марджи Янг-Хант. Ну, теперь ты поверишь, что я тебе изменяю?

— Ты?

— Значит, по-твоему, я недостаточно хорош, недостаточно привлекателен? Другими словами — кишка тонка.

— Ты прекрасно знаешь, что я не прочь пошутить, но это совершенно неподходящая тема для шуток. Ах, господи, вдруг дети там начнут лазать по сундукам! Разбросают и не подумают убрать.

— Я сделаю еще одну попытку, моя прелестная жена. Некая женщина, ее инициалы М. Я. Х., со всех сторон обставила меня ловушками по причинам, кроме нее никому не известным. Мне грозит серьезная опасность попасть в одну из них, а может, не только в одну.

— Почему ты не подумаешь о будущем? Карты сказали: в июле, и так вышло три раза подряд. Я сама видела. У тебя будут деньги, большие деньги. Подумай об этом.

— Неужели ты так любишь деньги, зайчонок?

— Люблю ли я деньги? Как это понимать?

— Неужели тебе так уж нужны деньги, что ради них можно заниматься черной магией, шаманством, колдовством и прочими темными делишками?

— Ну, пеняй на себя! Ты первый начал! Я не позволю тебе прятаться за этими словесами. Люблю ли я деньги? Нет, деньги я не люблю. Но вечные заботы я тоже не люблю. Мне хочется высоко держать голову в нашем городе. Мне не хочется, чтобы мои дети чувствовали себя хуже других, потому что они не могут одеваться, как — ну, как некоторые. Мне хочется высоко держать голову.

— И деньги послужат подпоркой для твоей головы?

— Они сотрут презрительные усмешечки с физиономий твоих распрекрасных знатных друзей.

— Над Хоули никто не насмехается.

— Это только ты так думаешь. Ты просто ничего такого не видишь.

— Может быть, я просто ничего такого не жду, потому и не вижу.

— Ты что же, хочешь убить меня своими распрекрасными Хоули?

— Нет, родная. Теперь такое оружие несколько устарело.

— Слава богу, что хоть это ты усвоил. В нашем городе, да и не только в нашем, простой продавец из рода Хоули — это всего-навсего простой продавец.

— Ты попрекаешь меня моими неудачами?

— Нет. Конечно нет. Но я попрекаю тебя тем, что ты погряз в своих неудачах. Ведь если бы не твои старомодные, выспренние понятия, ты давно бы выкарабкался на поверхность. Над тобой все потешаются. Благородный джентльмен без денег все равно что босяк.— Это слово будто вырвалось у нее само собой, и она пристыженно замолчала.

— Что же поделаешь,— сказал Итен.— Но ты преподала мне урок, кроличий мой хвостик. И даже не один, а целых три. Есть, как видно, три вещи, которым никто не верит. Не верят в правду, не верят в то, что вполне возможно, и в то, что вполне логично. Теперь я знаю, где достать деньги, те самые, что повернут мою судьбу.

— Где?

— Ограблю банк.

На плите начал отрывисто позванивать колокольчик регулятора.

Мэри сказала:

— Пойди позови детей. У меня все готово. Вели им потушить там свет.— Она прислушалась к его удаляющимся шагам.

ГЛАВА III

Моя жена, моя Мэри засыпает сразу, как будто за ней захлопнулась дверь. Я часто смотрю на нее с завистью. С минуту она возится под одеялом, словно прилаживаясь к кокону, обвившему ее грациозное тело. Потом глубоко вздыхает и к концу вздоха глаза у нее уже закрыты, а на губах безмятежная и загадочная улыбка греческого божества. Так она и спит всю ночь и во сне мурлычет, не храпит, а именно мурлычет, как котенок. Вдруг ее бросает в жар, так что я даже ощущаю это, лежа рядом, но в следующее мгновение все прошло, и она уже где-то далеко-далеко. Я не знаю где. Она уверяет, что никогда не видит снов. Этого не может быть, конечно. Просто сны не тревожат ее или тревожат так сильно, что она забывает их до того, как проснется. Она любит спать, и сон ей дается без усилий. Не то что я. Я всегда борюсь со сном, как бы отчаянно ни хотелось мне уснуть.

Я думаю, дело тут вот в чем: моя Мэри убеждена, что будет жить вечно, что ступит из этой жизни в другую так же легко и просто, как сейчас переходит от ночи к дню. Она верит в это подобно тому, как дышит — естественно, не размышляя. И потому ей некуда спешить, можно и спать, и отдыхать, и вовсе выключиться на время из существования.

А я весь, до мозга костей, пропитан сознанием, что рано или поздно моей жизни придет конец, а потому я гоню от себя сон, хотя в то же время жажду его, пускаюсь даже на всякие уловки, чтобы уснуть. И засыпаю я всегда с болью, с мученьем. Я знаю это, потому что мне случалось просыпаться через секунду, еще чувствуя себя оглушенным, как от удара. И даже во сне я не знаю покоя. Меня одолевают все те же дневные заботы, только в искаженной форме — точно хоровод ряженых, в звериных масках и с рогами.

Я трачу на сон гораздо меньше времени, чем Мэри. Она говорит, что у нее потребность много спать, и я соглашаюсь, что у меня такой потребности нет, хотя на самом деле я в этом далеко не уверен. В каждом организме заложен известный запас жизненной энергии — конечно, пополняемый за счет пищи. Есть люди, которые свой запас расходуют быстро, вроде того, как иной ребенок спешит разгрызть и проглотить леденец, а другие делают это не торопясь. И всегда находится какая-нибудь девчушка, которая еще только разворачивает леденец, когда торопыги о нем и думать забыли. Моя Мэри, вероятно, будет жить гораздо дольше меня. Она приберегает часть своей энергии на после. Факт, что женщины живут дольше мужчин.

Мне всегда не по себе в страстную пятницу. Еще в детские годы у меня сжималось сердце, когда я думал — не о крестных муках, нет, но о нестерпимом одиночестве Распятого. И до сих пор я не освободился от тоски, которую поселяли во мне слова Матфея, сухо отщелкиваемые голосом моей тетушки Деборы из Новой Англии.

Нынешний год тоска особенно сильна. Невольно ведь переносишь все на себя, и кажется, это о тебе идет речь. Сегодня Марулло раскрыл передо мной тайны бизнеса, и я только впервые понял многое. А вслед за тем мне впервые предложили взятку. Это даже смешно сказать, в моем-то возрасте, но я, право, не припомню другого такого случая. Потом еще Марджи Янг-Хант. Добро или зло у нее на уме? Что ей нужно от меня? Не зря ведь она посулила мне что-то и требует, чтобы я не отказывался от своей судьбы, иначе мне плохо будет. Может ли человек сам надумать свою жизнь, или он должен просто жить как живется?

Много ночей я провел не смыкая глаз, под сонное мурлыканье моей Мэри. Когда долго глядишь в темноту, перед глазами начинают расплываться красные пятна и время тянется бесконечно. Мэри так любит спать, что я всегда стараюсь оберегать ее сон, даже когда у меня словно электрический ток бежит по коже. Стоит мне спустить ноги с кровати, она тотчас же просыпается. Ее это пугает. Она знает только одно объяснение бессонницы — болезнь, и, если я не сплю, ей кажется, что я болен.

Но в эту ночь меня так и тянуло встать и выйти из дому. Мэри тихо мурлыкала, и на ее губах, как всегда, играла та архаическая улыбка. Может быть, ей снилась удача, снилось богатство, ожидавшее меня впереди. Мэри не чужда гордыни.

Странное дело, почему вдруг человек уговаривает себя, что в определенном месте ему думается лучше. У меня есть такое место. С давних времен есть, хотя, по правде сказать, я не так уж много думаю, когда бываю там, больше отдаюсь чувствам, переживаниям, воспоминаниям. Это мое тайное убежище — у каждого, верно, есть такое, только никто в этом не признается.

Осторожным, крадущимся движением скорей разбудишь спящего, чем нормальным и естественным. Кроме того, я убежден, что во сне люди могут проникать в чужие мысли. Я стал внушать себе, что мне нужно в уборную, и, когда это удалось, поднялся и вышел. А из уборной я потихоньку спустился вниз, захватив с собой вещи, и в кухне оделся.

Мэри часто винит меня в том, что я болею душой за несуществующие чужие беды. Может быть, она и права, но мне вдруг представилось, как она просыпается и, не найдя меня ни в спальне, ни в кухне, ходит в испуге по всему дому. Я взял карандаш и написал на листке из книги домашних расходов: «Родная, мне не спалось, и я решил пройтись. Скоро вернусь». Листок я положил на середину стола так, чтоб он сразу бросился ей в глаза, как только она включит свет в кухне.

Потом я отворил кухонную дверь и потянул носом воздух. Было холодно, пахло морозным инеем. Я поднял воротник пальто и надвинул на уши вязаную матросскую шапку. Электрические часы в кухне жужжа-

ли. Они показывали без четверти три. Почти четыре часа я лежал и смотрел, как расплываются в темноте красные пятна.

Наш город, Нью-Бэйтаун,— красивый город, старый город, один из первых в Америке заслуживших название города. Его основатели, в том числе мои предки, были, наверно, сыновьями тех буйных, шальных, вероломных стяжателей-моряков, что при Елизавете смущали покой Европы, при Кромвеле хозяйничали в Вест-Индии и, наконец, заручившись грамотами вернувшегося на престол Карла Стюарта, свили гнездо на северном побережье. Они с успехом сочетали в себе пиратов и пуритан, которые, если разобраться поглубже, не так уж сильно отличались друг от друга. И те и другие были нетерпимы к противникам, и те и другие зарились на чужое добро. Их союз породил выносливое, крепкое обезьянье племя. Обо всем этом я знаю из рассказов отца. Он был большой любитель семейной истории, а я замечал, что любители семейной истории редко обладают качествами предков, которыми они гордятся. Мой отец был добрый, мягкий человек, весьма начитанный и весьма непрактичный, простак с редкими проблесками мудрости. В одиночку он ухитрился растерять почти все, что за несколько столетий накопили Хоули и Аллены: землю, деньги, положение, перспективы — все, за исключением имени; впрочем, только именем он и дорожил. Отец любил просвещать меня насчет того, что он называл «наследием поколений». Поэтому мне так много известно о наших предках. И поэтому же, должно быть, я теперь служу продавцом в лавке бакалейщика-сицилийца, в квартале, который некогда весь принадлежал семейству Хоули. Я хотел бы относиться к этому легче, но не могу. Не кризис, не тяжелые времена ввергли нас в ничтожество.

Все это не пришло бы мне сейчас в голову, не скажи я, что Бэйтаун красивый город. Я пошел по Вязовой не налево, а направо и очень скоро очутился на улице Порлок, которая тянется почти параллельно Главной. Крошка Вилли, наш толстый констебль, наверняка дремлет сейчас в полицейской машине где-нибудь посреди Главной улицы, а у меня нет ни малейшего желания вступать с ним в беседу. «Откуда так поздно, Ит? Уж не завели ли вы себе красотку?» Крошке Вилли скучно, и он любит поговорить с прохожим, а потом порассказать другим, о чем был разговор. Немало досадных сплетен пошло гулять по городу только из-за того, что Крошка Вилли скучает на ночном дежурстве. Констебля, который дежурит днем, зовут Стонуолл Джексон * Смит. Это не прозвище. Так его нарекли при крещении — Стонуолл Джексон, — и теперь уж его не спутаешь с каким-нибудь другим Смитом. Не знаю почему, но если в городе двое полицейских, то они всегда — полная противоположность один другому. Стони Смит, если вы его спросите, какой сегодня день, ответит вам только разве на суде под присягой. Смит — главная полицейская власть в городе, он предан делу, в курсе всех новейших методов и прошел специальную школу ФБР в Вашингтоне. На мой взгляд, это образец полицейского, высокий, молчаливый, глаза посверкивают, точно кусочки металла. Всякому, кто замышляет преступление, я бы посоветовал держаться подальше от Стони.

Все это не пришло бы мне в голову, не сверни я к Порлоку, чтобы избежать встречи с Крошкой Вилли. Порлок — улица, где стоят самые красивые дома в Нью-Бэйтауне. Дело в том, что в начале девятнадцатого столетия у нас тут было больше сотни китобойных судов. Проплавав годдва где-нибудь в Антарктиде или Китайском море, эти суда возвращались с ценнейшим грузом китового жира. А так как по дороге им случалось заходить в чужеземные гавани, то кроме груза они привозили за-

* Стонуолл Джексон («твердокаменный Джексон») — прозвище Томаса Джонатана Джексона, генерала армии южан в гражданскую войну в США.

морские диковины и заморские идеи. Вот почему в домах на Порлоке так много китайских вещиц. К тому же некоторые из этих старых шкиперов-судовладельцев обладали хорошим вкусом. Денег у них было много и, собираясь строить дом, они выписывали архитекторов из Англии. Вот почему на улице Порлок так чувствуется влияние Адама и архитектуры классицизма. Такова была тогдашняя мода в Англии. Но наряду с полуциркульными окнами, каннелюрами и греческими колоннами в каждом доме непременно имелась «вдовья дорожка» на крыше, откуда, по идее, верные жены могли всматриваться вдаль, ожидая возвращения кораблей. Иногда, возможно, так и бывало. Но Хоули, а также Филлипсы, Элгары и Бейкеры — более старые семьи. Все они как жили, так и живут на Вязовой, в домах так называемого раннего американского стиля, с островерхими крышами и обшивкой из корабельного теса. И наш дом, старый дом Хоули, тоже такой. А кругом растут исполинские вязы, которым столько же лет, сколько и домам.

На Порлоке сохранились газовые фонари, только в них теперь вставлены электрические лампочки. Летом сюда съезжаются туристы полюбоваться городской архитектурой, вдохнуть, как они выражаются, аромат старины. А разве только старина обладает приятным ароматом?

Не помню уже, при каких обстоятельствах Хоули породнились с вермонтскими Алленами. Это произошло вскоре после революции. При желании было бы нетрудно проверить. Среди бумаг на чердаке наверняка есть какие-нибудь свидетельства на этот счет. Когда умер мой отец, Мэри уже была по горло сыта историей семейства Хоули, и я вполне сочувственно отнесся к ее предложению снести все бумаги на чердак. Чужая семейная история не так уж занимательна. Мэри даже не уроженка Нью-Бэйтауна. Ее родные ирландского происхождения, но не католики. Последнее обстоятельство она всегда подчеркивает. Мы олстерцы, говорит она. Сюда она приехала из Бостона.

Впрочем, нет. Я привез ее из Бостона, это будет вернее. Как сейчас, может быть, даже лучше, вижу нас обоих — пугливый, нервничающий младший лейтенант Хоули в трехдневном отпуске и милая, трогательная, розовая и душистая девочка, вдвойне прелестная благодаря юности и войне. Как серьезны, как неумолимо серьезны мы были. Меня убьют, а она всю жизнь будет верна памяти павшего героя. Все точно так же, как еще у миллионов оливковых мундиров и пестрых ситцевых платьев. И все легко могло кончиться обычным посланием: «Милый Джон...» — и так далее. Но Мэри и в самом деле оказалась верна своему герою. Ее письма — голубые конверты, синие чернила, круглый четкий почерк — с трогательной неизменностью следовали за мной всюду; вся моя рота узнавала их издали, и все почему-то радовались за меня. Даже если бы я не собирался жениться на Мэри, ее постоянство заставило бы меня сделать это во славу вековечной мечты о прекрасных и преданных женщинах.

Она не изменилась тогда, когда пришлось оторваться от родной ирландско-бостонской почвы ради старого дома Хоули на Вязовой улице. Ее ничто не могло изменить — ни постепенный упадок в моих делах, ни рождение детей, ни беспросветность нашего теперешнего существования, с тех пор как я тяну лямку продавца в бакалейной лавке. Она из тех, кто умеет терпеливо ждать, я это знаю. Но сейчас, мне кажется, и ее долготерпение стало понемножку иссякать. Никогда прежде она ничем не выдавала своих сокровенных желаний, потому что моя Мэри по натуре не способна к насмешкам или презрительным упрекам. Ни при каких житейских передрягах она не опускала головы. И если в ней иногда прорывается горечь, это оттого и странно, что непривычно. Как быстро бегут ночью мысли под скрип шагов на заиндевелой мостовой.

Совсем не нужно прятаться от людей, если бродишь по нью-бэйтаун-

ским улицам в предрассветный час. Только Крошка Вилли не преминул бы отпустить шуточку на этот счет, всякий же другой, повстречавшись со мной в три часа утра неподалеку от залива, решит, что я иду к своим удочкам, и тут же про меня забудет. Известно, что у рыболовов свои секреты, оберегаемые порой не менее ревниво, чем домашние рецепты, и к таким вещам все относятся с полным уважением.

Под светом уличных фонарей газоны и тротуары, выбеленные изморозью, искрились, словно россыпь мелких алмазов. На таком тротуаре отпечатываются следы ног, а впереди никаких следов не было видно. Я с детства испытываю своеобразное волнение перед свежим покровом снега или инея. Точно вступаешь в какой-то новый мир, и всего тебя пронизывает радость открытия, первого соприкосновения с чем-то чистым, нетронутым, неосквернённым. Всегдашние ночные бродяги кошки не любят ходить по дорогам, покрытым изморозью. Помню, я как-то на пари ступил на такую дорогу босиком, и мне точно обожгло подошвы ног. Но сейчас, в галошах и теплых носках, я смело пятнал сверкающую целину.

Там, где Порлок пересекает Торки, сразу за велосипедным заводом, что выходит на улицу Хикс, целина была исчерчена длинными заплетающимися следами. Дэнни Тэйлор, беспокойный непоседливый дух, всегда влекущийся туда, где его нет, и снова туда, где его нет. Дэнни, городской пьянчуга. В каждом городе такой есть. Дэнни Тэйлор — столько голов сокрушенно покачиваются ему вслед: из хорошей семьи, из старинной семьи, последний в роду, с образованием. Кажется, у него были какие-то неприятности в Военно-морском училище? Так пора б уже выправиться. Он себя загубит пьянством, и это недопустимо, ведь Дэнни — джентльмен. Подумать только, попрошайничает ради выпивки. Счастье, что его родители этого не видят. Позор свел бы их в могилу — впрочем, они давно уже в могиле. Но так говорят в Нью-Бэйтауне.

Дэнни — мое больное место, мало того, меня за него совесть мучает. Я должен был помочь ему. Я и пытался, да разве он дастся. Дэнни мне все равно что брат родной, мы с ним одних лет, вместе выросли, рост, сила, все у нас было одинаковое. Может быть, оттого меня и мучает совесть, ведь я сторож брату моему, а уберечь его не смог. Тут уж сколько ни оправдывайся перед собой, никакие доводы не помогут, даже самые резонные. Семья Тэйлоров такая же старинная, как семья Хоули или Бейкеров. Во всех моих воспоминаниях о детстве, о пикниках, играх, посещениях цирка, рождественских праздниках, Дэнни неотделим от меня, как моя собственная правая рука. Может быть, если бы мы и дальше учились вместе, с ним бы не стряслась беда. Но я уехал в Гарвард — преуспевал в языках, постигал всю прелесть гуманитарных наук, наслаждался древним, прекрасным, неведомым, вбирал в себя книжную премудрость, которая оказалась мне вовсе ни к чему в бакалейной лавке. И всегда жалел, что на этом увлекательном, ярком пути со мной рядом нет Дэнни. Но Дэнни ждала карьера моряка. Вакансия в Военно-морское училище была задумана, исхлопотана, закреплена и обеспечена ему, еще когда мы бегали в коротких штанишках. Его отец не забывал напоминать об этом каждому вновь избранному от нас конгрессмену.

Три года отличных успехов, а потом — исключение. Говорят, это убило его родителей, во всяком случае это почти убило самого Дэнни. Осталась лишь тень его — жалкий горемыка, полуночник-горемыка, выпрашивающий мелочь, чтобы прополоскать мозги. Так он и бродит всю ночь до рассвета по городским улицам, понурый, одинокий, едва передвигая ноги. Когда он просит у вас четвертак, чтобы прополоскать мозги, глаза его молят о прощении, которого он у самого себя не находит. Ночует он в хибарке на заброшенной судоверфи, когда-то принадлежавшей Уилбурам. Я нагнулся, стараясь определить по следам, домой он шел

или из дому. Похоже было, что он направился в город и может в любую минуту попасться мне навстречу. Едва ли Крошка Вилли вздумает засадить его за решетку. Что толку?

Я шел не наудачу, а в определенное место. Об этом месте я думал, видел его, чувствовал его запах, еще лежа в постели. Старая Гавань теперь в запустении. После того как построили городской мол и соорудили волнорез, старый рейд, защищенный острым клыком Троицына рифа, занесло илом и песком, и он совсем обмелел. И нет больше ни стапелей, ни мостков, ни пакгаузов, где династии бондарей мастерили бочки для китового жира, нет и длинных причалов, над которыми высились бушприты китобойных судов, украшенные причудливыми резными фигурами. Это были по большей части трехмачтовики с прямыми парусами, остойчивые, крепкие корабли, рассчитанные на долгие годы плаванья в любую погоду. На задней мачте крепилась и контра-бизань: бом-кливер был выносной, а двойной мартин-гик служил в то же время шпринтовым гафелем.

У меня есть гравюра, изображающая Старую Гавань, битком набитую кораблями, есть несколько выцветших дагерротипов, но они мне, в сущности, не нужны. Я хорошо знаю и гавань и корабли. Мой дед все это рисовал передо мной своей тростью, сделанной из бивня нарвала, и вдалбливал мне терминологию, постукивая при каждом названии по обломку сваи, уцелевшему от того, что некогда было причалом Хоули. Мой дед, неистовый старик с седой шкиперской бородкой. Я любил его до боли.

— Ну,— командовал он голосом, который с мостика был слышен без мегафона.— Отвечай парусное вооружение корабля. Только отвечай так, чтобы слышно было. Терпеть не могу, когда бормочут себе под нос.

И я отвечал, стараясь гаркать как можно громче, а нарваловая трость припечатывала стуком каждый мой ответ.

— Бом-кливер,— гаркал я (стук!),— малый кливер (стук!), средний кливер, кливер (стук! стук!).

— Громче!

— Фор-трюмсель, фор-бом-брамсель, фор-брамсель, верхний брамсель, нижний брамсель, — и всякий раз — стук!

— Грот! Не бормотать!

— Грот-трюмсель! — стук!

С годами он стал иногда утомляться.

— Стоп! — командовал он, прежде чем я успевал покончить с гротами.— Переходи к бизаням. Громче!

— Есть, сэр. Крюйс-трюмсель, крюйс-брамсель, крюйс-брамстаксель, бегин-рей.

— А еще?

— Контра-бизань.

— С какой оснасткой?

— Гик и гафель, сэр.

Стук-стук-стук нарваловая трость по сырому обломку сваи.

Став к старости тугим на ухо, он сердился и всех обвинял, что они бормочут себе под нос.

— Если знаешь, что говоришь, или хотя бы думаешь, что знаешь, говори громко,— кричал он.

Но если слух изменил под конец жизни Старому Шкиперу, то о памяти этого никак нельзя было сказать. Он мог без запинки назвать вам тоннаж и скорость хода любого судна, когда-либо выходившего из нью-бэйтаунской гавани, мог сказать, с каким оно вернулось грузом и как этот груз был поделен, и это тем удивительнее, что золотых дней китобойного промысла он уже не застал. Керосин он называл жижей, а керосиновые лампы — вонючками. Но появление электричества оставило

его равнодушным, а может быть, он уже тогда жил только воспоминаниями. Его смерть не была для меня ударом. Старик вымуштровал меня в этом вопросе так же, как в вопросе об оснастке кораблей. Я был готов к случившемуся, внутренне и внешне.

У края занесенной илом и песком Старой Гавани, на месте причала Хоули, еще сохранился каменный фундамент. Во время отлива он целиком обнажен, а набегая, волны плещутся о каменную кладку. Футах в десяти от угла там есть небольшой сводчатый проход — четыре фута в ширину, четыре в высоту, пять в глубину. Может быть, когда-то тут была дренажная труба, но отверстие со стороны суши плотно забито песком и обломками камня. Это и есть мое Убежище, место уединения, необходимое каждому человеку. Увидеть меня там нельзя, разве только со стороны моря. Старая Гавань теперь совсем заброшена, есть там только несколько ветхих лачуг, где ютятся собиратели венерок *, но зимой пустуют и эти лачуги. К тому же собиратели венерок — тихие, нелюбопытные люди. Они бродят по берегу, согнувшись и опустив голову, и за целый день иногда не обмолвятся словом.

Туда-то я и направился теперь. Там я просидел ночь накануне ухода в армию, и ночь накануне свадьбы с Мэри, и часть той ночи, когда должна была родиться Эллен, и Мэри так плохо приходилось. Я чувствовал потребность пойти и посидеть там, послушать, как бьется о камень мелкая волна, посмотреть на оскаленный клык Троицына рифа. Лежа в постели, я видел все это сквозь красные пятна, плясавшие у меня перед глазами, и я знал, что мне нужно быть там. Меня всегда тянет туда накануне больших перемен — больших перемен.

Дальше вдоль края бухты расположен Саутдевон, и на берег наведен свет фонарей: это добрые люди заботятся о влюбленных, хотят уберечь их от беды, так что им приходится искать себе другое место. По инструкции муниципалитета Крошка Вилли должен каждый час проезжать здесь во время своего дежурства. Сейчас на берегу никого не было видно — ни души, что даже казалось странным, так как тут во всякое время околачиваются рыболовы, одни идут на ловлю, другие с ловли, третьи с удочками торчат у воды. Я перелез через фундамент, нашел отверстие и забрался в тесную пещерку. И не успел я усесться, как послышался шум проезжающей машины. Второй уже раз в эту ночь я счастливо избежал встречи с Крошкой Вилли.

Казалось бы, довольно неудобно и глупо сидеть в каменной нише, скрестив ноги на манер Будды, но мне как-то не мешают камни или это я им не мешаю. Может быть, я так давно сюда хожу, что мой зад обмялся по форме этих камней. А насчет того, что оно глупо, так я не возражаю, пусть. Иногда чем глупее, тем веселее, недаром дети хохочут до упаду, играя в статуи. А иногда глупость нарушает заведенный порядок и помогает начать что-то сызнова. Когда у меня тревожно на душе, я нарочно дурачусь, чтобы любимая не заразилась моей тревогой. До сих пор мне удавалось обманывать ее, а если нет, я этого никогда не узнаю. Я многого не знаю о своей Мэри, прежде всего — что она знает и чего не знает обо мне. Вряд ли она подозревает об Убежище. Откуда? Я никогда никому о нем не рассказывал. У меня нет для него никакого особенного названия, никаких ритуалов или заклинаний. Это просто местечко, где хорошо сидеть и думать. Что мы, в сущности, знаем о других людях? В лучшем случае можем предполагать, что они похожи на нас. И вот, сидя в Убежище, защищенный от ветра, глядя при свете бдительных фонарей, как накатывает на берег волна, черная от ночного неба, я задумываюсь о том, у каждого ли есть свое Убежище и каждому ли оно нужно, и, может быть, есть такие люди, кому оно нужно и у кого его

* Вид съедобного моллюска.

нет. Мне иногда случалось ловить чужой взгляд, полный тоски, как у затравленного животного, и казалось, это тоска по тихому, недоступному для других уголку, где улеглось бы душевное смятение, где бы можно побыть наедине с собой и разобраться, что к чему.. Я, конечно, слыхал про всякие там теории насчет влечения к смерти или тяги назад, в материнскую утробу,— может быть, они и приложимы кое к кому, но не ко мне, разве только в качестве упрощенного объяснения того, что на самом деле не так просто. Если бы меня спросили, что я делаю в Убежище, я бы сказал: разбираюсь, что к чему. Другой, может, назвал бы это молитвой и тоже по-своему был бы прав. Размышление тут неподходящее слово. Пожалуй, зрительно это можно бы представить так: полощется на ветру мокрое полотенце и постепенно просыхает, становясь гладким и белым. Мне всегда на пользу время, проведенное в Убежище, приятно это или нет.

На этот раз скопилось много вопросов, в которых нужно было разобраться, и все они выскакивали наперебой, требуя внимания, точно школьники, выучившие урок. Но тут я услышал мерный стрекот мотора. Люггер, рыбачий катер. Его клотиковый огонь двигался к югу за Троицыным рифом. Теперь надо было ждать, пока он благополучно обогнет риф и я увижу оба бортовых огня, зеленый и красный. Только местное судно могло так легко найти вход в бухту. Дойдя до отмели, катер стал на якорь, и к берегу отошла лодка с двумя гребцами. Зашелестел под волной песок, потревоженные чайки взлетели и немного погодя снова расселись на буйках.

Пункт первый: Нужно подумать о Мэри, моей любимой, которая спит сейчас с загадочной улыбкой на губах. Я не хотел, чтобы она хватилась меня, проснувшись. А впрочем, если она и хватится, разве я об этом узнаю? Едва ли. Мне кажется, Мэри, которая словно бы рассказывает мне все, на самом деле рассказывает очень мало. И вот теперь вопрос о богатстве. Нужно ли Мэри это богатство, или она хочет его только ради меня? То, что это всего лишь мнимое богатство, неизвестно зачем выдуманное Марджи Янг-Хант,— роли не играет. Мнимое богатство ничуть не хуже настоящего, и, пожалуй, богатство всегда в какой-то степени бывает мнимым. Любой неглупый человек может нажить деньги, если это то, что ему нужно. Но чаще всего ему не деньги нужны, а женщины, или дорогие костюмы, или поклонение окружающих, и это его сбивает с толку. Великих финансистов, художников своего дела, таких как Морган или Рокфеллер, с толку не собьешь. Им нужны деньги, именно деньги, денег они и добиваются. А что они потом делают с этими деньгами, это уже другой вопрос. Мне всегда казалось, что они сами напуганы вызванным ими духом и пробуют от него откупиться.

Пункт второй: Для Мэри деньги означают новые занавески и возможность дать детям образование и чуть повыше держать голову и — будем говорить прямо — не стыдиться меня немножко, а гордиться мной. Она сама в этом призналась со зла, и это верно.

Пункт третий: Нужны ли деньги мне? Да нет, не нужны. Правда, мне не очень нравится быть продавцом в бакалейной лавке. В армии я имел чин капитана, но я знаю, чему я этим обязан. Не за красивые глаза меня направили в офицерскую школу, а благодаря имени и семейным связям. Но я был хорошим офицером, примерным офицером. Однако, если бы я по-настоящему любил командовать, навязывать другим свою волю и видеть, как передо мной по струнке ходят, я ведь мог остаться в армии и за это время дослужился бы до полковника. А я не пожелал. Мне хотелось как можно скорей покончить со всем этим. Говорят, хороший солдат думает о сражении, но не о войне. Это уже дело штатских.

Пункт четвертый: Марулло правильно объяснил мне, что значит

делать дела. Это значит добывать деньги. И Джой Морфи тоже так прямо мне и сказал, и мистер Бейкер, и коммивояжер. Все они так прямо и говорили. Почему же это вызвало во мне такое отвращение и оставило словно вкус тухлого яйца во рту? Что я, такой уж хороший, добрый, справедливый? Вряд ли. Может быть, я чересчур горд? Пожалуй, не без того. Или я просто ленив, слишком ленив, чтобы взяться за что-то? Свойственна многим такая бездеятельная доброта, которая есть попросту лень, боязнь беспокойства, усилий, волнений.

Бывает, до утра еще далеко, а оно уже угадывается, уже пахнет рассветом. Вот и сейчас в воздухе потянуло холодком, какая-то запоздалая звезда или планета показалась на востоке. Мне следовало бы знать, что это за звезда или планета, но я не знаю. В час ложной зари свежеет и ветер крепчает. Это всегда так. И это значит, что скоро мне пора домой. Новой звезде недолго придется мерцать над горизонтом. Как это говорится — «звезды не велят, но склоняют»? Я слыхал, между прочим, что многие серьезные финансисты советуются с астрологами насчет своих биржевых операций. Склоняют ли звезды играть на повышение? Подчинена ли «Американ тэлеграф энд тэлефон» влиянию звезд? Моя судьба не зависит от таких далеких и смутных влияний. Колода потрепанных карт в руках пустой, коварной женщины, которая еще и плутует, раскладывая их. Может быть, и карты не велят, но склоняют? Разве не склонили меня карты поспешить среди ночи сюда, в Убежище, и разве они не склоняют меня думать о том, о чем я вовсе думать не хочу? Это ли не влияние! А вот могут ли они склонить меня к деловой сметке, которой я никогда не отличался, к стяжательству, чуждому моей природе? Возможно ли, чтобы под влиянием карт я захотел того, чего не хочу? Есть пожиратель и есть пожираемые. Вот истина, которую не мешает запомнить для начала. Что ж, пожиратели безнравственнее пожираемых? Все ведь мы в конце концов станем пожираемыми — всех нас пожрет земля, даже самых жестоких и самых хитрых.

На Клам-хилл давно уже пели петухи, я и слышал это и не слышал. Мне хотелось еще побыть в Убежище, посмотреть оттуда на восход солнца.

Я сказал, что у меня нет никакого ритуала, связанного с Убежищем, но это не совсем верно. Всякий раз, бывая там, я тешу себя тем, что мысленно восстанавливаю Старую Гавань — лес мачт, подлесок снастей, свернутых парусов. И я вижу своих предков, родную кровь: молодые на шканцах, кто постарше — на спардеке, старики на мостике. Кто тогда помышлял о Мэдисон-авеню, или беспокоился, не срезать бы лишний лист с цветной капусты? Тогда человек обладал достоинством, обладал осанкой. Дышал полной грудью.

Это голос моего отца, простака. Старый Шкипер вспоминал другое — ссоры из-за доли в прибылях, махинации с грузами, придирчивые проверки каждой доски, каждого кильсона, судебные тяжбы, убийства — да, и убийства. Из-за женщин, славы, жажды приключений? Ничуть не бывало. Из-за денег. Редкие компаньоны не расходились после первого же плаванья, и жгучие распри тянулись без конца уже после того, как и причин-то никто не помнил.

Была одна обида, которую Старый Шкипер Хоули запомнил навсегда, одно преступление, которого он не мог простить. Много, много раз он мне рассказывал об этом, когда мы с ним стояли или сидели на берегу в Старой Гавани. Мы там провели вдвоем немало хороших часов. Помню, как он указывал вдаль своей нарваловой тростью.

— Заметь себе третий выступ Троицына рифа,— говорил он.— Заметил? Теперь проведи от него черту до мыса Порти, до высшей точки прилива. Готово? А теперь отложи полкабельтова вдоль этой черты — вот там она и лежит, вернее сказать, ее киль.

— «Прекрасная Адэр»?

— Да, «Прекрасная Адэр».

— Наше судно.

— Наполовину наше. Она сгорела на рейде — вся сгорела, до самой ватерлинии. Никогда не поверю, что это было дело случая.

— Вы думаете, ее подожгли, сэр?

— Уверен.

— Но как же — как же можно пойти на такое дело?

— Я бы не мог.

— Кто же это сделал?

— Не знаю.

— А зачем?

— Страховая премия.

— Значит, и тогда было как теперь.

— Да.

— Но должна же быть разница?

— Разница только в людях — только в самих людях. В человеке вся сила. От него только все и зависит.

После пожара он, по словам отца, навсегда перестал разговаривать с капитаном Бейкером, но на сына последнего, директора банка Бейкера, эта обида не распространилась. Старый Шкипер был так же не способен на несправедливость, как и на поджог.

Господи, надо спешить домой. И я заспешил. Я почти бегом пробежал по Главной улице, ни о чем больше не думая. Еще не рассвело, но над самым горизонтом уже брезжила узкая полоска зари, и море там было чугунного цвета. Я обогнул памятник жертвам войны и прошел мимо городской почты. Так я и знал: в подъезде одного из соседних домов стоял Дэнни Тэйлор, руки в карманах, воротник обтрепанного пальто поднят, на голове старая охотничья каскетка со спущенными наушниками. Лицо у него было голубовато-серое, он казался иззябшим и больным.

— Ит,— сказал он.— Уж ты меня извини за беспокойство, пожалуйста, извини. Но мне необходимо прополоскать мозги. Сам знаешь, если бы не нужда, не просил бы.

— Знаю. То есть, может, и не знаю, но верю.— Я дал ему долларовую бумажку.— Хватит?

Губы у него задрожали, точно у ребенка, который вот-вот заплачет.

— Спасибо тебе, Ит,— сказал он.— Да, на это я смогу продержаться целый день, а может, еще и ночь.— Он заметно оживился от одного предвкушения.

— Дэнни, надо тебе бросить это. Думаешь, я забыл? Ты был мне братом, Дэнни. Ты и сейчас брат мне. Я бы все на свете сделал, чтобы тебе помочь.

Его впалые щеки чуть порозовели. Он смотрел на деньги, которые держал в руке, и словно бы уже сделал первый живительный глоток. Потом он поднял на меня глаза, холодные и злые.

— Во-первых, я не люблю, когда суют нос в мои личные дела. А во-вторых, у тебя у самого гроша за душой нет, Итен. Ты такой же калека, как и я, только увечье у нас разное.

— Выслушай меня, Дэнни.

— С какой стати? Да мне, если хочешь знать, лучше, чем тебе. У меня есть козырь на руках. Помнишь нашу загородную усадьбу?

— Там, где сгорел дом? Где мы играли в прятки в погребе?

— Вижу, ты не забыл. Так вот, эта земля и сейчас моя.

— Дэнни! Ведь ты бы мог продать ее и начать новую жизнь.

— А я не желаю продавать. Каждый год у меня отрезают по кусочку, за налог. Но большой луг еще мой.

— Отчего же ты не хочешь продавать?

— Оттого, что эта земля — это я сам. Я, Дэнни Тэйлор. Пока она у меня есть, никакая сволочь не посмеет командовать мною и никакая мразь не запрет меня. Понятно?

— Но послушай, Дэнни...

— Не хочу ничего слушать. Если ты воображаешь, что купил за свой доллар право читать мне нравоучения — на! Возьми его обратно!

— Нет, нет, оставь себе.

— Ладно, оставлю. Но не берись судить о том, чего не понимаешь. Ты никогда не... не пил запоем. Ведь я не учу тебя резать ветчину. Ну, ступай себе, а я постучусь тут в одно местечко, где найдется, чем прополоскать мозги. И помни мои слова: мне лучше, чем тебе. Я, по крайней мере, не стою в фартуке за прилавком.— Он отвернулся и уткнул голову в косяк запертой двери, точно ребенок, которому достаточно зажмурить глаза, чтобы разделаться с внешним миром. И так он стоял, пока я не пошел прочь.

Крошка Вилли, дремавший в своем «шевроле» напротив гостиницы, встрепенулся и опустил оконное стекло.

— Доброе утро, Итен,— сказал он.— Вы что, уже встали или еще не ложились?

— И то и другое.

— Должно быть, недурно провели ночку.

— И не говорите, Вилли. Как в раю.

— Ну, ну, Ит, не вздумасте же вы уверять меня, что путаетесь с какой-нибудь шлюхой.

— Даю честное слово.

— Да будет вам. Сидели, небось, на берегу с удочкой. А как ваша хозяйка?

— Спит.

— Охотно последую ее примеру, вот только сменюсь с дежурства.

Я бы мог заметить на это, что он и на дежурстве не терял времени, но промолчал и пошел дальше.

Стараясь не шуметь, я вошел в дом с черного хода и включил в кухне свет. Моя записка лежала на столе, чуть ближе к левому краю. Готов поклясться, что я оставил ее как раз посередине.

Я поставил кофе на огонь и сел, ожидая, когда он вскипит, и только что в кофейнике забурлило, как вошла Мэри. Моя любимая выглядит совсем девочкой, встав поутру с постели. Никогда не скажешь, что это мать двух совсем больших ребят. И пахнет от нее так чудесно, похоже на свежее сено — самый ласковый и уютный запах на свете.

— Что это ты вскочил ни свет ни заря?

— Вот это мило. Да будет тебе известно, что я почти всю ночь провел на ногах. Видишь мои галоши, вон там, у двери. Тронь их, убедишься, что они мокрые.

— Где же это ты был?

— Есть такая пещерка на самом берегу моря, утенок мой взъерошенный. Я туда забрался, чтобы следить за ночью.

— Да погоди ты.

— И я увидел, как из моря вышла звезда, и, так как у нее не было хозяина, я решил, пусть это будет наша звезда. Я ее приручил и пустил пастись на воле.

— Не дурачься. Ты, наверно, только что встал, а я услышала и проснулась.

— Не веришь мне, спроси Крошку Вилли. Я с ним недавно беседовал. Спроси Дэнни Тэйлора. Я дал ему доллар.

— Напрасно. Он пойдет и пропьет.

— Еще бы. Об этом он и мечтал. А где будет спать наша звезда, как ты думаешь, былинка?

— Кофе приятно пахнет, верно? Я рада, что ты опять дурачишься. Хуже нет, когда ты в миноре. Нелепый это был разговор насчет богатства. Я не хочу, чтобы ты думал, будто я несчастлива.

— А ты не беспокойся, карты все сказали.

— Что все?

— Правда, правда, без шуток. Я скоро разбогатею.

— С тобой никогда не знаешь, что у тебя на уме.

— Это всегда бывает, когда человек говорит правду. Можно мне немножко поколотить детей в честь воскресения господня? Обещаю, кости будут целы.

— Я еще даже не умывалась,— сказала она.— Не могла понять, кто там тарахтит посудой в кухне.

Пока она была в ванной, я взял со стола записку и спрятал в карман. Но я все-таки не знал. Неужели нам не дано даже мелочи знать о другом? Какая ты там в себе, Мэри? Ты слышишь меня? Кто ты там, в себе?

ГЛАВА IV

Эта суббота была не похожа на другие. Может быть, в каждом дне есть что-то свое. Но это был совсем особенный день. Мне слышался ровный бесцветный шепоток тетушки Деборы: «Сегодня Христос мертв. Это бывает только один день в году, и вот сегодня такой день. И все люди на земле тоже мертвы. Христос сейчас терпит муки ада. Но завтра — дай срок, пусть только наступит завтра. Тогда увидишь, что будет».

Мне трудно представить себе тетушку Дебору, всегда ведь трудно представить себе тех, кого привык видеть не издали. Но помню, она читала мне писание, как читают ежедневную газету, да, пожалуй, так она его и воспринимала, как рассказ о событиях, извечно повторяющихся, но всегда полных увлекательной новизны. Каждую пасху Христос в самом деле воскресал из мертвых, и это было как взрыв, все равно оглушительный, хоть его и ждешь. Для нее все происходило не две тысячи лет назад, а сейчас, сегодня. В какой-то мере она внушила это ощущение и мне.

Не помню, чтобы я когда-нибудь испытывал желание поскорей отпереть лавку. Утро, начало нудного, томительного дня,— мой личный враг. Но в это утро мне не терпелось уйти из дому. Я всей душой люблю мою Мэри, быть может, больше, чем самого себя, но признаюсь, я не всегда слушаю ее с достаточным вниманием. Когда она заводит речь о платьях или о здоровье или пересказывает чьи-то слова, остроумные и поучительные, я попросту не слушаю вовсе. Иногда она возмущенно восклицает: «Да ты же это знаешь. Я тебе говорила. Я очень хорошо помню, я тебе рассказывала об этом в четверг утром». И можно не сомневаться, так оно и было. Она мне рассказывала. Она мне рассказывает все — о некоторых вещах.

В это утро мне не только не хотелось слушать. Мне хотелось освободиться от этой обязанности. Может быть, я сам чувствовал желание поговорить, а сказать было нечего — ведь нужно отдать ей должное, она тоже часто не слушает меня, и слава богу. Она прислушивается к звуку моего голоса, стараясь по тону определить, как я себя чувствую и какое у меня настроение, устал ли я или мне весело. Что ж, это не так глупо. Она права, что не слушает меня, ведь я большей частью обращаюсь не к ней, а к некоему безмолвному слушателю, который сидит во мне самом. И она, в сущности, тоже не со мной говорит. Но, конечно, если дело касается детей или каких-нибудь допекающих забот, тогда все по-другому.

Я часто замечал, как много в разговоре зависит от того, к кому обращены твои слова. Я чаще всего обращаюсь к людям, которых уже

нет в живых, например к моему домашнему Плимут-року*, тетушке Деборе или к Старому Шкиперу. Я даже спорю с ними. Помню, один раз, в пыльном, иссушающем бою я спросил Старого Шкипера: «А надо ли?» И очень ясно услышал ответ: «Разумеется, надо. И не бормочи себе под нос». Он-то не спорил, он никогда не спорил. Только сказал: «Надо»,— и я пошел вперед. Никакой мистики тут нет. Просто человек ищет совета или оправдания в самой глубине своего существа, недоступной сомненьям и колебаньям.

Для чистого монолога, очень удобной формы таких поисков, банки и бутылки в бакалейной лавке — самые лучшие слушатели, реальные и безответные. Кошки, собаки, птицы тоже годятся. Они не возражают и не судачат потом.

Мэри сказала:

— Ты уже идешь? Да ведь у тебя еще целых полчаса. Вот незачем было вставать так рано.

— До открытия лавки нужно распаковать целую кучу ящиков,— сказал я.— Расставить товар на полках. Принять ряд важных решений. Гармонируют ли пикули с томатным соком? Терпит ли абрикосовый компот соседство персикового? Ты же знаешь, как важно сочетание цветов в наряде.

— Тебе все смех,— сказала Мэри.— Но это хорошо. Лучше смеяться, чем ворчать. Мужчины такие ворчуны.

Было и в самом деле рано. Рыжий Бейкер еще не показывался. По этой собаке, да и вообще по собакам можно ставить часы. Ровно через полчаса он величественно прошествует мимо. И Джоя Морфи тоже не видно. Банк, правда, еще закрыт, но Джой, возможно, уже сидит там над своими книгами. В городе сегодня очень тихо, оно и понятно, много народу уехало до понедельника по случаю пасхи. Пасха, Четвертое июля и День труда — самые большие праздники у нас. Люди уезжают отдыхать, даже если им этого вовсе не хочется. Воробьи на Вязовой улице и те, видно, отправились отдыхать.

Стонуолл Джексон Смит уже вступил на дежурство. Я увидел его, когда он выходил из «Фок-мачты» после чашки утреннего кофе. Он такой поджарый и тощий, что револьвер и наручники кажутся для него слишком громоздкими. Его полицейская фуражка лихо заломлена набок, и он ковыряет в зубах отточенным гусиным перышком.

— Желаю удачного дня, Стони. С утра добра, а к вечеру чтобы денег гора.

— Мм? — отозвался он.— В городе сегодня никого не осталось.— Он явно сожалел, что сам должен был остаться.

— Не было ли убийств или других развлечений в этом роде?

— Да нет, в общем тихо,— сказал он.— На мосту ребятишки разбили машину, но она их собственная, так что ни черта не будет. Присудят им оплатить ремонт моста. Слыхали про ограбление банка во Фладхэмтоне?

— Нет.

— Передавали по телевидению.

— У нас пока нет телевизора. А что, много взяли?

— Тринадцать тысяч, говорят. Вчера, перед самым закрытием. Втроем сработали. Тревога поднята по четырем штатам. Вилли теперь сломя голову рыщет вдоль шоссе.

— Ничего, он выспался.

— Зато я нет. Даже не ложился всю ночь.

— Думаете, поймают?

---

* Плимут-рок — скала в Плимуте, штат Массачусетс, где, по преданию, в 1620 году высадились «отцы-пилигримы».

— Наверняка поймают! Раз замешаны деньги, тут уж берутся как следует. Страховые компании все равно не дадут покоя. Хочешь не хочешь, а доводи дело до конца.

— Неплохой был бы промысел, если бы не бояться, что поймают.

— Еще бы,— сказал он.

— Стони, вы бы зашли к Дэнни Тэйлору. Вид у него — смотреть страшно.

— Да, долго он не протянет,— сказал Стони.— Ладно, пройду мимо — загляну. Беда с ним. А ведь славный малый. И из хорошей семьи.

— Тяжело мне. Я его люблю.

— Так с ним же ничего не поделаешь. Кажется, будет дождь, Ит. Вилли промокнет, а он этого терпеть не может.

Впервые на моей памяти мне приятно было пройти по переулку, и я с удовольствием отпирал боковую дверь лавки. У двери в ожидании сидел кот. Не припомню такого утра, когда бы этот тощий настырный кот не сидел бы там в надежде как-нибудь прошмыгнуть в отворившуюся дверь, но я неизменно прогонял его окриком или палкой. Насколько я могу судить, ему так ни разу и не удалось войти. Я считаю, что это кот, а не кошка, потому что у него оба уха рваные. Чудные животные кошки — а может быть, они кажутся нам смешными только потому, что похожи на нас, все равно как обезьяны? Семьсот или восемьсот раз этот кот пытался проникнуть в лавку, и ни разу ему это не удалось.

— Ну подожди, сейчас я тебя удивлю,— сказал я коту. Он сидел, уложив вокруг себя хвост так, что кончик подрагивал между передними лапами. Я вошел в темную лавку, снял с полки картонку молока, проткнул дырку и налил молоко в чашку. Потом я отнес чашку с молоком в кладовую, поставил у самой двери и дверь оставил отворенной. Кот сосредоточенно посмотрел на меня, посмотрел на молоко, потом медленно пошел прочь и исчез за оградой банка.

Только что я потерял его из виду, как в переулке появился Джой Морфи с ключом от боковой двери банка в руке. Лицо у него было землистое, осунувшееся, словно после бессонной ночи.

— Привет, мистер Хоули.

— А я думал, у вас сегодня закрыто, по случаю праздника.

— Праздники, видно, не для меня. Где-то вышла ошибка на тридцать шесть долларов. Я вчера за полночь сидел над книгами.

— Недостача?

— Нет — лишние.

— Это же хорошо.

— Как бы не так. Я должен найти ошибку.

— Не знал, что банки такие честные.

— Банки — да. Люди вот не все, к сожалению. Но я не могу думать о празднике, пока не найду ошибку.

— Жаль, я ничего не смыслю в финансовых делах.

— Могу изложить вам всю премудрость в одной фразе. Деньга деньгу делает.

— От этого мне не легче.

— Мне тоже. Но могу еще преподать несколько истин.

— Например?

— Например: кто спешит, тот всегда прогадывает. Или: не обманешь, не продашь. Или еще: каков покупатель, такова и цена.

— Это что, сокращенный курс?

— Именно. Но он ничего не стоит без первоосновы.

— Деньга деньгу делает?

— И, значит, все это не для нас с вами.

— А разве нельзя взять ссуду?

— Для ссуды нужно иметь кредит, а это те же деньги.

— Да, останусь-ка я лучше при своей бакалее.

— И то верно. Слыхали про ограбление Фладхэмтонского банка?

— Стони мне сказал. Забавно, мы как раз вчера с вами разговаривали на эту тему, помните?

— У меня там есть один знакомый. Грабителей было трое — один говорит с акцентом, один прихрамывает. Трое. Их поймают, это как пить дать. Может быть, через неделю. Может быть, через две.

— Рискованное дело!

— Да как вам сказать. Сработано было грубо. А грубая работа никогда себя не оправдывает, это закон.

— Вы меня извините за вчерашнее.

— Не стоит вспоминать. Я сам виноват. Еще одно золотое правило: держи язык за зубами. Никак не научусь его соблюдать. А вы отлично выглядите, мистер Хоули.

— Не знаю, с чего. Я сегодня почти не спал.

— Болен кто-нибудь?

— Нет. Просто такая выдалась ночь.

— Мне можете не объяснять...

Я подмел лавку и поднял шторы, не думая об этой работе и не чувствуя ненависти к ней. Правила Джоя на все лады звенели у меня в голове. И я рассуждал, обращаясь к своей аудитории на полках,— может быть, вслух, а может быть, и нет, не знаю.

— Дорогие коллеги,— говорил я.— Если это так просто, почему же это удается только немногим людям? Почему почти всякий раз повторяются одни и те же, одни и те же ошибки?

Что-то неизменно упускают из виду, что ли? Может быть, тут слабым местом является доброта? Марулло говорит, деньги не имеют души. Не следует ли из этого, что для человека, имеющего дело с деньгами, доброта всегда слабость? Каким образом удается заставить простых славных малых убивать на войне себе подобных? Правда, если противник иначе выглядит или говорит на другом языке, это облегчает задачу. А как же гражданская война? Янки, скажем, ели детей, а мятежники морили пленных голодом. Это тоже облегчение задачи. Погодите, маринованная свекла и соленые грибки, дойдет очередь и до вас. Вам, я знаю, хочется услышать что-нибудь о себе. Всякому хочется. Но я уже почти подошел к этому. В скобках, так сказать. Если духовный мир подчинен тем же законам, что и мир вещей, значит, все относительно в этой относительной вселенной — нравственность, нормы поведения, понятие греха. Иначе не может быть. От этого никуда не денешься. Хоть и в скобках.

А ты чего хочешь, коробка корнфлекса с маской Мики Мауса на крышке и этикеткой, в обмен на которую, приплатив десять центов, можно получить чревовещательный аппарат? Тебя мне придется взять домой, но пока что сиди и слушай. То, что я говорил Мэри в шутку,— чистая правда. Мои предки, все эти высокопочтенные шкиперы и судовладельцы, несомненно, с благословения правительства занимались захватом торговых судов во время революции и потом в 1812 году. Это выглядело очень добродетельно и патриотично. Но в глазах англичан они были пиратами, присваивавшими чужое добро. Вот как было впервые нажито состояние семьи Хоули, которое не сумел сохранить мой отец. Вот откуда повелась деньга, делавшая деньгу. Мы можем гордиться этим.

Я принес ящик с томатной пастой, вскрыл его и начал выставлять хорошенькие баночки на почти порожнюю полку.

— Вам, может быть, неизвестно, потому что вы — вроде как бы иностранцы. Деньги не имеют не только души, у них нет ни чести, ни памяти. Но они автоматически вызывают уважение, если сумеешь удержать их на какое-то время. Не думайте, что я осуждаю деньги. Напро-

тив, я сам их очень люблю. Господа, позвольте представить вам новых членов нашего маленького общества. Вот я размещу их здесь, по соседству с бутылками кетчупа. Прошу любить и жаловать. Эти пикули для сандвичей прибыли из Нью-Йорка. Там выросли, там приготовлены и законсервированы. Мы тут беседовали в дружеском кругу на тему о деньгах. Я мог бы назвать вам одно из лучших наших семейств — все вы, наверно, слышали это имя. Во всем мире оно известно. Так вот, эти люди разбогатели на поставках мяса англичанам в то время, как наша страна воевала с Англией, и тем не менее пользуются всеобщим уважением, и сами они и их деньги. Или возьмем другую династию — банкиров, самых крупных в своем деле. Ее основатель купил у военного ведомства три сотни винтовок. Они были забракованы, как дефектные и опасные для употребления, а потому достались ему очень дешево, центов по пятидесяти за штуку. А вскоре после того генералу Фремону, готовившему свой героический поход на Запад, понадобилось оружие, и он приобрел эти винтовки заглазно по цене двадцать долларов за штуку. Вероятно, они взрывались у солдат в руках... но история об этом умалчивает. Вот что значит «деньга деньгу делает». Неважно, откуда у тебя деньги, важно их иметь и с их помощью наживать еще. Не сочтите это за цинизм. Наш с вами господин и повелитель, наследник славного римского имени Марулло, совершенно прав. Когда дело касается денег, обычные правила поведения получают отпуск. Почему я люблю разговаривать с вами, с бакалейным товаром? Может быть, потому, что я уверен в вашей скромности. Вы не станете сплетничать, пересказывать мои речи. Деньги — скучная материя только для тех, у кого они есть. Для бедняков это самая увлекательная тема на свете. Но согласитесь, если у человека появился активный интерес к деньгам, он хоть немного должен представлять себе их природу, свойства и особенности. Очень мало кто интересуется деньгами ради самих денег — для этого нужно быть или истинным художником в своем деле, или скрягой. Причем таких скряг, которые скряжничают из трусости, считать нечего.

На полу выросла целая куча пустых картонных коробок. Я убрал их в кладовую: подровняю потом края, пригодятся. Покупатели охотно пользуются ими как тарой для покупок, и Марулло говорит: «Экономия пакетов, мальчуган».

Я больше не обижаюсь на это слово «мальчуган». Пусть зовет меня мальчуганом, пусть даже думает обо мне так. Пока я возился с коробками, кто-то забарабанил в дверь. Я взглянул на свой старый массивный серебряный хронометр, поверите ли — первый раз в жизни я опоздал с открытием лавки. Я всегда отпирал точно в девять, минута в минуту, а тут стрелки показывали уже четверть десятого. Разглагольствования перед консервными банками отвлекли меня от дела. За стеклом и решеткой двери маячила Марджи Янг-Хант. Я никогда не обращал на нее особого внимания, никогда не приглядывался к ней. Может, оттого она и затеяла всю эту историю с гадачьем — просто чтобы вызвать интерес к своей особе. Не нужно показывать, что ей это удалось.

Я распахнул дверь.

— Извините, если побеспокоила.

— Да мне давно пора открывать.

— Разве?

— Конечно. Уже десятый час.

Она вошла в лавку. Ее зад, приятно круглившийся под платьем, слегка пружинил при каждом шаге: вверх — вниз. Спереди ее тоже бог не обидел, так что подчеркивать ничего не требовалось. Все было на своем месте. Про таких, как Марджи, Джой Морфи говорит «конфетка»— а может, и мой сын Аллен тоже. Я ее, пожалуй, первый раз видел как следует. Черты лица у нее правильные, нос чуть длинноватый, губы с по-

мощью помады сделаны более пухлыми, чем они есть, особенно нижняя. Волосы выкрашены в красновато-каштановый цвет, какого в природе не бывает, но красивый. Подбородок хрупкий, хоть и с ямочкой, а щеки тугие и скулы очень широкие. Глазами своими Марджи, видно, занималась подолгу. Они у нее были того зелено-серо-голубого цвета, который меняется от освещения. В общем, лицо такое, которое многое может выдержать и выдерживало, не дрогнув, даже грубость, даже пощечину. Марджи метнула взгляд на меня, потом на полки с товаром, потом снова на меня. Вероятно, она приметлива и умеет запоминать примеченное.

— Надеюсь, вы не по такому же делу, как вчера?

Она засмеялась.

— Нет, нет. У меня не каждый день бывают коммивояжеры. На этот раз у меня и в самом деле вышел весь кофе.

— Обычная история.

— То есть как?

— Из десяти утренних покупателей девять приходят потому, что у них вышел весь кофе.

— Нет, в самом деле?

— В самом деле. Кстати, за коммивояжера спасибо.

— Это была его идея.

— Но вы ее подсказали. Вам какого кофе?

— Все равно. У меня всегда получается бурда, какой бы я ни заваривала.

— А вы по мерке сыплете?

— Конечно. Но все равно получается бурда. Кофе — не... я хотела сказать «не моя специальность».

— Вы так и сказали. Попробуйте вот эту смесь.— Я снял с полки жестяную банку, и, когда Марджи потянулась, чтобы взять ее,— одно короткое движение,— каждая часть ее тела ожила, заиграла, заговорила о себе. Вот я — нога. Я — бедро. А лучше всего я — округлый живот. Все это было ново для меня, увидено впервые. Мэри говорит, что у каждой женщины есть свои сигналы, которые она выкидывает, когда ей это нужно. Если так, то Марджи обладает сложной системой сигнализации, в которой участвует все, от острых носков лакированных туфель до каждого локона мягких каштановых волос.

— Ваша хандра как будто прошла?

— Вчера меня в самом деле одолевала хандра. Откуда только это берется?

— Кто знает! Сколько раз со мной бывало так, и без всякой причины!

— Здорово это у вас получилось, с гаданьем.

— Вы не сердитесь?

— Нет. Мне просто интересно, как вы это делаете.

— Но вы же не верите в такие вещи.

— Неважно, верю или не верю. Кое в чем вы попали в самую точку. Насчет некоторых моих мыслей, некоторых поступков.

— Ну, например?

— Например — что настало время для перемен.

— Вы, верно, думаете, что я подтасовала карты?

— Неважно. Если и подтасовали, что вас заставило подтасовать так, а не иначе? Об этом вы не думали?

Она посмотрела мне прямо в глаза, пытливо, внимательно, с подозрением.

— Д-да,— сказала она вполголоса.— То есть я хочу сказать — нет, не думала. Что меня заставило подтасовать так, а не иначе. Выходит, и подтасовка не подтасовка.

В дверь заглянул мистер Бейкер.

— Привет, Марджи,— сказал он.— Итен, вы поразмыслили над моим предложением?

— Поразмыслил, сэр. И хотел бы поговорить с вами.

— Пожалуйста, Итен, когда угодно.

— В будни мне трудновато выбрать время. Вы же знаете, Марулло почти не появляется здесь. А вот завтра вы будете дома?

— После церкви, разумеется, буду. Отличная идея. Приходите часа в четыре, вместе с Мэри. Пока дамы будут обсуждать пасхальные шляпки, мы с вами уединимся и...

— У меня к вам целая куча вопросов. Пожалуй, я их заранее выпишу на бумажку.

— Сделайте милость, что знаю, все охотно скажу. Так, значит, до завтра. Привет, Марджи.

Когда он ушел, Марджи сказала.

— Вы не теряете времени.

— А может, просто подчиняюсь судьбе. Слушайте — не сделать ли нам такой опыт. Раскиньте опять карты, вслепую, не глядя, и посмотрите, сойдется ли со вчерашним.

— Нет! — сказала она.— Так нельзя. Вы что, шутите, или вас и вправду затронуло?

— По-моему, дело тут не в том, веришь или не веришь. Я, может быть, не верю в сверхчувственное восприятие, или в молнию, или в водородную бомбу, или даже в такие вещи, как фиалки или стая рыб, но я знаю, что все это существует. Я и в привидения не верю, а между тем я их видел.

— Ну, вы шутите.

— Нисколько.

— Вы перестали быть самим собой.

— Верно. Это с каждым случается время от времени.

— Но что послужило причиной, Ит?

— Не знаю. Может быть, мне надоело стоять за прилавком.

— Давно пора.

— Скажите, вам действительно по душе Мэри?

— Конечно. Почему вы спрашиваете?

— Казалось бы, вы совсем не — ну, в общем, вы с ней очень разные.

— Понятно, что вы хотите сказать. И все-таки она мне по душе. Я просто люблю ее.

— Я тоже.

— Везет же людям.

— Я знаю, что мне повезло.

— Не о вас речь, а о ней. Что ж, пойду варить свою бурду. А насчет карт я еще подумаю.

— Только не откладывайте, надо ковать железо, пока горячо.

Она вышла, постукивая каблуками, ее подбористый зад пружинил, точно резиновый. Я ее никогда не видел до этого дня. Сколько, наверно, есть людей, на которых я всю жизнь смотрю и не вижу. Даже подумать страшно. И опять — в скобках. Когда двое встречаются, каждый в чем-то изменяет другого, так что в конце концов перед вами два новых человека. Может быть, это значит — нет, к черту, это слишком сложно. О таких вещах я решил думать только ночью, когда не спится. Меня напугало, что я не отпер лавку вовремя, забыл. Это все равно что оставить свой платок на месте преступления или, скажем, очки, как в том знаменитом чикагском деле. Что кроется за этим? Какое преступление? Кто убийца и кто убитый?

В полдень я приготовил четыре сандвича с сыром и с ветчиной, положил салат и майонез. Сыр и салат, сыр и салат, лезьте на дерево,

кому дом маловат. Два сандвича я отнес вместе с бутылкой кока-колы к боковой двери банка и вручил Джою.

— Ну, нашли ошибку?

— Нет еще. Все глаза проглядел, честное слово.

— Отложили бы уж до понедельника.

— Нельзя. Банковское дело любит точность.

— Иногда, если перестанешь ломать голову, тут тебя и озарит.

— Это я знаю. Спасибо за сандвичи.— Он приподнял верхний ломтик хлеба, проверяя, положил ли я салат и майонез.

Торговать бакалеей в канун пасхи это — как сказал бы мой августейший и невежественный сын, «мертвое дело». Но произошли два события, которые во всяком случае доказывали, что где-то глубоко-глубоко во мне и в самом деле совершается перемена. Ни вчера, ни позавчера я бы, наверно, не вел себя так, как повел сегодня. Представьте себе, что вы перебираете образцы обоев и вдруг перед вами развернули совершенно новый узор.

Сперва в лавку заявился Марулло. Его жестоко мучил артрит. Он то и дело сгибал и разгибал руки, точно атлет-гиревик.

— Как дела?

— Так себе, Альфио.— Никогда раньше я его не называл по имени.

— В городе сегодня пусто...

— Что же вы не говорите «мальчуган»?

— Мне казалось, ты этого не любишь.

— Напротив, Альфио, очень даже люблю.

— Все разъехались.— Видно, плечи ему жгло, как будто в суставах был насыпан горячий песок.

— Когда вы перебрались из Сицилии сюда?

— Давно. Сорок семь лет назад.

— И с тех пор ни разу там не были?

— Ни разу.

— Почему бы вам не съездить туда в гости?

— Зачем? Все теперь там по-другому.

— И вам не интересно посмотреть?

— Да нет, не очень.

— А родные у вас есть?

— Как же, брат и его дети, и у детей уже тоже есть дети.

— Что ж, вам совсем не хочется повидать их?

Он посмотрел на меня так, как я, должно быть, смотрел на Марджи,— точно в первый раз увидел.

— С чего это ты вдруг, мальчуган?

— Тяжело смотреть, как этот артрит мучает вас. В Сицилии ведь тепло. Может, там у вас поутихнут боли.

Он подозрительно покосился на меня.

— Что с тобой случилось?

— А что?

— Ты сегодня не такой, как всегда.

— А! Узнал одну приятную новость.

— Уж не собрался ли ты уходить от меня?

— Пока еще нет. Если бы вы надумали ехать в Италию, не беспокойтесь, я вас дождусь.

— А что за новость?

— Не хочу говорить до поры до времени. Это ведь дело такое...— Я покрутил рукой в воздухе.

— Деньги?

— Не исключено. А в самом деле, Альфио, человек вы богатый. Прокатились бы, пусть там в Сицилии поглядят, что такое богатый аме-

риканец. И на солнышке бы погрелись. А лавку можете спокойно оставить на меня. Вы сами это знаете.

— Так ты не думаешь уходить?

— Да нет же, черт возьми. Вы меня достаточно знаете, разве я способен вас подвести?

— Тебя словно подменили, мальчуган. Что с тобой?

— Я же вам сказал. Поезжайте, понянчите bambinos *.

— Я теперь там чужой,— сказал он, но я почувствовал, что посеял в его душе тень чего-то — посеял крепко. И уже не сомневался, что вечером он придет в лавку и станет проверять книги. Подозрительный, сволочь.

Не успел он уйти, явился — точь-в-точь как накануне — коммивояжер «Б. Б. Д. и Д.».

— Я не по делу,— сказал он.— Просто собрался до понедельника в Монток. Вот и решил зайти по дороге.

— Очень кстати,— сказал я.— Мне как раз нужно вам кое-что отдать.— И протянул ему бумажник, откуда торчали двадцать долларов.

— Это вы зря. Сказал же я вам, что пришел не по делу.

— Возьмите!

— Как мне вас понимать?

— В наших местах так скрепляют договор.

— Но что случилось, вы обиделись?

— Ничуть не бывало.

— Так почему же?

— Возьмите! Торги еще не окончены.

— Господи, неужели Вэйланды предложили больше?

— Нет.

— Кто же, черт побери?

Я всунул двадцатидолларовую бумажку в его нагрудный карман, за уголок платка.

— Бумажник я оставлю себе,— сказал я,— он мне нравится.

— Послушайте, я не могу предложить другой цены, пока не снесусь с главной конторой. Подождите хотя бы до вторника. Я вам позвоню. Если вы услышите «Говорит Хью», знайте, что это я.

— Звоните, мне ваших денег не жаль.

— Но вы подождете, как я прошу?

— Подожду,— сказал я.— Увлекаетесь рыбной ловлей?

— Только в дамском обществе. Пробовал пригласить в Монток Марджи — конфетка, а не дамочка! Какое там! Напустилась на меня так, что я не знал, куда деваться. Не понимаю я женщин.

— Да, они все чудней и чудней становятся.

— Золотые ваши слова,— сказал он как-то по-старомодному. Он был явно озабочен.— Ничего не предпринимайте до моего звонка,— сказал он.— Господи, а я-то думал, что имею дело с наивным провинциалом.

— Я не намерен обманывать доверие хозяина.

— А, чушь. Вы просто хотели увеличить ставку.

— Я просто отказался от взятки, если вам так хочется называть вещи своими именами.

И вот вам доказательство, что во мне что-то изменилось. Я сразу вырос в глазах этого субъекта, и мне это понравилось. Даже очень понравилось. Прохвост решил, что мы с ним одного поля ягоды, но я покрупнее.

Перед самым закрытием лавки позвонила Мэри.

— Итен,— начала она,— ты только на меня не сердись...

— За что, моя былинка?

---

* Мальчуганов *(итал.)*.

— Понимаешь, она такая одинокая, и мне — словом, я пригласила Марджи к обеду.

— Ну что же.

— Так ты не сердишься?

— Да нет же, черт возьми!

— Не чертыхайся. Завтра пасха.

— Ах, кстати. Почисть свои перышки. Мы завтра в четыре часа идем к Бейкерам.

— К ним домой?

— Да, мы приглашены к чаю.

— Мне придется идти в костюме, который я сшила для пасхальной службы.

— Прекрасно, лопушок.

— Так ты не сердишься за Марджи?

— Я тебя люблю,— сказал я. И я в самом деле люблю ее. Очень люблю. И, помню, я тут же подумал, каким сукиным сыном может иногда быть человек.

ГЛАВА V

С Вязовой улицы я свернул на дорожку, вымощенную щебнем, но посредине дорожки остановился и окинул взглядом старый дом. Я смотрел на него с особым чувством. Мой дом. Не Мэри, не отцовский, не Старого Шкипера, а мой. Могу продать его, могу поджечь, а могу ничего с ним не делать.

Не успел я подняться на третью ступеньку, как дверь распахнулась, и на меня обрушился Аллен с криком:

— А где «Пикс»? Ты принес «Пикс»?

— Нет,— сказал я. Но — чудо из чудес! — он не разразился воплями негодования и обиды и не стал призывать мать в свидетели, что я же ему обещал.

Он только горестно охнул и поплелся прочь.

— Добрый вечер,— сказал я его удаляющейся спине, и он остановился и повторил «Добрый вечер» так, как будто это было иностранное слово, которое он только что выучил.

Мэри вышла в кухню.

— Ты постригся,— сказала она. Любую перемену во мне она объясняет или температурой, или стрижкой.

— Нет, завитушка, я не стригся.

— А я тут совсем завертелась с приготовлениями.

— Приготовлениями?

— Я же тебе сказала, к обеду придет Марджи.

— Хорошо, но зачем такой тарарам?

— У нас уже сто лет не было гостей к обеду.

— Это верно. Что правда, то правда.

— Ты наденешь темный костюм?

— Нет, серый — Старого Доббина.

— А почему не темный?

— Помнется, а мне завтра идти в нем в церковь.

— Я утром могу отутюжить.

— Надену Старого Доббина, ни у кого в округе нет такого симпатичного костюма.

— Дети,— крикнула Мэри,— не смейте там ничего трогать! Я достала парадную посуду. Так не хочешь надеть темный?

— Не хочу.

— Марджи разрядится в пух и в прах.

— Ей очень нравится Старый Доббин.

— Откуда ты знаешь?
— Она мне говорила.
— Выдумываешь.
— Она даже в газету писала об этом.
— Ну тебя. Смотри, будь с ней любезен.
— Я буду ухаживать за ней напропалую.
— Мне казалось, ты сам захочешь надеть темный — по случаю прихода Марджи.
— Послушай, травка, пять минут назад мне было совершенно все равно, какой костюм надевать — хоть вовсе никакого. Но ты устроила так, что я теперь просто должен надеть Старого Доббина.
— Назло мне?
— Вот именно.
Она горестно охнула, точно так, как Аллен.
— Что у нас на обед? Я хочу подобрать галстук под цвет мясного блюда.
— Жареная курица. Не узнаешь по запаху?
— Узнаю, узнаю. Мэри, ты...— но я не договорил. Стоит ли? Нельзя подавлять национальный инстинкт. Ее привлек День распродажи кур в «Экономической торговле». Дешевле, чем у Марулло. Я не раз объяснял Мэри секрет этих распродаж в фирменных магазинах. Соблазнившись скидкой, вы входите в магазин, а там, глядишь, накупили кучу вещей уже без всякой скидки, просто так, заодно. Все это понимают, и все это делают.
Лекция, предназначенная для Мэри-медуницы, засохла на корню. Новый Итен Аллен Хоули идет в ногу с национальными увлечениями и по мере возможности обращает их себе на пользу.
Мэри сказала:
— Ты меня не обвинишь в вероломстве?
— Родная моя, какие доблести или прегрешения могут быть связаны с курицей?
— Понимаешь, уж очень у них дешево.
— Ты поступила мудро и хозяйственно.
— Тебе все шуточки.
У меня в комнате дожидался Аллен.
— Можно мне посмотреть твой меч Храмовника?
— Пожалуйста. Он в стенном шкафу, в уголке.
Это он знал не хуже меня. Пока я разоблачался, он извлек кожаный футляр, вытащил меч из ножен, обнажив блестящий клинок, и в воинственной позе замер перед зеркалом.
— Как твое сочинение?
— Чего?
— Ты, вероятно, хотел сказать «Я не расслышал, папа»?
— Я не расслышал, папа.
— Я спрашиваю, как твое сочинение?
— А, сочинение! Отлично!
— Значит, пишешь?
— Факт.
— Как ты сказал?
— Пишу, папа.
— Можешь и шляпу посмотреть. В круглой кожаной коробке, на полке. Перо что-то желтеет.
Я влез в большую старинную ванну на ножках в виде львиных лап. В те времена размером не стеснялись, делали так, чтобы можно было разлечься с комфортом. Я тер тело щеткой, смывая с себя бакалейную лавку и все заботы дня, потом побрился в ванне, не глядя, пальцами ощупывая кожу. В этом, бесспорно, есть что-то римское и упадочное.

Только причесываться я подошел к зеркалу. Давно уж я себя не видел. Можно каждый день бриться и при этом никогда себя не видеть, особенно если не очень к тому стремишься. Красота, она вся на поверхности, но есть и такая красота, которая идет изнутри. Я, если уж на то пошло, предпочитаю последнее. Не то чтобы у меня было очень уж некрасивое лицо, просто, по-моему, в нем нет ничего интересного. Я попробовал придать своему лицу разные выражения, но из этого ничего не вышло. Вместо гордого, или просветленного, или грозного, или лукавого лица на меня смотрела все та же физиономия, только гримасничающая на разные лады.

Пока я был в ванной, Аллен уже успел напялить на голову украшенную страусовым пером шляпу Храмовника. Если у меня в этой шляпе такой же дурацкий вид, придется перестать ходить на собрания ложи. Кожаная коробка валялась открытая на полу. Дно было обтянуто бархатом, с круглым горбом посередине, напоминавшим опрокинутую миску.

— Не знаю, можно ли отбелить пожелтевшее перо или придется покупать новое?

— Если купишь новое, это отдай мне, хорошо?

— Ну что ж. А где Эллен? Почему не слышно ее пискливого голоска?

— Она пишет сочинение.

— А ты?

— Я пока обдумываю план. Но ты все-таки принесешь «Пикс»?

— Если не забуду. Ты бы сам зашел как-нибудь в лавку и взял.

— Ладно. Можно мне задать один вопрос... папа?

— Сочту за честь ответить.

— Верно, что на Главной улице когда-то целых два квартала были наши?

— Верно.

— И что у нас были китобойные суда?

— И это верно.

— А где же они теперь?

— Мы их потеряли.

— Как так?

— Очень просто — взяли да и потеряли.

— Ты все шутишь.

— Это довольно серьезная шутка, если вскрыть ее смысл.

— А мы сегодня вскрывали лягушку в школе.

— Полезное занятие. Для вас, но не для лягушки. Какой из этих галстуков мне надеть?

— Синий,— сказал он без всякого интереса.— Скажи, когда ты оденешься, ты бы не мог — не нашлось бы у тебя минуты подняться на чердак?

— Если за делом, найдется и больше минуты.

— Нет, правда?

— Правда.

— Ладно. Я тогда пойду вперед, зажгу там свет.

— Я сейчас — вот только завяжу галстук.

Его шаги гулко зазвенели на голой чердачной лестнице.

Если, повязывая галстук, я сосредоточиваюсь на этом занятии, то концы скользят и у меня ничего не получается, но если мои пальцы действуют сами по себе, они отлично справляются со своим делом. Я препоручил галстук пальцам, а сам стал думать о чердаке старого дома Хоули, моем чердаке моего дома. Это вовсе не темный, паутиной увитый каземат для всякого хлама и завали. Окошки с частым переплетом пропускают достаточно света, но старинное толстое стекло придает этому

свету лиловатый оттенок, и предметы в нем кажутся зыбкими, точно мир, видимый сквозь воду. Убранные на чердак книги не ждут, когда их выбросят вон или пожертвуют Мореходному училищу... Они чинно восседают на полках, дожидаясь вторичного открытия. Стоят там кресла, старомодные или с обветшалой обивкой, но глубокие и удобные. Пыли немного. Если в доме уборка — уборка и на чердаке, а так как он большей частью заперт, неоткуда попадать пыли. Помню, как в детстве, устав врызаться в адаманты книг, или терзаясь непонятной тоской, или уйдя в полудремотный мир фантазии, который требует уединения, я забирался на чердак и подолгу сидел там, свернувшись клубочком в длинном, по форме тела выгнутом кресле, в лиловатых сумерках, льющихся из окна. Оттуда хорошо были видны четырехугольные стропила, поддерживающие крышу,— можно было рассмотреть, как они плотно входят паз в паз и закрепляются дубовыми шпонками. Особенно там уютно в дождь, все равно — чуть-чуть ли моросит или льет как из ведра. А книги в мерцающих бликах света — детские книги с картинками, хозяева которых давно выросли, оторвались от родного корня и разбрелись по свету: «Пустомеля» и выпуски «Ролло»; богато иллюстрированные божьи дела — «Наводнения», «Пожары», «Приливы и Отливы», «Землетрясения»; «Ад» Густава Доре со строфами Данте, забытыми, как кирпичи, между рисунками; щемящие душу сказки Ганса Христиана Андерсена; свирепая жестокость братьев Гримм, величие Mort d'Arthur с рисунками Обри Бердслея, болезненного, хилого человечка; ему ли иллюстрировать могучего великана Мэлори.

Я не раз удивлялся мудрости Андерсена. Король поверял свои тайны колодцу и мог быть спокоен, что никто его тайн не узнает. Хранитель тайн или рассказчик должен думать о том, кто его слушает или читает, потому что, сколько слушателей, столько и различных версий рассказа. Каждый берет в рассказе что может и тем самым подгоняет его к своей мерке. Одни выхватывают из него куски, отбрасывая остальное, другие пропускают его сквозь сито собственных предрассудков, третьи расцвечивают его своей радостью. Чтобы рассказ дошел, у рассказчика должны найтись точки соприкосновения с читателем. Без этого читатель не поверит в чудеса. Рассказ, предназначенный Аллену, должен быть совершенно иначе построен, чем если я вздумаю пересказать его Мэри, а для Марулло пришлось бы искать новую подходящую форму. Но, пожалуй, идеал — андерсеновский колодец. Он только слушает, отголоски же, возникающие в нем, негромки и быстро замирают.

Все мы, или большинство из нас, вскормлены наукой девятнадцатого столетия, которая объявляла несуществующим все, чего не могла объяснить или измерить. От этого необъяснимое не переставало существовать, но без нашей, так сказать, санкции. Мы упорно не желаем замечать то, чему не можем найти объяснение, и, таким образом, многое в мире остается уделом детей, безумцев, дурачков и мистиков, больше заинтересованных в явлении, чем в его причинах. У мира есть свой чердак, куда убрано множество старинных и прелестных вещей, которые мы не хотим иметь перед глазами, но не решаемся выбросить.

Одинокая лампочка без абажура свисает с потолочной балки. Настил из сосновых, вытесанных вручную досок в два дюйма толщиной и в двадцать шириной достаточно прочен, чтобы выдержать пирамиды ящиков и сундуков, среди которых теснятся завернутые в бумагу лампы, вазы и прочие опальные предметы роскоши. А на открытых полках выстроились в неярком свете поколения книг. Ни грязи, ни пыли — моя Мэри не знает пощады в борьбе за чистоту и дотошна, как унтер-офицер. Книги все расставлены в строгом порядке, по величине и по цвету переплета.

Аллен стоял, прислонившись лбом к одной из верхних полок, и рас-

сматривал книги на нижних. Правой рукой он опирался на рукоятку меча, как на набалдашник трости.

— Ты точно живая аллегория, сын мой. Что-нибудь вроде: Юность, Война и Знание.

— Я хотел спросить тебя — ты говорил, здесь, пожалуй, найдется подходящий материал.

— Какой материал?

— Ну, всякая там патриотическая музыка для сочинения.

— Ах вот что. Патриотическая музыка. Хорошо — нравится тебе такой мотив: «Как ни прекрасна жизнь и как ни дорог нашему сердцу мир, но оковы рабства не слишком ли дорогая цена за это? Помилуй бог! Не знаю, что решат другие, но для меня есть один только выбор: свобода или смерть» *.

— Ух ты! Здорово запущено.

— Еще бы. В те времена были титаны на свете.

— Вот бы мне жить в те времена. Морские пираты. Ух и здорово! Пиф-паф, пиф-паф! На абордаж! Кубышки с золотом, красавицы в шелках и бриллиантах. Вот это жизнь! Папа, а ведь среди наших предков были пираты. Ты сам говорил.

— Это было пиратство особого рода — они назывались каперами. Пожалуй, им жилось не так сладко, как кажется издали. Сухари да солонина, солонина да сухари. И цинга тоже была не редкость в те времена.

— Ну и пусть, я бы не испугался. Я бы нахватал золота побольше и привез домой. Теперь ведь так нельзя.

— Да, теперь масштабы крупнее и организация лучше. И называется это дипломатией.

— У нас в школе есть мальчик, который два раза получал приз на телевизионных конкурсах — раз пятьдесят долларов, а другой раз двести. Здорово, а?

— Должно быть, способный малый.

— Он-то? Ничего подобного. Он говорит, там это все на обмане. Главное, нужно изобрести подход.

— Подход?

— Ну да — например, будто ты калека, или у тебя старенькая мама и ты разводишь лягушек, чтобы заработать ей на пропитание. Что-нибудь такое, что может пронять публику — тогда наверняка выберут тебя. У него есть журнал, в котором напечатано про все-все конкурсы в Америке. Ты мне можешь достать такой журнал, папа?

— Гм, времена пиратства прошли, но дух, видно, жив и поныне.

— Какой дух?

— Получать так, задаром. Богатеть так, без усилий.

— Ты мне достанешь журнал?

— Мне казалось, такие затеи не в ходу после всех скандалов со взятками.

— Черта с два! То есть я хотел сказать, ошибаешься, папа. Просто теперь это делается немного по-другому. А хорошо бы мне отхватить какой-нибудь приз!

— Вот именно — не выиграть, а отхватить.

— Ну и что? Деньги — все равно деньги, как бы они ни попали в руки.

— Не могу с этим согласиться. Все равно для денег, но не для того, кому они, как ты говоришь, попали в руки.

— А что тут плохого? Законом это не запрещено. Даже самые выдающиеся люди Америки...

---

* Патрик Генри — американский оратор и государственный деятель (1736—1799).

— О Карл, сын мой, сын мой.

— Почему Карл?

— Тебе хочется быть богатым, Аллен? Очень хочется?

— А что, думаешь, приятно жить без мотоцикла? Когда, может, двадцать мальчишек раскатывают на мотоциклах. А думаешь, приятно, если дома не то что машины, телевизора даже нет.

— Просто ужасно.

— Да, тебе хорошо говорить. Я вот раз писал в школе сочинение «Мои предки» и написал, что мой прадедушка был шкипером китобойного судна.

— Что ж, это правда.

— А весь класс так и загоготал. И знаешь, как меня прозвали после этого? Хоули-китолоули. Думаешь, приятно?

— Должно быть, не очень.

— И если бы еще ты был хоть адвокат или хоть служил в банке, что ли. Вот отхвачу приз, знаешь, что я первым делом сделаю?

— Ну, что, например?

— Куплю тебе машину, чтобы у тебя кошки на душе не скребли, когда другие катят мимо.

Я сказал:

— Спасибо тебе, Аллен.— В горле у меня пересохло.

— Не за что, пустяки. Мне-то ведь все равно еще прав не дадут.

— Вот на этих полках, Аллен, ты найдешь речи всех выдающихся деятелей нашей родины. Очень советую тебе почитать их.

— Непременно почитаю. Мне это пригодится.

— Еще бы. Ну, желаю успеха.— Я тихонько спустился с лестницы, облизывая на ходу губы. Аллен был прав. На душе у меня скребли-таки кошки.

Как только я уселся в свое большое кресло с лампочкой на спинке, Мэри принесла мне газету.

— Ах ты моя добрая.

— Знаешь, тебе идет этот костюм.

— А ты не только хорошая хозяйка — ты еще и хороший стратег.

— Мне нравится этот галстук, он под цвет твоих глаз.

— Я вижу, ты что-то скрываешь от меня. Ладно, ладно. Хочешь сделку: секрет за секрет.

— Да у меня нет никакого секрета,— сказала она.

— Нет, так выдумай!

— Не умею. Говори, Итен, что случилось?

— А не торчат поблизости любопытные ушки?

— Нет.

— Ну, слушай. Приходила сегодня Марджи Янг-Хант. Будто бы за кофе. А я думаю, она просто в меня влюблена.

— Да ну тебя, говори дело.

— Разговор у нас зашел о вчерашнем гаданье, и я сказал, что любопытно бы раскинуть карты еще раз и посмотреть, выйдет ли опять то же самое.

— Ты так сказал? Неправда.

— Правда. И она со мной согласилась.

— Но ты ведь не одобряешь такие вещи.

— Когда все складывается благоприятно — одобряю.

— И ты думаешь, она сегодня повторит гаданье?

— Если тебя интересует, что я думаю, так, по-моему, она только за тем и придет.

— Ну что ты! Ведь это я ее пригласила.

— Да, когда она тебя навела на это.

— Ты не любишь Марджи.

— Напротив, я чувствую, что начинаю ее очень любить и даже уважать.

— У тебя никогда не поймешь, что в шутку, а что всерьез.

Тут вошла Эллен, тихонечко, так что неизвестно было, подслушивала она или нет. Впрочем, наверно, подслушивала. Эллен тринадцать лет, и она девчонка во всем, по-девчоночьи нежная и грустная, веселая и чувствительная, даже сентиментальная, когда ей это зачем-нибудь нужно. Она сейчас как тесто, которое только-только начинает подходить. Может, будет хорошенькой, а может, и не очень. Она любит прислониться к чему-нибудь, часто прислоняется ко мне, дышит мне в лицо, а дыхание у нее нежное, как у теленка. И ласткться она любит.

Эллен облокотилась на ручку кресла, в котором я сидел, и прислонилась худеньким плечиком к моему плечу. Провела розовым пальцем по моему рукаву, погладила волоски у запястья, так что мне даже щекотно стало. Светлый пушок у нее на руке блестел под лампой, как золотая пыль. Хитрушка она, да, верно, все они, девчонки, такие.

— Маникюр? — сказал я.

— Светлым лаком мама мне позволяет. А у тебя ногти корявые.

— Да ну?

— Но чистые.

— Я их вычистил щеткой.

— Терпеть не могу, у кого грязные ногти, как у Аллена.

— Может быть, ты вообще Аллена терпеть не можешь?

— Ненавижу.

— Вот даже как. Что же ты смотришь — убей его, и дело с концом.

— Глупый папка.— Она тихонько почесала у меня за ухом. Подозреваю, что уже не один малец из-за нее лишился покоя.

— Ты, говорят, вовсю работаешь над сочинением.

— А, наябедничал уже!

— Ну и как, успешно?

— Очень! Вот увидишь. Я тебе дам прочесть, когда кончу.

— Польщен. Я вижу, ты принарядилась по случаю гостей.

— Ты про это старье? Вот завтра я надену новое платье.

— Правильно. В церкви будут мальчики.

— Подумаешь, мальчики. Я ненавижу мальчиков.

— Это мне известно. Непримиримая вражда — твой лозунг. Я и сам их не очень люблю. Ну, а теперь отодвинься немножко. Я хочу почитать газету.

Она взвилась, как кинозвезда двадцатых годов, и отомстила мне тут же, без промедлений:

— Когда ты разбогатеешь?

Да, плохо придется с ней кому-то. Первым моим побуждением было схватить ее и отшлепать, но ведь именно этого она и добивалась. Мне показалось, что у нее и глаза подведены. Состраданья в ее взгляде было не больше, чем во взгляде пантеры.

— В следующую пятницу,— сказал я.

— А нельзя ли поскорее? Надоела мне бедность.— И она проворно выскользнула из комнаты. Подслушивать у дверей тоже в ее духе. Я люблю ее, и это странно, ведь в ней есть все то, что мне ненавистно в других, но тем не менее я души в ней не чаю.

Не суждено мне было прочесть газету. Не успел я развернуть ее, явилась Марджи Янг-Хант. Она была причесана как-то по-особенному, по-парикмахерски. Мэри, верно, знает, как такие прически делаются, я — нет.

Утренняя Марджи, приходившая в лавку за кофе, подстерегала меня, точно капкан медведя. Вечерняя вся была нацелена на Мэри. Если ее зад

и пружинил на ходу, это было незаметно. Если ее строгий костюм и скрывал что-нибудь, он это скрывал надежно. Приятнейшая гостья для любой хозяйки — любезная, обходительная, тактичная, скромная. Со мной она держалась так, как будто мне с утра прибавилось лет сорок. Что за удивительные создания женщины. Не могу ими не восхищаться, даже если не совсем понимаю их.

Марджи и Мэри затянули обычную светскую литанию: «Что вы сделали со своими волосами?»... «Мне нравится»... «Это ваш цвет. Ни в коем случае не меняйте его»...— безобидные вымпелы женской опознавательной системы, и мне вспомнился лучший из всех слышанных мной анекдотов о женщинах. Встречаются две приятельницы: «Что вы сделали со своими волосами? Как будто парик».— «А это и есть парик».— «Неужели? Никогда бы не подумала».

Быть может, тут кроются такие тонкости, которых нам не дано понять.

За обедом восторги по поводу жареных цыплят перемежались с сомнениями в их съедобности. Эллен не спускала с гостьи пытливого взгляда, изучая все детали ее прически и грима. Тут я понял, как рано начинаются те скрупулезные наблюдения, на которых основана так называемая женская интуиция. На меня Эллен старалась не смотреть. Она знала, что выстрелила наверняка, и ожидала мести. Отлично, злая моя дочка. Я тебе отомщу самым жестоким для тебя образом. Я забуду твои слова.

Обед был отменный, все сытно, всего слишком много, как и полагается на званых обедах, и целая гора посуды, не употребляемой в обычные дни. А после обеда кофе, чего у нас тоже не бывает в обычные дни.

— А кофе не отобьет у вас сон?

— Ничто не может отбить у меня сон.

— Даже я?

— Итен!

А после — тихая упорная борьба из-за посуды.

— Позвольте мне помочь.

— Нет, нет, ни в коем случае. Вы гостья.

— Ну, хоть убрать со стола.

Мэри нашла глазами детей и приготовилась к штыковой атаке. Они поняли, что им грозит, но податься было некуда.

Мэри сказала:

— У нас это всегда делают дети. Они любят мыть посуду. И так прекрасно моют, я просто горжусь ими.

— Подумайте, какие молодцы! Редкость по нашим временам.

— Вы правы. Нам в этом смысле повезло с детьми.

Я словно бы видел, как заметались их коварные умишки в поисках пути к спасению. Поднять кутерьму, прикинуться больными, уронить две-три чудесные старинные тарелки? Мэри, должно быть, тоже видела их насквозь. Она сказала:

— И что самое замечательное, у них никогда ничего не разбивается. Даже рюмки все целы.

— Ну, вы просто счастливая мать,— сказала Марджи.— Как вам удалось этого достигнуть?

— Я тут ни при чем. Такие уж они от природы. Есть, знаете, люди, у которых все из рук валится, а у Эллен и Аллена всегда были золотые руки.

Я взглянул на ребят — как они проглотят это. Им уже ясно было, что их обошли. Неясно было только, поняла ли это Марджи. Но они все еще надеялись найти путь к спасению. Я окончательно отрезал им этот путь.

— Приятно, конечно, слушать, как тебя хвалят,— сказал я,— но не будем их задерживать. Пусть принимаются за дело, а то опоздают в кино.

Марджи великодушно сдержала улыбку, а Мэри глянула на меня с изумлением и восторгом. О кино даже речи не было.

Где есть дети в возрасте от десяти до пятнадцати, тишины быть не может, даже когда их не слышно. Самый воздух вокруг них кипит. После ухода Эллен и Аллена весь дом словно вздохнул с облегчением. Недаром нечистая сила поселяется только там, где в семье есть подростки.

Оставшись втроем, мы стали осторожно петлять вокруг темы, которая неизбежно должна была возникнуть. Я достал из стеклянной горки три высоких бокала в форме лилии, привезенных из Англии бог знает сколько лет назад. И наполнил их из оплетенной галлоновой фляги, потускневшей от времени.

— Ямайский ром,— сказал я.— Когда-то Хоули были моряками.

— Видно, очень старый,— сказала Марджи Янг-Хант.

— Старше нас с вами и даже моего отца.

— Он как ударит в голову, только держись,— сказала Мэри.— Сегодня у нас особенный вечер. Итен угощает этим ромом лишь по случаю свадьбы или похорон. Милый, а это ничего, как ты думаешь? В самый канун пасхи?

— Причастие тоже не кока-кола, родная моя.

— Мэри, я никогда не видела вашего мужа таким веселым.

— Это все ваше гаданье,— сказала Мэри.— Он словно переродился со вчера.

Что за устрашающая штука человек, что за сложная система шкал, индикаторов, счетчиков, а мы умеем читать показания лишь немногих из них, да и то, может быть, неверно. Где-то в глубине моих внутренностей вспыхнула жгучая, слепящая боль и хлынула вверх и острым клином вонзилась под ребра. Буйный ветер заревел у меня в ушах и понес меня, как утлое суденышко, лишившееся мачт, прежде чем успели убрать паруса. Рот наполнился горечью, перед глазами все закачалось и поплыло. Сигналы тревоги, сигналы опасности, сигналы бедствия. Это схватило меня, когда я проходил за спиной моих дам, согнуло пополам в нестерпимой муке и так же мгновенно отпустило. Я выпрямился и пошел дальше, и они даже ничего не заметили. Могу понять, почему в старину верили, что человек бывает одержим дьяволом. Я сам, кажется, готов в это поверить. Одержимость! Стремительное вторжение чего-то инородного и отчаянные попытки отпора, и поражение, и жалкие старанья умилостивить захватчика и сжиться с ним. Насилие — вот верное слово, если можешь увидеть его в синеватом ореоле, точно пламя паяльной лампы.

Послышался голос моей любимой.

— Когда тебе говорят приятное, это только на пользу.

Я попробовал свой голос, он звучал ясно и твердо.

— Немного надежды, пусть даже безнадежной надежды, никому не может повредить,— сказал я и, убрав флягу в буфет, вернулся на свое место, и выпил полбокала душистого старого рома, и удобно уселся в кресле, и заложил ногу на ногу, и обхватил колено руками.

— Я не понимаю Итена,— сказала Мэри.— Всегда он презирал гаданье, смеялся над такими вещами. Я просто не понимаю.

Кончики моих нервов шуршали, как сухая зимняя трава под ветром, переплетенные пальцы были сжаты так сильно, что даже побелели.

— Попытаюсь объяснить миссис Янг... Марджи,— сказал я.— Мэри происходит из родовитой, но бедной ирландской семьи.

— Не такие уж мы были бедные.

— Разве вы не слышите по ее речи?

— Пожалуй, теперь, когда вы сказали.

— Так вот, была у Мэри бабка, добрая христианка, только по ошибке не причисленная к лику святых, верно, Мэри?

Мне почудилась тень враждебности в моей любимой. Я продолжал:

— Но это не мешало ей верить во всяких там фей и духов, хотя официальная христианская теология их не признает.

— Это совсем другое дело.

— Не спорю, маленькая. Во всем можно найти различие. Но как я могу не верить в то, чего не знаю?

— Вы с ним поосторожнее,— сказала Мэри.— Он вам подстроит какую-нибудь словесную ловушку.

— Ну зачем же. Просто я ведь ничего не знаю о гаданьях и на чем они основаны. Как же я могу в это не верить? Я верю, что гадать можно, потому что я видел, как гадают.

— Но ты не веришь, что в гаданье может быть правда.

— Миллионы людей верят и даже платят за это деньги. Уж это одно вызывает интерес.

— Но ты не...

— Погоди! Я не не верю, а не знаю. Это не одно и то же. Я не знаю, что чему предшествует, гаданье правде или правда гаданью.

— Я, кажется, понимаю, что он хочет сказать.

— В самом деле? — Мэри явно была недовольна.

— Гадалке чутье может подсказать то, что неизбежно должно случиться. Это вы хотели сказать?

— Так то гадалка. А карты откуда знают?

Я сказал:

— Карты сами не ложатся, их кто-то раскладывает.

Марджи не смотрела на меня, но я знал, что она чувствует растущее беспокойство Мэри и ждет указаний.

— А давайте проверим,— предложил я.

— Понимаете, смешно сказать, но эти силы словно бы обижаются, если их проверяют, и из проверки ничего не выходит. Но попробовать можно. А как?

— Вы совсем не пьете.— Они обе взяли свои бокалы, пригубили и поставили на стол. Я допил до дна и опять пошел за флягой.

— Итен, а не довольно тебе?

— Нет, маленькая.— Я наполнил свой бокал.— Что, если разложить карты втемную?

— А как же тогда читать по ним?

— Ну тогда разложу я или Мэри, а вы прочтете.

— Считается, что карты отвечают только тому, кто их раскладывает, а впрочем, не знаю — попробуем.

Мэри сказала:

— А по-моему, если уж вообще делать, надо делать все, как полагается.— Вполне в духе Мэри. Она не любит перемен — мелких перемен. С крупными она справляется на удивление — может раскричаться из-за порезанного пальца, но при виде перерезанного горла сохранит хладнокровие и деловитость. Меня кольнуло беспокойство: я ведь сказал Мэри, что у меня был с Марджи разговор насчет проверки, а тут выходило, будто мы только что надумали это.

— Мы ведь уже сегодня говорили, помните.

— Да, когда я приходила за кофе. У меня это целый день не шло из головы. Я и карты захватила.

Мэри склонна путать упорство со злостью и злость с проявлением силы, а силы она боится. Ее дядья — забулдыги и пьяницы — внушили ей этот страх, и стыдно сказать, она никак от него не избавится. Я почувствовал, что она испугалась.

— Не надо шутить с этим,— сказал я.— Сыграем лучше в казино*.

Марджи поняла мой маневр и воспользовалась им, должно быть не в первый раз.

— Давайте сыграем.

— Судьба моя предсказана. Меня ждет богатство. Чего же еще надо?

— Вот видите, я вам говорила, что он не верит. Это его манера — обведет, заморочит, а сам в кусты. Он меня подчас просто до бешенства доводит.

— Я — тебя? Ни разу не замечал. Ты у меня всегда такая ласковая милая женушка.

Бывает, вдруг словно почувствуешь токи, возникающие между людьми, встречные или противоположные. Не всегда, но бывает. Мэри не утруждает свой мозг упорядоченным мышлением, может быть, поэтому она более восприимчива. Атмосфера в комнате сделалась напряженной. Я подумал, что дружбе Мэри с Марджи пришел конец. Мэри теперь никогда не будет легко с нею.

— Мне, правда, хотелось бы просветиться насчет гаданья на картах, — сказал я.— Ведь я тут полный профан. Мне казалось всегда, что этим занимаются цыганки. Вы разве цыганка, Марджи? У меня не было ни одной знакомой цыганки.

Мэри сказала:

— Девичья фамилия у нее русская, она с Аляски.

Вот откуда эти широкие скулы.

Марджи сказала:

— У меня есть преступная тайна, которую я от вас скрыла, Мэри,— о том, как я попала на Аляску.

— Аляска раньше принадлежала русским,— сказал я.— Мы ее купили у России.

— Да, но известно ли вам, что это было место ссылки, как Сибирь, только для более опасных преступников?

— Для каких же?

— Самых опасных. Мою прабабку сослали туда по суду за колдовство.

— А что она делала?

— Накликала бурю.

Я засмеялся.

— Так это у вас наследственная способность.

— Накликать бурю?

— Нет, предсказывать судьбу — пожалуй, это одно и то же.

Мэри сказала:

— Вы шутите. Это неправда.

— Я, может быть, и шучу, Мэри, но это чистая правда. Колдовство считалось самым тяжким преступлением, хуже убийства. У меня сохранились прабабкины бумаги — только там, конечно, все по-русски.

— А вы знаете русский язык?

— Знала, но почти все забыла.

Я сказал:

— Может быть, и в наши дни колдовство — самое тяжкое преступление.

— Ну, не права я была? — сказала Мэри.— То он в одну сторону вильнет, то в другую. И никогда не узнаешь, что у него на уме. Вчера — да нет, это уже сегодня — встал до зари и ушел из дому. Пройтись ему захотелось.

— Я негодяй,— сказал я.— Отъявленный, закоренелый мерзавец.

---

* Карточная игра.

— Мне все-таки хочется, чтобы Марджи погадала, но только ты, пожалуйста, не вмешивайся. А то за разговором мы упустим время, пока детей нет дома.

— Одну минутку,— сказал я. Я поднялся наверх, в спальню. Меч Храмовника все еще лежал на постели, а коробка со шляпой стояла открытая на полу. Я прошел в ванную и спустил в унитазе воду. У нас, когда спускаешь воду, по всему дому слышно, как она льется. Я намочил полотенце холодной водой и приложил ко лбу и к глазам. В голове у меня давило так, что глаза, казалось, вылезали из орбит. От холодной воды стало легче. Я присел на унитаз и уткнулся лицом в мокрую ткань, а когда она согрелась, намочил еще раз. Проходя опять через спальню, я выхватил из коробки шляпу Храмовника и, надев ее на голову, спустился вниз.

— Фу, глупый,— сказала Мэри. Она улыбнулась и повеселела. Болезненная напряженность исчезла.

— Можно ли отбелить страусовое перо? — спросил я.— Оно стало совсем желтое.

— Наверно, можно. Надо спросить мистера Шульца.

— Зайду к нему в понедельник.

— Мне хочется, чтобы Марджи погадала,— сказала Мэри.— Мне очень-очень хочется.

Я водрузил шляпу на столбик лестничных перил, и он сделался очень похож на подвыпившего адмирала — если такое явление возможно.

— Достань ломберный столик, Ит. Нужно много места.

Я принес столик из чулана, раскрыл его и укрепил ножки.

— Марджи не любит сидеть в кресле.

Я пододвинул стул.

— А нам что делать?

— Сосредоточиться,— сказала Марджи.

— На чем?

— По возможности ни на чем. Карты у меня в сумке, вон там, на диване.

Я всегда представлял себе гадальные карты засаленными, пухлыми и мятыми, но эти были чистенькие и блестели, словно пластмассовые. Они были длинней и уже игральных карт, и в колоде их было гораздо больше, чем пятьдесят две. Марджи сидела за столом очень прямая и разбирала колоду — ярко раскрашенные фигуры со сложной иерархией мастей. Названия были все французские: l'empereur, l'ermite, le chariot, la justice, le mat, le diable; земля, солнце, луна, звезды, а мастей тоже четыре: мечи, чаши, дубинки и деньги — я так думаю, что denier должно означать деньги, хотя рисунок напоминал геральдическую розу,— и в каждой масти свои король, королева и валет. Потом еще какие-то странные, жутковатые карты — башня, расколотая молнией, колесо фортуны, виселица с человеком, подвешенным за ноги — le pendu, и смерть— la mort, скелет с косой.

— Довольно мрачные картинки,— сказал я.— Они и обозначают то, что на них изображено?

— Смотря по тому, как лягут. Если карта легла вверх ногами — значение будет обратное.

— А вообще значение может меняться?

— Может. Это уже вопрос толкования.

За картами Марджи сразу сделалась официально сдержанной. Под ярким светом ее руки выдавали то, что я уже однажды заметил: что она старше, чем кажется.

— Где вы научились этому? — спросил я.

— Девочкой я часто смотрела, как гадает бабушка, а потом стала брать с собой карты, когда шла в гости,— вероятно, как способ привлечь внимание.

— А вы сами верите?

— Не знаю. Иногда происходят странные вещи. Не знаю.

— Может быть, все дело в том, что карты заставляют сосредоточиться — психическая тренировка своего рода?

— Мне иногда самой так кажется. Бывает, я даю карте значение, которое ей вообще не свойственно,— и в этих случаях почти никогда не ошибаюсь.— Ее руки двигались, точно живые существа, тасуя и снимая, тасуя и снимая, и наконец пододвинули ко мне колоду, чтобы я снял.

— На кого будем гадать?

— На Итена,— вскричала Мэри.— Посмотрим, сойдется ли со вчерашним.

Марджи взглянула на меня.

— Светлые волосы,— сказала она,— голубые глаза. Вам еще нет сорока?

— Сорок.

— Король дубинок.— Она достала карту из колоды.— Вот это вы.— Король в мантии и в короне с увесистым красно-синим скипетром и внизу надпись: Roi de Bâton. Она положила карту на стол лицом кверху и снова перетасовала колоду. Потом стала быстро раскладывать остальные карты, приговаривая нараспев. Одна карта легла над моим королем.— Это вам для покрова.— Вторая поперек первой.— Эта вам для креста.— Третья сверху.— Эта вам для венца.— Четвертая снизу.— Эта вам для опоры. Эта впереди вас, эта позади.— Карты ложились одна за другой, образуя на столе большой крест. Наконец она быстро выложила четыре карты в ряд слева от креста, говоря: «Вы сами, ваш дом, ваши надежды, ваше будущее».— Последняя карта оказалась le pendu, человек, повешенный за ноги, но я, сидя по другую сторону стола, видел его в нормальном положении.

— Неплохое будущее.

— Это может означать спасение,— сказала она, кончиком указательного пальца обводя нижнюю губу.

Мэри спросила:

— А про деньги тут есть?

— Да, есть,— сказала она рассеянно. И вдруг смешала все карты, тщательно перетасовала их и снова принялась раскладывать, бормоча свои заклинания. Казалось, она не всматривается в каждую отдельную карту, но воспринимает всю картину в целом, и взгляд у нее был задумчивый и туманный.

Отличный номер, думал я, гвоздь программы для вечера в дамском клубе, да и где угодно. Так, верно, выглядела пифия — холодная, непроницаемая, загадочная. Сумей долго продержать людей в напряженном, тревожном, захватывающем дух ожидании, и они поверят чему угодно — важны не действия, важна техника, расчет времени. Эта женщина зря растрачивает талант на коммивояжеров. Но что ей нужно от нас, от меня? Вдруг она снова смешала все карты, собрала их в колоду и вложила в красный футляр, на котором значилось: «I. Muller et Cie, Fabrique de Cartes».

— Не могу,— сказала она.— Бывает иногда.

Мэри спросила, едва дыша:

— Вы что-то увидели в картах, о чем не хотите говорить?

— Да нет, я скажу, пожалуйста! Однажды совсем еще девочкой я увидела, как змея меняет кожу, гремучая змея Скалистых гор. И вот сейчас, когда я смотрела в карты, они вдруг куда-то исчезли, и вместо

них я увидела ту самую змею, частью в старой коже, пыльной и стертой, частью в новой и блестящей. Вот и понимайте как хотите.

Я сказал:

— Это похоже на транс. С вами такое уже бывало?

— Да. Три раза.

— И так же непонятно к чему?

— Мне непонятно.

— И всегда змея?

— О нет! Другие вещи, но такие же нелепые.

Мэри сказала с увлечением:

— Может быть, это означает ту самую перемену в судьбе Итена?

— Разве Итен змея?

— А! Я понимаю, что вы хотите сказать.

— У меня даже мурашки по телу пошли,— сказала Марджи.— Когда-то мне не были противны змеи, но с годами я их возненавидела. Меня в дрожь бросает от одной мысли о змее. И вообще мне пора домой.

— Итен вас проводит.

— Пусть и не думает.

— Отчего же, я с удовольствием.

Марджи улыбнулась, глядя на Мэри.

— Держите его при себе, да покрепче,— сказала она.— Не знаете вы, каково жить одной.

— Что за вздор,— сказала Мэри.— Вам достаточно пальцем шевельнуть, и у вас будет муж.

— Раньше я так и делала. Да толку мало. Кого так легко заполучить, тот немногого стоит. Держите, держите своего. А то как бы его не увели.— Она уже успела надеть пальто — не из тех, что прощаются по часу.— Чудесный был обед. Буду ждать, когда вы меня еще позовете. Не сердитесь за гаданье, Итен.

— Увидимся завтра в церкви?

— Нет. Я еду в Монток до понедельника.

— В такую сырость и холод?

— Я люблю утренний морской воздух. Спокойной ночи.— Она исчезла, прежде чем я успел распахнуть перед нею дверь, точно спасалась от погони.

Мэри сказала:

— Я даже не знала, что она собирается за город.

Не мог же я ответить: «Она и сама этого не знала».

— Итен, что ты думаешь о ее гаданье?

— Так ведь она ничего не нагадала.

— Нет, ты забыл, она сказала про деньги. Но я не об этом. Тебе не кажется, она прочла в картах что-то, чего не захотела говорить? Что-то, что ее испугало.

— Просто эта змея, должно быть, запала ей в память.

— А ты не думаешь, что тут есть — есть какой-то другой смысл?

— Коврижка медовая, это ты у нас специалист по гаданьям. Откуда мне знать.

— Во всяком случае, я рада, что ты так дружелюбен с ней. Мне казалось, ты ее не выносишь.

— Я хитрый,— сказал я.— Умею скрывать свои чувства.

— Только не от меня. Они, наверно, останутся на второй сеанс.

— Как — кто останется?

— Дети. Они всегда смотрят два сеанса. Как это ты ловко придумал с посудой.

— Я коварный,— сказал я.— И в свое время я намерен посягнуть на твою честь.

ГЛАВА VI

Мне часто приходилось откладывать решение какого-нибудь вопроса на будущее. Потом, выкроив в один прекрасный день время для раздумий, я вдруг обнаруживал, что у меня уже все продумано, выход найден и решение вынесено. Так, вероятно, бывает со всеми, просто мне не дано это знать. Будто в темных, необитаемых пещерах сознания сошлись на совет какие-то безликие судьи и приговор готов. Эта бессонная, тайная область всегда представляется мне как черные, глубокие, стоячие воды — некий садок, откуда редко что всплывает на поверхность. А может быть, это огромная библиотека, где сберегается все, что когда-либо произошло с живой материей с того первого мига, когда она начала жить.

Некоторые люди, по-моему, имеют более свободный доступ в этот тайник — например, поэты. Однажды, когда мне пришлось работать разносчиком газет, а будильника у меня не было, я выработал систему подачи сигнала и получения на него ответа. Ложась вечером в постель, я представлял себе, будто стою у края черной воды. В руке у меня белый камень, совершенно круглый белый камень. Я пишу на нем угольно-черными буквами «4 часа», потом бросаю его в воду и слежу, как он крутится, крутится, уходя вниз, и наконец исчезает. Это действовало безотказно. Я просыпался ровно в четыре часа. В дальнейшем я заставлял себя просыпаться и без десяти минут четыре и четверть пятого. И ни разу не проспал.

А иногда бывает и так, что нечто странное, нечто мерзкое высовывается над гладью этих вод, будто морская змея или какое-то чудище, возникающее из бездонных глубин.

Прошел только год, с тех пор как Деннис, брат Мэри, умер у нас в доме, умер в ужасных муках от базедовой болезни. Общая интоксикация разогнала микробы страха по всему его организму, и он потерял всякую власть над собой, метался, буйствовал. На этой по-ирландски добродушной лошадиной физиономии проступило что-то скотское. Я помогал держать его, успокаивал, старался рассеять предсмертный бред, и так продолжалось неделю, до тех пор пока у него не начался отек легких. Я не хотел, чтобы Мэри видела, как он умирает. Она никогда не видала умирающих, а я знал, что такая смерть может убить в ней светлую память о хорошем, добром человеке, который был ее братом. И вот однажды, когда я дежурил у его постели, из глубин тех черных вод выплыло чудовище. Я возненавидел Денниса. Мне хотелось убить его, перегрызть ему горло. У меня сводило челюсти и, кажется, даже губы вздрагивали, обнажая клыки, как у волка, рвущего добычу.

Когда все было кончено, я, придавленный чувством вины, со страху признался в этом старенькому доктору Пилу, который подписывал свидетельство о смерти.

— То, о чем вы говорите, по-моему, не такое уж редкое явление,— сказал он.— Мне приходилось подмечать это в людях, но мало кто в таких вещах признается.

— Но откуда это во мне? Я к нему очень хорошо относился.

— Может быть, атавистическая память? — сказал он.— Может быть, возврат к тем временам, когда больные и раненые в стае представляли собой опасность. Некоторые животные и многие рыбы рвут на части и пожирают своих обессилевших собратьев.

— Но я не животное и не рыба.

— Да, вы не то и не другое. И, вероятно, поэтому такие ощущения кажутся вам чуждыми вашей натуре. Но они сидят в вас. Сидят крепко.

Доктор Пил хороший человек — старенький, усталый. Вот уже пятьдесят лет он встречает нас на этом свете и провожает на тот.

Но вернусь назад, к совету судей во тьме — там, видно, работают, не считаясь со временем. Иной раз кажется, будто человека подменили, и мы говорим: «Нет, он на такое не способен. Это не похоже на него». Но, может быть, мы ошибаемся? Вернее всего, он предстал перед нами под другим углом, или же давление сверху или снизу изменило его форму. На войне сплошь и рядом так: трус становится героем, а храбрец горит синим пламенем. Не то читаешь в утренней газете — добрый человек, хороший семьянин зарубил топором жену и детей. По-моему, человек меняется непрестанно. Но бывают минуты, когда перемены в нем становятся явными. Копнуть бы поглубже, и, может быть, я добрался бы до корней, откуда с самого моего рождения и даже еще раньше произрастала теперешняя перемена во мне. С недавних пор мелочи стали складываться одна с другой, образуя какой-то крупный узор. То или иное событие, те или иные наблюдения подзуживали меня и толкали на путь, противоположный моему естественному пути или тому, который я считал естественным — путь продавца из бакалейной лавки, неудачника, человека без инициативы, без надежд на будущее, связанного по рукам и по ногам необходимостью накормить и одеть-обуть свое семейство, огороженного со всех сторон привычками и устоями, которые кажутся ему высокоморальными и даже добродетельными. А возможно еще и так, что во мне развилось самодовольство, ибо я считал себя тем, кого принято называть «хорошим человеком».

И, конечно, я знал, что творится вокруг. Марулло незачем было вдаваться в объяснения. Трудно жить в маленьком городке — таком, как наш Нью-Бэйтаун, и ничего не знать о его делах. Правда, я над ними не очень задумывался. Судья Доркас по знакомству любезно освобождал от штрафов за нарушение правил уличного движения. Это даже не считалось нужным держать в тайне. Но любезность требует ответной любезности. Мэр города, он же фирма «Бадд — Строительные материалы», по высоким ценам продавал городу различное оборудование, подчас совершенно ненужное. Когда должны были асфальтировать новую улицу, вдруг выяснялось, что участки по обе ее стороны скуплены мистером Бейкером, Марулло и пятью-шестью другими финансовыми воротилами еще до того, как очередной план городского благоустройства становился официально известен. Все это было как бы в порядке вещей, но мне-то казалось, что я живу, руководствуясь какими-то иными законами. Марулло и мистер Бейкер, коммивояжер и Марджи Янг-Хант каждый по-своему подзуживали меня, а их старания, слитые воедино, превращались в весьма ощутимые толчки — и вот, пожалуйста: «Надо выбрать время и обдумать это как следует».

Моя родная с архаической улыбкой на губах мурлыкала во сне, и чувствовалось, что спать ей особенно удобно и уютно, как это всегда бывает с ней после нашей любви, после того как в ней все утихнет и успокоится.

Меня должен бы сморить сон после вчерашних ночных скитаний, но не тут-то было. Я давно заметил, что когда не надо рано вставать, мне не сразу удается заснуть с вечера. Красные пятна плавали у меня перед глазами, уличный фонарь отбрасывал на потолок тени голых веток, и их сплетенье медленно и величаво раскачивалось там, потому что на улице дул весенний ветер. Окно было наполовину открыто, и белые занавески вздувались на нем, точно паруса лодки, бросившей якорь. Мэри всегда стоит за белые занавески и чтобы их почаще стирать. Ей кажется, будто с белыми занавесками прилично, солидно. Она немного сердится для виду, когда я говорю, что это в ней сказывается ее ирландская душа, обожающая всякие кружевца и оборочки.

Мне тоже было спокойно и хорошо. Но моя Мэри обычно сразу ныряет в сон, а у меня его не было ни в одном глазу.

Мне хотелось как следует насладиться своим хорошим самочувствием. Хотелось думать о конкурсе на тему «Я люблю Америку», в котором примут участие мои отпрыски. Но за этими и некоторыми другими мыслями стояло еще нечто: надо было обдумать, что такое со мной происходит и как мне с этим быть, и, разумеется, последнее вышло на первое место, и я убедился, что судьи темных глубин уже все за меня решили. Решение лежало готовенькое, непреложное. Так бывает, когда тренируешься, готовишься к состязанию, и вот наконец ты на старте и шипы твоих ботинок уперлись в колодку. Тут уж выбора не остается. Выстрел — и рывок вперед. Я понял, что шипы мои упираются в колодку и я жду только выстрела. И, вероятно, мне пришлось узнать об этом последним. Весь день мне говорили, что я хорошо выгляжу — понимай, не такой, как всегда, а более уверенный в себе. У коммивояжера физиономия днем была явно растерянная. Марулло поглядывал на меня как-то беспокойно. А Морфи вдруг почувствовал необходимость извиниться передо мной за мою же провинность. Потом — Марджи Янг-Хант с ее гремучей змеей. Может, она оказалась проницательнее всех? Так или иначе, Марджи нащупала и открыла во мне нечто такое, в чем я сам еще не был уверен. И символ этого — гремучая змея. Я почувствовал, что улыбаюсь в темноте. А потом, сбитая с толку, она воспользовалась испытаннейшим средством — угрозой неверности, и это было как привада, брошенная в реку, чтобы узнать, какая рыба там кормится. Я не запомнил чуть слышного шепота ее тела, скрытого одеждой. Передо мной маячил другой образ: узловатые руки, выдающие возраст, беспокойство и ту жестокость, которая рождается в человеке, когда он перестает быть хозяином положения.

Мне иногда хочется вникнуть в природу ночных раздумий. Они в тесном родстве со снами. Иногда я могу сам управлять ими, но бывает и так, что они проносятся по мне, точно могучие, закусившие удила кони.

Пришел Дэнни Тэйлор. Я не хотел думать о нем свои грустные думы, но он взял и пришел. Тогда я вспомнил об одной уловке, которой меня научил наш сержант, бывалый старый вояка. Уловка эта здорово помогает. Выдались однажды на фронте день, и ночь, и еще один день, и они слились воедино, в одно целое, а части целого вместили в себя весь ужас и всю мерзость того грязного дела. Пока все это длилось, я вряд ли чувствовал что-либо сквозь невыразимую усталость, да и некогда мне было заниматься своими чувствами, но потом этот день-ночь-день повадился посещать меня во время моих ночных раздумий, и под конец эти посещения превратились в нечто вроде той болезни, которую называют теперь шоковым состоянием, а раньше именовали контузией. Как только я ни ухищрялся, чтобы не думать об этом, но это возвращалось ко мне, несмотря ни на что. Днем оно затаивалось, а дождавшись ночи, бросалось на меня в темноте. Однажды, размякнув во хмелю, я заговорил об этом со своим сержантом, кадровиком, участником войн, о которых мы и думать забыли. Если бы он носил все свои орденские ленточки и планки, на гимнастерке у него не осталось бы места для пуговиц. Майк Пуласки — поляк из Чикаго (не путать с генералом). По счастью, он был навеселе, не то надулся бы и промолчал, повинуясь закоренелому предубеждению относительно братания с офицерами.

Майк выслушал меня, уставясь мне прямо в переносицу.

— Как же, знаю! — сказал он.— Бывает. Только не вздумайте гнать это из головы. Не поможет. Надо наоборот. Это ведь надолго, сразу не отвяжешься. Надо вспоминать все подряд с самого начала и доводить до конца. Как только накатит, так и начинайте — с первой и до последней минуты. Потом, глядишь, ему надоест, и оно начнет будто отваливаться по кускам, а там и вовсе уйдет.

Я попробовал, и помогло. Не знаю, известно ли такое пользование нашим лекарям, но если нет, то не мешало бы им поинтересоваться.

Когда мою ночь навестил Дэнни Тэйлор, я применил к нему метод сержанта Майка.

Помню нас мальчишками — одних лет, одного роста, одного веса — и как мы с ним ходили в фуражную лавку на Главной улице и становились на весы. Одну неделю я тянул на полфунта больше, следующую — Дэнни сравнивался со мной. Мы вместе удили рыбу, вместе охотились, купались, ухаживали за одними и теми же девочками. Родители у Дэнни были люди состоятельные, как большинство старых семейств Нью-Бэйтауна. Дом Тэйлоров — тот белый особняк на Порлоке, с высокими дорическими колоннами. Когда-то у Тэйлоров был и загородный дом, в трех милях от города.

Местность у нас холмистая — куда ни глянь, все холмы, поросшие деревьями, где низкорослой сосной и мелким дубняком, а где орешником и кедром. Когда-то давным-давно, еще до моего рождения, дубы у нас были настоящие великаны — такие великаны, что, пока их не свели окончательно, кили, шпангоуты и обшивка для судов местной постройки заготавливались в двух шагах от верфи. Среди этих уютных холмов и увалов, на большом лугу — единственном ровном месте на много миль вокруг, у Тэйлоров когда-то стоял дом. В давние времена это, вероятно, было дно озера, потому что луговина тянулась ровная, как стол, а вокруг нее шли невысокие холмы. Лет шестьдесят назад Тэйлоры сгорели и так и не отстроились. Мальчишками мы с Дэнни, бывало, ездили туда на велосипедах. Играли в каменном погребе, строили охотничий домик из кирпичей старого фундамента. Парк здесь, судя по всему, был великолепный. Среди порослей вернувшегося сюда леса еще угадывались аллеи, сохранился намек на строгие линии живых изгородей и бордюров. Там и сям виднелись остатки каменной балюстрады, а однажды мы нашли бюст Пана на сужающемся кверху пьедестале. Пан валялся лицом в траве, зарыв в землю свои рожки и бороду. Мы подняли его, обмыли и первое время отдавали ему всяческие почести, но потом жадность и интерес к девушкам взяли в нас верх. Пан был вывезен на тачке во Фладхэмтон и продан старьевщику за пять долларов. Это, наверно, была неплохая скульптура, может, даже какая-нибудь древность.

Мальчишки не могут жить без друзей, вот так дружили и мы с Дэнни. Потом он попал в Военно-морское училище. В форме я видел его только раз, а после этого мы не встречались несколько лет. Нью-Бэйтаун — город маленький, тайн у нас нет. Все знали, что Дэнни выгнали из училища, но вслух это не обсуждалось. Тэйлоры вымерли — собственно говоря, так же, как и мы, Хоули. Из нашей семьи в живых остался один я, ну и, разумеется, мой сын Аллен. Дэнни вернулся в Нью-Бэйтаун только после смерти всех своих родичей, и вернулся он запойным. Первое время я старался помочь ему, но он не нуждался в моей помощи. Он ни в ком не нуждался. И все-таки, несмотря ни на что, мы с ним были близки, очень близки.

Я перебрал все, что мог вспомнить о нас вплоть до того утра, когда он взял у меня доллар, чтобы напиться в каком-нибудь притоне.

Происходившую во мне перемену подготавливали мои собственные чувствования и давления извне — желания Мэри, требования Аллена, вспышки Эллен, советы мистера Бейкера. Только в последнюю минуту, когда все готово и смонтировано, мысль кроет крышей возведенную тобой постройку и подсказывает тебе слова для всяческих объяснений. А что, если мое скромное служение бакалее, которому не видно конца, отнюдь не добродетель, а следствие душевной лености? Успех требует отваги. Может, я просто робею, опасаюсь, как бы чего не вышло, словом, ленюсь? В успешных операциях моих сограждан нет никакой особой премудрости, никаких особых тайн, и не столь уж они успешны, именно потому, что эти люди ставят искусственные преграды на своем пути. Преступления их

мелкотравчаты, и так же мелкотравчат их успех. Если бы расследовать с пристрастием деятельность наших городских властей и весь финансовый комплекс Нью-Бэйтауна, то обнаружились бы нарушения сотен деловых и несметного множества моральных устоев, но все это были бы мелкие провинности — не серьезнее карманных краж. Отмене подвергалась только часть заповедей, остальные оставались в силе. И когда кто-нибудь из наших преуспевающих дельцов достигал поставленных перед собой целей, ему ничего не стоило вернуться к своим прежним добродетелям, все равно что сменить рубашку, и, насколько можно было судить, он не терпел никакого морального ущерба, нарушив долг, разумеется, при условии, что его не ловили за руку. Задумывался ли над этим кто-нибудь из них? Не знаю. Итак, мелкие грешки простительны, но почему же тогда не отпустить самому себе преступления, совершенного одним махом, смело, без сентиментов? Неужели медленное, постепенное выжимание соков из человека лучше, чем быстрый благодетельный взмах ножа? Я совсем не чувствовал за собой вины, когда убивал немцев. А если мне отменить, но только на время, все законы до одного, не ограничиваясь двумя-тремя? Разве их нельзя восстановить после того, как цель будет достигнута? Ведь бизнес та же война — это факт неоспоримый. Почему же тогда не объявить тотальную войну ради достижения мира? Мистер Бейкер и его дружки не застрелили моего отца, но помогали ему советом, и когда возводимая им постройка рухнула, они оказались в выигрыше. Разве это не убийство? И разве миллионные состояния, перед которыми мы благоговеем, можно было скопить, не проявляя жестокости? Вряд ли.

Если я отменю на время все законы и правила, без шрамов мне не обойтись, но чем они будут хуже тех, что остались у меня после всех моих неудач? Ведь жить — это значит покрываться шрамами.

Все мои раздумья были флюгерами на крыше здания, возведенного из тревог и сомнений. Не мы первые, не мы последние. Но если я отворю эту дверь, удастся ли мне снова захлопнуть ее? Не знаю. И не смогу узнать, пока не попробую. А мистер Бейкер знал? Да приходила ли ему в голову такая мысль? Старый Шкипер думал, что Бейкеры сожгли «Прекрасную Адэр» ради страховки. Может быть, это обстоятельство да еще злоключения моего отца и подвигли мистера Бейкера на то, чтобы помочь мне? Вот они, его шрамы?

То, что происходило со мной, можно сравнить с маневрами большого судна, которое тянут, подталкивают, вертят, и так и сяк множество маленьких буксиров. Послушное им и волнам, оно должно лечь на новый курс и развести пары. Стоя на капитанском мостике, откуда ведется командование, надо сказать самому себе: «Теперь я знаю, куда мне плыть. Так вот — как туда добраться, где там подводные камни и будет ли погода благоприятствовать плаванию?»

Один из самых опасных рифов — это болтовня. В тоске по славе — по любой славе, даже если ее принесет поражение,— столько людей предали самих себя, до того как их предали другие. Колодец Андерсена, вот кому единственному можно довериться — колодцу из сказки Андерсена.

Я окликнул Старого Шкипера: «Прикажете лечь на курс? А верен ли этот курс, сэр? Приведет ли он меня, куда нужно?»

И впервые Старый Шкипер отказался дать мне команду. «Сам все решай. Что одному на пользу, то другому во вред, а наперед не угадаешь».

Старый хрыч мог бы подсказать мне что-нибудь, но, кто знает, может, это ничего бы не изменило? Советов мы не любим — нам нужно поддакивание.

(Продолжение следует)

ЭРВЕ БАЗЕН

Перевод с французского
М. КУДИНОВА

БЛАГОЧЕСТИВАЯ ПЕСНЯ

Он черным был,
Была она белой,
Но пела любовь, наплевав на закон,
И вторили песне она и он.

Как смеет черный
Петь в паре с белой!
Кричал ошалело ценителей полк,
Знающий в музыке и в метафизике толк.

Черного к черту!
Белую к бесу!
Смерть им! В муке его вывалять!
Бей!
Мажь ее дегтем! За дело! Смелей!

Он белым стал,
Она черною стала,
Но это их трогало мало: костер,
В который швырнули их, краски стер.

Он черным был,
Была она белой,
Когда же два тела сгорели в костре,
То пепел их был одинаково сер.

Была она белой,
А он был черным,
Но оба упорно играли с огнем,
Забыв о различьях меж ночью и днем.

НЕИЗБЕЖНОЕ ВОЗМЕЗДИЕ

«Если народ не имеет хлеба,
Пусть
он ест
пирожные...»
Помните
Марии-Антуанетты слова?

А после в корзине отруби ела
Ее отрубленная голова.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛА

Плюс на минус — минус дает:
Друзья врагов наших — наши враги.
Минус на плюс — тоже минус дает:
Враги друзей наших — наши враги.
Минус на минус дает в результате плюс:
Враги врагов наших — наши друзья.
Плюс на плюс дает в результате плюс:
Друзья друзей наших — наши друзья.

СЖАЛЬТЕСЬ НАД ПОСУДОЙ

Что времена суровы, а женщины
нервны —
Это давно известно.
Что, разозлившись, посудою
можно швыряться,
Тоже давно известно.
Но это уж новость, что и там,
наверху,
Мерят по нашей мерке:
Теперь и у матери божьей в ходу
Летающие тарелки.

■

ВШИ

Под шерстью меридианов
Моих мозговых полушарий,
Шурша, копошатся вши.
По всем извилинам шарят,
Во всех уголках плодятся,
Плодятся, чтоб выжить, остаться,
Остаться, чтоб тиф эгоизма
Вечно делами вершил.

Чешется честь отчаянно,
Совесть чешется тоже,
Чешут они в четыре руки
Кожу, кожу, кожу,
Кожу твою, мою и его
В сыпи, в царапинах, в язвах даже.
Тщетно мазью своей осторожно
Кожу
Благотворительность мажет.

О век двадцатый, изобрети
Новое ДДТ,
Где Д — Доверье,
Второе Д — Долг,
Т — Теплота души...
О век двадцатый, когда наконец
Переведутся вши?

■

АНКЕТА

Читаю: просим заполнить анкету.
Фамилия . . . . . .
Адрес . . . . . .
Род ваших занятий . . . . . .

Фамилия? Фа, или Ми, или Ля —
Разные ноты. А я ведь такой же,
Как прочие люди: условия схожи.

Адрес? В мой адрес упреки летят:
Работаешь, платишь налоги и все же
Концы с концами свести не можешь.

Занятия? Чем бы ни занимался,
Товаром не был: не продавался.

■

ШВЫРНИ ЕГО В МОЙ САД

В петле орбиты,
Орбиты-пращи,
Земля стала камнем,
Что пущен в пространство;
И череп стал камнем
В потоке бурлящем,
В потоке желаний,
Стремлений,
Порывов;
И мысли — что камни,
Летящие в окна,
И мускулы — камни,
И выкрики — камни;
О жестов лавина
И звуков лавина,
Лавина бесцельная,
Если в ответ
Ты сердце зажала в руке
И не хочешь
Швырнуть его в сад мой,
Где меркнет рассвет.

■

ЛЮДВИК АШКЕНАЗИ

ПЬЕСА В ТРЕХ АКТАХ

Авторизованный перевод с чешского
Ю. ЮЗОВСКОГО и В. ПУТИЛИНОЙ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ЭМИЛЬ КАЛОУС	ХУДОЖНИК
АЛОИС РЕМУНДА	МЯСНИК
ВАЛЬТЕР ГУППЕРТ	МЕХАНИК
ЯНА	РУЖИЧКА СЕРВАЦ
МИКЕШ	СТАРШИНА МИЛИЦИИ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА	МИЛИЦИОНЕР
МАТЬ	

АКТ ПЕРВЫЙ

Маленькая гостиница по дороге из Праги в Бенешов. Со стороны шоссе к входным дверям ведут три ступеньки. Квартира заведующего на первом этаже, в правом углу за стойкой. Там готовят сосиски, там же стоит телефонный аппарат и т. д. В зале ресторанчика пять-шесть столиков. Справа — лестница на второй этаж, в номера для приезжающих.

Дом построен еще во времена буржуазной Чехословакии. Обстановка стандартная, слегка модернизированная.

Суббота, время близится к вечеру. На сцене Ремунда и Калоус. Калоус за стойкой, вытирает стаканы. Не выпуская из рук полотенце, подходит к окну, смотрит на улицу. Ремунда молча следит за ним, неодобрительно качает головой.

Ремунда. Все смотришь, да? И все ворон считаешь? *(Калоус не отвечает, даже не обернулся.)* Ну что ты там еще увидишь? Кто в Прагу торопится, а кто из Праги... Пан заведующий смотрит! И сыт, и пьян, и нос в табаке! Ну, голову почешет, ну, ухо! Зеваешь?

Калоус. Нет, не зеваю.

Ремунда. Послушай, Калоус, а не слишком ли большой пан из тебя вышел? *(Калоус не отвечает.)* Я спрашиваю, не слишком ли ты большой начальник?

Калоус. Еще бы... А то как же!

Ремунда. Ты это как — в порядке самокритики или... вообще?

Калоус. В порядке самокритики.

Ремунда подходит к стойке, с удовольствием выпивает рюмку.

Калоус. А ты как, старик, скоро на покой?

Ремунда. Ты о чем это?

Калоус. Ну, на пенсию.

Ремунда. Я? Такого не будет.

Калоус. Дождешься, пока тебя самого не попросят. Сколько лет ты на этой твоей каменоломне чертей пугаешь?

Ремунда. Тридцать два. *(Пьет.)* А тебе сколько?

Калоус. Мне тоже тридцать два.

Ремунда. Какое совпадение!.. А ведь я еще за твоей матерью ухаживал, было такое дело. И свободно мог стать твоим папашей. Уж тогда бы ты, Эмиль, совсем по-другому выглядел!

Калоус. Воображаю!

Ремунда. Нет, правда, я в твою маму был влюблен. Бывало, дрова ей рубил, тайком от всех. А она всегда говорила: «Пан Алоис, это вы сделали? Я думала — гномы». Она верила в гномов.

Калоус. До сих пор верит.

Ремунда. Где она сейчас, кстати?

Калоус. В Прагу уехала, с отчетом.

Ремунда. Вернется автобусом?

Калоус. Наверно.

Ремунда. На собственную машину так и не скопил? Плохо воруешь, пан заведующий.

Калоус. На, держи! *(Пододвигает к нему полную рюмку.)*

Ремунда. За что выпьем?

Калоус. За все...

Ремунда. За все?.. Не пойдет.

Калоус. Кое за что.

Ремунда. Кое за что можно. *(Пьют.)* Скажи-ка мне, Эмиль, как ты только можешь в этих стенах выдержать?

Калоус. А что мне еще делать?

Ремунда. Я-то откуда знаю. Что-нибудь!

Калоус. А что же все-таки?

Ремунда *(задумчиво и как-то нерешительно)*. Порой мне кажется... нет, я лучше помолчу...

Калоус. Что же тебе порой кажется?

Ремунда. Мне кажется: какой-то ты стал довольный...

Калоус. Ну, довольный. А что? Запрещается?

Ремунда. Когда мне было тридцать, я уехал в Испанию, и на третий день — мне еще даже обмундирования не выдали — поймал фашиста, итальянского полковника...

Калоус. Ну, взял в плен полковника. А дальше что?

Ремунда. Он мне свой перстень сует, золотой... как сейчас помню, с розовым бриллиантом. И уговаривает: «Отпустить колонеля, продать перстень, ехать Южная Америка, купить малый заведение с девочками, всю жизнь дурака валять». *(Помолчав.)* Не отпустил я его. Франко выиграл, а я опять на каменоломне.

Калоус. Значит, как? И мне поймать полковника?

Ремунда. Нет, тебе не понять...

Калоус. Куда мне, дураку. Прости, пожалуйста. Меня палкой по голове дубасили...

Ремунда *(махнул рукой)*. А я как раз думаю, не больно ли ты умен? Я не говорю — хитер.

Калоус. А я, наоборот, думаю, не больно ли ты хитер? Не говорю — умен...

Ремунда. Нет, ты мне, Калоус, все-таки объясни, почему это я, к примеру, как раньше долбил камни, так и сейчас долблю. И ничего вроде мне и не надо. А ты как был официантом, так и остался... Виноват, пан заведующий!

Калоус. А чего же тебе надо?

Ремунда. Чего мне только не надо! Собственной машины не надо. сберегательной книжки не надо... И вот чего еще не надо... Иного

типа встретишь: «Товарищ, говорит, сюда, товарищ, говорит, туда». А не досчитается кроны при расчете — звереет, смотреть противно! А то вот барышня одна... Зашел я к ней... анкету мою просматривает, а сама при этом и петли на чулке поднимает, и сливочное мороженое лопает и тараторит не переставая. Так вот, она ко мне бросается: «Товарищ, с ума сойти можно, при такой революционной биографии вы в каменоломне простой рабочий!» А грудь ее, ой грудь, видел бы ты, так и вздымается, вот так, вот так... Ты что ржешь? Смейся, смейся, но знай: надо мной смеешься — над самим собой смеешься, ты ведь такой же преданный чешский вол...

Снаружи затарахтел и остановился мотоцикл, входит старшина милиции; видно, с присутствующими он в дружеских отношениях.

Старшина. Добрый вечер! Стакан лимонаду... *(Подсаживается к стойке, следит, как Калоус наливает. Затем берет соломинку и с удовольствием потягивает напиток.)*

Ремунда *(старшине)*. Все ищешь, чем бы заняться... а?

Старшина не отвечает.

Ремунда. Ну, старшина, район у нас просто образцовый? Или уже самый образцовый?

Калоус. Забери его, старшина, и делу конец. Он перстень стащил. С розовым бриллиантом!

Ремунда. Тебя забрать надо, ты маму совсем не слушаешься.

Калоус. А как там твои цыгане? Говорят, в Радваницах цыганский король объявился, не то император.

Ремунда. А какой же он собой, этот король? Пуговицы-то у него хоть золотые?

Старшина. Я ему и внушаю: ну, разве не лучше, когда своя квартира есть, мебель всякая, часы там, специальность. Мы скоро бог знает куда залетим — на самый Марс, а ты все еще кочевника изображаешь.

Ремунда смеется.

Старшина. А он отвечает мне на это: «Жизнь, говорит, товарищ старшина, когда не знаешь, что завтра будет. По плану — никакая это не жизнь». Для них счастье не знать, что будет завтра. Так им больше нравится. С риском.

Ремунда. А кто знает, что будет завтра, если сам король не знает? Ты-то знаешь?

Старшина. Знаю. Завтра воскресенье, 24 апреля 1960 года. Поспать можно подольше, поесть побольше, после обеда погулять с ребятишками, а вечером кино «Мы — вундеркинды». Билеты уже вот тут... *(Хлопает себя по карману.)*

Ремунда. Так ты, Витек — тебя зовут Витек, верно? — ты, выходит, счастливый человек?

Старшина *(не совсем понял)*. Я... собственно, да... А чем это плохо?

Ремунда. Хорошо! Продолжай в том же духе. Только не очень носись на своем мотоцикле, не нарушай движения... Я ведь видел. Потом хлопот с тобой не оберешься. А что отец, навещаешь его?

Старшина. Само собой. В воскресенье, по утрам. А вот вы совсем его забыли...

Ремунда. Меня сейчас, мальчик, никуда не тянет, особенно в гости. Натащат тебе пирогов, съесть надо и еще спасибо сказать... Вот к нему только и хожу, к Калоусу.

Старшина. Насчет пивка?

Ремунда. Нет, насчет души. Чтоб душа у него не скисла. А, Калоус?

Старшина *(Калоусу)*. На, держи золотую крону за свой напиток. И не забудь, Калоус, к маю прибраться. Чтоб красиво было. Привет! *(Уходит.)*

Ремунда. Видал? Счастливый человек! Высосал кружку лимонаду, и душа полна! А ведь ты, Калоус, ты тоже счастливый. Завтра открываешь в девять, обед в двенадцать, на обед гуляш, разве нет? Пиво заготовлено, сосиски тоже, план выполняется. Пенсия приходит аккуратно, мамочка довольна, с милицией в ладах.

Калоус. Хватит, старик, надоело.

Ремунда *(замечает афишу на стене и, явно утрируя, читает по слогам)*. «Мы — вун-дер-кин-ды».

Калоус. Лучше о себе подумай. О других хлопочет, а сам только и ждет, чтобы рюмку поднесли.

Ремунда молча встает, кладет деньги на стойку, долгим взглядом смотрит на Калоуса — дескать, такого обращения с собой он не потерпит — и без слов направляется к дверям. Калоус удерживает его.

Калоус. Не сходи с ума, старик.

Ремунда. Пусти...

Калоус. Брось ты... и без тебя тошно.

Ремунда. Только тебе, да?

Калоус. Ну, ладно, не сердись!

Ремунда неуверенно возвращается.

Калоус. Сядь!

Ремунда не садится.

Калоус *(усаживает его бережно, почти нежно)*. Дедка, старый ты мой, лысый...

Ремунда. Это звучит неплохо!

Калоус. По-твоему, выходит, я самый счастливый в районе? И всю жизнь мечтал с салфеткой бегать? *(Протягивает обе ладони.)* Гляди, видишь? Трясутся. *(После паузы.)* Сказать, кем я хотел быть? Зубным техником. Сказать, почему? Когда я повидал, сколько зубов повыбивали... там, знаешь... тогда я сказал себе: «Эмиль, если ты отсюда выберешься, стань зубным техником. И дела тебе хватит до самой смерти». Не взяли меня — руки трясутся.

Ремунда. Мало ли кто чего хочет!

Калоус. А может, лучше тому, кто ничего не хочет? Может, так, старик? Верно? Вот когда в мае здесь все цветет, и летают пчелы, и влюбленные держатся за руки, даже когда пьют лимонад, тогда я говорю себе: ничего, Эмиль, дышишь, и — слава богу!

Ремунда *(вздохнув)*. Ну и дыши себе. А девушки у тебя все нет?

Калоус. Слушай, старик, сколько можно об этом? *(Слышен шум подъезжающей машины.)* Ну что бы я стал с ней здесь делать? *(Калоус прислушивается к звукам на улице.)* Кажется, машина?

Ремунда. Автобус? Вряд ли. *(Смотрит на часы.)* Для автобуса рановато.

Калоус выходит. Ремунда берет бутылку, из которой наливал Калоус, вынимает пробку, нюхает и, поколебавшись, отставляет в сторону. С улицы доносятся голоса Калоуса и Гупперта. Входит Калоус, он озабочен. Ремунда смотрит на него вопросительно.

Калоус. «Мерседес» пятьдесят девятого года.

Ремунда. Дипломатический?

Калоус. Нет, с заграничным номером.

Ремунда. Что-нибудь с машиной?

Калоус. Наверно. Он там возится с мотором, просит вызвать автомеханика.

Ремунда. Будет на пиво?

Калоус. Я не от всех беру.
Ремунда. Откуда он?
Калоус *(заслышав шаги, прикладывает палец к губам, шепотом)*. От Аденауэра.

Входит человек с клетчатой сумкой. Лет пятидесяти, с проседью, в дорогом костюме. Старается быть незаметным, здоровается несколько смущенно, хочет казаться добродушным. Прежде чем остановиться у стойки, обходит весь ресторанчик, словно знакомясь с помещением. Приглядевшись, можно обнаружить в нем смесь любопытства, снисходительности и даже сентиментальности. Говорит на литературном чешском языке, но произношение сразу выдает немца, к тому же давно не говорившего по-чешски. Устало присаживается к стойке, берет пустую винную рюмку, рассматривает ее на свет — возможно, из педантизма, а возможно, потому, что он специалист по стеклу. Ремунда отходит к своему столику с видом человека, которого ничем не удивишь.

Гупперт. Пильзеньского, пожалуйста...
Калоус. Кружечку?
Гупперт. Нет, побольше.
Калоус *(с минуту смотрит на него, потом откупоривает бутылку)*. Прошу.
Гупперт *(осматривается, пьет)*. Это ваше?
Калоус. Вы о чем?
Гупперт. Ну, это... это заведение ваше?
Калоус. К сожалению, нет.
Гупперт. К сожалению!
Калоус. К сожалению — это так говорится.
Гупперт. А как — выгодно?
Калоус. Мне?
Гупперт. Нет, этому... хм, государству?
Калоус. Это заведение коммунальное.
Гупперт. Вы хотели сказать коммунистическое?
Калоус. Я хотел сказать коммунальное.
Ремунда *(подсаживается к стойке)*. Стакан содовой, пожалуйста.
Гупперт *(заметил репродуктор, разглядывает его с явным оживлением, включает, какое-то мгновение слушает: раздаются звуки бетховенской сонаты «Аппассионата». На лице Гупперта разочарование, словно его подвели, он ожидал массовых песен. Постучал по репродуктору)*. Это — амеба, одноклеточное, а?
Калоус. Трансляционная точка.
Гупперт. Трансляционная точка... А он *(показывает на Калоуса)* знает, что такое аппассионата? La passion — страсть, знает? Это когда сердце рыдает. Он когда-нибудь слышал — Бетховен?
Калоус. Приходилось.
Гупперт. Любовь, смерть. Да! Это не, как его... «Проданная невеста».

Калоус пристально глядит на него.

Гупперт. Passion! Кстати, можно здесь переночевать?
Калоус. Можно. Двенадцать крон.
Гупперт. А этих здесь нет... как их... клопов?
Калоус. Нет.
Ремунда *(пристально смотрит Гупперту в лицо)*. Клопам у нас не нравится.
Гупперт *(рассматривая Ремунду)*. Есть свободные номера?
Калоус. Все четыре.
Гупперт. А в каком самая располагающая кровать?
Калоус. Во втором.
Гупперт. Беру. *(Обращаясь к Ремунде.)* Не пожелает ли посетитель распить со мной бутылку вина?

Ремунда. Благодарю, я пью только содовую.
Гупперт. А почему прожилки на носу?
Ремунда. По наследству.
Гупперт. А, по наследству. *(Показывает на Ремунду.)* Сколько же ему лет?
Ремунда. Ему? *(Показывает на себя.)* Пятьдесят пять! Пятьдесят пять и один день.
Гупперт. Вчера — пятьдесят пять?

Ремунда кивает.

Гупперт. И все еще действует? В порядке?
Ремунда. Как придется.
Гупперт. Выход один — выпить, раз вчера исполнилось пятьдесят пять. Конечно, за мой счет. Терпеть не могу пить один. *(Калоусу.)* Какое у вас вино?
Калоус. Белое за тринадцать. И мавруд.
Гупперт. Мавруд? Это что такое?
Калоус. Попробуйте. *(Наливает немного в рюмку.)*
Гупперт *(пробует и не допивает, отставляет рюмку, но с приветливым выражением на лице)*. Лучше я принесу свое. *(Выразительно.)* Мозель! *(Уходит.)*
Ремунда. Мозель!
Калоус. Амеба...
Ремунда. Позвони же в Бенешов.
Калоус *(идет к телефону)*. Вряд ли там кого-нибудь еще застанешь...
Ремунда. Погоди, Калоус, не спеши... Пускай он побудет здесь, пока хватит этого мозеля.
Калоус *(за сценой)*. Не ори! Ничего не слышно...
Ремунда *(идет к Калоусу)*. Ты с кем там, со Стухлом? Дай я с ним столкуюсь. *(Уходит.)*

Сцена некоторое время пуста. Входит Гупперт с чемоданом и двумя бутылками вина. За ним — Яна. Ей лет семнадцать, почти детская изящная головка, но хорошо развитая фигура. Одета по последней моде, через руку — дождевой плащ из ослепительно яркого силона. Оглядывается и откровенно зевает. Гупперт зевает тоже, но чрезвычайно благовоспитанно.

Гупперт. Долго вчера гуляла?

Яна не отвечает.

Гупперт. Что же делала?
Яна. Читала, с вашего разрешения!
Гупперт. Любовный роман, конечно... Либесроман?
Яна. Франсуазу Саган.
Гупперт. Яна все еще верит в любовь, да?
Яна. Ну и что же?
Гупперт. В дружбу между мужчиной и женщиной?
Яна. Ну ладно, ладно!
Гупперт *(шепотом)*. Яна, прошу вас подняться наверх, комната номер два. Я дождусь автомеханика и зайду за Яной. *(Снимает ключ и передает его Яне.)*
Яна. Опять дома влетит!
Гупперт. Вам влетит? Сильно?
Яна. Достаточно.
Гупперт. Вы любите, когда влетает?
Яна. Какой вы добрый...
Гупперт. Шла бы наверх, Яна. Авария есть авария. Vis major.
Яна. Что это значит?
Гупперт. Vis major?
Яна. Да.

Гупперт. Высшая сила. Судьба.

Яна. У нас дома в это не верят.

Гупперт. Напрасно! Судьба существует. Почему Яна очутилась здесь? Какими судьбами? Ага?!

Яна. При чем здесь судьба? Просто мой характер.

Гупперт. А характер — не судьба? Шла бы наверх, Яна.

Яна крадется по лестнице. Вдруг оборачивается и тихонько прыскает в ладонь. Потом машет Гупперту. Сверху он ей кажется совсем крохотным.

Яна *(напевает)*. Чао-чао, бамбино...

Гупперт ставит на стол две бутылки мозеля, потом переставляет их, с удовольствием выравнивает, словно солдат в строю. Затем идет к стойке и смотрит на свое отражение в ее блестящей поверхности. Неторопливо обходит помещение, останавливается перед афишей фильма «Мы — вундеркинды». Раскрывает «Земледельческую газету».

Гупперт *(читает вслух)*. «Почему удой коров в Хрудиме оказался выше прошлогоднего? Из-за увеличения количества кормов!» *(Поднимает палец.)* О!

Ремунда и Калоус возвращаются, Гупперт садится к столу.

Ремунда. Ну, мы дозвонились. Механик вот-вот прибудет.

Гупперт. Что значит «вот-вот»? Я хочу, чтоб он был с минуты на минуту.

Ремунда. Вот-вот и значит с минуты на минуту.

Гупперт. Да-да, вспомнил... А я никак не мог найти бутылок в темноте... Даже подумал, не выпил ли я все. Вот они.

Калоус. Ключ вы взяли?

Гупперт *(не сразу)*. Да, от второго.

Калоус. Вы сегодня же уезжаете?

Гупперт. Как только наладят машину.

Калоус. И не жалко тратиться на комнату?

Гупперт. Чего жалеть... Выпью, вздремну. Чего тут жалеть. Вчера я поздно гулял! До трех часов отплясывал. Чача! Лед у вас есть, пан кельнер?

Калоус. Льда хватит. *(Ставит рюмку, уходит.)*

Гупперт. Три рюмки, пожалуйста. *(Подходит к столу, открывает чемоданчик, по списку выбирает магнитофонную ленту, потом ставит ее, раздается попурри из джазовых мелодий. Затем разглядывает на свет рюмку. Очевидно, он действительно знаток стекла.)*

Ремунда *(осматривает магнитофон, читает название фирмы)*. Грундиг.

Калоус *(Ремунде)*. Понимаешь, старик, этот Грундиг, который делает теперь такие штуки, это ведь наш немец, судетский. Я видел, знаешь, какой приемник? Вот такой малюсенький *(показывает спичечную коробку)*, а ловит восемнадцать станций. И днем. Японский.

Ремунда *(подошел к Гупперту и обращается к нему)*. А вы, наверно, из наших мест, раз так хорошо знаете чешский?

Гупперт. Из Яблонца. Гупперты всегда жили в Яблонце. Я Гупперт. Вальтер.

Ремунда. А я Ремунда. Алоис. А вот он — Калоус Эмиль.

Калоус несет три рюмки, при слове «Гупперт» приостанавливается, ставит рюмки на стол, стараясь не глядеть на Гупперта.

Гупперт. Пусть Калоус Эмиль всем разольет... Все равно дождь.

Ремунда. В последнее время много дождей, господин Грундиг.

Гупперт. Мне было бы лестно носить такую фамилию.

Ремунда. Ах да, виноват... Но что вы скажете о такой погоде?

Гупперт. Что сказать? Погода когда какая. Сегодня одна, завтра другая.

Ремунда. Я имею в виду, пан Гупперт, что пора кончать с атомной бомбой. Кто за войну, того за решетку. Тогда и наступит отличная погода.

Гупперт *(не отвечает. После паузы)*. Пан кельнер, каждому по кусочку льда.

Калоус наливает вино, но так неловко ставит бутылку обратно, что она опрокидывается. Он пытается ее поймать, но не успевает. Бутылка падает и разбивается. Калоус наклоняется и собирает стекло. Затем поднимается, весь багровый, и извиняется больше жестами, чем словами.

Гупперт. Жаль! Доброе вино! Впрочем, почему жаль! Осколки — к счастью!

Ремунда. И в Германии?

Гупперт. Повсюду осколки к счастью.

Ремунда. Не понимаю, почему это счастье, если что-нибудь разбивают?

Гупперт. Для меня — счастье. Поговорку выдумали те, кто делает стекло, чтобы его больше покупали.

Ремунда. Так вы делаете стекло, господин Грундиг?

Гупперт. Гупперт, с вашего разрешения. Нет, только продаю.

Ремунда. Но не в Чехословакии.

Гупперт. Нет. Но иногда приходится говорить заказчикам, что немецкое стекло — это чешское стекло. Хотя какое же оно чешское, между нами говоря, господа, это немецкое стекло.

Ремунда. Интересно.

Гупперт. А знаете, Ремунда, вы мне нравитесь.

Ремунда. Да ну? А где ваша фабрика, господин Грундиг?

Гупперт. Гупперт, с вашего разрешения. Фабрики в данный момент нет. Была. В Яблонце. Моего покойного отца. Тоже Вальтер Гупперт. Старший. Вам не приходилось слышать о фирме «Гупперт и сын»? Так сын — это я.

Ремунда. Значит, за это и выпьем?

Гупперт. Вы мне очень симпатичны, Ремунда. И я вам симпатичен?

Ремунда. Нет.

Гупперт *(смешавшись)*. Такая откровенность мне нравится... очень...

Ремунда не отвечает.

Гупперт. Я вам, значит... не нравлюсь?

Ремунда молча пьет.

Гупперт. Ну, а мозель, по крайней мере, нравится?

Ремунда. Ничего.

Гупперт, Что ж, тогда выпьем за эти горы, господа! За эти дивные, зеленые горы! И за аромат смолы. И за этот свежий воздух... Почему вы на меня так смотрите, Ремунда?

Ремунда. Давно не приходилось видеть живого фабриканта, господин Грундиг. Все только бывшие. Те еще встречаются.

Гупперт. Еще встречаются? Тощие?

Калоус *(наконец решившись)*. Простите, господин Гупперт, я хотел спросить, у вас нет брата?

Гупперт. Увы, я был единственным в семье. К сожалению! Нехорошо, когда ребенок один. Правда, наследник должен быть единственным.

Ремунда. А мне всю жизнь не везло. Я никогда ничего в наследство не получал. А может, еще не поздно, и меня тоже ждет наследство? Кто ваши наследники, господин Гупперт?

Гупперт. У меня четверо детей. Лесенкой *(показывает)*.

Ремунда. Порядочно. И все мальчики?

Гупперт. Только трое. Увы. А у Ремунды сколько?

Ремунда. Я остался холостяком,

Гупперт. И с этим имеет смысл поздравить.

Ремунда. Калоус вот мог бы быть моим сыном, я за его матерью ухаживал. Он и будет моим наследником. Калоус, хочешь быть наследником? Все получишь: одеяло, трубку, картинку с видом на каменоломню...

Гупперт. Чем же Ремунда занимается?

Ремунда. Бью камень. А иногда сторожу.

Гупперт. Камень сторожите? Разве у вас воруют камень?

Ремунда. Не говорите. Особенно крупные глыбы.

Гупперт. А заработок... ничего?

Ремунда. Хватает.

Гупперт. Это Ремунда просто так говорит, для меня, иностранца, а?

Ремунда. Ага! *(Гупперт опять разливает вино.)* Вот это хорошо, господин Грундиг. Такого еще не было, чтоб фабрикант меня потчевал. Итак, за ваших наследников, господин фабрикант!.. А ты чего нос повесил, Калоус? Мозель не нравится? Это тебя мавруд испортил.

Калоус. Помолчи...

Ремунда. О чем задумался? *(Калоус отходит.)* Итак, будем здоровы, господин Грундиг!

Гупперт. Гупперт. Что это за мавруд такой? Из Албании? Хотите рому?

Ремунда. Вино я пью только по принуждению. А вот ваш мозель был хорош.

Гупперт. Хоть и хорош, а был. Потому и был, что хорош.

Ремунда. А вы совсем не расчетливы, господин Гупперт.

Гупперт. Отец был расчетлив. Я — нет. Понял, что это ни к чему. Вы думаете, у меня в машине есть еще мозель? Нет. В самом деле нет.

Ремунда. Значит, ром?

Гупперт. Вам ром, мне кофе.

Ремунда. Калоус, бутылку рому, господину Грундигу — кофейку.

Калоус возится у стойки, даже не обернулся.

Гупперт. Было бы его собственное, он бы сразу услышал. *(Калоус выходит из помещения, Гупперт стучит себе по лбу.)* Он — не «того»?

Ремунда. Есть немного. Да я ведь тоже «того»... А вы?

Гупперт *(совершенно серьезно)*. Я — «того»! Еще бы!

Ремунда. Все теперь чуть-чуть «того»... вы не находите?

Гупперт. Нормальные люди меня не интересуют. Будь я нормальным, я считал бы себя несчастным. Покойный отец был нормальный. Все вперед рассчитывал. Лет на сто пятьдесят! *(Хохочет.)* Просто другой тип сумасшедшего... А? И все-таки этот Калоус тронутый. Психиш...

Ремунда. Заносит его...

Гупперт. Война? Бомбы?

Ремунда. Концлагерь.

Гупперт. Ай-ай! О-о-о! Да, да! *(Взглянул на часы.)* И давно его Ремунда знает? А все-таки, может, он и есть его папаша? *(Показывает на Ремунду.)*

Ремунда. До чего вы проницательны, господин Грундиг!

Гупперт. Как-никак Ремунда ухаживал за его мамá. *(Незамеченным входит Калоус.)* Может, этот Калоус и раньше был такой... слабоумный? Еще ребенком?

Ремунда *(резко)*. С чего вы взяли?

Гупперт. Скажу, Ремунда. Ничего обидного тут нет. Пять лет назад я бы не сказал, а сейчас скажу. Концлагерь, если угодно знать, во-

все не вреден для нервной системы. Доказано! Скажу больше. Для сильного индивидуума лагерь был санаторием... нельзя сказать идеальным, этого нельзя сказать. Но подходящим, общедоступным. Сильный характер там закалялся. Даже иные слабые и те крепли. Что вы на меня так смотрите?

Ремунда *(как бы безразлично)*. Это что — новая теория?

Гупперт. Старая. Заново обоснованная. Экспериментально. Единодушное заключение знатоков.

Ремунда *(встает, идет за бутылкой рома, наливает в рюмки из-под мозеля. Замечает Калоуса.)* Ты?..

Калоус. Я...

Ремунда. Давно?

Калоус. Пей, пей! Не теряй времени.

Гупперт. Не хочу рома, хочу спать.

Ремунда. Уже спать?

Гупперт. Я рано ложусь. Получите.

Ремунда. Господин Грундиг, за ваших сыновей!

Гупперт. Правильно. Тогда и за дочку.

Ремунда. За дочку отдельно. Хорошенькая?

Гупперт. Красавица! Волосы светлые, глаза черные. Лизелот! Сладкая Лизелот! *(Каждый выпивает свою рюмку.)* Ремунда, наверно, думает, что я барин... А я хожу в трактир похуже этого. И девочки там — не то чтобы совсем обычные. Рубенс! Видел Рубенса? *(Показывает.)* Все как одна. А трактирщик — тот вообще лучше всех. Мой бывший рехнунгсунтерофицир. Чудовищный идиот! Правда, другого типа... Шут. Не из меланхоликов. Печальный дурак — это тоска... как женщина с высшим образованием... *(Смеется собственной остроте.)*

Ремунда. А вы были на фронте?

Гупперт. Так и не попал. Ага, я сказал — мой рехнунгсунтерофицир. Хороший слух у Ремунды!

Ремунда. Где же вы были?

Гупперт. Не все ли равно, Ремунда, где... Тут, там, еще где-нибудь... Да ведь это же когда было.

Ремунда молчит.

Гупперт. Что было — было, Ремунда. Где же автомеханик? За Лизелот мы с вами так и не выпили. *(Ремунда наливает, оба пьют.)* Нет, не могу я так сидеть и пить. Ремунда не разбирается в моторах?

Ремунда. В моторах не разбираюсь. Вот если понадобится камень на могилу, я с удовольствием. В камнях я разбираюсь.

Гупперт. Благодарствую. Склеп у меня имеется. Семейный. В Яблонце... Я сейчас оттуда, заплатил за сохранность. Твердой валютой. *(Смеется.)* Неважно. Важно — склеп останется. Семейный.

Ремунда *(запевает)*. Унтер дер Латерне...

Гупперт. Как хорошо там, Ремунда. Кругом покой, тишина. Божественно... Деревья, пчелы. И старинные немецкие надписи на могильных плитах. Как были они там испокон веку, так и пребудут вечно. У деток свое маленькое кладбище... такие хорошенькие могилки... Мило... *(Опирается на бутылку.)*

Ремунда *(поет)*. O, mein Papa, das war ein wunderbarer Klaun... *(Вышибает локтем бутылку у Гупперта.)*

Гупперт. О! Ремунда злой, когда выпьет? А я еще злей. Да что для меня эти рюмки! Я всю войну пил, Ремунда. Для храбрости. И свое уже выпил. Ну, все! Я пошел! Сервус, Ремунда, привет!

Ремунда. Скоро вернетесь?

Гупперт *(склонившись над Ремундой и вглядываясь в него пьяными глазами)*. Вы мне страшно симпатичны, Ремунда. Любите драться, а?

Неровным шагом Гупперт направляется к выходу, идет медленно, покачиваясь, но бодрится. Калоус поворачивается, и оба какое-то мгновение смотрят друг на друга. На лице у Гупперта такое выражение, словно он безмерно удивлен тем, что люди, подобные Калоусу, все еще существуют на свете. Калоус отвернулся. Гупперт подходит к дверям, продолжая напевать.

Гупперт *(поет на мотив из «Веселой вдовы»)*. Коммуналь, коммуналь, коммуналь... *(Выходит.)*

Калоус *(подходит к Ремунде, неожиданно резко)*. На брудершафт еще не пили? *(Ремунда молчит.)* Кто тебе поднесет — тому ты друг?

Ремунда. Послушай, Калоус...

Калоус. Не хочу слушать!

Ремунда. Почему ты его спросил о брате?

Калоус молчит.

Ремунда. Держись, чтобы всякий болван над тобой не потешался. *(Смотрит в сторону двери.)* Он там за дверью не подслушивает?

Калоус *(про себя)*. Комедия!

Входит худенький подросток, цыган Ружичка Сервац.

Цыган. Добрый вечер.

Калоус. Чего тебе? Сигарет? Пива?

Цыган. Кружку пива, пожалуйста.

Ремунда. Это не ты ли случайно король?

Цыган. Нет. Я Ружичка Сервац.

Пока Калоус наливает пиво, возвращается Гупперт. Не замечая мальчика, закладывает новую ленту в магнитофон. При звуках джаза у подростка загораются глаза; он медленно, как зачарованный, приближается к магнитофону. Несмело озирается и, видя, что никто не обращает на него внимания, подходит ближе, осмелев, начинает подпевать и хлопать в ладоши. Гупперт, заметив мальчика, разглядывает его с любопытством и брезгливостью. Вдруг его лицо расплывается в улыбке, и он жестом поощряет мальчика, чтобы тот не стеснялся.

Гупперт. О, тоже своего года passion. *(Медленно надвигается на мальчика, останавливается, широко расставив ноги, с удовольствием наблюдает, как мальчик весь сжимается под его взглядом. Внезапно Гупперт тычет расставленными пальцами мальчику в глаза и вскрикивает.)* У-у! *(Грубо хохочет над испугом подростка. Затем протягивает руку и говорит.)* На, погадай!

Цыган. Не гадаю.

Гупперт. Пять крон дам.

Цыган. Не гадаю.

Ремунда. Сервац, не отказывайся. Расскажи господину будущее, потом прошлое. Пять крон получишь.

Гупперт *(весело)*. Прошлое я сам знаю. *(Опять протягивает Ружичке руку.)* Что видишь?

Цыган. Руку белую, холеную... *(Калоусу.)* Получите за пиво. *(Платит.)*

Гупперт. У нас теперь цыгане моторизованные. Лошадей не крадут. Крадут машины.

Цыган *(Калоусу и Ремунде)*. Наздар! *(Насмешливо кланяется Гупперту.)*

Ремунда. Заходи, Сервац...

Скрипит закрывающаяся дверь. Калоус идет за стойку. Гупперт закладывает в магнитофон новую ленту. Слышен немецкий язык — детские голоса. Сначала стихотворение.

Es war einmal ein Mann,
der hatte einen Schwamm.

Der Schwamm war ihm zu nass,
da ging er auf die Gass.
Die Gass' war ihm zu kalt,
da ging er in den Wald.
Der Wald war ihm zu grün,
da ging er nach Berlin.*

Затем следует поздравление:

Lieber Papa!
Zu deinem fünfzigsten Geburtstag
wünschen wir dir
viel, viel Glück
und viel, viel Freude.
Sei gesund und heiter
und bleibe mit uns recht, recht lange.**

Ремунда *(снимая ленту)*. Что это?

Гупперт. Лизелот. Захотелось услышать ее голосок. Для настроения.

Ремунда. Что же она сказала?

Гупперт. Чтоб я долго жил. И был здоров. И не расставался с ними. Чему ее научили, то и сказала.

Ремунда. Калоус, ты, кажется, собирался что-то спросить у господина Гупперта?

Калоус. Я?

Ремунда. Он сказал, что знал вас.

Калоус. Нет, нет.

Ремунда. А похожих на него знал?

Калоус. Похожих — знал...

Ремунда. И все были похожи? Чем же они были похожи? Говори, не робей.

Калоус. Если тебе очень хочется знать, скажу: они были похожи тем, что каждый из них думал, будто он ни на кого не похож. Этим они и были друг на друга похожи. Все.

Ремунда. Как это понимать?

Калоус. Просто считали, что они лучшие из людей. А все прочие не люди — аушус, брак. Аушус — это было их слово. Неожиданно люди улыбались снисходительно. Давали понять: «Нам ничего не стоит втоптать тебя в землю, но почему-то не хочется, нет настроения». И заглядывали в глаза, читали мысли. А стоило им заметить, что их великодушие не оценено,— впадали в гнев. В благородный! «Ах так! Мы с тобой по-хорошему, а ты нас не любишь? Ну, погоди!» И тогда они нас топтали.

Гупперт *(после долгого молчания)*. Я пошел спать.

Калоус. Пожалуйста, ваш паспорт. Для прописки.

Гупперт. Это обязательно?

Калоус. Инструкция.

Гупперт. Инструкция есть инструкция. *(Протягивает Калоусу паспорт, поднимается.)* Неуютно в вашем обществе, господа, неуютно.

Калоус. Старик, у тебя нет порошка? Голова болит.

Гупперт. И часто... болит? Прошу вас. *(Протягивает ему таблетки.)* Идеальное средство. Минута — и вы в форме! *(Рука Гупперта пови-*

---

* Жил-был однажды человек,
И была у него губка.
Но губка была слишком мокрой,
И он пошел на улицу.
На улице ему стало очень холодно,
Тогда он пошел в лес,
А лес ему показался слишком зеленым,
Тогда он отправился в Берлин.

** Дорогой папа! К твоему пятидесятилетию желаю тебе много счастья и много-много радости Будь здоров и весел и живи с нами еще долго-долго.

сает в воздухе, и он с улыбкой глотает таблетку.) И у меня болит голова! *(Снова протягивает Калоусу таблетки, тот берет одну.)* Тоже со времен войны.

Ремунда. Может, еще посидите минутку, господин Грундиг?

Гупперт. Нет, спать хочу. *(Колеблется, бросает быстрый взгляд на Калоуса и шумно садится.)* А ведь Ремунда знает, что я его послушаюсь. Сначала было скучно, а сейчас ничего, весело. И дешево. *(Пауза. Калоусу.)* Вы там... всю войну?

Калоус. Почти.

Гупперт. За что?

Калоус. До сих пор не знаю.

Гупперт. Ну, что-то вам все-таки сказали?

Калоус. Что-то сказали.

Гупперт. Что-нибудь вы все-таки натворили. Что было на суде?

Калоус. Суда не было.

Гупперт. Как?

Калоус машет рукой и не отвечает.

Ремунда. Между прочим, господин Грундиг, ему было пятнадцать, когда вы его забрали.

Гупперт. Как это понимать — мы?

Ремунда. Эмиль, сколько ты весил, когда тебя выпустили?

Калоус. Двадцать девять кило.

Ремунда. А сколько тебе было?

Калоус. Семнадцать.

Гупперт. Хотите меня разжалобить, да?

Калоус. Не задерживай господина, старик. Господин собрался спать.

Гупперт *(примирительно)*. Не надо, Ремунда. Какой смысл!.. Я вас понимаю. Я сам психолог. Хороший психолог. Сейчас он начнет рассказывать про газовые камеры, и как из людей делали мыло, и как у Ильзы Кох был абажур из кожи одного еврея. Надеюсь, хоть о евреях говорить не будете. И о поляках тоже... И как делали селекцион, и как матери шли на смерть с детьми... Послушайте, если вам это нравится... я такое расскажу, что вы оба плакать будете. Вот такие слезы у вас посыпятся из глаз, Ремунда, как горох, а этот меланхолик *(указывает на Калоуса)* обделается. Пардон. Да вам и не снилось то, что я видел наяву. В тридцать лет я поседел, а потом эти белые волосы выпали. И я стал все понимать.

Ремунда. Не понимаю.

Гупперт. И не поймете. *(Продолжает мягким, почти нежным голосом.)* Чтоб это понять, надо быть немцем. Как бы вам это объяснить попроще? Когда я был еще ребенком, ходил к нам один еврей, горбатый и косой. Он говорил: «Живи и давай жить другим». Отца моего эта философия выводила из себя. «Он должен жить только потому, что я живу? Какая же это, к черту, справедливость? С какой стати красивый, стройный человек должен смотреть на горбуна?»

Ремунда. А ваш папа был стройным?

Гупперт. Мой папá? Нет, он не был стройным. Напротив, он был обрюзгший. Ремунда знает, что такое обрюзгший? *(Ремунда отрицательно качает головой.)* Отец специально ездил на такой курорт, где толстые платят только за то, чтоб им не давали есть. Отощав за собственный счет, отец возвращался домой и снова принимался толстеть. *(Смотрит на Калоуса.)* Отец мой не был тощим! Видный был мужчина! И умер в пятьдесят! А тот еврей до семидесяти пяти пугал людей своим горбом. Разве это порядок? Природа имеет еще тьму недостатков. И нельзя позволить ей распоряжаться по-своему. А впрочем, способен победить лишь тот, кто способен! У Ремунды есть сад?

Ремунда *(озадаченно)*. Сад? Нет.

Гупперт. А у меня есть. Я развожу овощи, жена — розы. У нас овощи дешевые. Мы в саду работаем просто так, из спортивного интереса. Мне, например, нравится помидоры разводить. Уже из-за одного названия. Знает Ремунда, как по-немецки помидор? Paradiesapfel — райское яблоко! Да... Здоровый томат созревает только на здоровом, сильном побеге. Тогда он вырастает большим и сочным. Но, чтобы сильный побег был в самом деле сильным, все слабые нужно вырвать и выбросить на помойку. Знаете, мы, немцы, допустили много ошибок и были наказаны, жестоко наказаны. Но прошло пятнадцать лет и... сильный побег — снова сильный. Трибуналы выносили свои приговоры, а жизнь — свои. Взгляните на вещи реально, господа. Кому сейчас в Европе живется лучше всех? Я вас приглашаю, на мой счет! Приезжайте, увидите!

Ремунда. Калоус, что с тобой?

Калоус. Ничего.

Ремунда. Э-э, Эмиль, да ты тоже, оказывается, слабый побег.

Гупперт. Скучно, господа.

Калоус *(слабым, изменившимся голосом)*. Брось, старик. Видишь, господину скучно.

Ремунда. Эмиль, возьми себя в руки!

Калоус *(настойчиво и отчаянно. Говорит, словно обращаясь к самому себе)*. Вздор все это. Сплошная комедия! *(Отсутствующе.)* Не угодно супчику? Биточков? Бифштексов с кровью? А может, ракетный снарядик с начиночкой? А? Гробиков на складе хватит и мраморных ангелочков тоже. Угодно? Алоис, сторожи свой камень, пригодится на большую могилу... Тьма неизвестных солдат!.. Прикажете подать счетик?..

Гупперт. У меня был однокашник. Вот он так же — разговор идет о девочках, а он ни с того ни с сего спрашивает: «Что такое экстенсивная кривая?» Я и говорю ему однажды: «Извини меня, Карл...»

Ремунда. А как сейчас идет стекло?

Гупперт *(удивленно)*. Стекло? Хорошо! Отлично! Фабрики работают полным ходом, в три смены. Мы никогда не упускаем случая. Вы — да! На это вы, чехи, мастера. На то вы чехи, чтоб упускать шансы. Плохо торгуете, господа!

Ремунда. А война будет?

Гупперт *(добродушно)*. Кого Ремунда спрашивает? Человека с улицы? *(Продолжает развивать прерванную мысль.)* Шансы. Шансы есть у каждого! Шансы, Ремунда, нужно схватить, как быка за рога. И держать! И держать! *(Сжимает руки в кулаки. Неожиданно продолжает другим тоном, вновь примирительно.)* Я, Ремунда, живу вовсю. Когда война — воюю, когда мир — торгую...

Ремунда. Вовсю.

Гупперт. Еду на машине, так уж еду. И выпью, и поем... И в ванне долго валяюсь, и зарядку делаю... А есть время для любви, тоже займусь. Но мало времени, мало.

Ремунда. А... дальше?

Гупперт. Дальше? Дальше ничего!

Ремунда *(дерзко)*. Значит, стекло идет хорошо?

Калоус, сильно возбужденный, уходит за стойку. Гупперт лениво глядит на часы, хлопает Ремунду по плечу, подходит следом за Калоусом к стойке.

Гупперт. Иду спать. Пан кельнер принесет наверх две порции пражской ветчины, два крепких кофе — один со сливками. Нет? Тогда с молоком, только чтобы было свежее! *(Протягивает деньги.)* Счет утром, а это вам пока — за услуги.

Калоус *(срывающимся голосом)*. Ах ты шут гороховый! Свинья фашистская! Мне — чаевые! Ты — мне!.. Пусть он уходит! Пусть уходит! Проваливай отсюда!

Гупперт. О! О-о-о! Чтоб в Европе, да такое... *(Пятится к выходу.)*

Калоус, выхватив из ящика револьвер, стреляет — раз, другой, третий.

Ремунда. Эмиль! Эмиль!

Гупперт, толкнув своим телом дверь, вываливается за порог — дверь за ним захлопывается.

АКТ ВТОРОЙ

Второй акт начинается с того момента, когда кончился первый. Пораженные случившимся, стоят в молчании Ремунда и Калоус. Внезапно слышатся шаги. Кто-то медленно, осторожно спускается по лестнице. Два шага — и тишина, снова два шага — опять остановка. Калоус и Ремунда замерли, прислушиваются. Ремунда забирает у Калоуса револьвер, хочет его спрятать. Появляется Яна — одетая как в первом акте, но без плаща, немного растрепана, по-видимому, лежала. Мужчины смотрят на нее, как на привидение. Увидев в руке Ремунды револьвер, Яна вытаращила глаза, в ужасе трясет головой, словно говоря: «Нет, не может быть!» Тяжело опускается на первый попавшийся стул, взволнованно дышит.

Ремунда. Откуда вы? *(Яна молчит.)* Фрейлейн понимает по-чешски? *(Яна качает головой — нет.)* Совсем не понимает? *(Яна снова отрицательно качает головой.)* А по-немецки? Абер вир дойч нихт филь. Нур айн биссель. *(Яна молчит.)* Вы — «мерседес»?

Яна. Нет. Яна.

Ремунда. Ах так! Яна... Что вы здесь делаете?

Яна. Была наверху...

Ремунда. Наверху? Где наверху?.. Калоус, посмотри, что там на улице?

Калоус. Никуда я не пойду.

Ремунда. Говорят тебе, иди! Живо!

Калоус опускается на стул, закрывает ладонями лицо, Ремунда подходит к нему, слегка трясет его за плечи.

Калоус. Ежиш Мария, Ремунда, что случилось? Что тут произошло?

Ремунда. Беги скорей!

Калоус испуганно смотрит на Ремунду, медленно подходит к стойке, вынимает из ящика большой фонарь, выходит на улицу.

Ремунда. Боитесь?

Яна. Я? *(Через силу.)* Нет.

Ремунда *(кладет револьвер в средний ящик стойки)*. Вы... с ним? *(Кивает головой в сторону улицы, где стоит «мерседес». Яна не отвечает, Ремунда несколько повышает голос.)* Так как же? С ним или не с ним?

Яна *(тихо)*. Не с ним...

Ремунда. Но приехали с ним?

Яна *(отрицательно качает головой, но при этом говорит)*. С ним. *(Испуганно.)* Вы его убили, да?

Ремунда. И он повел вас наверх? В номер? *(Яна расплакалась. Всхлипывает как-то по-детски и чуть-чуть притворно.)* Брось, это на меня не действует... Годы не те.

Яна *(решительно вытирает слезы тыльной стороной ладони, говорит почти дерзко)*. Разговариваете со мной, будто вы из полиции, а сами...

Ремунда. Ну-ну, договаривайте. Что сами?

Яна. Не скажу.

Ремунда. Не бойтесь.

Яна. Убийца!
Ремунда. А вы кто?
Яна *(детским голоском)*. Я еще, дедушка, в школу хожу.
Ремунда. В школу? Чему же тебя там учат?
Яна. Чешский у нас, русский, история, география, физика, химия... Дальше перечислять?
Ремунда. Предметов многовато. А немецкий?
Яна. По немецкому я беру частные уроки.
Ремунда. По немецкому частные? Тогда скажи, девушка, как будет по-немецки шлюха?
Яна *(с обидой)*. Красиво выражаетесь!

Слышен шум машины, идущей в гору.

Калоус *(в дверях)*. Нигде никого.
Ремунда. Как так, никого?
Калоус. Нигде никого.
Ремунда *(вздохнув)*. Наверняка в милицию побежал.
Яна. Напрасно стараетесь. Все равно вас обоих посадят. *(Калоус молчит.)* Нет у вас порошка?
Калоус. Нет. Воды, может быть? *(Подходит к стойке, Яна бросается к дверям.)*
Ремунда *(бежит за ней)*. Отсюда — ни шагу!

Через минуту Ремунда возвращается с запыхавшейся Яной. Калоус стоит с полным стаканом в руках. Яна подбегает к нему, почти вырывает у него стакан, залпом выпивает, передохнув, садится на стул у столика возле стойки — руки на столе, голова на руках. Ремунда с Калоусом попеременно смотрят то на нее, то друг на друга.

Яна. Ну, давайте!
Ремунда. Что... давайте?
Яна. Стреляйте. Сколько ждать? Надоело. *(Длительное молчание. Яна начинает потихоньку насвистывать песенку, которую перед тем заводил Гупперт. Вдруг говорит.)* А вы меня боитесь отпустить. Отпустили бы, да боитесь. Боитесь, я вас выдам. Конечно выдам! Если захочу. А может, и не выдам. Если захочу...

Ремунда молча смотрит на нее.

Яна. А я думала — больше такого уже не бывает... Тихих заезжих гостиниц, где убивают.

Ремунда продолжает смотреть на нее.

Яна. Но я... я умею молчать.
Ремунда. Вижу...
Яна. А вы бы мне этот магнитофон не дали?
Ремунда Сколько тебе лет?
Яна. Семнадцать... стукнуло.
Ремунда. Завтра тебе в школу?
Яна. Завтра воскресенье.
Ремунда. А в понедельник?
Яна. Тоже вряд ли.
Ремунда. Папа записочку в школу напишет, да?
Яна. Мне в милиции записочку напишут... *(Ремунда покачал головой.)* И еще выгородят. А вот вас — едва ли. Ох и плохи же ваши дела!
Калоус. Старик, через двадцать минут прибудет автобус, а с ним мама.
Ремунда *(смотрит на часы)*. Через семнадцать. *(Выходит.)*
Яна *(быстрым движением закидывает ногу на ногу, одна туфля сползает на пол. Яна достает сигарету, ищет спички. Калоус по привычке услужливо зажигает спичку. Яна начинает петь)*. Que sera, sera... Официант, есть у вас зеркальный карп? И французский салат?
Калоус *(с изумлением)*. Нет.

Яна. А откуда у вас такие глаза?
Калоус. Какие?
Яна. Добрые. Послушайте, отпустите меня. Я как-нибудь доберусь до Праги. И никому ни слова. А магнитофон себе оставьте. Понимаете, никто не знает...
Калоус. Чего?
Яна. ....что я с ним поехала. А теперь я попала в историю с убийством, будут меня таскать на допросы и по судам... из школы выгонят. А мне испытания на аттестат зрелости сдавать. Ну что вам за польза от этого?.. Вам ведь все равно конец. Обоим. Ничего не попишешь.
Калоус. А ты это как делаешь? За тряпки?
Яна. Что вы хотите сказать?
Калоус. То самое.
Яна. Вы думаете, что я... как вы смеете!
Калоус. Смею...
Яна. Значит, я... за тряпки, за деньги?
Калоус. А нет?
Яна. Ну, знаете, пан... заведующий. Сразу видно, разбираетесь в женщинах. Это у вас из книг? Да?
Калоус. А зачем же тогда... зачем поехала с ним?
Яна. Захотелось.
Калоус. Захотелось?
Яна. Чего вы так странно смотрите? Большой вырез? Нравится?
Калоус. Сколько, говоришь, тебе? Семнадцать?
Яна. А что, я испорченная, да?
Калоус. Дура ты!
Яна. Сэр, вы, случайно, не получали образование в Оксфорде?
Калоус. Гусыня!
Яна. Если хотите знать, я с ним из-за «мерседеса» поехала. Вы пробовали мчаться со скоростью сто тридцать километров? Ага, не пробовали!
Калоус. Не нуждаюсь.
Яна. А я — да! Мой стиль. Повороты — сто километров.
Калоус. Наслаждаешься! И все? И больше ничего не нужно?
Яна. Проповедь! Только я их уже не слушаю. Из принципа. Чего только всякий не наговорит, а сам... И ненавижу скуку!
Калоус. А я люблю.
Яна. Оно и видно.
Калоус. Что?
Яна. Скуку. Жуткую! Сидит в своей дыре, в тихой заводи... И еще толковать будет... в чем смысл жизни.

Возвращается Ремунда.

Калоус. А там вы остались бы до утра? *(Показывает наверх.)*
Яна. Нет, я должна быть в десять дома. Отец...
Калоус. А до десяти — все можно?
Яна. Все.
Ремунда. Через десять минут придет автобус.
Калоус. Пойду согрею сосиски. *(Уходит.)*
Ремунда *(пожимает плечами)*. Сосиски... *(Подсел к Яне, молча разглядывает ее.)* Только не называй меня дедушкой, какой я тебе дедушка!
Яна. А я не называла.
Ремунда. Называла.

Яна молчит.

Ремунда. Где ты познакомилась... с этим?

Яна. Вчера, в Праге после обеда, на просмотре моделей.
Ремунда. На просмотре моделей?
Яна. Ну да.
Ремунда. А что такое просмотр моделей?
Яна. Вы никогда не видели мод, даже по телевизору?
Ремунда. Нет... А у вас дома есть телевизор?
Яна. Давно, дедушка.
Ремунда. А твой отец... где работает?
Яна. Он директор школы.
Ремунда. Ага. Ты его любишь?
Яна. Нет. Он такой слабохарактерный.
Ремунда. Слабохарактерный? Не попадало от него как следует?
Яна. Ну, это-то да! Попадало, еще как... Все следит: когда приду, с кем бываю, письма мои читает и все приговаривает: «Ах, дитя мое, что из тебя выйдет!» *(Помолчав.)* А мне бы хотелось, чтобы папе можно было все рассказать. Все, все, понимаете? А у него... радикулит. Знаете, дедушка, что это такое?
Ремунда. Радикулит? Нет.
Яна. Но что такое показ мод — вам понятно?

Ремунда отрицательно качает головой.

Яна. Тогда я покажу вам, дедушка.
Ремунда. Ну, покажи. Только с чувством, как полагается.
Яна *(включает магнитофон, слышится джаз, как в первом акте)*. Это, дедушка, такой большой зал, в зале стоят столики и удобные кресла. А где-то сверху, где кафе, играет музыка — вроде этой, только похуже. И из кафе, сверху, ведет большая лестница — полукругом, как с неба. В креслах сидят дамы и распивают кофе. На кофе у них еще хватает, а на моды — нет. Все смотрят в небо. Одна сидит вот так... *(Изображает все, о чем рассказывает)*. Ей лет за пятьдесят — она во какая... бочка. А другая сидит — вот так, тощая, как жердь. Томная, вылитый Гамлет: «Быть или не быть...» Все, значит, смотрят в небо, а оттуда спускается ангел — я ее случайно знаю, несчастная девчонка. У каждого столика она останавливается — все на ней шуршит и переливается,— улыбнется, поклонится...
Ремунда. Ну, а дальше что?
Яна. Потом уходит.
Ремунда. А потом?
Яна. Потом приходит другая, за ней третья, потом снова вторая или первая, но каждый раз в другом платье... Дедушка, а вы вообще умеете танцевать?
Ремунда. Дедушка — и вдруг танцевать!
Яна. Умеете, умеете! И тот умел, тот, «мерседес». Подошел к столику и говорит: «Разрешите пригласить?» Мама глазами: «Посмей только!» А я взяла и пошла, нарочно! Когда мне запрещают, я всегда нарочно делаю... А он так самодовольно танцевал — терпеть не могу. Я ему на ноги стала наступать, а он все только: «Извините, пардон». Потом вдруг спрашивает: «Вы когда-нибудь катались на машине со скоростью сто пятьдесят?» А я: «Наивный вы человек!» А он опять: «Не слишком ли у вас строгая мама?» Ну, я и поехала с ним — сто пятьдесят выжимать.

Джаз кончился. Яна ставит новую ленту, слышны детские голоса, прежняя песенка:

Es war einmal ein Mann,
der hatte einen Schwamm...
Der Schwamm war ihm zu nass,
da ging er auf die Gass.
Die Gass' war ihm...

Яна *(остановила ленту)*. Странно, а?

Ремунда не отвечает.

Яна. Вы весь в поту. Дедушка, это что — совесть мучает?

Ремунда молчит.

Яна. Скажите, а что чувствуешь, когда убиваешь человека? Сразу же после того, как убьешь...

Ремунда. Марш отсюда! Вон! Убирайся, куда хочешь!

Яна. Вы всерьез?

Ремунда. Катись отсюда!

Яна. Куда ж я сейчас пойду?

Ремунда. Не суйся в это дело. Проваливай!

Яна *(встает, причесывается, подкрашивает губы, нерешительно направляется к выходу, потом указывает наверх.)* Я там плащ оставила...

Калоус *(входит)*. Что случилось?

Ремунда. Выпроводи ее отсюда!

Калоус. Куда?

Ремунда. Все равно. Пусть уходит! *(Яне.)* Катись и всюду рассказывай, слышишь, каждому встречному. Как ты хотела здесь переспать с немцем и как в него стреляли.

Яна. Это вы его убили! Пана заведующего не впутывайте!

Ремунда. Убирайся! Вон!

Яна *(Калоусу)*. Вы не проводите меня?

Калоус не отвечает.

Яна. Может, тогда пан официант сбегает за моим плащом?

Ремунда *(вышел из себя, орет)*. Ты еще здесь?!.

Яна опрометью несется наверх, стремглав летит обратно с плащом в руках, скрывается за дверью.

Калоус. Льет как из ведра, слышишь?

Яна *(в плаще, накинутом на плечи, просовывает голову в дверь, весело машет)*. Пока, убийцы! *(Скрывается.)*

Калоус *(сунув руки в карманы, насвистывает песенку Яны)*. Que sera, sera... Ну и погода, а?

Ремунда. Самое время говорить о погоде.

Калоус. Шел бы ты домой, старик!

Ремунда. Домой? А что мне там делать?

Калоус *(пожимает плечами)*. Утром зайдешь, повидаешь маму... и останешься с ней. *(Неожиданно.)* Ой, старик... опять через решетку на мир глазеть.

Ремунда. Она думает — я стрелял.

Калоус. Кто она?

Ремунда. Ну, эта... показ моделей. Видела у меня револьвер.

Калоус. Что тут скажешь? Бежал я сюда, подальше от всего этого, и все равно не избежал! Обидно. Даже удовольствия нет, что стрелял. Вроде бы стыжусь. Тьфу!

Ремунда. Эх, Эмиль, сначала ты возил булки в корзине, потом учился на сплошные пятерки. А потом он тебя палкой по голове колотил. Бог знает, чего он только оттуда не выколотил. Теперь ты получаешь за три кружки пива... и себя на три кроны обсчитываешь. Ты... официант.

Калоус. Старик, но ведь это же, наверно, не он!

Ремунда. Он!

Калоус. Не он, откуда ему здесь взяться? Таких совпадений не бывает.

Ремунда. Допустим, не он. Ну и что?

Калоус. У меня из головы эта Лизелот не выходит. Как она ему стишок читала! Ремунда, объясни мне, ради бога, почему я в него стрелял? Что он мне такого сказал?

Ремунда. Этого еще не хватало! Он бы в чешском трактире переспал с чешской девушкой, а ты б ему еще в номер пражскую ветчину носил?! Потом ты помог бы ему надеть пальто, закрыл дверцы «мерседеса», и он бы говорил: что ни чех, то лакей!

Калоус. А ты тоже хорош. Не мог меня за руку схватить, черт лысый?

Ремунда *(смеется)*. Ты какую-нибудь пенсию получаешь... за концлагерь?

Калоус. А что?

Ремунда. Большую?

Калоус. Ну... не очень.

Ремунда. Вот видишь, а он приехал на «мерседесе», как господь бог с того света. Будет прохлаждаться в шикарных отелях... на вилле... тянуть мозель... И чтобы ты за все за это не мог хоть разок стрельнуть? Ну, знаешь! Порядочный человек должен иногда выйти из себя... А то бы мерзавцы верх держали!

Калоус. Ой и не везет мне, не везет. Да как еще не везет!.. Ремунда, а у той... девчонки — какой удивительный голос, верно?

Ремунда. Не заметил.

Калоус. Не надо было мне возвращаться оттуда, остался бы там, и всем было бы спокойней. Нет, ты скажи, старик, выстрели я в него до мая сорок пятого, чем черт не шутит — медаль бы получил. А теперь, может, получу...

Ремунда. Уж это наверняка.

Калоус. В чем же разница?

Ремунда. Видишь ли, разница есть. Война сколько лет как кончилась?

Калоус. А в чем же все-таки разница?

Ремунда. В чем? Ну...

Калоус. Ну...

Ремунда. В том хотя бы, что сейчас мир.

Калоус. Я все говорил себе: «Спокойно, Эмиль, спокойно, это ведь жизнь, иначе нельзя». Потом разбил эту бутылку. Осколки... к счастью. Какая у него была розовая жирная кожа. А глазки так и блестели... скромненько, довольно так... И кавалер. Настоящий кавалер.

Ремунда. Сколько он тебе совал чаевых? Двадцать?

Калоус. Двадцать пять.

Ремунда. Я и то давал больше. *(Слышен тяжелый шум грузовика, приближающегося со стороны Бенешова. Оба прислушиваются.)* Вот что, Эмиль, в случае чего, так это был я...

Калоус. Не понимаю.

Ремунда. Словом, я беру все на себя.

Калоус. Глупость какая.

Ремунда. Очень тебя прошу. Ради меня!

Калоус. Только этого еще не хватало! Еще чего! Что ты обо мне думаешь? За кого ты меня принимаешь? *(Грузовик приближается, замедляет ход.)* Это Микеш.

Ремунда. Который — из Старой Го́ры?

Калоус. Да. В Бенешов за удобрениями ездил.

Ремунда. Уже вернулся? *(Машина остановилась, хлопнула дверца.)*

Микеш *(стремительно входит)*. Здорово, ребята!

Калоус. Здравствуй!

Ремунда. Как дела, Гонзик? Все еще льет?

Микеш *(показывает, как с его тяжелого демисезонного пальто стекает вода)*. Чаю, Калоус, погорячей!

Калоус. Добавить чего-нибудь?

Микеш. Что ты? Мне еще ехать.

Калоус. Ехать-то тебе осталось сколько!

Микеш *(грозит пальцем Ремунде)*. Ремунда, поди-ка сюда! На тебя жалоба. Говорят, не платишь членских взносов.

Ремунда. Тебе откуда известно?

Микеш. Слухами земля полнится. Заплатил бы, и делу конец. Нехорошо. Старый член партии. Расплатись, чтоб не было разговоров.

Ремунда. Ради этого?

Микеш. Завтра же сходи, слышишь? И не сердись, вот на, угощайся. *(Достает пачку американских сигарет «Честерфильд».)*

Ремунда *(не спеша берет)*. Американские... где достал?

Микеш. Взятку получил.

Ремунда. Ты это как — в порядке самокритики? Или в самом деле?

Микеш. Я тут одного типа в Бенешов вез, он, понимаешь, все полицию требовал. Я ему: «У нас уже нет полиции». А он мне: «Как это, говорит, нет? Что вы мне толкуете! Полиция повсюду есть. Перед занавесом, за занавесом. Всюду».

Ремунда. Это он говорил, про занавес?

Микеш. Ну да, про железный. А я ему: честное слово даю — у нас полиции нет! Он вытащил пачку сигарет и говорит: «Берите и везите меня прямо в комиссариат!» Я в дождь каждого подвезу. Но делать крюк за казенный счет — такого права не имею. Высадил его на перекрестке и показал дорогу.

Ремунда. В милицию, значит.

Калоус принес чай, хочет что-то сказать, но не решается.

Микеш. Вот спасибо. *(Пьет осторожно, потом большими глотками.)*

Ремунда. И о чем вы разговаривали?

Микеш. Я не люблю болтать, ты меня знаешь.

Ремунда. А он?

Микеш. И он не особенно.

Ремунда. А как вы объяснялись?

Микеш. По-чешски. Это был наш немец, понимаешь?

Ремунда. Ах, наш?

Микеш. Ну наш, демократический. И все-таки в другой раз я б его не взял.

Ремунда. Отчего же?

Микеш. Откровенно говоря, я его боялся.

Ремунда. Такого страху нагнал?

Микеш. Понимаешь, словно мертвеца везешь. Тут еще мрак кругом, а он будто окоченевший. Как на похоронах. Жутко...

Ремунда. А как он очутился на шоссе?

Микеш. Говорил, машина поломалась. Ну, я его особенно не расспрашивал, неудобно как-то было. Если бы он был шпион, не поехал бы в милицию.

Ремунда. А может, это он для маскировки?

Микеш. Да ты не пугай! Или... в самом деле думаешь? Я даже вспотел... Нет, это ты зря...

Ремунда. Ну знаешь, извини. Западный немец, дождь... у Бенешова... останавливает машину с партийным активистом за рулем...

Микеш. Ты это брось, слышишь? Лучше взносы заплати... Обожди-ка, Ремунда, а откуда ты знаешь, что это западный немец? Я тебе этого не говорил.

Ремунда. Детективы читаю.

Микеш. А может, он в самом деле западный. Но ведь немец немцу

рознь. Почему бы его не подбросить. Человек порядочный. Все равно Германия когда-нибудь объединится.

Калоус. Еще чаю?

Микеш. Спасибо, товарищ, не успеваю. Хороший чай... грузинский?

Калоус. Нет, китайский.

Микеш. Для чая главное — горячий... Ох, Ремунда, не могу дождаться, когда завалюсь в кровать. Знаешь, что я сейчас читаю?

Ремунда. «Поднятую целину».

Микеш. Откуда тебе известно?

Ремунда. Так ты ее целый год читаешь.

Микеш. Год не год, а полгода есть. Я это нарочно, продлить удовольствие. Вот это книга! Давыдов какой молодчина, а? А ты-то ее читал?

Ремунда. Еще до войны.

Микеш *(в дверях)*. Рассказывай. Она только после войны и вышла. До войны такие книжки у нас не издавались. Не стала бы буржуазия на свою голову печатать.

Ремунда. Из рук в руки передавали, ты, умник!.. Послушай-ка, Микеш...

Микеш. Ну, чего еще?

Ремунда. Ладно, ничего. Будь здоров.

Микеш. Пока. *(Выходит.)*

Калоус и Ремунда облегченно вздохнули.

Калоус. По крайней мере, жив.

Ремунда. Хорошенькое утешение.

В окно видно, как Микеш включил фары, затем завел мотор. Неожиданно еще раз хлопает дверца машины, Микеш вновь появляется в дверях.

Микеш. Братцы, тут же немецкая машина!

Калоус. Знаем.

Микеш. Значит, это с ним здесь случилось?

Ремунда. Нет, не здесь.

Микеш. Чего же ты у меня выпытывал?

Ремунда. Люблю тебя слушать...

Микеш. Так я тебе и поверил!

Ремунда. Не всегда, конечно...

Микеш. То-то же! Будьте здоровы! *(Уходит.)*

Ремунда. Вот видишь, немец немцу рознь, а я.... в него стреляю.

Калоус. Интересно, где он сейчас.

Ремунда. Кто?

Калоус. Гупперт. Скоро будут...

Ремунда. Еще не скоро. Пока, знаешь, протокол составят... то, се...

Калоус. Наверно, Грабал меня и заберет, а? Вот обрадуется.

Ремунда. А как же!

Калоус. Теперь хоть перестанешь грызть меня, что я доволен собой.

Ремунда. Разве я тебя когда-нибудь в чем-то упрекал?

Калоус. Подумать только, старик, как все сразу переменилось. Теперь мне и эта пивная ужасно нравится.

Ремунда. Мне всегда нравилась. Ты мне в ней не нравился. Это да.

Калоус. Всякая чушь в голову лезет... Старик, ты в Париже бывал?

Ремунда. Приходилось.

Калоус. И в Люксембургском саду?

Ремунда. Не помню уже. По садам я не очень расхаживал. А что?

Калоус. Так просто. Понимаешь, захотелось вдруг поехать куда-нибудь в спальном вагоне... С такими фиолетовыми лампочками. Я за границу только в вагонах для скота ездил...

Скрипит медленно открывающаяся дверь, появляется девичья нога.

Калоус. Гляди, нога.

Дверь раскрывается шире, слышится слабый голосок.

Яна. Не бойтесь, это только я.

Ремунда. Ну, входи!..

Яна *(входит, шмыгает носом, смахивает пальцем воду с ресниц)*. Темно там... ужас! И машин нет.

Калоус. Привет, мышонок...

Яна. Привет.

Калоус. Привет, убийцы, да?

Яна. Старо...

Калоус. Замерзла?

Яна. У вас вермута нет?

Калоус. Для тебя нет. *(Откупоривает бутылку лимонада, придвигает к ней стакан. Яна жадно пьет.)* Ничего?

Яна. Здорово.

Калоус. А ты любишь вермут? Вермут не от жажды.

Яна. Зато такой красивый, красный... Я вам не помешаю?

Калоус. Мне лично нет.

Ремунда. Мне — да.

Яна. Вам не странно, что я вернулась?

Ремунда. Со страху вернулась?

Яна. Не только.

Ремунда. Темноты боишься, а убийц не боишься.

Яна. Темноты я не боюсь. Темнота плохого не сделает.

Ремунда. Ты вообще, видать, ничего не боишься.

Яна. Только себя. Иногда.

Ремунда. Себя? Чего ж тебе бояться? Девчушка ты мелкая, тощенькая.

Яна. Такой у меня, дедушка, странный характер. Вот не хочу чего-нибудь делать, ни за что не хочу, а потом возьму и сделаю. Сделаю, и все! Характер... дурацкий.

Ремунда. А ты когда-нибудь думаешь... вообще?

Яна. Редко. Но если уж думаю, то не зря.

Ремунда. А чего это тебе вдруг пришло в голову на шоссе задумываться? В такой дождь?

Яна. Я могла бы и не возвращаться. Мне двое предлагали. У одного — «альфа ромео». Белая, как сметана.

Ремунда. Что ж ты не поехала?

Яна. Хочу до конца остаться.

Ремунда. Зачем?

Яна. Чтобы видеть все.

Ремунда. Видеть?

Яна. А вдруг я понадоблюсь?

Ремунда. Для чего?

Яна. Не знаю, посмотрим. *(Калоус наливает Яне вермут.)* С какой это стати?

Калоус. Так просто.

Яна. Дедушка, а вы не пьете?

Ремунда. Этого не пью. *(Помедлив.)* Нет, все-таки ты меня удивила.

Яна. То-то и оно, все удивляются.

Ремунда. Не мешало бы тебе быть менее красивой. Для характера полезней.

Яна. И вам было полезно?

Ремунда подходит к окну, раскрывает его, желтые зарницы освещают помещение.

Яна. Обожаю грозу! А вы, пан заведующий? *(Разочарованно.)* Нет?

К а л о у с. Ты любишь, когда страшно, верно?
Я н а. Зверски.
Р е м у н д а. Была бы здесь твоя мама, Эмиль, погасила бы свет, свечку зажгла.
Я н а. Ой, вот было бы здорово! Давайте при свечке. Пан заведующий, зажгите... Пожалуйста, ну, пожалуйста... Увидите, все будет совсем по-другому.
Р е м у н д а. *(Калоусу)*. Есть у тебя свечи?
К а л о у с *(открывает ящик, вынимает револьвер, не говоря ни слова, кладет его обратно. Затем достает две свечки, протягивает их Яне)*. Ты еще совсем маленькая, да?
Я н а *(зажигает свечи)*. Хоть увидите, как этот ресторан по-настоящему должен выглядеть. *(Молния.)* О, молния! Если бы еще за окном промчался конь без всадника...

Калоус выключает свет.

Я н а. Ежиш Мария! До чего все странно... В понедельник у меня физика... И практика после обеда в детском саду.
Р е м у н д а. Где, где?
Я н а. В детском саду.
Р е м у н д а. А-а? Почему не в яслях?
Я н а. Я буду воспитательницей в детском саду.
Р е м у н д а. Калоус, ты слышишь? Может, нальешь ей еще вермуту... по такому случаю.
К а л о у с. Оставь ее.
Р е м у н д а. Слушай...
К а л о у с. Оставь ее, Ремунда.
Р е м у н д а. Как же ты собираешься их воспитывать?
Я н а. По программе. Как положено. Вы не думайте, у меня есть к детям подход.

Издали доносится гул машины, все прислушиваются, фары за окном, машина замедляет ход, но проезжает мимо.

Р е м у н д а. Скоро автобус...
К а л о у с *(уходя)*. Пойду все приготовлю.
Р е м у н д а. Погоди, я сам.
К а л о у с. Старик, я рассказывал тебе об утках?
Р е м у н д а. О каких утках?
К а л о у с. Тот самый... молодчик мой, позвал меня как-то на пасху и объявляет, что, дескать, пойдем стрелять уток, а я буду у него вместо собаки. Пришли мы на озеро, Вальдзее называется. Он подстрелил первую и говорит: «Прыгать в воду и принести в зубах. Получишь лишнюю тарелку баланды... Только смотри, говорит, я стрелять буду, но ты не смей выпускать. Утку упустишь — сразу пулю в лоб». *(Помолчав.)* Поэтому я не люблю подавать...
Я н а. А кто вас посылал за утками?
К а л о у с. Был такой...
Я н а. Гупперт?
К а л о у с. Да нет! *(Далекий рокот тяжелого мотора, Ремунда выходит.)* Сейчас мама приедет. Они теперь под Старой Горой. Подымутся на холм — и здесь. Ты чего ревешь?
Я н а. Я не реву.
К а л о у с. Ревешь...
Я н а. Ну, реву...
К а л о у с. Меня жалко?
Я н а. Нет.
К а л о у с. Признайся. *(Яна молчит, шмыгает носом.)* Ну что ты? Что с тобой?

Яна. Мне грустно стало... вдруг.
Калоус. Из-за уток?
Яна. Из-за всего. И из-за уток. И оттого, что я плохая
Калоус. Ты плохая?
Яна. Ага.
Калоус. Может, и плохая.
Яна. Вовсе я не плохая. Несчастная я, вот.
Калоус. Очень?
Яна. Очень.
Калоус. Отчего же?
Яна. Мне так хочется, чтоб у меня кто-нибудь был.
Калоус. А разве нету? *(Яна отрицательно качает головой.)* А что это значит... чтоб кто-нибудь был?
Яна. Чтобы говорил мне «Никому тебя не отдам!» и «Опять на тебя нашло». И еще чтобы повторял: «Вовсе ты не эгоистка! Наговариваешь на себя! А вермут — он тебе вовсе не нравится, врешь все, просто хвастаешь».
Калоус. Просто хвастаешь. *(Яна кивает.)* Ах ты хвастунья разнесчастная! А счастливой ты никогда не была?
Яна. Была. Это я могу точно сказать. Ровно три раза.
Калоус. В первый раз...
Яна. В первый раз я еще маленькая была... На день рождения... Проснулась утром, а на столике возле кровати стояли такие большие желтые цветы. Не знаю, как они называются — гелианты или гелиотропы, может, еще как.
Калоус. Это неважно. А дальше?
Яна. Дальше? Ничего.
Калоус. Немного человеку нужно для счастья.
Яна. Немного.
Калоус. А во второй раз?
Яна. Когда ночью ходила купаться. Одна.
Калоус. Ну и что?
Яна. Ничего.
Калоус. Действительно, мало для счастья нужно.
Яна. Нет, много... Много...
Калоус. А в третий раз?
Яна. Не скажу.
Калоус. Скажи.
Яна. Не скажу.
Калоус. Ну, скажи.
Яна. А вы не будете смеяться?
Калоус. Не буду.
Яна. А в третий раз, когда сейчас ревела. *(Пауза.)*
Калоус. Скажи мне, только правду. У тебя было много... мужчин?
Яна. Об этом не говорят.
Калоус. А все-таки?
Яна. Уйма.
Калоус. Немало.
Яна. В самый раз.
Калоус. Эх ты, хвастунишка!
Яна. А вот вы... вы никогда не ревнуете?
Калоус. Нет.
Яна *(насмешливо, но чем-то растроганная чуть ли не до слез)*. Вы... вы прямо как апостол.
Калоус. Ага. Апостол... по столам разношу.
Яна. Тогда... тогда я вам скажу, пан заведующий. Сегодня я с этим Гуппертом... я бы... я бы, может, сегодня осталась до утра. Ну, что

вы на меня так смотрите? А когда ушла, я подумала — пан заведующий так и не узнает об этом... Какая я... А так хорошо на меня смотрел!.. Вот я и вернулась...

Калоус. За этим ты вернулась?

Яна. Да, и за этим... И еще пришла вам сказать, что сегодня вы спасли... девушку... Так что пусть вас совесть зря не мучает. За девушек надо заступаться, разве не так? Из-за этого еще при феодализме стрелялись. И при капитализме, только уже меньше.

Калоус. И для этого ты ждала вот того... с «мерседесом»?

Яна. Я вам объясню... Сидишь среди подружек, они хохочут: «Смотрите, она еще ничего не знает». Когда человеку семнадцать лет, чего только не скажешь, чтоб не смеялись.

Калоус. Чтоб не смеялись? А почему?

Ремунда *(кричит в дверь)*. Калоус, приехали!

Шум машины, в окна бьет свет фар, шум затихает.

Калоус *(Яне)*. Не реви!

Яна *(по-детски вытирает нос рукавом)*. Я не реву.

Калоус. Нет, ревешь!

Яна. Ну и реву. *(Расплакалась навзрыд.)*

Снаружи слышен смех людей, выходящих из автобуса. Входит Ремунда, поворачивает выключатель, резкий свет.

Голос матери *(с улицы)*. Не забудь посуду — под сиденьем.

Снова смех, широко открывается дверь, первым вваливается водитель автобуса.

Водитель. Приехали! Пан Калоус, кружку пива!

АКТ ТРЕТИЙ

Третий акт начинается с момента, когда кончился второй. Вслед за водителем входят художник и мясник.

Художник. Пошевеливайся, Калоус! И чтоб холодное было, как полагается. Постоянные клиенты прибыли. Ремунда, ты? Как поживаешь, старик? А ну-ка, скажи быстро: «На дворе трава, на траве дрова, на дворе трава, на траве...» Или посмотри мне в глаза, я по блеску узнаю...

Входит мать.

Ремунда. Добрый вечер, Марженка.

Мать. А, и ты здесь, как всегда.

Художник. Пойду взгляну, чтоб мольберт не украли. У вас мольберты не воруют? *(Уходит.)*

Мать *(Калоусу)*. Ох, Эмиль, намучилась я!

Калоус. Все время дождь, да?

Мать. Не говори... Мелких огурцов не достала, телятины не было, ручку твою починила... Что с тобой? Чем-то расстроен?

Калоус. Нет...

Напевая, возвращается художник.

Водитель *(смахнув рукой пену, отпивает полкружки)*. Слабовато, но ничего. Кофейку бы с ромом — вот это вещь!

Калоус. Сколько вам еще не хватает до ста тысяч?

Водитель. Да около девяноста. Тысяч. Километров... Вот уж тогда напьюсь!

Художник. Фу! «Напьюсь»... Калоус, ну что у тебя за вино? Никакой инициативы. Никакого новаторства.

Калоус. Вы же знаете — третий разряд.

Художник *(показывая на пустую бутылку из-под мозеля)*. А это что за красотка с изящной талией?

Калоус прячет бутылку под стойку.

Ремунда *(неожиданно)*. Эмиль, пива!

Калоус *(художнику)*. Простите. Я должен обслуживать.

Художник *(Ремунде)*. Ремунда, вам кто-нибудь уже говорил, что вы, собственно, красивый человек?

Ремунда. Это мне на каждом шагу говорят, мастер.

Художник. Не издевайся надо мной, чудовище!

Ремунда. Это, может, у вас в Праге издеваются. А у нас художников уважают. Картинка, что вы мне подарили, у меня над кроватью висит. Одна только рамка в сорок крон влетела.

Художник. Над кроватью?

Ремунда. И днем, и ночью.

Художник. И не надоело смотреть?

Ремунда. Днем меня не бывает, а ночью — сплю.

Мясник *(художнику)*. Почему вы ездите на автобусе, когда у вас своя машина?

Художник *(не отвечает, садится, с наслаждением вытягивает ноги, запевает)*.

Корчма моя родная,
Прокопченная,
Отняла мою ты молодость...

(Оглядывается по сторонам.) Удивительно: всегда здесь пахнет хвоей с легкой примесью хмеля... И часы «тик-так». А время как будто не движется.

Мясник *(рассматривает новый пиджак художника, пробует на ощупь)*. Вот это материальчик!

Художник. Оставь, мясник, не люблю я этого. Ты еще полезешь под стол обследовать мою обувь.

Мясник. Уже обследовал. Туфли ваши — что надо! Импортные.

Художник. Это из Бохума. Кругозор у тебя прямо-таки космический.

Водитель. Бохум... Я там пережил жуткую бомбежку — бомбовой ковер.

Художник. Нет хуже той, какую пережил я в Дрездене.

Водитель. Бохум прекрасный был город.

Художник. Он и сейчас прекрасный.

Водитель. Вам не приходилось случайно встречать там некую Розу Мюллер? Эккенштрассе, 6.

Художник. Розу Мюллер? Нет.

Водитель. В Бохуме хорошие люди. Сердечные. Жмоты, но чистоплотные. Я бы туда хоть сейчас съездил.

Художник. Роза Мюллер?

Водитель. Она из-за меня жизнью рисковала.

Мясник. Лучшие в мире мясники — это немцы, что в ручной работе, что при механизации. Это я вам верно говорю, как специалист. А там еще готовят Ochsenschwanzsuppe — суп из бычьих хвостов?

Художник. Они еще не из того суп сготовят, а такие, как ты, живо слопают. И шапки долой перед ними! Благосостояние и все такое — кто спорит! А как насмотрелся я на их благополучие — покорно благодарю. Благополучие, одно лишь благополучие! Мещанский рай, неоновое Эльдорадо. Но шапки долой! Шапки долой!

Мясник зевает.

Водитель. Шел бы ты спать...

Художник *(Яне)*. Какая грусть на девичьем лице... *(Яна не реагирует.)* Какая бесконечность взгляда!.. *(Художник пожимает плечами.)* Поколение молчальников... Слушай, Ремунда, смотрю я на те-

бя... Хочешь, напишу с тебя портрет? Бесплатно.
Ремунда. А рама?
Художник. Ну, ладно, для тебя и с рамой.
Ремунда. А что во мне такого, чтобы меня писать?
Художник. В тебе? Ты ведь тип. Характер. Каменный старикан.
Ремунда. А еще что?
Художник. Целый мир.
Ремунда. И больше ничего?
Водитель. И красный нос. С голубыми прожилками.
Художник. Приходи завтра после обеда. Знаешь, где моя дача? А высидеть хватит терпения?
Водитель. Хватит, только если не всухую. *(Художнику.)* Я вас давно хотел спросить, чего вы все время у нас камни рисуете, камни да камни?
Художник. Камни — это же прекрасно.
Водитель. Это все правда. Но я в толк не возьму, как могут некоторые из вас всю жизнь рисовать только цветы, или листья, или, скажем, лошадей.
Художник. У каждого есть в жизни что-то, на чем она, эта жизнь, держится. Иногда даже неизвестно на чем. Вот ваша жизнь держится, предположим, на пиве. Не знаю только, на светлом или на черном?
Водитель. Но-но, вы полегче...
Художник. Нет, кроме шуток, ну на чем ваша жизнь держится?
Водитель. Моя? Черт подери, на чем она держится... Как это понимать? Что для меня самое главное, так, что ли?
Художник. Хотя бы.
Водитель. Я об этом никогда не думал... Пожалуй, чтобы была справедливость. Чтобы каждый получал по заслугам.
Художник. Справедливость, справедливость... Калоус, вот ты у нас философ. Объясни-ка нам, как обстоит дело со справедливостью?
Калоус. Я не философ.
Художник. Философ! Я их сразу узнаю. *(Слышен шум машины. Калоус тяжело опускается на стул.)* Ну да, кабачок философа. Такого и на Монмартре нет.
Ремунда *(взглянув на побледневшего Калоуса)*. Эмиль, не пора ли запирать?
Калоус. Пожалуй... *(Внезапно его голова падает на грудь. С одной стороны к нему подбегает мать, с другой — Ремунда.)*
Мать. Эмиль!
Ремунда. Ну, ну...
Мать. Алоис, опять вы пили?
Ремунда. Это просто от слабости.
Художник. Дайте ему коньяку. *(Калоус приходит в себя.)*
Мать. Эмиль, тебе лучше?

Калоус молчит.

Мать. Ну, чего вы смотрите? Закрываем! *(Никто не трогается с места.)* Алоис, скажи всем, что уже закрываем.
Художник. Получите с меня, пани Калоусова.
Мать. В другой раз.
Водитель. До свидания. *(Матери.)* Может, съездить за доктором?
Ремунда. Не надо. Он немного отдохнет, и все будет в порядке.
Художник. Прощайте. Ремунда, завтра после обеда. *(Все выходят. Шум отъезжающего автобуса.)*
Мать *(подходит к Яне)*. Девушка, мы закрываем.
Ремунда. Пускай остается. Ей некуда идти.

Мать. А кто она?
Ремунда. Так, одна несчастная девчонка.
Мать *(возвращается к сыну. Опускается перед ним на колени, вытирает пот с его лица, затем, намочив полотенце, прикладывает ему к вискам)*. Скажи правду, ты ничего не ел?
Калоус. Ел, мама.
Мать. Сделать яичницу?
Калоус. Сделай, мама.
Мать. А хлеба намазать?
Калоус. Намажь, мама.
Мать. Что случилось?

Калоус молчит.

Мать. Может, приляжешь?
Калоус. Нет еще, мама.
Мать. Выпивали? *(У Ремунды виноватое лицо.)* Я тут нянчусь с ним... а ты вот как помогаешь.
Калоус *(мягко)*. Нянчишься со мной... А зачем?

Шум мотоцикла, поднимающегося в гору. Свет фары. Калоусу опять не по себе. Мотоцикл замедляет ход, останавливается поблизости. Входит механик.

Механик. А вот и я, механик! Где тут у вас иностранец?

Мать удивленно смотрит на Ремунду.

Ремунда. Куда-то вышел.
Механик. В такой дождь?
Ремунда. Это же иностранец. Пойдем покажу машину.
Механик. У меня времени в обрез. Ждать не буду.
Калоус. Я расплачусь. Оставьте квитанцию, он со мной рассчитается
Механик. Квитанцию еще! Иностранцы никогда не просят. Ладно, пошли. В дождь... да еще квитанцию.

Ремунда встает, идет первым, механик за ним.

Мать. Эмиль, чья это машина? Что здесь произошло?
Калоус. Авария...
Мать. Девушка, что здесь произошло? Вы знаете?

Яна кивает.

Мать. По-чешски понимаете?

Яна кивает.

Мать. Но не говорите?

Яна отрицательно качает головой.

Мать. А понимаете все?
Яна. В том-то и дело, что не все.
Мать. Пойду готовить яичницу. Вам тоже, девушка?
Яна *(кивает. Калоусова уходит)*. Сейчас нам яичницу принесут...
Калоус. А ты хорошая девчонка, верно? Шальная только.
Яна. Шальная — это верно, только не хорошая.
Калоус. А я тебе говорю — хорошая. Ничего ты в этом не понимаешь. Нос хочешь вытереть?
Яна. Хочу.

Калоус бросает ей платок. Яна не успевает поймать, платок падает на пол. Калоус с виноватым видом поднимает его и протягивает девушке.

Калоус. Ну, чего ты ждешь?

Яна, вероятно, ждала большего к себе внимания, берет платок, громко сморкается.

Калоус. Значит, тебя будут называть «пани учительница»? И ты будешь ходить на эти... педсоветы?

Яна. Когда я была маленькая, мне так всегда хотелось, чтобы ко мне кто-нибудь ужасно хорошо относился. Только я всегда стыдилась.

Калоус. Платок уронила.

Яна. Заберусь, бывало, к маме в кровать, а она мне говорит разные слова, будто я ее мама, а она — моя дочка. Она мне говорит: ты моя шкатулочка размалеванная, ты моя лампочка над кроваткой, ты мой будильник звонкий, ты моя картинка с лодочкой, занавесочка зеленая, ты мое маленькое радио...

Калоус. Маленькое радио? *(Яна молчит.)* Моя мама так не говорила.

Яна. А вам понравилось?

Калоус. Что?

Яна. Понравилось вам, что я говорила?..

Калоус. Ты лучше скажи, что будешь дома говорить?

Яна. Ничего. Попадет, и все.

Калоус. А потом?

Яна. Потом постелю и лягу. *(По-детски нежно улыбается и смотрит на Калоуса. Калоус взволнован.)* Хотите, я вам буду говорить такие слова?

Калоус. Какие?

Яна. Те, мамины...

Калоус. Мамина ты, мамина! А вдруг из тебя еще выйдет что-нибудь путное, а? Нет, ты непременно иди в детский сад и будь воспитательницей. Учи их петь и танцевать. «Колесо, колесо с мельницы» и еще стишок, как бежит лисичка к Табору и как зайчик в своей норке застрял. А они будут бегать за тобой и говорить: «А вы лисичку умеете рисовать или собачку?» Будь я на твоем месте, я бы знал, как жить...

Яна. Не знали бы!

Калоус. Эх ты, сорока! Если бы я знал, как мне это тебе объяснить. Вы, молодые, больших слов не любите. Мы, когда их слышали... ревели, как коровы. А вы смеетесь...

Яна. Ошибаетесь, товарищ, я зеваю...

Калоус. Знаешь, я охотно пошел бы работать в твой детский сад, с удовольствием пошел бы. Меня бы, конечно, не взяли — какой из меня воспитатель,— а я бы пошел. И за каждого ребенка дал бы письменное ручательство. «Я, Калоус Эмиль, бывший номер 30012, обязуюсь вернуть вам ребенка, который будет знать, чего он хочет. Уважайте его и не испортите».

Яна. Вы умеете врать?

Калоус. Это каждый официант умеет... Нет, не умею. Ну, чего уставилась? Не умею. Непутевый я, верно?

Яна. Хотела бы я не уметь.

Калоус. Врать можно, но не для себя.

Яна. Для себя... Человек все делает для себя... Врет для себя и не врет тоже для себя... обманывает других для себя... а потом раздает себя всего — и тоже для себя.

Ремунда *(возвращается)*. Ну, все в порядке. Теперь только найти водителя — и может ехать.

Шум приближающейся машины. Все прислушиваются.

Калоус. Ты уж тут, старик, присматривай за мамой.

Ремунда. Скорей она за мной присмотрит.

Калоус. А Яну отвезешь к отцу и скажешь: «Товарищ директор, я имел честь познакомиться с вашей дочерью. Всего вам наилучшего!»

Ремунда. Так вежливо я не умею.

Механик *(входит)*. Значит, с вас... 92 кроны 60 геллеров.

Ремунда. И не стыдно тебе? За такой пустяк? Машина ведь была в порядке.

Механик. Так вы же квитанцию хотите.

Ремунда. А если без квитанции?

Механик. Дайте двадцатку.

Калоус достает бумажник, расплачивается.

Механик. Спасибо. Откуда он?

Ремунда. Из Западной Германии.

Механик. Тогда скажите ему — сто двадцать. *(Увидел Яну, поражен, оглядывает с видом знатока.)* Чарльстон танцуете? Ну, всего! *(Уходит.)*

Входит мать, ставит на стол яичницу для Калоуса и Яны. Калоус садится, Яна стоит.

Мать. Садитесь, девушка!

Яна послушно садится, ест вместе с Калоусом, они тихо беседуют, не обращая внимания на остальных. Ремунда поглядывает на них, качает головой, насвистывает.

Мать. Что это ты свистишь?

Ремунда. Да так... модная песенка.

Мать *(рассеянно)*. Песенка?.. А девушки нынче становятся все красивее. Еда обильная, жизнь хорошая, забот никаких.

Ремунда *(очень громко)*. Приятного аппетита!

Яна *(тоненьким голоском)*. Спасибо, дедушка!

Нарастающий грохот машины. Калоус отодвигает тарелку.

Ремунда. Эмиль, доешь!

Калоус послушно придвигает к себе тарелку. Машина останавливается, хлопают дверцы, слышны голоса.

Мать. Эмиль, я закрою. Закрыто, и все.

Калоус. Сиди, мама. *(Калоус и Ремунда смотрят друг на друга.)*

Мать. Алоис, ты запер на ключ?

Калоус. Сиди, мама. *(Начинает рассматривать свои руки.)*

Мать. Остриги ногти.

Калоус. Покойный Тонда, когда бомбили, всегда говорил: «Налет, а я не бритый».

Входят старшина милиции и милиционер. За ними Гупперт, он слегка забрызган грязью.

Старшина. Так кто из них, господин Гупперт?

Гупперт молчит.

Ремунда *(встает)*. Я.

Гупперт. Пусть Ремунда не строит из себя героя. Не имеет смысла. Мне нужен мой паспорт и моя машина. Прочее меня не занимает. Я видел кое-что и похуже.

Ремунда. Машина в исправности.

Старшина. Где его паспорт?

Калоус направляется к стойке, Гупперт отскакивает и прячется за милиционера.

Гупперт. Осторожно, у него там револьвер!

Старшина. Стойте, Калоус! Я сам... Где револьвер?

Калоус. В среднем ящике.

Старшина *(подходит, берет револьвер, нюхает дуло, озабоченно качает головой. Достает из кармана носовой платок, кладет на него оружие)*. Так кто стрелял?

Ремунда. Я уже сказал. Я!

Гупперт. Но, позвольте...

Ремунда. Было темно, господин Гупперт был взволнован. Я в вас стрелял, господин Гупперт. Все это подтвердят.

Мать. Что случилось? Эмиль, что тут случилось?

Калоус. Погоди, мама...

Мать. Я хочу знать.

Ремунда. Не вмешивайся.

Мать. Ты его хотел убить? *(Гупперту.)* Он вас хотел убить, господин?..

Гупперт растерянно, но вежливо улыбается.

Старшина. Попрошу вас, пани Калоусова, выйдите на минутку. И вы, девушка, тоже.

Мать подозвала Яну. Они вместе уходят за стойку и там стоят в углу, прижавшись друг к другу.

Старшина *(Ремунде)*. Вы были при этом?

Ремунда. Как же я иначе мог стрелять?

Старшина. Так, Калоус, а теперь выкладывайте начистоту. Кто стрелял?

Калоус. Я.

Старшина. Ремунда? *(Ремунда молчит.)* Где его паспорт?

Калоус. В левом ящике.

Старшина *(находит паспорт, просматривает его, передает милиционеру)*. Выпишите оттуда, что полагается... Ну, господин Гупперт, расскажите при всех, как это произошло?

Гупперт. Случилась авария, и я здесь задержался, просил вызвать автомеханика. Бюро обслуживания ответило, что пришлет, как только он вернется. Я не сердился. Я понимал, что не везде такой сервис, как у нас в Германии. Я принес из машины две бутылки мозеля для всех, и для них тоже — для господина Ремунды и для кельнера. Кельнер одну бутылку уронил. Я не сердился. Я понимал, что не все могут быть аккуратными. Я даже пошутил: «Осколки — к счастью». Затем я сказал кельнеру, чтобы он принес мне в номер пражской ветчины и кофе, взбитых сливок не оказалось, а только молоко, но я понимал, что не везде найдешь, что требуется, и не рассердился, и даже дал пану кельнеру тринкгельд, чаевые. А он вдруг закричал мне «фашистская свинья» и стал стрелять. Я удалился из помещения и направился в полицейкомиссариат. Вот и все.

Старшина. Калоус, так было дело? *(Повернувшись, дает знак милиционеру, чтобы тот записывал.)*

Калоус. Что-то в этом роде.

Старшина. Так или не так?

Калоус. Нет, не так.

Старшина. А как?

Калоус. Совсем не так.

Старшина. Не понимаю, язык у вас есть? Расскажите все по порядку!

Калоус *(устало, рассеянно, с трудом подбирая слова)*. Ну хорошо... Господин Гупперт приехал и потребовал вина... Я ему предложил мавруд. И дал попробовать. А он чуть не выплюнул и пошел за своим мозелем. Ну, у нас мозель тоже есть, только не в третьеразрядной гостинице. Меня это немного задело. А потом смотрю: очень господин Гупперт похож на одного... того, кто меня... Не люблю об этом вспоминать. Словом... тот... там... бил меня по голове и приговаривал: «До смерти останешься калекой, зато будешь человеком». Вообще-то господин Гупперт не очень на него похож...

Старшина. Так похож или не похож?

Калоус. Не похож. Но в чем-то все-таки похож.

Старшина. Ближе к делу, Калоус. Столько лет мы уже знакомы, а вы мне тут начинаете ерунду городить. Дальше!

Калоус. Дальше они с Ремундой о чем-то разговаривали... Я всего уже не помню. У меня голова разболелась, и господин Гупперт мне дал таблетку... ихнюю.

Старшина. Ну, а дальше?

Калоус. А потом он говорил, что концлагерь не вреден для нервной системы. Как это он говорил, старик, насчет санатория?

Ремунда. Что лагерь — это вроде санатория и что люди там закаляются... Я верно передаю, господин Грундиг?

Гупперт. Вы меня ловите на слове!

Старшина. Ну хорошо, но почему вы стреляли?

Калоус. Я... Он меня страшно разозлил, когда на чай дал.

Старшина. Насколько я знаю официантов, их больше злит, когда не дают.

Калоус. Верно... Я не потому, что он дал... а как он дал! После всего того...

Старшина. После чего?

Калоус. После всего... того...

Старшина. Калоус, вы что, нарочно? Какого черта! Сделал вам что-нибудь господин Гупперт?

Калоус, опустив голову, молчит.

Ремунда. Товарищ старшина, вы какого года рождения?

Старшина. Простите, Ремунда, но это вас не касается.

Ремунда. А когда кончилась война, сколько вам было?

Старшина. Двенадцать. А что?

Ремунда. Есть вещи, которые трудно объяснить. Всего десять лет разницы... и человек уже не понимает.

Старшина. Ремунда, я с Калоусом распил не одну кружку пива и хочу, чтобы все было как должно быть.

Ремунда. А как должно быть?

Старшина. Почему он стрелял?

Ремунда. Несчастный случай.

Старшина *(с облегчением)*. Почему вы, Калоус, вытащили оружие?

Калоус. Я уже сказал.

Ремунда. Хотел показать господину Гупперту.

Гупперт. Неправда!

Старшина. Кто же все-таки врет?

Гупперт. Я всегда умел держать себя в руках! Не распускаться. И тут сдерживался. Держался до самой последней минуты. Но сегодня сказал себе: а зачем тебе, собственно, держать себя в руках? Распустись. Обязательно ли быть вежливым? Что это тебе дает? Пану Калоусу не нравится, как я провожу время, или уж не знаю, что... как я пью, или, может быть, не нравится, что я... ну как это... непролетарского происхождения, или что я думаю так, как мне нравится. Вот это ему не нравится? Я с паном Калоусом вообще не должен был разговаривать. «Принесите, пан кельнер, унесите, пан кельнер»,— и весь разговор. И пан Калоус не стрелял бы. Пан Калоус сказал бы: ваш слуга покорный!

Калоус. Что ж, я готов! Ваш слуга покорный! Почему не быть слугой покорным! Я еще успею, товарищ старшина, пока вы меня не увели?! Я ведь ловкий! Я ведь — в два счета! Мамочка, нарежь-ка господину Гупперту пражской ветчины, не очень жирной, смотри! Да не забудь приготовить постельку господину Гупперту. Ночной горшок под кровать господину Гупперту! А как насчет грелки к ногам, господин Гупперт?

Гупперт. Вот что я скажу: выстрелил он — пусть! Что было, то было. *(Впервые за все время вышел из себя, бешено орет.)* Но держать язык за зубами его так и не научили! Я хотел быть коррект. Я все понимал. Я хотел помочь, но сейчас не буду больше коррект, не желаю!

Все молчат.

Старшина *(милиционеру)*. Пишите: мотивы покушения не установлены. Допрашиваемый признает, что выстрелил в состоянии невменяемости, запятая, с намерением... нет, просто в состоянии невменяемости... Так, Калоус? *(Калоус молчит)* ...в господина Вальтера Гупперта, гражданина Федеративной Республики Германии, пребывающего ныне по торговым делам в Чехословакии. Калоус, распишитесь. Нет, не карандашом. Вот ручка.

Калоус расписывается.

Старшина *(Гупперту)*. Желаете что-нибудь добавить?

Гупперт *(глядя на Яну)*. Нельзя ли отпустить господина Калоуса?

Яна с отвращением смотрит на Гупперта и отворачивается.

Старшина. Господин Гупперт, этого не решаем ни я, ни вы. Это дело прокурора. Калоус, очень сожалею, но вам придется пойти со мной.

Гупперт. Мне, быть может, еще больше жаль. Я понимаю, что здесь произошло.

Ремунда. Что ты можешь понимать, шут гороховый?..

Гупперт. Я привык думать... свободно. И могу говорить, что думаю. Вы, Ремунда, вы этого не можете.

Ремунда. Что мы можем, вы еще не знаете.

Гупперт. Ну, поговорили, и хватит. Хватит. Мой магнитофон. Чуть не забыл. Вам больше не понадобится мой паспорт?

Старшина. Нет.

Милиционер протягивает Гупперту паспорт.

Гупперт. Я свободен?..

Старшина. Да.

Гупперт. Благодарю за... корректное обращение. *(Старшина хмуро смотрит на него.)* Дамы... Господа... много счастья... и до свидания! *(Направляется к выходу).*

Калоус *(внезапно вытягивается с карикатурным почтением. С негодованием, на какое только способен, он сдавленным голосом рапортует)*. Заключенный номер 30012 докладывает: все в порядке. В помещении чисто и прибрано. *(Затем тот же текст по-немецки.)* Хефтлинк нумер драйсик таузент цвёльф мельдет зих гехорзам. Алес ин орднунк. Штубе райн унд заубр!

Гупперт *(захваченный врасплох, резко оборачивается. Опомнившись, качает головой и говорит)*. Но, но, пан кельнер... Такие шутки...

Гупперт стоит в дверях, на лице медленно появляется подобие улыбки. Выходит. Все молчат. В полной тишине слышно, как отъезжает «мерседес». Понадобилось время, чтобы люди пришли в себя.

Милиционер. Калоус, передайте матери кассу!

Калоус *(отдает матери бумажник и ключи)*. Вот скотина! Уехал и не заплатил — ни за вино, ни за ремонт машины...

Старшина. Занесите в протокол.

Калоус. Ничего, пусть... Чаевые от официанта.

Старшина *(смущенно)*. Пойдем, Калоус!

Ремунда. Да, не завидую я тебе, Грабал... Недавно тут сидел, лимонад через соломинку тянул. И все знал... что было, что будет.

Старшина. А что бы вы сделали? На моем месте?

Ремунда. Я? Что бы я сделал? Сказал бы что-нибудь хорошее..,

Калоус. А ты чего, мама, смотришь и ничего не говоришь?

Мать. Не могу я ничего сказать... Погоди... Что здесь происходит? Что вы с ним делаете? Постой, Грабал! Я тебя помню совсем мальчишкой, у тебя еще вечно рубашка из штанишек вылезала. И все время клянчил: «Тетя, дайте мне желтую грушу, а то у нас растут только зеленые!» А с твоим отцом мы в одном классе учились и вместе пели в церковном хоре...

Старшина. Пели, тетя.

Мать. А то, что это Калоус, ты видишь?

Старшина. Вижу, тетя.

Мать. И его отца помнишь?

Старшина. Помню, тетя. И все знаю. Знаю, кого отпустил и кого увожу. Но нельзя же самому суд вершить. Это для *них* было просто. А нам нельзя. Как ты думаешь, Калоус?

Калоус. Нельзя... А ведь здорово рванул, Грабал. На восьмицилиндровом...

Старшина. Выброс ты его из головы.

Калоус. Этого уже не выбросишь. *(Как бы про себя.)* «Мерседесы» прут по всем магистралям — на полной скорости.

Старшина *(присаживается к столу)*. Калоус, дай мне лимонаду. Или рому.

Калоус *(готовит напиток, глядит в окно)*. Смотри-ка, люди... огни, огни, огни... Когда я вижу цепь огней в темноте, мне кажется... идет колонна заключенных. Не сердись, Грабал, кто-нибудь должен помнить и напоминать... *(Калоус подходит к репродуктору, включает его. Слышна песня.)*

Гора, гора, три долины,
Не ходи, девушка, по малину.

Калоус *(Ремунде)*. Амеба, а?

Старшина. Не пора ли?

Ремунда *(старшине)*. Грабал, возьмешь меня с собой по старому знакомству?

Старшина. Конечно, поедем...

Калоус *(отходит с Яной в сторону)*. Скажи мне те слова.

Яна. Какие?

Калоус. Ну... те, мамины.

Яна *(оглянувшись, тихо)*. Ты мой стеклянный стаканчик...

Калоус. Да...

Яна. Ты мой цветочный горшочек на окне...

Калоус. Ну, нет...

Яна. Ты мое зеркальце блестящее...

Калоус улыбается.

Яна. Ты моя рыбка пойманная, уточка подстреленная... *(Кладет голову ему на плечо.)*

ЗАНАВЕС

ПУБЛИЦИСТИКА

МАРИУС МАНЬЯН

ВО ИМЯ ПОЮЩЕГО ЗАВТРА

(ЗАМЕТКИ ФРАНЦУЗСКОГО КОММУНИСТА)

В этот час я полон воспоминаний юности. Они не вызывают у меня сожалений. Напротив, я испытываю скорее радостное чувство, видя, как благородные мечты, светлые надежды, взлелеянные в молодые годы, воплощаются, становятся осязаемой реальностью в Советском Союзе.

В двадцатых-тридцатых годах — теперь это уже далекие времена — я был еще мальчишкой, потом молодым рабочим, на вид довольно замкнутым; не то чтобы я тяготился работой, но вся моя внутренняя жизнь была бегством от каждодневного существования, стремлением как можно больше узнать о мире. В ожидании того времени, когда я смогу «вырваться из провинциальной дыры» (где мне пришлось оставаться еще целых одиннадцать лет), я взялся за чтение книг по социальным вопросам, которое уже к пятнадцати годам привело меня к участию в классовой борьбе.

Мой дядя, уходя в 1914 году на войну, оставил на чердаке какой-то таинственный чемодан. Бабушка — она взяла меня к себе, чтобы хоть как-то помочь моим родителям, рабочим, у которых было шестеро детей,— запретила мне его трогать. Но запрет только разжег мое любопытство, и в конце концов я открыл этот чемодан. Там оказались только книги и синдикалистские брошюры, которые дядя привез из Лиона, где он работал. И вот я стал тайком читать их, упиваясь памфлетами, речами, «диалогами», социальными исследованиями по большей части анархо-синдикалистского толка. Я с юношеским пылом поглощал вперемежку Кропоткина и Жореса, Бриана и Жюля Геда, Жуо и Монмуссо...

Хорошо ли, плохо ли я переварил все эти работы, они натолкнули мою мысль на путь, который привел меня впоследствии к идеям коммунизма. В шестнадцать лет я вошел в Лигу Прав человека, потом сделал попытку основать в нашем городке профсоюз строителей наряду с существовавшими заводскими профсоюзами. В 1922 году, девятнадцати лет, я вступил в коммунистическую партию.

С жадностью читал я в газетах то, что писали о русской революции, не слишком разбираясь в сознательно запутанных известиях о борьбе между «максималистами» и «минималистами» (так в 1917—1918 годах называли во Франции большевиков и меньшевиков), об этапах гражданской войны, связанных с именами Деникина, Врангеля, Петлюры, об интервенции союзников... Но что бы ни писали газеты, везде и всюду повторялось имя Ленина. После Турского съезда * в мои руки попали речи и статьи Марселя Кашена, открывшие мне, что значит это имя — прежде всего для моих идеалов, но в еще большей степени для той революционной борьбы, которая разгоралась в моей стране и во всем мире, черпая силу в примере России.

---

* Съезд французской социалистической партии в Туре в декабре 1920 г. в своем большинстве одобрил доклад Марселя Кашена, участвовавшего в работе II Конгресса Коммунистического Интернационала, и принял решение о присоединении к Коммунистическому Интернационалу.

В 1920 году французские социалисты направили в Москву делегацию для переговоров о возможности вступления в основанный Лениным Коммунистический Интернационал. Ленин объяснил французам, что они должны порвать с оппортунизмом, покончить с внутренними противоречиями, стать единой и дисциплинированной партией рабочего класса, готовить рабочих к взятию в свои руки политической власти. Ваш первый долг, говорил Ленин,— дать рабочим ясную программу, которая правильно анализировала бы факты нашего времени, когда идет быстрое загнивание капитализма.

Ленин говорил, что русская революция по характеру своего развития, по внутренним и внешним условиям походит на французскую революцию, что большевики — это русские якобинцы, связанные с пролетариатом, и что они вдохновлялись революционными подвигами французов, в частности примером Парижской коммуны.

Эти слова Ленина в передаче Марселя Кашена произвели полный переворот в моих представлениях.

До сих пор я был во власти революционного идеализма, но теперь мысли мои начали мало-помалу принимать более конкретный, более реалистический характер; я осознавал единство мирового революционного движения и сущность пролетарского интернационализма, который до тех пор был для меня довольно туманным понятием. Только теперь мне в полной мере открылось значение восстания французских моряков на Черном море.

Я думаю, что беседы Ленина с Кашеном были таким вкладом в дело французских трудящихся, который принадлежит к числу самых серьезных, самых ценных, с революционной точки зрения, ибо он помог выковать Французскую коммунистическую партию и способствовал формированию революционеров нового типа.

Такими революционерами, сразу принявшими политику ленинизма, были сплотившиеся вокруг Марселя Кашена пионеры коммунистического движения во Франции — Поль Вайян-Кутюрье, Раймон Лефевр, Даниель Рену, Флоримон Бонт, Виржиль Барель, Жак Дюкло и совсем еще юный шахтер из Па-де-Кале Морис Торез. К коммунистам, стоявшим за обновление партии рабочего класса, принятой в ленинский III Интернационал, примкнули выдающиеся деятели французской культуры — Анри Барбюс, Анатоль Франс, Ромен Роллан, Жан-Ришар Блок, историк Альбер Матье, художник Синьяк, которые высказались против правых типа Блюма и Реноделя, за русскую революцию.

Все эти сведения я добывал по крохам, глотая после работы все газеты и брошюры, какие мог достать. Дядя, вернувшийся с фронта и поселившийся в нашем городке, был членом партии со времени Турского съезда. Он и дал мне рекомендацию в партию. Потом, в 1923 году, я организовал ячейку коммунистической молодежи, чтобы помочь объединению и политическому воспитанию моих товарищей, молодых рабочих. В том же году меня призвали в армию.

Шла так называемая рифская война — колониальная война французского империализма против марокканцев, восставших под водительством Абдель-Керима. После борьбы против оккупации Рура и актов солидарности с немецкими коммунистами это было первое серьезное испытание интернационализма Французской коммунистической партии. Партия повела решительную борьбу против марокканской войны, призывая молодежь сопротивляться этой авантюре. Во главе Национального комитета борьбы против войны встал Морис Торез. И здесь опять ленинская линия помогла французским коммунистам занять правильную позицию. Опираясь на опыт ВКП(б), мы начали применять марксизм к национальным и колониальным проблемам. Борьба в поддержку национально-освободительного движения народов стран Африки и Азии, находившихся под гнетом французского империализма, была с самого начала положительным моментом в политике Коммунистической партии Франции, и этим она обязана урокам Коммунистической партии Советского Союза.

Находясь в армии, я организовал в казармах своей части нелегальную партийную ячейку. Мы распространяли листовки против рифской войны и против посылки новобранцев в Марокко. В 1925 году за пропаганду против марокканской войны, которую я вел на близлежащих заводах, меня арестовали. Мне вспомнилось это время, когда в 1958 году мой сын Серж, в свою очередь ставший солдатом, был присужден к двум го-

дам тюрьмы за организацию массового движения в армии и за отказ воевать против алжирского народа.

После марокканской войны и войны во Вьетнаме французские коммунисты своей страстной и последовательной борьбой за прекращение войны в Алжире на основе переговоров внесли новый вклад в мировое освободительное движение, которое ведет к распаду колониальной системы, углубляющему общий кризис капитализма, как это и предвидел В. И. Ленин в своем труде «Империализм как высшая стадия капитализма».

Французская коммунистическая партия с самого начала войны (восемь лет назад!) провозгласила право алжирского народа на самоопределение, независимость, территориальную целостность и национальное единство. С 1958 года, когда под прикрытием колониалистского путча в Алжире к власти пришел генерал де Голль, наша партия доказывала, что продолжение войны способствует росту фашизма и что поэтому судьба народа Франции неразрывно связана с судьбой алжирского народа. Постепенно люди начинают осознавать эту истину. Происходит перегруппировка сил, ширится единение всех, кто хочет побороть войну, всех, кто хочет улучшить свое положение, всех, кто хочет восстановить демократию в нашей стране. Это движение, охватившее все слои нации и прежде всего трудящиеся массы, приведет к сохранению мира и покончит с деголлевским режимом.

Однако следует подчеркнуть, что тут нельзя идти быстрее, чем идет политическое пробуждение масс. Мы должны считаться с тем, что на протяжении многих десятилетий французов со школьной скамьи воспитывали в духе колониализма, приучали к мысли, что их родина — великая колониальная держава, внушали им лживую идею о «цивилизаторской миссии Франции», прививали расизм. Надо очистить от всего этого головы. Этим мы и занимаемся вот уже сорок лет, со времен марокканской войны. Возникшее недавно в связи с алжирским вопросом движение интеллигенции свидетельствует о том, что эти люди проснулись. Однако они надеялись встать во главе народа вместо коммунистов, якобы занимающих недостаточно радикальную позицию, требовали от нас, коммунистов, чтобы мы копировали политику алжирских руководителей или же проповедовали неподчинение солдат командованию и дезертирство. Мы ответили: нет, задача состоит не в том, чтобы во Франции следовать политике и методам Временного Правительства Алжирской Республики, которые являются политикой и методами воюющего Алжира, а в том, чтобы убедить французов в необходимости принудить де Голля к переговорам с ВПАР. Мы сказали: нет, задача в отношении армии остается той же, какую поставил перед большевиками Ленин во время первой мировой войны,— массовая работа внутри армии для борьбы против войны. Дезертирство не ведет ни к чему. Лучшие солдаты — солдаты сознательные — не должны изолироваться от других, не должны оставлять солдатскую массу во власти офицеров-мятежников, в руках «ультра». Наш долг — вести агитационную и разъяснительную работу, работу трудную, тяжелую, опасную, требующую жертв, влекущую за собой годы тюрьмы. Это поняли многие молодые французы, например мой сын Серж и его товарищи, и они боролись в своих частях за прекращение войны и тем самым за нормальные отношения между народом Франции и свободным алжирским народом — за отношения равенства и братства.

■

Подобными примерами борьбы за мир и демократию на основе марксистско-ленинских принципов полна вся история нашей партии, встающая перед моим мысленным взором, когда я пишу эти строки. Помню 1929—1930 годы, период нелегальной деятельности. Я работал тогда в «Юманите», куда партия направила меня после чистки редакции от оппортунистических и антипартийных элементов. В то время партия подвергалась ожесточенным атакам со стороны реакционного правительства. Ее вожди были в тюрьме или в подполье. В 1924 году был арестован и находился в заключении в Нанси Морис Торез. Редакторов наших провинциальных газет арестовывали почти каждую неделю, но на место выбывшего становился один из рабочих, зная наверное, что через неделю-другую и он попадет в тюрьму. «Юманите» была обескровлена. Вспоминаю, что я получал всего 20 франков в неделю, а мне платили больше, чем многим другим, потому что у меня был маленький ребенок...

1934 год — попытка фашистского путча, когда приходилось бороться сразу и против фашистов и против предательства Дорио и его банды. 1936 год — Народный фронт, социальные завоевания французского пролетариата, героическая битва в поддержку пролетариев и крестьян Испании, отражавших натиск фашистских бандитов Франко, Гитлера и Муссолини...

Наша партия росла в сражениях. С 35 тысяч членов она выросла до 80 тысяч, потом до 300 тысяч. Ленинские методы пропаганды и организации, борьба за единство, самоотверженность коммунистов, которые, возглавляя рабочих, отстаивающих свои требования, руководили грандиозными стачками 1936—1937 годов,— все это принесло свои плоды.

Но вот гитлеровский фашизм развязал вторую мировую войну. Во Франции Народный фронт так напугал буржуазию, что она бросила лозунг «Лучше Гитлер, чем Народный фронт», а социалист Леон Блюм обезоружил силы сопротивления войне, помогая Мюнхену. Началось преследование коммунистов. Партия была запрещена. В преданную правящей кликой страну вторгся враг. Вслед за своими танковыми дивизиями во Францию прибыл Гитлер. Франция попала под страшное иго. Но народ не капитулировал. Молодые коммунисты, пришедшие в партию в годы Народного фронта, без колебаний жертвовали собой во имя освобождения, показывая себя настоящими патриотами в тайном сражении, продолжавшемся почти пять лет. Наша партия заслужила славное имя «партии расстрелянных», потому что за эти пять лет 75 тысяч ее сынов умерли под пытками, были расстреляны, пали, сражаясь в маки, погибли в нацистских лагерях.

Я тоже, конечно, участвовал в подпольной борьбе против гитлеровцев и вишистов. Я работал под руководством подпольного партийного центра, а также выпускал каждый месяц маленькую подпольную газету организации «Франция — СССР» (разумеется, объявленной вне закона), которая называлась «Россия сегодня».

23 августа 1939 года родился мой второй сын Ален. 31 августа я был мобилизован, а после военного разгрома в июне 1940 года ушел в подполье. Своих детей я увидел только через четыре года, в конце августа 1944 года, когда вернулся домой. Все эти годы меня разыскивала вишистская полиция и гестапо. Моя жена вынуждена была терпеть регулярные визиты полицейских и обыск. Однажды ее арестовали немцы. Ей трудно было прокормить двоих детей, но все же она вела и подпольную работу и в 1944 году работала с советскими людьми, бежавшими из фашистских лагерей и примкнувшими к французским партизанам.

В эти годы, когда никто из нас больше не принадлежал себе, когда каждый отдавал все силы партии и борьбе, на явках и в маки мы ободряли друг друга, разговаривая о советских людях, о солдатах великого Советского Союза, воинах социализма. Когда в июне 1941 года Гитлер напал на СССР, каждый из нас думал и говорил: «Теперь конец немецкому фашизму». Франция была повержена, народ ее обращен в рабство, но, взирая на Советский Союз, мы ни на минуту не теряли надежды. Когда натиск фашистских войск становился особенно страшным и опасным, мы тревожились, но все же думали и говорили друг другу: «Их остановят, они погибнут на русских равнинах». Эта беззаветная вера в Коммунистическую партию Советского Союза, в советский народ, в его сыновей и дочерей была — это надо сказать, потому что это правда,— главным стимулом в борьбе, которую вели французы на французской земле.

Мне запомнился один эпизод на последнем этапе освободительной борьбы против оккупантов и их приспешников; это было в конце августа 1944 года, в разгар парижского восстания, когда «Юманите» впервые с сентября 1939 года открыто вышла в свет. Выпуск легальной «Юманите» руководство партии поручило мне. Но Париж был еще занят немцами. Союзники и французская дивизия генерала Леклера находились еще далеко от столицы. В доме, где по указанию Национального Совета Сопротивления должен был печататься наш центральный орган, помещалась коллаборационистская газета. Отряд франтиреров и парижских партизан занял здание. Я прибыл туда 19 августа. Бригада типографских рабочих — старые коммунисты из довоенной «Юманите» — была уже на месте. Налицо были все, кроме двоих, расстрелянных немцами. Но я был единственным редактором из прежнего состава: двенадцать товарищей по-

гибли, все они были убиты немцами, в том числе наш дорогой Габриель Пери, депутат, заведующий международным отделом, с которым я проработал десять лет.

У нас не было бумаги. Органы временного (деголлевского) правительства, находившегося в Алжире, не торопились восстанавливать ежедневную прессу. Но товарищи по партии требовали газету. Восстание разгоралось, центральный орган партии должен был быть на посту. 20 августа мы решили издать специальный выпуск «Юманите» и расклеить ее в главных пунктах Парижа и предместий. Макет был готов. Наборщики и верстальщики работали очень быстро. Но мы не могли запустить ротацию. Тогда решено было отпечатать 60 экземпляров вручную, выбивая листы газеты щеткой, как пробные оттиски. Товарищи сейчас же разобрали эти 60 экземпляров и ночью расклеили их на стенах домов. Этот уникальный номер «Юманите» от 21 августа 1944 года, который теперь стал библиографической редкостью, содержал манифест партии, призывавший массы подняться на восстание против оккупантов. Шапка гласила, что союзные войска должны вступить в Париж, освобожденный восстанием парижан; в передовице разоблачались маневры некоторых официальных кругов, пытавшихся пойти на сговор с врагом.

Это был первый номер «Юманите», появившийся открыто, после выпущенных нелегально 316 номеров общим тиражом в 50 тысяч экземпляров.

...После освобождения работа Французской коммунистической партии развернулась во всю ширь. Благодаря нашей борьбе в состав правительства вошли министры-коммунисты. Правда, впоследствии (в 1947 году — в год принятия плана Маршалла) они были устранены. Но кадры партии выросли и закалились. В последующие годы наша партия всегда была на переднем крае борьбы за интересы рабочего класса, за демократию, за национальные интересы, несовместимые с американской оккупацией, за независимую политику и мир, за дружбу и сотрудничество со всем великим лагерем социализма, родившимся из разгрома фашизма, лагерем, во главе которого стоит Советский Союз. А сегодня наша партия раскрывает глаза народным массам на сущность нашего государственного строя как строя, отвечающего интересам монополистического капитала, который и поставил у власти де Голля, на угрозу войны, которая исходит от немецких реваншистов и тех, кто поддерживает их в Америке и во Франции; но наряду с этим партия учит, что силы демократии, если они добьются единства, могут отвратить эту угрозу и, поддерживая политику Советского Союза, отстаивающего мирное сосуществование, обеспечить прочный мир.

Таков краткий очерк моей жизни — частицы жизни Французской коммунистической партии, таким представляется мне мой личный жизненный опыт к моменту XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза.

■

В 1924 году умер Ленин. Но марксизм-ленинизм, вошедший усилиями Ленина и продолжателей его дела в кровь и плоть партий III Интернационала, по-прежнему приносит свои плоды во всем мире, благодаря упорной деятельности коммунистических и рабочих партий.

Сегодня мы видим триумф ленинизма в Советском Союзе, вступившем в период перехода к коммунистическому обществу, исторические очертания которого наметили более века назад Маркс и Энгельс, видим, как страны народной демократии продвигаются вперед в построении социализма. Вот почему я, старый коммунист, с такой радостью оглядываюсь на годы своей юности: я шел по правильному пути!

Вспоминаю, в каких условиях находился Советский Союз в 1926, 1927 и 1928 годах. Я там жил тогда: партия послала меня в Москву учиться. То были времена нэпа, период борьбы против троцкистов, пытавшихся сорвать подготовку первого пятилетнего плана. Трудности были огромные, споры жестокие и острые. Но верность ленинизму победила все препятствия, советские коммунисты сумели обеспечить выполнение пятилетки. «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны» — такова была формула Ленина. В те годы мы постоянно слышали, как повторяют этот лозунг, но мы недостаточно ясно понимали его гениальность, его глубочайший смысл и необъятное значение. Мы восторгались сооружением Днепрогэса, но не представляли себе, что от этой плотины возьмет начало развитие производства, ос-

нованного на высшей технике, которое приведет к спутникам Земли и позволит создать материальную базу коммунизма.

Героический советский народ — нерасторжимое единство народов Союза Советских Социалистических Республик — на протяжении всех минувших лет, начиная с 1917 года, защищал свои завоевания в битвах с контрреволюцией, в беспощадной войне против немецких захватчиков, в борьбе против уклонистов и предателей, а в наши дни — в борьбе за мир. Он осуществил индустриализацию страны, коллективизацию сельского хозяйства, культурную революцию — одним словом, он построил социализм.

А ныне, когда рушится колониальная система империализма и на месте старых колоний рождаются и развиваются молодые суверенные государства; когда углубляются противоречия в самом стане капитализма и внутри капиталистических стран происходят непрерывные классовые столкновения; когда противоречие между капиталистической олигархией, все более верхушечной, и всей остальной нацией стало очевидным и, в силу постоянного ухудшения жизненных условий трудящихся, ведет ко взрыву,— XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза провозглашает план строительства коммунистического общества!

Коммунизм, мечта нашей юности, сегодня становится реальностью!

■

Возражения против нашей коммунистической теории обычно формулируются следующим образом: либо «Без государственного принуждения начнется анархия», либо «При вашей системе никто не захочет работать». Эти возражения игнорируют качественные изменения в человеке, коммунистическую мораль.

Сдвиги в идеологической надстройке, сопутствующие радикальному преобразованию экономического базиса общества, означают расцвет культуры, создающей иные, нежели в буржуазном обществе, духовные ценности; эти ценности, рожденные в народе, формируют новый идеал, новую, более высокую мораль, главной чертой которой является преданность благу общества, где вошло в жизнь сознательное, ставшее нравственно необходимым применение принципа «Кто не работает, тот не ест». Индивид больше не изолирован, он больше не враг другого индивида, а существо социальное, всесторонне развитая личность, для которой труд уже не означает рабскую обязанность, «проклятие жизни», а, напротив, приобретает творческий характер, делается социальной потребностью и приносит моральное удовлетворение. Поэтому в коммунистическом обществе, где получает полное развитие социалистическая демократия, меняются функции и сама природа государства.

Советская революция установила диктатуру пролетариата, сломала машину буржуазного государства, создала новое государство, государство рабочих и крестьян. Диктатура пролетариата была орудием преобразования общества, но и сама она в ходе этого преобразования претерпела изменения. Пролетарская демократия (диктатура пролетариата) развивалась в сторону демократии социалистической, охватывающей весь народ. Государство становится политической организацией всех членов нового общества.

И вот теперь, в Программе, принятой XXII съездом, детально разрабатывается вопрос о дальнейшем развитии демократии в управлении коммунистическим государством, о все большем участии граждан в государственных делах, в решении вопросов экономики и культуры, об усилении народного контроля над деятельностью всех государственных органов с целью выявления и искоренения бюрократизма и волокиты, с целью охраны законности и порядка. В общем, советские люди приближаются к тому времени, когда каждая кухарка будет управлять государством, как говорил Ленин, когда труд государственного деятеля перестанет быть профессией.

Устанавливается органическое единство личных и общественных интересов. И труд становится для человека ни более ни менее как «категорическим императивом», душевным велением. Советская действительность дает такой ответ моим противникам в юношеских спорах, какого тогда я еще не мог им дать.

Увы, я не мог и учиться так, как мне хотелось бы. Но зато я вижу, что в СССР народное образование связано с трудом, соответствующим призванию человека, ибо переход к коммунизму предполагает формирование высокообразованных мужчин и женщин, способных и к умственному труду, людей, которые были бы на высоте в различных сферах управления, социальной и политической жизни, техники и науки. Характер физического труда меняется благодаря техническому прогрессу, благодаря автоматизации; он становится творческим процессом, тесно, органически связанным с интеллектуальной деятельностью рабочего-инженера.

Именно эта культура строителей коммунизма вызывает у меня и у всех ветеранов нашей партии наибольшее восхищение, ибо она проистекает из новой морали гражданина коммунистического общества, из всеобъемлющего гуманизма, который делает всех людей братьями, причем все меньше становится необходимость административного вмешательства в отношения между ними. Коллективизм, братская взаимопомощь, труд на благо общества...

Изучение новой Программы КПСС удесятеряет у нас веру в полное осуществление всего того, о чем мы мечтали в дни нашей юности, когда начинали бороться за уничтожение частнособственнического строя с его жестоким принципом — «человек человеку волк». В Стране Советов, строящей коммунистическое общество, контуры которого очерчены в Программе, человек человеку брат, друг, товарищ, поддержка. Здесь господствует принцип — все для человека. Это выражается также и в уничтожении национальной розни и расовой ненависти, в непрестанной борьбе за дружбу между народами, за мир, в защиту человека и его творений.

Разумеется, принципы новой морали приложимы и к партийной жизни. Быть может, так уж сформировался я в юности, но я никогда не понимал необходимую партийную дисциплину как беспрекословное подчинение людям, поставленным во главе партии. Никогда я не возводил в культ то уважение, восхищение, любовь, которые испытывал к лучшим товарищам из руководства моей партии и Интернационала. Культ личности всегда был мне чужд. Я уверен, что во всем написанном мною нельзя найти ни одной фразы, в которой неумеренно превозносилось бы то или иное лицо. С того времени, когда сложились мои убеждения, я глубоко осознал слова прекрасной песни «Интернационал», родившейся в лоне французского пролетариата и распространившейся по всему миру:

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой...

Новый моральный кодекс, утвердившийся в советском обществе, признает лишь такие нравственные критерии, которые приложимы к человеку коммунистического будущего: честность, скромность, справедливость, преданность делу.

Я всегда старался воспитывать в себе эти качества, зная, как трудно быть настоящим коммунистом. Быть коммунистом, говорил я себе, значит прежде всего быть альтруистом в истинном смысле слова, значит посвящать себя политической борьбе ради других, а не ради того, чтобы стать «политиком», «делать политику», занимать высокий пост,— иначе ты будешь просто-напросто политикан, интриган, карьерист, но только не коммунист.

Быть коммунистом значит жить полной жизнью и любить жизнь; пуще всего опасаться стать сухарем, очерстветь душой; не превращаться в унылого догматика, почитающего прописным истинам, чуждого живой мысли и человеческих чувств. Нужно быть страстным. Только тот зажигает других, кто горит сам.

Недаром в рядах Французской коммунистической партии боролись и борются выдающиеся деятели французской культуры, величайшие умы нашей страны — Фредерик Жолио Кюри, Поль Ланжевен, Пабло Пикассо, Фернан Леже, Луи Арагон.

Несомненно также, что реализм и устремленность в будущее, которые составляют сущность Программы КПСС, дадут толчок к дальнейшему развитию культуры и в моей стране.

Молодые литераторы, члены партии, по мере осуществления планов строительства коммунизма в СССР, с крепнущей убежденностью будут искать и находить новые источники вдохновения, чтобы придать еще большую правдивость своим героям, создать типы, еще более достойные подражания.

Молодые писатели, прогрессивные или просто озабоченные будущим общества, откроют для себя в развитии страны коммунизма, в ее людях нечто осязаемо реальное, действительно живое. Для них станут очевидными загнивание и неизбежная гибель капиталистического общества, и они осознают никчемность тех книг, которые являются искаженным и тошнотворным отражением этой агонии. И тогда к ним придет твердая уверенность, что возникает, рождается нечто великое, прекрасное, сияющее, словом, нечто истинно человечное. А из этой уверенности столь же неизбежно родятся по-настоящему ценные произведения искусства.

Чудесный расцвет науки в СССР и будущие свершения, которые сейчас нам кажутся невероятными, откроют новые перспективы перед учеными. Это поможет им со всей страстью отдаться развитию и нашей, французской науки, сегодня скованной рамками, навязанными ей монополистическим капиталом, но способной быстро подняться до необходимого уровня.

Влияние коммунистического строительства в Советском Союзе, предвосхищающего будущее всего человечества, скажется во всех областях духовной жизни, в том числе и в той, которая обуславливает развитие национальной культуры,— в области народного образования. У молодежи не будет более причин избегать профессии педагога, ныне приниженной, и она с увлечением примет участие в подготовке всесторонне развитых людей и в нашей стране...

Вот размышления, на которые навело меня изучение Программы строителей коммунизма. Грудь мою распирает от волнения, и слезы подступают к горлу, ибо эта Программа проникнута той высокой моралью, которая воодушевляла и моих товарищей по подпольной работе, моих братьев и сестер, погибших смертью героев под пулями фашистских палачей. Я знаю наизусть последние слова расстрелянных.

ФРАНСИНА ФРОМОН, 28 лет, машинистка, арестованная вместе с матерью, которая умерла под пытками, писала 5 августа 1944 года перед расстрелом своей сестре:

«Отдать жизнь за счастье других — это великолепно. И эту радость я обрела благодаря Партии. Пусть твой малыш Клод узнает это, когда вырастет настолько, что сможет это понять. Я умираю за него и за его поколение».

ЖАН АЛЕЗАР писал 10 апреля 1944 года, накануне расстрела: «Моральные качества, воспитанные во мне Партией, поддерживают меня и позволяют мне умереть спокойно... Обнимаю вас всех. Перед лицом смерти я провозглашаю: «Да здравствует Свобода! Да здравствует Франция, любить которую меня научила Коммунистическая партия!»

ПОЛЬ КАМФЕН. 20 лет, расстрелянный 1 ноября 1943 года, писал: «Я останусь французским коммунистом до последней своей минуты; я ни о чем не жалею, разве только о том, что мало успел сделать... Я горжусь тобой, моя великолепная Коммунистическая партия, горжусь твоими неподкупными сынами — каждый день враги убивают их, но ничего не могут у них выпытать... Не оплакивайте нас, поднимите выше боевое знамя. Я ухожу улыбаясь, с песней на устах. Смерть мне не страшна».

ПЬЕР СЕМАР, член политбюро Французской коммунистической партии, расстрелянный 7 марта 1942 года, писал:

«Прощайте, дорогие друзья. Приближается час моей смерти, гитлеровцы расстреляют меня, но я знаю, что они уже побеждены и что Франция сможет возобновить великую борьбу.

Да здравствует Советский Союз и его союзники!

Да здравствует Франция!»

ЖАН-ПЬЕР ТЕМБО, рабочий-металлист, расстрелянный 22 октября 1941 года вместе с 26 другими патриотами, узниками лагеря в Шатобриане, писал:

«Всю жизнь я сражался за лучшее будущее человечества. Я горячо верю, что вы увидите осуществление моей мечты; моя смерть будет небесполезна. Да здравствует Франция! Да здравствует международный пролетариат!»

ГИ МОКЕ, расстрелянный в возрасте 17 лет, писал: «Скоро я умру! Конечно, я хотел бы жить, но одного я желаю от всего сердца — чтобы моя смерть была не напрасной... Коротка была моя жизнь, мне только семнадцать с половиной лет. Но я ни о чем не жалею, разве только о том, что покидаю вас всех. Я умру вместе

с Тентеном, Мишелем... Покидая всех вас, я обнимаю вас от всего моего юного сердца. Мужайтесь!»

ГАБРИЕЛЬ ПЕРИ, расстрелянный 15 декабря 1941 года, писал накануне:

«Пусть мои друзья знают, что я остался верен тому идеалу, которому служил всю жизнь; пусть мои соотечественники знают, что я умираю за то, чтобы жила Франция... Если бы мне пришлось начать жизнь снова, я пошел бы по тому же пути; и вот я умру, чтобы подготовить поющее завтра».

В великий час Французской революции Сен-Жюст говорил: «Обстоятельства бывают трудными только для тех, кто отступает перед могилами».

Коммунисты никогда не отступали. Они победили в СССР. Наша борьба, наши жертвы были не напрасны.

XXII съезд, приняв Программу, осуществляет идеал и наших французских патриотов, павших с верой в то, что наступит поющее завтра.

г. ПАРИЖ

РЕНАТО ГУТТУЗО *(Италия)*. Девушка, поющая Интернационал.

ЛЕНИН В ПАРИЖЕ

ЭМ. КАЗАКЕВИЧ

Да, действительно, у Парижа есть какое-то фиолетовое свечение, особенно по вечерам. Об этом уже писали не раз. Вообще здесь ничего нет такого, о чем бы не писали, поэтому писать о Париже невозможно.

Я и не собираюсь писать о Париже. Все впечатления свои я скрою в глубине души. Париж у меня будет присутствовать в романе «Новая земля», который я теперь пишу, и то лишь в той мере, в какой советская история тридцатых-сороковых годов соприкасалась с ним. А она с ним соприкасалась, и порой самым неожиданным образом.

Единственное, о чем мне хочется написать немедленно, теперь же, это о ленинских местах в Париже. Последнее время, в связи с работой над повестью «Синяя тетрадь», я постоянно думал о Ленине, словно бы неотступно следовал за ним — за ходом его мыслей и путями его жизни,— одним словом, постоянно жил в ленинской атмосфере.

Это — накаленная атмосфера, полная живых, не умерших страстей. Раскрытие ленинского образа — задача в высшей степени современная не только потому, что мы все живем под ленинской звездой, но и потому, что сам Ленин был человеком буду-

Наверху — дом в Лонжюмо, пригороде Парижа, где жил В. И. Ленин *(акварель художника Р. Фалька)*.

щего. Узнавать его, стараться быть таким, как он, значит побеждать в себе «ветхого Адама», значит вырывать из себя все мерзости древних инстинктов и старых предрассудков.

В Париже, где все эти инстинкты и предрассудки пока еще здравствуют, хотя и находятся уже далеко не в цветущем состоянии, я стал искать следы живого Ленина, повинуясь новому для меня и несколько лукавому желанию увидеть, как мало места занимал в «современном Вавилоне» этот небольшого роста человек, который, как вскоре выяснилось, был больше Парижа, был так огромен, что заставил полмира следовать за собой и другую половину — дрожать от страха.

В те времена Париж этого не знал. Престарелый французский поэт Поль Фор недавно рассказывал о том, как в 1910 году летом в кафе «Клозери де Лила», на углу бульвара Монпарнас и авеню Обсерватории, вошел поэт Гийом Аполлинер. Он стал спрашивать, здесь ли Анри Руссо. Руссо не оказалось. Он спросил о Пикассо, о Сальмоне и еще о ком-то из поэтов и художников. Но и их не оказалось. Тогда он развел руками и сказал, вздохнув: «Здесь нет ни одного выдающегося человека». В это время за дальним столиком с газетой в руках обедал Ленин.

Отдаленный столик у окна, выходящего на Монпарнас. Именно в таком месте должен был сидеть русский эмигрант, преследуемый агентами царя: видеть, что делается за окном, и в то же время иметь возможность обозревать все кафе. Не в центре, где сидели местные знаменитости, говоруны и большие художники, шумные и дерзкие в своей ненависти к буржуазному миру,— впрочем, слишком шумные и слишком дерзкие, чтобы быть опасными для буржуазного мира; нет, в отдалении, весь переполненный мыслями о вещах и явлениях, не имеющих как будто никакого касательства ни к бульвару Монпарнас, ни к кафе «Клозери де Лила», ни к Парижу вообще, сидел этот человек с газетой в руках. Небольшой человек в большом городе.

Выйдем вслед за Лениным из кафе и пойдем на юг, к предместью Сен-Жак. Здесь он ходил. Здесь — повсюду ленинские места. По авеню парка Монсури, миновав улицу Алезиа, вы выйдете на улицу Саррет; первая улочка, соединяющая ее с улицей Пер-Коранten, называется Мари-Роз. Всю северную ее сторону занимает один дом. В этом доме жил Ленин. Это пятиэтажный темный дом, весь в железных черных балкончиках; на самом верхнем этаже балконы шире; над ними — маленькие окошки мансард.

Дом в Париже, на улице Мари-Роз, где в 1909—1912 гг. жил В. И. Ленин.

Не так давно в квартире на улице Мари-Роз побывал Никита Сергеевич Хрущев.

Я видел его роспись в книге посетителей среди многочисленных сердечных записей французских рабочих и советских туристов, приходивших в этот священный для нас уголок Парижа.

Поднимитесь по лестнице на третий этаж (по французскому счету — второй). Квартира состоит из трех комнат, собственно говоря, из двух: средняя — маленькая комнатка без окон. Комната справа — рабочий кабинет Владимира Ильича. Железный балкончик, дверь, ведущая на балкончик,— она же заменяет окно,— небольшой камин. Слева от балкона — старый фонарь, когда-то освещавший улицу. Ленин видел отсюда, с этого балкона, маленькую улицу, небольшие буржуазные дома. Теперь этих домов нет — вместо них построили церковь. Ее построили недавно, после того как ЦК Французской коммунистической партии купил квартиру Ленина и сделал из нее музей. Может быть, строители церкви задумали свой храм как некое противоядие.

Скромность Ленина вошла в поговорку, однако беспрестанные назойливые разговоры о ней кажутся мне иногда чем-то неприличным или, во всяком случае, неумным. Умиляться тому, что вождь рабочих и крестьян не живет и, более того, не испытывает потребности жить в роскоши,— умиляться этому могут только мещане, которые, будь у них возможность, показали бы, как может «устроиться» мещанин, при этом не переставая клясться именем рабочего класса.

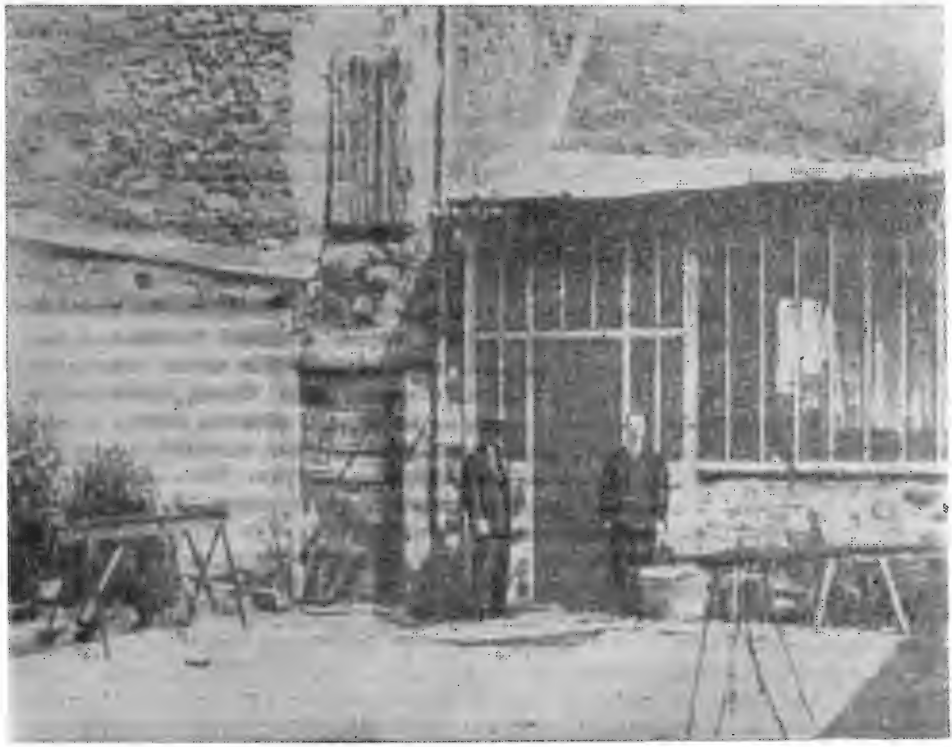
То, что Ленин жил скромно в Париже, тем более естественно, что он иначе и не мог бы там жить. Ленин тогда крайне нуждался. Эти комнатки на улице Мари-Роз были свидетелями очень скудной материально, но необыкновенно насыщенной душевно и умственно жизни. За углом на улице Саррет в те времена находилась маленькая дешевая закусочная, где Ленин и Крупская обедали — бывало, что и в кредит.

В местах, где жили великие и любимые тобой люди, ты испытываешь странное чувство частичного перевоплощения в этих людей. То есть ты ставишь себя на их место и смотришь на все окружающее их глазами. Находясь в квартире на улице Мари-Роз, прохаживаясь по этой улице и по прилегающим к ней другим улицам, я как бы видел все окружающее глазами Владимира Ильича, словно не я, а он впервые приходит сюда, чтобы здесь поселиться. Мне было приятно, что за окном спальни внизу стоит дерево и растут кусты — может быть, боярышник, я не разглядел; я думал о том, как хорошо, что улица тихая и что неподалеку находится парк Монсури, где можно гулять, отдыхать и работать среди зелени.

Ленин довольно часто ходил в этот парк, и я по его следам тоже туда пошел. Я там бродил среди старых деревьев, сидел возле большого пруда, по которому плавали лебеди, приглядывался к старикам и детям, отдыхавшим на скамейках или игравшим рядом со скамейками, и мне казалось, что Ленин видел именно этих детей и стариков, пристально вглядывался в их лица, стараясь увидеть за ними души живые, почувствовать биение пульса Франции, Парижа, сравнивал эти лица с русскими лицами на далекой родине и думал о том, как все люди, в сущности, похожи друг на друга; а это внешнее сходство — признак внутреннего, признак общности всего человечества, его мышления, интересов, судьбы.

В парке Монсури я услышал громкий детский смех, доносившийся из огороженного со всех сторон пространства у открытой сцены. Оказалось, что это кукольный театр дает представление для детей. Не знаю, был ли здесь кукольный театр во времена Ленина. Но он вполне мог быть и тогда. И я поэтому зашел туда. Куклы представляли развеселую историю, где вся соль, в общем, заключалась в большом количестве колотушек, отпускаемых куклами друг другу. Эти колотушки, сопровождавшиеся тоненьким кукольным плачем, причитаниями и остротами, приводили детскую аудиторию в исступление; смех, доходящий до стонов, оглашал окрестности.

Внутренние связи вещей и явлений очень не просты, и я отнюдь не собираюсь проводить такие уж прямые аналогии. Но в той атмосфере, в какой я находился в парке Монсури, а атмосфере ленинской судьбы и ленинской жизни, я подумал о том, что вот эти дети, которые резвятся так весело и смеются так прелестно, неразрывно связаны своей судьбой с небольшого роста русым человеком с тетрадкой и карандашом в руках, сидевшим пятьдесят лет назад здесь неподалеку на скамейке. Ведь, в конце концов, если бы этот человек не создал далеко отсюда на востоке могучее и способное на самопожертвование государство, если бы он не превратил великую,



Столярная мастерская в Лонжюмо, в помещении которой В И Ленин читал лекции слушателям партийной школы.

но косную и отсталую страну в страну — водительницу народов, в страну — страдалицу за человечество, немецкие фашисты, может быть, до сих пор находились бы здесь, в Париже.

Да, вся эта путаница улиц и площадей на юге Парижа, южнее обсерватории,— все это ленинские места. Неподалеку, на авеню Орлеан, находилась маленькая типография, где печатались большевистские газеты «Пролетарий» и «Социал-демократ». Это большой дом. Я вошел в ворота и очутился на внутреннем дворе, обсаженном деревьями,— тихом, уютном. Справа во дворе находится небольшое двухэтажное помещение, где была в то время типография, а теперь размещена фотографическая мастерская. Здесь нет никакой памятной доски. Но именно здесь Владимир Ильич читал корректуру своих и чужих статей, отсюда уходили номера газеты в города Европы, где жили русские эмигранты, и в чемоданах с двойным дном — в Россию. В Россию, которая, казалось, спала непробудным сном и видела страшные столыпинские сны. Но не пройдет и семи лет, как она проснется. Она и раньше не спала, раз бодрствовал ночью под стук печатной машины этот человек в типографии на авеню Орлеан, раз бодрствовали его единомышленники здесь и на бескрайних просторах России.

Рядом находится дом, где проходила Пятая Всероссийская конференция РСДРП(б). Шестая состоится ближе к России — в Праге, седьмая — в России, в Петрограде, в апреле семнадцатого года.

Вероятно, с вокзала Аустерлиц Владимир Ильич уехал весной 1911 года в пригородную деревню Лонжюмо, где открылась партийная школа. Теперь Лонжюмо большой шумный поселок, почти город. Тогда это была глухая деревня. В ней, к сожалению, мало что осталось от тех времен, когда здесь жил четыре месяца подряд Ленин, когда здесь в остекленном сарае слушатели партийной школы собирались на лекции Ленина, Инессы Арманд, Семашко, Крупской, а также Каменева и Зиновьева, будущих оппортунистов и капитулянтов. Среди слушателей были люди, которых мы

никогда не забудем. Одним из них был Серго Орджоникидзе, большевик, перед которым мы преклоняемся, который много лет спустя проделал титаническую работу по созданию советской тяжелой промышленности, который жил и умер как великий и честный человек.

Сохранилась небольшая акварель, написанная художником Фальком. Мы должны быть вечно благодарны этому талантливому художнику, недавно умершему, за то, что он оставил нам изображение домика, в котором жил Ленин в Лонжюмо. Самого домика уже нет.

Есть еще одно-два места, которые с большей или меньшей степенью вероятности можно считать ленинскими местами. Но напоследок я хочу рассказать об одном «ленинском месте», в котором Ленин никогда не был.

Я был на празднике «Юманите» в городке Курнеф, близ Сен-Дени. Это подлинно народный праздник. Он празднуется раз в году, обычно в первое воскресенье сентября. На огромном поле как бы по щучьему велению вырастают тысячи павильонов, киосков, балаганов, танцевальных площадок, открытых сцен. Свыше полумиллиона человек в этом импровизированном, возникшем на пустыре веселом городе пляшут, смеются, кричат, танцуют, слушают выступления артистов, сами выступают, участвуют в лотереях, стреляют в тирах, щеголяют в маскарадных костюмах. Разгульное веселье и величайшая организованность — такое сочетание я видел впервые в жизни. Все здесь сделано и устроено добровольцами, бесплатно. Весь сбор от всяких продаж, аукционов, лотерей идет в пользу коммунистической печати. Сюда съезжаются люди со всех департаментов Франции. На всем пути из Курнефа в Париж стоят в три-четыре ряда автобусы из разных городов, дожидаясь участников праздника. Я видел, как на празднике появился Торез. Он ехал в машине. Узнав его, за ним ринулась толпа, скандируя: «Мо-рис! Мо-рис! Мо-рис!»

В павильоне Общества Франция — СССР меня попросили надписывать автографы на советских книгах, переведенных на французский язык. Присутствие живого советского писателя оказалось — неожиданно для меня — большой притягательной силой. Я надписывал не свои книги — моих там не было,— а книги других советских писателей. Надеюсь, что они простят мне этот полуплагиат. В свое оправдание я могу только сказать, что товарищи, покупавшие книги, знали, что не я их автор.

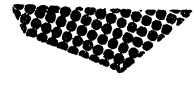
Все это колоссальное нагромождение павильонов и разных площадок было разделено на «улицы» — «авеню» и «рю»,— носившие имена французских и иностранных коммунистов, героев Сопротивления, людей, отдавших свою жизнь за будущее. Эти улицы сходились к центральной площади, подобно тому как парижские авеню сходятся к площади Звезды. Центральная площадь называлась «Площадью Ленина». Это огромное пространство, на котором сооружена сцена и гигантский амфитеатр для зрителей. Вся площадь таким образом является как бы зрительным залом, в котором одновременно может находиться около двухсот тысяч человек.

Я подумал о том, что эта летучая площадь, возникающая каждый год на новом месте и затем исчезающая, как дым, на самом деле реальнее и долговечнее всех других площадей Парижа и мира. Она — в душах людей, в их бессмертной жажде справедливости, в их стремлении к совершенству.

Я никогда не забуду этих глаз французов и француженок — глаз, полных веселья, ума и обаяния, на «Площади Ленина» под Парижем.

У меня защемило сердце. Мне показалось, что я вижу Ленина так близко, так ощутимо, словно не прошло полувека, словно не протекло морей крови. И мне захотелось не кричать, не митинговать, не приветствовать, а тихо сказать:

— Здравствуйте, Владимир Ильич.



Б. РЮРИКОВ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ЕГО «НИСПРОВЕРГАТЕЛИ»

...Если на горизонте восходит, как утренняя заря, новая, настоящая истина, тогда дети ночи хорошо знают, что их царству грозит гибель, и хватаются за оружие.

Ф. Энгельс.

Не так давно одна из французских газет торжественно объявила: «Социалистический реализм мертв и похоронен». Но — удивительное дело! — очень уж много говорят о «покойнике» его недруги. Из номера в номер реакционные газеты и журналы спорят с «покойником», опровергают его, доказывают его неправоту. Почему снова и снова делаются попытки развернуть поход против социалистического реализма — поход, которому его организаторы стремятся придать международный характер? Может быть, потому, что тот, кого они провозгласили похороненным, живет и развивается, тревожит и беспокоит их?

Прошло время, когда марксистскую эстетику просто высмеивали, пренебрежительно бросали замечания о ее «ненаучности» или о том, что марксизм придает искусству лишь «служебное значение», а поэтому-де и серьезной теории социалистического искусства быть не может. Сейчас искусство социализма, марксистскую эстетику «опровергают» в толстых книгах, оснащенных схемами, таблицами, изобилующих цитатами и ссылками на авторитеты.

Одна из таких книг, «Маркс, Энгельс и писатели» Петера Демеца, вышедшая в ФРГ, разрекламирована в буржуазной и ревизионистской печати как научная и фундаментальная работа.

Намерения у Демеца были достаточно решительные.

Он захотел, во-первых, доказать, что современные марксисты, отстаивая реалистическое искусство, совершенно неосновательно ссылаются на Маркса и Энгельса. «Маркс не имел ничего общего ни с «социалистическим», ни с каким-либо другим реализмом, он даже не употреблял этого термина»,— пишет Демец в главе, посвященной теории социалистического реализма.

Оказывается, Маркс был «серьезный и весьма консервативный ценитель искусства, любимыми писателями которого были Эсхил, Шекспир и Гете». Человек с такими старомодными вкусами мог ли сочувствовать реализму?

И это говорится о Марксе, который не только «сочувствовал» реализму, но и говорил об этом прямо. Он называл Бальзака «замечательным по глубокому пониманию реальных отношений». Он писал об английских реалистах середины XIX века:

«Современная блестящая школа романистов в Англии, чьи наглядные и красноречивые описания раскрыли миру больше политических и социальных истин, чем это сделали политики, публицисты и моралисты, вместе взятые, изобразили все слои буржуазии, начиная с «достопочтенного» рантье и обладателя государственных процентных бумаг, который смотрит на все виды «деловых занятий» сверху вниз, как на нечто вульгарное, и кончая мелким лавочником и стряпчим. И как их обрисовали Диккенс, Шарлотта Бронте и г-жа Гаскел: полными самомнения, чопорности, мелкого тиранства и невежества».

Выступая против всего напыщенного, лживо-фантастического, слащаво-сентиментального, уводящего от действительности, Маркс высоко ценил литературу, отражаю-

щую реальную жизнь людей, их характеры, их отношения. Это Маркс критиковал Лассаля, превращавшего «индивидуумы в простые рупоры времени» и пренебрегавшего резко очерченными характерами, которыми так богата действительность.

Возникновение марксизма было величайшей идейной революцией. Марксизм опирался на глубокое, всестороннее, диалектическое познание мира в его развитии, в движении, в борьбе противоречий. И естественно, что наиболее близко ему по духу было искусство правдивое, реалистическое, бросающее свет на жизнь общества и отношения людей. Только специально настроенный ум может усмотреть во взглядах Маркса на искусство «консерватизм». Он высоко ценил все талантливое, отмеченное смелой, ищущей мыслью,— и в прошлом, и в настоящем. Он отчетливо понимал, что искусство развивается, идет вперед, стремится выразить новое содержание жизни общества, духовной жизни людей. Разве не об этом говорят всем известные высказывания Маркса о Гете, Бальзаке, Гейне, Пушкине.

Не менее решительно отрицает П. Демец и значение высказываний Энгельса о реализме.

«Энгельс занимался вопросами реализма и проблемой тенденциозности искусства не потому, что они представляли для него принципиальный теоретический интерес, а просто из любезности»

Так и сказано: «просто из любезности»... Оказывается, знакомая пожилая дама прислала Энгельсу свою книгу, тот любезно написал ей свое мнение — можно ли всерьез относиться к этому акту вежливости?

Демец легко расправляется с письмами Энгельса, обращенными к Минне Каутской и Маргарите Гаркнесс: «Со стороны Энгельса было бы невежливым, если б он не выразил этим писательницам, с которыми находился в дружеских отношениях, своей благодарности за присланные ему книги и не высказал бы в нескольких словах свое личное мнение об их произведениях».

Однако что это за «личные мнения», «не представляющие принципиального интереса»?

В письмах к Каутской и Гаркнесс Энгельс высказывал суждения, выходящие далеко за рамки оценок произведений этих писательниц. «...Реализм,—пишет Энгельс Гаркнесс,— подразумевает, помимо правдивости деталей, правдивость воспроизведения типичных характеров в типичных обстоятельствах» Это положение Энгельса приобрело широкую известность; оно дает глубокую и сжатую характеристику реалистического повествования, помогает преодолевать натуралистическое правдоподобие, бытовую ограниченность, требует от художника широкого и перспективного взгляда на действительность.

Наибольшие старания прикладывает Демец к тому, чтобы отвести утверждение, которое особенно ему не по душе.

Энгельс упрекнул Гаркнесс за то, что в ее романе рабочий класс фигурирует только как пассивная масса, не способная помочь себе. «Все попытки вырвать ее из тупой нищеты исходят извне, сверху. Но если это было верно для 1800 и 1810 гг. в дни Сен-Симона и Роберта Оуэна, то в 1887 г. для человека, который около 50 лет имел честь участвовать в борьбе воинствующего пролетариата, это не так. Революционный отпор рабочего класса угнетающей его среде, его судорожные попытки, полусознательные или сознательные, добиться своих человеческих прав вписаны в историю и должны поэтому занять свое место в области реализма».

Энгельс не только выступал за реализм в литературе, но предъявлял самые высокие требования к реалистическому творчеству. Он считал необходимым, чтоб произведение искусства отражало положение угнетенных классов; больше того — запечатлевало самые передовые стремления времени — революционную борьбу рабочих за свои человеческие права, эту «активную сторону жизни» Энгельс считал заслугой Бальзака, что «он *видел* настоящих людей будущего там, где их единственно и можно было найти»

Позволил бы себе добросовестный исследователь свести содержание этих слов к выражению «простой любезности»?

Энгельс говорит, что передовое искусство видит перспективу развития действительности, постигает жизнь в ее неодолимом поступательном движении. Показ массы трудящихся только как угнетенной и страдающей — лишь полуправда. Правда в том, что масса стремится свергнуть это угнетение, осуществить свои человеческие права. Энгельс показал, как недостаточен абстрактно-гуманистический подход к явлениям действительности, как несоизмеримо выше подход пролетарски-революционный. Революционное движение народных масс должно «занять свое место в области реализма».

Это — мудрое и высокое понимание реализма, поднимающее его над натуралистическим описательством, над сентиментально-

благотворительной «любовью к народу», над нравоучительной идеалистической «тенденциозностью» Подлинная тенденциозность заключается не в нравоучениях и назиданиях, а в том, чтоб раскрыть линию развития действительности, *объективную логику жизни,* неодолимое движение нового и его борьбу со старым. «..Тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия, без того, чтобы на это особо указывалось».

Энгельс видел недостаток Минны Каутской в том, что в ее герое «личность растворяется в принципе» Маркс иронически замечал Лассалю, что героиня его трагедии в своем монологе излагает целую правовую доктрину. Шаткость и неопределенность взглядов на жизнь, неумение создавать правдивые образы людей обычно приводят к подмене жизненных героев ходульными персонажами, простыми рупорами своего времени.

Лживую идеалистическую тенденциозность основоположники марксизма критиковали во имя утверждения искусства глубокого, содержательного, богатого красками, правдиво отражающего объективные процессы общественного развития. Энгельс выступал против мелочности и субъективизма, когда в письме Лассалю выдвигал два взаимосвязанных положения.

Хорошо, когда герои действительно являются представителями определенных классов и направлений, а стало быть, определенных идей своего времени, черпают свое вдохновение не в мелочных индивидуальных прихотях, а в том историческом потоке, который их несет.

Но эти мотивы должны выдвигаться живо и активно ходом всего действия, а не ораторски-адвокатским красноречием героев. Подлинный драматизм создается живым напряженным действием и определенностью, отчетливым противопоставлением характеров.

«Полное слияние большой идейной глубины, осознанного исторического смысла... с шекспировской живостью и действенностью» — вот в чем видел Энгельс путь к созданию новой драматургии, замечая, что слияние это «будет достигнуто только в будущем, да, пожалуй, и не немцами».

Высказывания классиков марксизма о реализме и типичности достаточно ясны, и Демецу приходится немало помудрить, чтобы извратить их, сделать черное белым, а белое черным.

«Любое понятие типа,— пишет Демец,— опирается, в первую очередь, на теологические традиции, которые, исходя из божественного начала и неизменности мироздания, толкуют определенные образы и события из Ветхого завета как предсказания грядущих событий».

Дальше идет несколько страниц мнимонаучной болтовни о религиозной типологии — болтовни, которая должна запутать читателя: ссылки на религиозные авторитеты, на исследователей древних мифов и т. д. Какое это имеет отношение к теме? Если в религиозной традиции каждое событие соотносилось с похожим событием, описанным в библии, при чем тут реализм в литературе и проблема типизации?

Наш автор сообщает, что кроме религиозной типологии есть еще типология натуралистическая, основанная на исследовании и классификации реально существующих явлений природы. Все это имеет, по его словам, отношение к литературным типам. «Там, где преобладает теологическая направленность, содержание типического образа выражается в пророческом и нормативном элементе; там, где на передний план выступает естественно-научный подход, это же понятие находит свое отражение в объективном описании действительности .. Поэтому реализм, ориентирующийся на естественно-научное толкование, всегда ссылается на то, что изображает актуальную действительность, в то время как «реализм» теологического толка действует только в сфере потенциальных возможностей».

Для придания убедительности своим взглядам Демец обращается к примеру Жорж Занд, которая «защищала реализм утопической нормы».

Демец так и пишет, будто Энгельс «исходит из тех же теоретических предпосылок, что и Жорж Занд. По его словам, Энгельс, как и французская писательница за сорок лет до него или как его русский современник Добролюбов, придерживался догматической концепции, согласно которой «использованную как сырье действительность следует облечь в типические формы, предопределенные партийными позициями».

Так типичное оказывается не выражением самой действительности, как считал Эн-

---

Б РЮРИКОВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
И ЕГО «НИСПРОВЕРГАТЕЛИ»

гельс, а некой извне навязанной нормой; типизация представлена как насилие над действительностью. Мы специально привели выше упрек, сделанный Энгельсом М. Гаркнесс, которая не отразила *реального роста* освободительных, революционных стремлений рабочего класса. Но вот как трактует это замечание Демец:

«Энгельс мог утверждать, что реалистическая история Гаркнесс «недостаточно реалистична», подразумевая при этом, что отображенная ею реальность никоим образом не отвечала тому, что с его идеологических позиций следует считать реальностью».

Энгельс недвусмысленно сказал, что у Гаркнесс не нашло отражения *то, что есть,* то, что достигнуто полувековой борьбой английских рабочих, Демец же с деланной наивностью заявляет, что здесь содержится требование описывать явления такими, какими их хочется видеть.

Мы не стали бы столь подробно писать об этой многословной и мнимоученой фальсификации, если бы не то обстоятельство, что здесь во всей наглядности и неприглядности раскрывается едва ли не основной прием, которым пытаются дискредитировать социалистический реализм его противники.

Искусство социалистического реализма все в жизни; оно глубоко объективно, так как представляет самые передовые, самые объективные силы современного общества, жизненно заинтересованные в *правде.* Оно обладает перспективой, а не бродит растерянно в потемках декадентства — в самой жизни оно видит ведущие тенденции, определяющие силы, развитие которых закономерно ведет к осуществлению целей, которые провозгласил научный коммунизм. Оно учит бороться за эти цели. Противники хором твердят, что социалистический реализм исходит из должного, подгоняет действительность под «партийную схему», не считается с реальной жизнью.

Сила социалистического реализма — в связи с жизнью, с передовой общественной наукой, которая учит понимать жизнь и активно воздействовать на ее развитие.

Литература воспитывает *правдой*, она помогает познать человека и отношения людей, она несет идеалы, которые основаны на глубоком и всестороннем постижении жизни. Для нас идеал — не сладкая мечта. Благородные и прекрасные идеалы советских людей, выраженные в Коммунистическом манифесте нашей эпохи — Программе Коммунистической партии,— основаны на обобщении глубоких процессов развития общества, итогов деятельности и борьбы всех классов. Вот почему наши идеалы являются грозной реальной силой, ненавистной для врага

Вот почему зарубежные ученые и неученые шулеры стремятся извратить и оболгать принципы социалистической литературы. Вот почему г-н Демец хихикает насчет воспитательной роли литературы.

Чтобы покончить с г-ном Демецем, следует сказать еще об одном его трюке. Особая глава его книги носит название «Энгельс — ревизионист?».

Маркс боролся против схематического, упрощенного, вульгарно-экономического подхода к явлениям общественной жизни. В условиях, когда марксизм стремительно расширял свое влияние, одерживал все новые и новые победы, завоевывая умы трудящихся, к нему примкнули и некоторые бойкие и поверхностные умы, оставшиеся далекими от подлинной научной теории. Учение научного коммунизма они готовы были рассматривать как отмычку, схему на все случаи жизни, наивно полагая, что теория научного коммунизма избавляет их от необходимости пристального, конкретного диалектического изучения каждого явления, о котором они хотели бы иметь суждение. Маркс разъяснял, что эта теория не является догмой или шаблоном. После смерти своего великого друга Энгельс продолжал его борьбу. В ряде блестящих статей и писем он отстаивал марксистскую диалектику от всякого рода упростителей. Об одном из вульгаризаторов, П. Эрнсте, Энгельс писал: «...Он употребляет точку зрения Маркса как шаблон, по которому кроит и перекраивает исторические факты». От тех, кто хочет быть учениками Маркса, Энгельс требовал глубокого знания фактов, диалектического учета всех сторон явлений, понимания сложности исторического развития.

Развивая марксистскую теорию, Энгельс выступал и против примитивного истолкования сложного вопроса о связи экономического базиса и идеологической надстройки. В полном согласии с Марксом, он указывал, что на развитие философии и литературы экономика влияет главным образом не непосредственно, а через политику, право, мораль и т. д.

Марксизм не терпит ни малейшего упрощения и прямолинейности в исследовании сложных соотношений базиса и надстройки. И вот огромную работу Энгельса, развивавшего учение Маркса и очищавшего его

от нанесенной вульгаризаторами мути, П. Демец тщится представить как... ревизию взглядов Маркса.

«В более поздний период своей жизни Энгельс все более и более отходит от строгих принципов экономического детерминизма. Не исключено, что смерть Энгельса прервала новый этап в развитии его философских взглядов, когда он склонен был выступать за автономию законов, управляющих развитием свободного духа».

С текстами Демец позволяет себе обходиться более чем свободно. Он берет слова Энгельса, писавшего, что в своем анализе действительности диалектический материализм должен учитывать также «бесконечное количество случайностей», и «разъясняет» их:

«В этом высказывании вновь проскальзывает намек на существование целого мира нюансов, мира, не поддающегося точным определениям и свободного от каких-либо законов».

Г-на Демеца не смущает та азбучная истина, что для марксизма случайное не означает свободное от законов. Студенты первых курсов знают, что случайное — тоже одно из проявлений необходимости.

Демец пытается изобразить Энгельса как мыслителя, сдающего позиции идеализму. Напрасный труд! Своей борьбой против вульгарного материализма, против догматической прямолинейности Энгельс *укреплял* позиции материалистической диалектики, усиливал ее в борьбе против чуждых теорий и взглядов. Он продолжал дело Маркса, развивая его идеи. Создание лживого мифа о противоречиях во взглядах Маркса и Энгельса нужно Демецу для того, чтоб подтвердить тезис о «слабости» идейных основ марксизма. Но обнаруживается другое...

В книге Демеца бедность и примитивность мысли сочетается с шулерской бесцеремонностью и беззастенчивостью. И это не случайно. Именно так строятся «эстетические исследования», поставленные на службу антикоммунизма. Сам *уровень* рассуждений (мы затрудняемся назвать мышлением способ, которым г-н Демец приходит к угодным ему выводам) свидетельствует о слабости и несостоятельности очередного ниспровергателя теории марксизма. И если мы пишем о книге Демеца, то лишь потому, что еще Маркс советовал не поощрять интеллектуальную нечистоплотность, оставляя ее незамеченной.

■

Как-то в зимний день холодные волны Сены выбросили на берег нечто непривлекательное и дурно пахнущее. Нашлись, однако, добрые люди, которые подобрали это «нечто» и даже набрались решимости выставить его на всеобщее обозрение. Так в журнале «Эспри» появилась статья «О социалистическом реализме». Это выступление уже комментировалось в советской критике, но мы все же хотим еще раз коснуться его, так как в своем роде оно весьма поучительно.

Редакция «Эспри» сообщала, что статья написана молодым советским писателем, «естественно» сохраняющим в тайне свое имя. Итак — инкогнито, да еще с секретным предписанием, как говаривал Антон Антонович Сквозник-Дмухановский.

Стиль этой статьи отличается от напыщенно-солидного стиля Демеца. Аноним не пренебрегает риторикой, у него есть даже потуги на иронию, на пародирование стиля. Но метод рассуждений «неизвестного писателя» и хорошо известного нам фальсификатора Демеца в сущности одинаков.

Демец утверждает, что теория социалистического реализма исходит не из реальной действительности, а из долженствующего и предписанного. Аноним пишет: «В основе формулы соцреализма лежит идея Цели — того всеобъемлющего идеала, к которому стремится действительность в ее революционном развитии». Затем совершается нехитрый фокус-покус, понятие действительности исключается, и получается, что Цель (с большой буквы) становится целью самой по себе, неким божественным началом, данным извне.

«Эта *Цель* — конечная цель всего, как сущего, так и не существующего; и эта цель бесконечная и бесцельная — Цель сама по себе. Ибо какую цель может иметь Цель?»

В полном согласии с «исследователями» типа Демеца, наш аноним называет *теологической* теорию социалистического реализма.

Чего же хочет достигнуть сей «инкогнито» своими нехитрыми манипуляциями?

Во-первых, он ставит под сомнение жизненную правдивость, соответствие реальной действительности, объективность искусства социалистического реализма. Якобы от лица социалистических реалистов он заявляет: «Мы представляем жизнь такою, какою мы

хотим ее видеть, такою, какою она *должна стать*».

Наши писатели, художники, деятели театра и кино создают общими усилиями широкую панораму советской жизни. Они видят и побеждающее новое, и пережитки старого, и злобное сопротивление врага. Жизнь, какой она должна стать, вырастает из той, какая она есть сегодня. Перспектива развития жизни, которую дают наши художники, основана не на произвольной фантазии. Общество развивается по ясным и объективным законам, понимание этих законов, умение уловить в жизни и осознать действие определяющих общественных сил вооружает художников, позволяет им уверенно смотреть вперед. Революционное развитие жизни — это не туманное пророчество, а неумолимый поступательный процесс, и честь тому, кто увидит, поймет и отобразит его.

Новая Программа Коммунистической партии вся проникнута идеей диалектического развития. Она сочетает страсть вдохновенного порыва вперед, к коммунизму с последовательно проведенной научной объективностью. Не случайно Программа неразрывно связана с двадцатилетним перспективным планом развития народного хозяйства. Наши планы построения коммунизма всесторонне обоснованы экономически и политически. Социализм, коммунизм побеждают, двигаясь вперед с отчетливой закономерностью; путь развития коммунизма научно определен.

Противника страшит действительность, развивающаяся не согласно его пожеланиям, а согласно научным пророчествам коммунизма. Он хотел бы объявить сегодняшние достижения несуществующими, а завтрашние планы — необоснованными и фантастическими. Что касается реакционных эстетиков, они кричат о свободе искусства, а сами питаются крохами со стола идеологов и политиков своего класса. Тех тоже страшит неумолимое развитие действительности. Вот и пишут ниспровергатели, изнемогая от усердия, что социалистический реализм отражает не закономерное движение жизни, а субъективные цели, придуманные политиками и идеологами, и в свете этих целей искажает-де реальную картину бытия.

Таков первый фокус нашего анонима.

Второй фокус состоит в том, что социалистическое искусство рисуется лишенным гуманистического содержания. Цель, о которой рассуждает наш фокусник, бесцельна — «ибо какую цель может иметь Цель».

Коммунизм — для человека; живое и трепетное счастье человека, народных масс — вот цель коммунистического строительства Об этом с полной ясностью говорит принятая XXII съездом Программа партии

«Цель», о которой пишет аноним, изображается холодной, бездушной, мертвенной Это абстрактная цель, равнодушная к человеку. Но здесь — типичное буржуазное извращение коммунизма. Социалистическое искусство никогда не было и не будет равнодушным к человеку; гуманизм — его важнейшая, решающая черта. В этом особенность наших целей, наших идеалов, пронизанных благородством высокой человечности.

«Теоретических» построений нашему инкогнито явно не хватило для развенчания социалистического реализма. Тогда он обратился к художественной практике. С тем же рвением и находчивостью он рассматривает вопрос о положительном герое.

Горьковский герой, которому надоела мятущаяся неопределенность, бесхребетность окружающих его персонажей, бросает резко: «Всегда надо говорить ясно — да или нет».

Инкогнито скачет и играет:

«Горький понимал, что его «герой» — это человек будущего и что проложить путь в будущее могут только люди безжалостно прямые и твердые, как сталь».

Именно Горький обличал безжалостность мира Маякиных. Целеустремленность знающего свой путь борца за новые отношения людей для него была совсем не то же, что бессердечная, злобная прямолинейность дельцов старого мира.

Инкогнито из «Эспри» утверждает, что к безжалостной прямолинейности и сводится положительный герой советской литературы.

Инкогнито пишет о русской культуре XIX века, что она была создана «кучкой меланхолических скептиков». Цельности «положительных натур» с их идеалами служения обществу и народу он противопоставляет как положительное начало дряблость и бесхребетность отъединенных от общества «самостоятельных личностей». Для него XIX век — это золотой век.

«Девятнадцатый век — весь в поисках, заблуждениях, в порывах, с огнем или без него, беспомощный или не желающий найти себе место, неподвижный под солнцем, раздираемый нерешительностью, двойственностью».

И эти лирико-истерические рулады выдаются за теоретическую концепцию! Здесь

нет места фактам, истории, признанию того, что в XIX веке в России были не только ищущие, но и нашедшие, не только заблудившиеся, но и вышедшие на ясный путь, не только беспомощные, но и сильные, гордые сознанием своей силы. Именно они оказали решающее влияние на судьбы родины. Были и декабристы, и Белинский, Герцен, Чернышевский, Некрасов, были революционеры-семидесятники, был Петр Алексеев. Русские марксисты активно заявили себя в XIX веке, и в XIX веке Ленин создавал теоретические и организационные основы партии коммунистов.

Нашему анониму свободнее и просторнее среди дряблых и растерянных людей, не знающих ни цели, ни ясных идеалов, ни долга перед народом (а то, что лучшие из «лишних» людей мучались как раз потому, что искали пути к реальному делу для блага народа,— для него не существенно). Ему претит убежденная прямота «новых людей», с их «разговорами о народе и коммунизме». Он возмущается.

«Исключительное, деспотическое господство утилитарно-морального критерия, столь же исключительно давящее господство народолюбия и пролетаролюбия, поклонение «народу», его пользе и интересам...» — таковы, по его мнению, грехи русской интеллигенции.

Впрочем, эта цитата уже не из анонима.. Это из статьи Н. Бердяева в пресловутом сборнике «Вехи». Но очень уж похожа она всем своим духом на писания анонима!

И еще одна цитата из «Вех», на этот раз из статьи М. Гершензона·

«...Внутренняя жизнь личности есть единственная теоретическая сила человеческого бытия... Она, а не самодовлеющие начала политического порядка является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства».

«Вехи», эта, по выражению Ленина, энциклопедия либерального ренегатства, ярчайшим образом выразили всю моральную растленность, всю антиобщественную эгоистичность, всю чуждость и враждебность демократическим, народным стремлениям буржуазной интеллигенции, пошедшей на службу реакции.

Нас мало интересует, кто такой аноним, написавший статью о социалистическом реализме в журнале «Эспри». Никто не собирается раскрывать его инкогнито — напялил маску, пусть ходит в ней! Но работает этот субъект топорно. Весь дух статьи, ее форма, манера и «эрудиция» автора показывают, что сфабрикована эта подделка в той барски-интеллигентской среде, связанной, видимо, с белоэмигрантскими кругами, где живы традиции «Вех» и религиозно-философского общества, провозглашавшего поход на материализм.

И если автор повторяет то же самое, что говорили реакционнейшие публицисты в самый позорный период русской общественной мысли,— одного этого достаточно для характеристики его откровений.

Некоторые журналы в Англии, США, боннской Германии поспешно перепечатали статью анонима, да еще сопроводили ее своими примечаниями — достоверно, показания свидетеля... Подозревали ли они, в какую лужу попали вместе с незадачливым инкогнито? Вероятно, подозревали, подделка очень уж грубая, но антикоммунистическая злоба затуманила им взоры. Забыли они, что озлобление — плохой советчик.

Кстати, еще об одном инкогнито.

Не только журнал «Эспри» оказался падок на отбросы. В прошлом году в Англии и Франции вышел роман «из советской жизни» под названием «Суд идет». Автор укрылся под псевдонимом Абрама Терца. «Это чрезвычайно интересный роман во всех отношениях»,— поспешила заявить тогда манчестерская «Гардиан». Какую же жизнь изображает автор? Мы воспользуемся сочувственным изложением этой солидной буржуазной газеты — здесь, как говорится, все становится ясно. По словам автора, книга раскрывает «интимную» сторону жизни советского общества и «рассказывает о семейной жизни прокурора Владимира Глобова, хорошего семьянина и надежного защитника коммунистического режима. Его жена — это самовлюбленная женщина, которая каждое утро нагишом позирует перед зеркалом, а Владимир в это время наблюдает за ней через замочную скважину. Их сын, школьник Сережа, организует тайное общество, состоящее из него и некой девочки в очках. Целью детской забавы является свержение правительства и создание подлинно коммунистического общества. Два агента тайной полиции по ночам обходят район, разрабатывая план повышения эффективности своей работы путем установления фильтра в каждой канализационной

Б. РЮРИКОВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
И ЕГО «НИСПРОВЕРГАТЕЛИ»

трубе для вылавливания всяких криминальных документов, которые спускаются в унитазы...»

Критику «Гардиан» понравился «своеобразный», спокойный тон книги, мастерство и трезвый рассудок автора. Что ж, на вкус и цвет товарища нет. Но даже из сочувственного изложения ясно, что перед нами неумная антисоветская фальшивка, рассчитанная на очень уж невзыскательного читателя. Образы ее навеяны не советской жизнью, а в лучшем случае сексуально-антиреволюционными произведениями эпохи безвременья, подобными «Навьим чарам» Соллогуба да рассказам Арцыбашева.

Ратующие против социалистического реализма, эстетические рыцари «холодной войны» — к какой достоверности, к какой правде тянут они?.. Не зря инкогнито, расхваленный «Гардиан», упомянул трубы известного назначения — не это ли источник осведомленности анонимов и псевдонимов?

■

Мы более близко познакомились с двумя критиками социалистического реализма. Это знакомство отнюдь не из приятных. Но нам надо знать, что пишут и говорят враги, надо знать их аргументацию, смысл их нападок.

Общественная суть этих писаний ясна: они стремятся дискредитировать духовную и художественную жизнь советского общества, «опровергнуть» марксистское мировоззрение и «развенчать» новую советскую культуру, чтоб защитить и возвысить старое собственническое общество и его культуру.

Эстетическое содержание (если тут можно говорить о содержании!) вытекает из общественного. Наши враги отстаивают чуждую народу идеалистическую эстетику, антиобщественное, антидемократическое искусство с его мелкими, убогими стремлениями.

Это — атака на искусство нового мира с позиций воинствующего *антигуманизма,* с позиций *антиреализма.*

Когда раздавались особенно яростные крики о конце социалистического реализма, Луи Арагон ответил спокойной статьей «Социалистический реализм не умер». Социалистическое искусство постояло за себя прежде всего не полемикой, а *творчеством* — романами, пьесами, стихами. Подлинный облик и сущность социалистического реализма раскрываются в творчестве Горького и Маяковского, в «Судьбе человека» Шолохова, «Страстной неделе» Арагона, драмах Б. Брехта, стихах П. Неруды, в произведениях лучших писателей стран социализма и прогрессивных писателей капиталистических стран.

На Втором всесоюзном съезде советских писателей К. Федин остроумно говорил: «..Когда нас спрашивают, что такое социалистический реализм, а мы отвечаем: познакомьтесь с совокупностью лучших произведений разных советских писателей,— мы часто видим на лицах наших собеседников разочарование.

От нас ждут рецептуры! И что удивительно: чем больше зарубежный писатель говорит о том, что искусство свободно, а мы, советские писатели, нивелируем искусство и регламентируем его, тем более он настойчив и даже агрессивен в своем требовании, чтобы мы, в конце концов, дали ему совершенно точный ответ: что же такое социалистический реализм и как этим методом надо оперировать.

Мне кажется, отчасти под нажимом своей агрессии такой писатель и получает иногда нечто похожее на рецепты: в социалистическом реализме требуется: 50,0 положительного героя, 5,0 отрицательного героя, 1,00 общественных противоречий, 1,00 вдохновенной романтики, 100,0 аква дистиллята. Рецептами искусство не создается».

В марксистском движении встречаются сектанты, но Ленин был абсолютно прав, когда писал, что «в марксизме нет ничего похожего на «сектантство» в смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего *в стороне* от столбовой дороги развития мировой цивилизации». Именно поэтому движение научного коммунизма успешно преодолевало и преодолевает сектантские тенденции и в теории и в практической деятельности. Среди деятелей советской литературы встречались и встречаются люди, зараженные сектантскими тенденциями, но в *основах* социалистического реализма, в его идейных и художественных *принципах* нет ничего похожего на сектантство, узость, обособленность от столбовой дороги развития мирового искусства — вот почему литературное движение успешно преодолевает как ревизионистские, так и сектантские, догматические тенденции.

Наши недруги стараются представить социалистический реализм как некую систему догматических запретов. Если послушать их, новому искусству запрещены: фантазия,

эксперименты, интерес к внутренней жизни личности, признание роли интуиции, символический образ, мечтательность и т. д. и т. п.— трудно даже просто пересказать все те благоглупости, которые пишут и говорят о социалистическом реализме. Придумали себе эти господа примитивного и недалекого противника и воюют с ним, не задумываясь над тем, что раскрывают они не слабость социалистического реализма, а невысокий уровень собственных интеллектуальных возможностей.

А пока наши обличители скачут и резвятся вокруг изготовленного ими же чучела, искусство социалистического реализма плодотворно развивается, марксистская эстетика и критика тоже идут вперед, стремясь обобщить опыт творчества и разработать новые вопросы, поставленные художественным развитием человечества.

В 1961 году вышел сборник «Проблемы социалистического реализма», составленный на основе материалов дискуссии, проведенной Союзом писателей СССР и Институтом мировой литературы Академии наук. Опубликованы книги и статьи, посвященные социалистическому реализму в советской и зарубежной литературе,— И. Анисимова, Л. Тимофеева, В. Озерова, Л. Новиченко, В. Щербины, А. Иващенко, В. Днепрова, Т. Мотылевой и других. Авторы всех этих работ видят свою задачу в защите, обосновании и развитии социалистического реализма. Свои выводы и обобщения они строят на творческом опыте передового искусства.

Мы совсем не думаем, что все благополучно в нашей литературе и эстетике. Рост нового—всегда трудный рост. Искусство, отражающее новый мир, создающийся в борьбе, в противоречиях, при сопротивлении старого, проходит особенно сложный путь развития. Среди книг наших писателей немало слабых, приблизительных, не отвечающих требованиям народа, не отражающих реальное духовное богатство советского общества. Среди книг литературоведов и критиков также есть и неудачные, стоящие по своему уровню ниже того опыта, что накопила проза, поэзия, драматургия.

XXII съезд КПСС поставил перед советской литературой и искусством высокие задачи. В программе партии подтверждено, что главная линия развития искусства — это линия связи с жизнью и борьбой народа, активного участия в коммунистическом строительстве. Включение в народную жизнь обогащает искусство, открывает перед ним новые возможности, помогает преодолевать слабости и недостатки.

Наша эстетическая наука, литературная теория и критика настойчиво разрабатывают важные проблемы художественного творчества. Среди них — проблемы народности и партийности искусства; разработка их неотделима от разоблачения буржуазно-эстетских и ревизионистских измышлений и сектантских извращений. Вопросы современности искусства — не внешней «актуальности», а глубокого постижения процессов развития общества, отношений людей, роста человеческих характеров. Вопросы классического наследия, новаторства, многообразия художественных форм и стилей в социалистическом реализме. Вопросы национального своеобразия братских литератур народов СССР и укрепления их идейной общности.

И, как бы ни были серьезны недостатки эстетики и критики, нет оснований не замечать тех творческих успехов, что достигнуты в этой области, особенно за время после XX съезда КПСС. И то, что исправлен ряд ошибок в освещении проблем искусства и культуры, преодолены некоторые ошибочные, догматические концепции, тормозившие развитие эстетической теории и критики,— все это благотворно сказалось на движении литературной мысли.

Теория социалистического реализма обязывает с величайшей внимательностью относиться к национальным особенностям литературы и искусства в каждой стране. Теория эта — не сумма абстрактных положений, а обобщение конкретного художественного опыта современности. Развитие социалистического реализма — процесс огромного интернационального значения Много сделали для изучения и обобщения важнейших процессов современного искусства наши зарубежные друзья. Достаточно указать хотя бы на обсуждение проблем реализма и романа во Франции, дискуссии о неореализме и авангардизме в Италии, дискуссию о состоянии и задачах критики в Чехословакии, обсуждение проблемы общественной роли литературы и роли писателя в борьбе за социализм в Германской Демократической Республике и еще ряд примеров коллективного обсуждения больших теоретиче-

---

Б. РЮРИКОВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
И ЕГО «НИСПРОВЕРГАТЕЛИ»

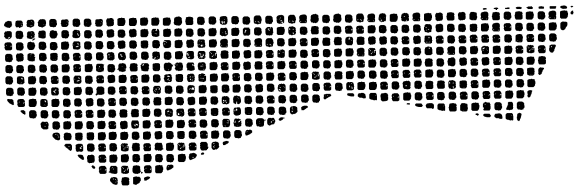
ских проблем, чтоб стало ясным, как активно ищет передовая критическая и эстетическая мысль ответа на вопросы современности.

Метод социалистического реализма — не что-то застывшее и неподвижное, он обогащается современностью, он не дает рецептов, а помогает в каждом новом случае искать творческое решение *новых вопросов*, он исходит из художественной практики и помогает ей в движении к все более полному и совершенному постижению мира в его многогранности, динамичности и красоте. Этот метод не догма, напротив, всем своим существом он направлен против любых догм!

XXII съезд КПСС открыл замечательные перспективы для советского художественного творчества, для всей социалистической культуры.

Перед литературой и искусством социализма — огромный труд, напряженные искания, но труд и искания приведут к радости больших художественных открытий. Успехи художников служат народу, приносят высокое удовлетворение миллионам людей, умеющих ценить свое искусство. Есть, однако, на свете господа, которые год за годом уныло твердят о необоснованности и ошибочности социалистического реализма. В своем унылом рвении они не видят и не хотят видеть, что само развитие жизни и искусства давно опровергло все их рассуждения. Впрочем, что им до жизни, до искусства? Что им до истины?

МАКРИС (*Греция*). **Марш мира.**



И. ЛЕВИДОВА

В ТЕАТР ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГЕРОЙ

(ЗАМЕТКИ О МОЛОДЫХ ДРАМАТУРГАХ АНГЛИИ)

«Очень досадно бывает, когда работу Биэна, Уэскера, Копса, Осборна и всех нас обсуждают скопом и ставят на нас одно клеймо, в то время как все мы совершенно разные».

Двадцатидвухлетняя Шейла Делани, самая молодая из молодых людей, пришедших в последние годы в английский театр, произнесла эти решительные и негодующие слова. Вполне справедливые слова. И если дальше все же речь пойдет о *нескольких* драматургах, то вовсе не потому, что их можно объединить в какую-то группу или школу (хотя ярлык «школа кухонной раковины» давно уже прилеплен охочей до броских обобщений буржуазной журналистикой), но потому, что все они вошли в театр за последние годы под разноголосый, подчас откровенно враждебный, но явно взволнованный гул публики и критики.

Быть может, наиболее кратко и выразительно охарактеризовал ситуацию в английском театре критик Мервин Джонс в предисловии к пьесе Бернарда Копса: «Пять лет назад,— говорит он,— у нас был театр, вежливо именовавшийся «театром актера». Это означало, что уровень актерского и режиссерского мастерства достиг вершин безынициативного совершенства, которое проявлялось либо в удручающе тривиальных современных пьесах, либо в пышных возобновлениях пьес классического репертуара».

Действительно, добрых два десятка лет английская драматургия являла собой грустную картину.

Не оказалось наследников у врага всяческой тривиальности Бернарда Шоу. Пьесы Шона О'Кейси чтятся в Англии, но очень редко идут в ее театрах. Бутафорское сверкание выверенного юмора Коуарда пришло на смену блеску фехтовальных рапир остроумнейшего Уайльда. Серьезная психологическая и социальная драма Голсуорси сменилась сдержанной семейной и бытовой мелодрамой Теренса Рэттигана. Пристли, так интересно сочетавший в лучших своих вещах 30—40-х годов меткость социальных наблюдений, лирический юмор и композиционную смелость, почти не писал пьес в последнее время; те, что появились, не оставили следа в английском театре. В противовес безнадежно прозаической пьесе культивировалась изысканная стихотворная драма; вслед за Т. С. Элиотом ее разрабатывали Кристофер Фрай, Р. Дункан и другие. В отличие от своих славных предшественниц XVI—XVII веков эта стихотворная драма осталась главным образом литературным явлением, камерным по своему резонансу. Примерно то же произошло с пьесами Г. Грина, Д. Лессинг, М. Ласки, Э. Уилсона, хотя они подчас обращались к важным моральным и общественным проблемам современности.

Это — отдельные, наиболее яркие имена, а что же сказать о «стандартной продукции»? Добрых два десятка лет главным местом действия в подавляющем большинстве английских пьес была гостиная (если не спальня). Пьесы, как и гостиные, могли быть разными — и побогаче и победнее. Бодрым, неутомимым потоком шли эти аккуратно выполненные литературные изделия. Шли одноликие детища коммерческого

театра: уголовные детективы с наказанием порока под занавес, «треугольники», «четырехугольники» и прочая адюльтерная геометрия, комедии, слегка царапающие нравы, бытовые юморески с «колоритными фигурами простых людей», популярные психологические этюды на фрейдистской подкладке, глуповатые фарсы и мещанские моралитэ...

Не следует думать, однако, что «удручающе тривиальных» пьес, на которые сетует М. Джонс, стало сейчас намного меньше, чем прежде. Что же изменилось?

В сезоне 1956 года лондонские зрители увидели на сцене всклокоченного молодого человека Джимми Портера и услышали, как он, давясь от бешенства и сарказма, комментирует содержание пухлой воскресной газеты. Позднее критика связала пьесу начинающего драматурга Джона Осборна «Оглянись во гневе» с вышедшим за три года до этого романом начинающего писателя Кингсли Эмиса «Счастливчик Джим», и на страницах печати появился термин «сердитые». В «Счастливчике Джиме» тезка героя Осборна — Джим Диксон, пропадая с тоски в затхлом провинциальном колледже, изводит свирепыми проказами и свое слабоумное начальство, и местный «бомонд».

Пьеса Осборна вызвала бурную и крайне противоречивую реакцию, консервативная часть публики и поборники «вежливого», «салонного» театра встретили ее в штыки. Герой ее не вызывал симпатий большинства зрителей — характером он был наделен отвратительным. Но беспомощная бравада, ранимость, злость способного, думающего, полного сил и праздно кипящего интеллигента, который вышел из рабочей среды и оказался социально на «ничьей земле», не оставляли зрителя равнодушным. Успех пьесы, прежде всего у молодежи, определила близость настроений Джима Портера довольно широкому кругу молодых англичан.

Экономические и социальные сдвиги первых послевоенных лет породили явление, которого еще не было в истории Англии: к образованию, к умственному труду впервые прорвались большие группы представителей «непривилегированных классов». Окончив университеты, эти молодые люди испытали чувство разочарования, ибо Welfare State («государство благоденствия»), столь увлекательно разрекламированное лейбористами перед выборами, при ближайшем рассмотрении оказалось во многом «phoney» («липой» — если позаимствовать у «сердитых» их не слишком научную, но выразительную терминологию).

Здесь не место говорить о «сердитых» и романах, которые они писали и пишут. За этим привычным уже термином скрывается вовсе не устойчивая по своему составу группа и не лагерь, объединяющий писателей близких социально-эстетических позиций. В этом смысле «сердитые» — миф, всего лишь удобный ярлык. Давно уже идут разными путями авторы, имена которых в свое время были связаны с понятием «сердитых», некоторые из них с тех пор сменили на благодушие и те ограниченные запасы социального критицизма, которыми располагали. Но, так как причины, рождающие этот критицизм, отнюдь не исчезли в Англии наших дней, больше того, многие проблемы приобрели еще более острый характер, в литературу приходят новые молодые писатели, творчество которых насыщено тревожной неудовлетворенностью существующим порядком вещей. Сегодня к их числу в первую очередь относятся молодые драматурги. Пришли они, в большинстве своем, из рабочей среды и систематического образования не получили; их «университеты» — самые разнообразные занятия, перемежавшиеся случайными и скудными литературными заработками. В известной мере они продолжают традицию «сердитых», но совсем по-иному, на более широком жизненном материале, с иных позиций. Изменился, прежде всего, социальный герой: в романах Эмиса, Уэйна, Брейна это был клерк, учитель, библиотекарь, в ряде романов их нынешних продолжателей и подражателей — бесшабашные студенты и просто очень молодые люди без определенных занятий. С Уэскером, Биэном и другими драматургами на английской сцене появились городские и сельскохозяйственные рабочие, мастеровые, солдаты, бродяги, арестанты... Важную особенность и силу этих молодых драматургов составляет их интерес к индивидуальному характеру, к конкретной человеческой судьбе.

Стоит, пожалуй, начать разговор с одного из наиболее популярных сейчас в Англии молодых драматургов — с двадцативосьмилетнего Арнольда Уэскера. Он совсем недавно стал писателем, а до этого был плотником, землекопом, сельскохозяйственным рабочим, продавцом в книжной лавке и даже поваром в парижском ресторане. Презрительное «школа кухонной раковины», введенное в обиход недоброжелателями этой

«плебейской» драматургии, явно обязано своим происхождением Уэскеру — первая вещь его так и называлась «Кухня». Действие ее происходит в кухне ресторана при большом парижском отеле. Здесь, в чадной духоте, кипит нескончаемая рабочая суета, которую автор пытается воссоздать на сцене во всех ее натуралистических деталях. Композиционно это еще очень бесхитростное произведение. В «производственный процесс» вписаны эпизоды, составляющие драматическую основу пьесы: эпизод с бродягой, зашедшим сюда в надежде поживиться чем-нибудь съестным, торопливое и горькое объяснение молодого героя со своей возлюбленной. Герой Уэскера (под именем Ронни Кана мы встретим его позднее в других пьесах) здесь зовется Петером; это наивный романтик, а иногда скандалист, вечно попадающий в разные истории. Это он — незадачливый друг расчетливой замужней женщины; это он дает бродяге пару котлет вместо жиденького супа в пустой консервной банке — филантропической дани шеф-повара. За это он получает гневный, красноречивый нагоняй от хозяина — нагоняй, завершающийся бурным скандалом с порчей кухонного имущества. В пьесе немало угловатого, наивного, она полна лишних житейских подробностей, и все же Уэскер овладевает интересом читателя. Очень хорош у него диалог, свежий, динамичный, насыщенный разговорным, не «олитературенным» юмором.

«Кухня» была лишь эскизом к большому полотну, принесшему Уэскеру известность,— его драматической трилогии, в которую входят пьесы «Ячменный суп с курицей», «Корни», «Я говорю о Иерусалиме» (1958—1960). Трилогия (она может быть названа так лишь условно) охватывает период в 25 лет — с середины 30-х годов до наших дней, но действие всех трех пьес происходит примерно в одно и то же время: в первой — между 1936 и 1959 годами, во второй — в середине — 50-х годов, в третьей — между 1946 и 1960 годами. Перед нами — драматическое повествование, посвященное рабочей семье Канов, и вместе с тем попытка создания социально-политической хроники двадцатипятилетия, насыщенного огромными историческими событиями. Мы видим, как эти события преломляются в судьбах, мыслях, чувствах людей, которых показывает драматург. Семейство евреев-иммигрантов Канов состоит из отца Гарри, матери Сары, взрослой дочери Ады и ее юного брата Ронни. Вокруг них — многочисленная родня, друзья, товарищи. В этой маленькой бедной квартирке пролетарского района Лондона — Ист-энда никогда не бывает пусто. И отец и мать — коммунисты; в час, когда рабочий, демократический Лондон готовится выйти на улицы, в знак солидарности с испанскими республиканцами, у Канов стихийно возникает своего рода штаб демонстрантов-антифашистов. В этой семье сложились трудные и очень эмоциональные отношения, «пульс» которых автор доносит с помощью на редкость выразительного диалога.

Одно из событий первой части трилогии — отъезд в Испанию, где идет гражданская война, молодого Дэйва Симмондса, приятеля Канов; Ада Кан станет его женой.

В пьесе «Я говорю о Иерусалиме» Дэйв Симмондс — за его плечами гражданская война в Испании и фронт второй мировой войны — наконец вернулся домой. Он ненавидит город, безрадостный труд на хозяина, «муравьиную суету» на фабриках и в конторах. Искусный плотник, талантливый ремесленник, он решает жить «близко к земле», заняться кустарным производством мебели и построить для себя «собственный социализм» в духе утопических идей Уильяма Морриса, социалиста, художника XIX века. Вместе с Адой Дэйв перебирается в деревенский коттедж, затерянный среди полей Норфолька, северного сельскохозяйственного района страны.

Как и следовало ожидать, утопическая идиллия Симмондсов после многих лет упорной борьбы в конце концов терпит крах. Значительно увеличившаяся к этому времени молодая семья возвращается в лондонский подвал. Однако ни Ада, ни Дэйв не сломлены поражением; они слишком привязаны друг к другу, слишком жизнелюбивы, чтобы прийти к внутренней опустошенности, как иные их сверстники, расставшиеся со своими иллюзиями. Но для Ронни Кана гибель мечты Симмондсов — тяжелый удар. Ронни охвачен приступом бурного полуребяческого отчаяния, но семья — насмешливая, бранчливая, сумасбродная и нежная семья Канов — не дает ему пасть духом, как и в минуты других кризисов.

Сара Кан, преданная жена и мать, горячий, цельный человек, вносит в свои политические убеждения ту же страсть и неуго-

монность, которые свойственны ей в домашней жизни. Сара Кан с ее яркой все еще чуть ломаной речью (юность ее прошла в Венгрии), с ее колючей иронией и сердечным юмором, с ее гневными тирадами, с ее недоумениями и страхами, но более всего — с простой и несокрушимой верой в то, чему она раз и навсегда поверила,— образ, исполненный большой и притягательной силы

И не случайно именно эта героиня защищает в пьесе революционные традиции рабочего класса, защищает идеи коммунизма от нападок отступников: и тех, кто просто обмещанился, превратился в самодовольных лавочников (есть и такие знакомые у Канов), и тех, кто, подобно Ронни, оказался в идейном тупике под влиянием венгерских событий.

Когда надломленный, упавший духом Ронни говорит в финале пьесы, что ему сейчас не во что верить и нечем жить, мать отвечает ему с горячей убежденностью, гневом, болью: «...Когда ты был маленьким и повсюду была безработица, тогда все были коммунистами! Но теперь все изменилось... Теперь люди забыли. Иногда мне сдается, что не стоит и воевать за них, так легко они все забывают! Подбросьте им пару лишних шиллингов, чтобы положить на книжку и купить телевизор, и вот уже им кажется, что все позади, что больше им нечего добиваться, что больше не о чем думать. Значит, этого ты хочешь? Такого мира, где люди ни о чем не думают?.. Ронни, Ронни, прошу тебя, не дай мне закончить жизнь с мыслью, что я прожила ее бессмысленно. Слышишь, Ронни, ты не можешь быть безразличным, не можешь, иначе ты погибнешь!»

Немолодая, не очень грамотная работница оказывается не только мужественнее, но и мудрее, последовательнее своего сына.

В «Корнях» ни один из Канов не появляется на сцене, но по существу это пьеса и о них, в первую очередь о Ронни. Его любит героиня пьесы, Битти Брайант, молодая лондонская официантка, родом из Норфолька. На две недели она приезжает домой, вслед за ней должен впервые приехать сюда и Ронни — они собираются пожениться. Отец Битти работает в имении крупного землевладельца, вся родня ее связана с землей, со скупо вознаграждаемым, тяжелым и монотонным трудом. В торжественный вечер, когда в коттедже Брайантов родичи в полном составе ждут жениха, от Ронни приходит письмо. В нем сказано, что Ронни еще раз продумал свои отношения с Битти и понял: из брака их ничего не выйдет, слишком они разные во всем, слишком упорно противится она всем его попыткам вовлечь ее в свои интересы; лучше им расстаться.

О любви Битти и Ронни мы узнаем лишь из рассказов Битти, но узнаем немало, потому что она редко говорит о чем-либо ином. Ронни хочет, чтобы женщина, которая близка ему, разделяла все его стремления и интересы. Битти трудно расстается с крестьянской косностью и недоверчивостью, но в то же время жадно впитывает все, услышанное от Ронни и его друзей Все ее разговоры с родными — сплошные цитаты «из Ронни». Нетрудно догадаться, что запальчиво и бессвязно критикующая норфолькские нравы Битти производит на свою родню несколько странное впечатление. И когда семейство узнает о предательстве Ронни, на ошеломленную этим ударом «блудную дочь» обрушивается и сердитая отповедь миссис Брайант, которой надоело слушать упреки в бескультурье, косности и прочем, упреки, явно идущие от «городского критикана». Но именно в эти тяжкие минуты Битти вдруг обретает свои, а не заимствованные слова. Ее горькая жалоба на судьбу переходит в монолог о сером, убогом существовании огромного множества людей, о рабочих людях города и деревни, привыкших довольствоваться теми пошлыми суррогатами культуры, которые выбрасывают на массовый рынок власть имущие.

В «Корнях» ощущается жизнь прижимистая, опасливая, кротовья. Технические новшества английской деревни ничего в ней существенно не изменили. На фермах вводится автоматизация, но она угрожает батракам безработицей; в зажиточных домах — телевизоры, но вокруг все то же невежество, предрассудки, сплетни. Речь норфолькских крестьян Уэскер передает превосходно — речь медлительную, вялую, но подчас проперченную грубым метким юмором.

Фигура самой Битти в какой-то мере условна; это отступление от бытового правдоподобия сознательно, в нем заключено своеобразие пьес Уэскера. Вряд ли, как пишет сам автор, реальная Битти могла бы произнести заключительный монолог пьесы Эту условность мы готовы принять, на то и театр; есть, однако, здесь и психологическая неувязка: Битти в своих рассказах так наблюдательно и тонко характеризует и Ронни, и суть их конфликта, что трудно представить себе эту живую, веселую, про-

ницательную молодую женщину в роли безгласной туповатой «деревенщины», какой она кажется в Лондоне. И все же образ Битти — не лондонской, а норфолькской — живет: мы ее видим и слышим, и она нам определенно нравится.

Трилогия Арнольда Уэскера при всей политической остроте ее темы — прежде всего сугубо лирическое произведение; не приходится сомневаться, что в образ Ронни вложено очень много «своего».

Смятения и тревоги Ронни — это во многом неуверенность и сомнения самого автора, хотя в споре матери с сыном он явно на стороне Сары Кан. Видимо, ясного представления о путях рабочего движения в сегодняшней Англии у Уэскера нет, и это отразилось в идейной незавершенности его творчества. При этом Арнольд Уэскер много делает во имя того, чтобы трудящиеся Англии получили доступ и развили вкус к подлинной, а не коммерческой культуре, и его выступления и организационная работа под девизом «культура — кровное дело профсоюзов» приносят уже некоторые результаты: в Англии стали проводиться рабочие фестивали по типу эдинбургских, где показывается лучшее, что создано во всех видах искусств.

Арнольд Уэскер принес в английский театр дарование еще порядком шероховатое, но полное живых и свежих сил. И не в том суть, что «открылась дверь в кухню», а в том, что на сцену пришли герои, которых прежде терпели лишь в качестве объявляющих «кушать подано» или эпизодических «характерных персонажей».

«Плебейские» герои действуют и в пьесах тридцатилетнего Гарольда Пинтера. В украшательстве и социальном благодушии его тоже не упрекнешь. Но в его творчестве чувство неблагополучия современной жизни приобретает совсем иной смысл.

Пинтер десять лет был актером в различных театрах. Ему принадлежат опубликованные и поставленные между 1957 и 1961 годами пьесы «Комната», «Лифт», «День рождения», «Легкая боль» и скетчи для радио и телевидения. Прежняя профессия Пинтера сказывается в его драматургической технике: он очень остро ощущает роль слова и паузы на сцене, пьесы его отмечены напряженным внутренним ритмом.

Литературные родичи этого драматурга очевидны: это Беккет, к которому Пинтер относится восхищенно, Ионеско с его темой абсурда повседневности, а предок — все тот же Кафка с его кошмарами и неотступной угрозой, против которой человеку нет смысла бороться. Если бы к этим влияниям и сводилась суть творчества Пинтера, оно не вызывало бы интереса, эпигонства подобного толка на Западе сейчас более чем достаточно. Но в Пинтере проступает самостоятельность, пусть скорее еще только потенциальная. Там, где Беккет — подчас с блеском — варьирует одно и то же: свое собственное, небрезгливо равнодушное, ухмыляющееся от безнадежности «я», там у Пинтера попытка заглянуть в какие-то уголки очень по-своему воспринятой, очень «недосказанной», но все же объективной действительности.

Недосказанность — отличительная черта пьес Пинтера. Содержанием их служат не правдоподобные житейские случаи и не определенные социальные факты: в них, точно в тяжелом сне, воплотились подспудные страхи пресловутого «маленького человека» современного капиталистического общества. Герой Пинтера беспомощен, косноязычен, внешне примитивен. Но, когда он страдает от страха, одиночества, от вмешательства непонятных ему зловещих сил в его судьбу, читатель испытывает чувство пронзительной жалости, более того — пронзительной горечи. Сочетание метких бытовых штрихов, свирепой пародийности и внутренней эмоциональности создает очень своеобразный эффект. Перед нами возникает картина изрядно «сдвинутого» и в то же время весьма обыденного и даже деловитого бытия, картина жестокого темного мира, в котором человеку до человека не достучаться.

У этого самого как будто бы «антиреалистичного» из молодых английских драматургов автора явные задатки очень интересного реалиста; об этом говорит хотя бы образ старого бродяги Дэвиса в одной из последних пьес Пинтера «Сторож». Думается, что раскрытие этих возможностей во многом зависит от того, сформирует ли Пинтер в полной мере свой собственный, а не заимствованный взгляд на жизнь. Чужой багаж бездумного негативизма, занимающий в творчестве этого талантливого драматурга немало места, рискует довольно быстро превратиться в балласт. Суть здесь не в художественных приемах, а в том мировосприятии, которое они выражают. В этом плане Гарольд Пинтер, разделивший

с другими молодыми писателями «честь» быть зачисленным в «школу кухонной раковины», стоит среди них явно особняком.

Брендану Биэну сейчас под сорок, это уже вполне сложившийся драматург; он — ирландец, живет в Ирландии, пишет об Ирландии. И все же творчество его, как это произошло с рядом талантливых ирландских писателей, стало фактом английской литературы. Первоначальное знакомство Биэна с Англией носило особый характер: сын дублинского маляра, он с 16 лет участвовал в ирландском национально-освободительном движении и около восьми лет провел в английских тюрьмах и исправительных колониях. О трехлетнем пребывании в «борстале» — одной из колоний для несовершеннолетних преступников — он рассказывает в автобиографической повести.

Брендана Биэна любят «подавать» иллюстрированные журналы, на страницах которых он предстает эдакой колоритной фигурой, бражником, веселым циником, с буйной шевелюрой и речью, уснащенной «кельтской солью». Но совсем не такой он рубаха-парень, а за обликом «бесшабашного гуляки» скрывается и злость, и горечь.

Кочуя по тюрьмам, Биэн, разумеется, немало испытал и повидал; довелось ему и говорить с осужденными на смерть накануне их казни. Действие пьесы «Этот парень», поставленной в Лондоне в 1956 году и тогда же опубликованной, происходит в тюрьме накануне казни молодого арестанта, приговоренного к смерти за убийство. Сам он ни разу не появляется на сцене, но все приготовления к торжественному ритуалу повешения, все, происходящее с «тем парнем» и вокруг него, раскрывается в беседах и комментариях заключенных, надзирателей, начальства и других участников этой трагикомедии. Да, это не оговорка, пьеса названа именно так, и она действительно пронизана юмором — не примиряющим, мягким юмором О. Генри, а жестоким, подчас циничным весельем загнанных на самое дно людей.

Но сам Биэн не циник, и его пьеса — страстное обвинение обществу, для которого узаконенное убийство оказывается главным средством борьбы со злом, в подавляющем большинстве случаев этим же обществом и порожденным. Не прибегая к публицистичности, Биэн выступает с очень недвусмысленным социальным комментарием. Им насыщены афористические высказывания видавших виды обитателей тюремного корпуса о жуликах куда большего масштаба, остающихся безнаказанными. Биэн — предельно лаконичен, стиль пьесы прост и упруг, патетика надежно упрятана в подтекст. Буйная жизнь, играющая в его творениях, тщательно, даже слишком тщательно заключена в рамки театрального зрелища.

Через три года после «Этого парня» последовал «Заложник». Это тоже прежде всего зрелище: и драма, и сатира, и фарс, и просто ревю с песнями и танцами. В гуще дублинских трущоб стоит странный дом: официально в нем сдаются меблированные комнаты, фактически это притон и, кроме того, штаб-квартира политических авантюристов, которые считают себя борцами за освобождение Ирландии (точнее, шести графств Северной Ирландии, оставшихся в составе Объединенного Королевства после провозглашения независимой Ирландской республики). Владелец дома — помешанный отставной офицер старик Монсиньор, привратник — ворчун Пэт, некогда воевавший под его началом, жильцы—главным образом проститутки. Заговорщики приводят сюда похищенного в Бельфасте (Северная Ирландия) молодого английского солдата Лесли. Он взят в качестве заложника: в тюрьме Бельфаста на следующее утро должны казнить ирландского юношу, убившего полисмена-англичанина. Заговорщики объявили английским властям ультиматум: жизнь за жизнь. В течение ночи выясняется, что ирландец не будет помилован, а значит, и англичанина ждет смерть. Молоденькая служанка Тереза, которой понравился пленник, пытается спасти его и сообщает полиции, где он спрятан. В завязавшейся перестрелке Лесли убивают.

Биэн наполнил пьесу острыми диалогами, насмешливыми песенками, саркастическими выпадами. Мишенью служат и спесь одряхлевшего британского империализма, и ребячливый авантюризм тех ирландских националистов, которые, потеряв связь с сегодняшним днем, живут одними реликвиями двадцатых годов. Действие «Заложника» условно с начала и до конца. Персонажи все время выходят из роли, развитие сюжета прерывается вставными номерами, а только что убитый и оплаканный Терезой солдатик вскакивает и обращается к публике с печально-бравурной иронической песенкой.

Есть, однако, в этой пьесе, при всей ее раблезианской жизнерадостности, двойственность. Конечно, эксцентрики, выведенные в «Заложнике», не представляют ирландский народ, но какая-то издевка над тем, чему сам автор отдал немало лет жизни и свободы, звучит в этой вещи, и недаром один из персонажей-ирландцев именует автора предателем (в то время как англичанин Лесли находит, что он, наоборот, «чертовски антибритански настроен»). Словом, знакомая формула отчаявшегося нейтралиста «Чума на оба ваши дома!» не чужда и Биэну. Объяснение, которое дает этому в пьесе сам Биэн, заключено в трех словах — угроза атомной войны. Что значат рядом с ней все бомбы террористов, все армии, все конфликты? Тень этой бомбы нависла над молодыми писателями Англии, как и над всеми их соотечественниками. Не каждый склонен говорить о ней, но нет англичанина, которому не становилось бы зябко в этой гигантской уродливой тени. Но если одни — действуют, то другие — ежатся, а третьи — настойчиво смотрят в другую сторону. Брендан Биэн предпочитает ухарски плясать ирландскую джигу и отшучиваться. Этого, конечно, мало. В Англии Биэна часто называют вторым О'Кейси. Между ними есть сходство, но в главном они далеки друг от друга. Творчество О'Кейси, обобщенно говоря,— оптимистическая трагедия, драматургия Биэна — постоянно сбивается на трагический фарс.

В пьесе Бернарда Копса (родился в 1926 году) «Сон Питера Манна» заметен некий «отраженный свет» театральной техники «Заложника» (безусловно связанной с новаторством Брехта, который сейчас крайне популярен в Англии), но только техники, а не внутреннего настроения. Это очень свободно построенная вещь, где перемешаны элементы аллегории, бурлеска, ревю и политической сатиры. Но, в отличие от «Заложника», пьеса Копса (четвертая его вещь для театра) обнаруживает, наряду с бесспорной одаренностью автора, черты дилетантизма; Копс бывает многословен, риторичен. Однако преобладает все же впечатление свежести, острой выдумки, поэтичности. Пьеса задумана и как философское моралите, и как увлекательное, яркое зрелище. Действие всех трех актов ее происходит на условном, вернее, на «обобщенном» лондонском рынке — на рынке, где не только торгуют, покупают, наживаются и разоряются, но и просто существуют. Герой пьесы Питер,— сын богатой торговки готовым платьем — одержим честолюбивыми замыслами. Подзадоренный старым бродягой Алексом, он хочет убежать в дальние края и разбогатеть, для этого ему необходимо вскрыть сейф своей матушки. Маленький, но увесистый сейф падает и стукает Питера по голове, он начинает бредить. С середины первого до середины третьего действия на сцене происходят события, существующие лишь в бредовом сне Питера Манна. В этом сне Питер убегает с деньгами, Алексом и дочкой мясника Пенни, которая только что вышла замуж за нелюбимого, потому что Питер никак не мог решить, на ком ему жениться. Проскитавшись много лет по свету, он в самом плачевном виде и состоянии возвращается домой, где ему удается разбогатеть. В самый разгар лихорадочной деятельности Питера, вдруг ставшего монополистом «сверхгарантийных непроницаемых противоатомных саванов», происходит взрыв водородной бомбы. На этом месте своего устрашающего сна Питер Манн приходит в себя. Он отказывается от пустых и тщеславных грез, выясняет недоразумения с Пенни и обращается к согражданам с веселыми и прочувствованными раешными стихами: сограждане, не погрязайте в бизнесе! Но сограждане, прислушавшись было к этому призыву, быстро возвращаются в исходное положение и продолжают полным ходом «делать деньги». Символика этой яркой «комедии масок» не нуждается в разъяснениях. Некоторые сцены ее насыщены сатирическим зарядом большой силы и дальнобойности.

Бернард Копс, как и Уэскер, близок к английскому рабочему движению, к движению сторонников мира. Резкий, плакатный сарказм, направленный против торгашей смертью, и непринужденный, почти балаганный комизм повседневного бытия «базара житейской суеты», показанного подчеркнуто условно,— все это придает своеобразие и увлекательность «Сну Питера Манна».

Любопытно, что какие-то элементы эстрадного представления — песенки, обращенные прямо к публике, танцы — присутствуют и в самой реалистической в обычном смысле этого слова пьесе из всех, созданных молодыми английскими драматургами,— пьесе Шейлы Делани «Вкус меда». Автору было 19 лет, когда она написала эту первую свою

вещь, отчаявшись, как говорит она, увидеть на сцене что-либо похожее на настоящую жизнь. Делани, жительница города Солфорда, рано оставила школу и пошла работать. Работала она в магазине, в конторе, на фабрике и «настоящую жизнь» (под которой она подразумевает нечто совсем иное, чем, скажем, Коуард и другие поборники изображения на сцене «красивой жизни») повидала достаточно. Действие ее пьесы происходит в том же Солфорде; несмотря на весьма бытовую как будто бы окраску этой пьесы, главное для Делани, как и для других драматургов, о которых идет здесь речь, не быт, а насущный вопрос: как жить, в чем найти себя? Молоденькой Джо, героине пьесы, 18 лет, но психологически она совсем еще подросток, нескладный, сумбурный и несчастливый. При живой матери она если не сирота, то беспризорница. Элен, мать Джо, не лишенная остроумия и образования женщина, ведет крайне беспорядочный образ жизни, к тому же она груба и небрежна с дочерью, которая в свою очередь относится к ней чрезвычайно критично. Джо непрерывно меняет школы, потому что мамаша, в связи со своими любовными неурядицами, непрерывно меняет квартиры. Впрочем, все эти «квартиры» на одно лицо: грязные, холодные, неуютные комнаты в дешевых доходных домах. Джо влюбляется в молодого моряка-негра. Отношения их очень лиричны, а возлюбленный Джо полон благих намерений. Но он не вернулся через полгода, как обещал, а Джо ждет ребенка. Ей пришлось бы совсем туго, если бы не помощь и забота бескорыстного друга, который, впрочем, и сам чувствует себя очень неуверенно на белом свете. Однако накануне родов к Джо возвращается легкомысленная мама; похоже, что она действительно будет заботиться о дочери и ребенке, похоже, что отношения их станут нормальней и сердечней, похоже, что сама героиня начинает взрослеть.

В этой незамысловатой, даже тривиальной с виду истории есть обаяние, трепет жизни, большая художественная честность. Делани воинственно антисентиментальна в раскрытии своего чреватого сентиментальными возможностями сюжета; она не боится неприглядных бытовых деталей, грубоватого комизма, прямолинейной резкости. Делани с полным основанием можно назвать «сердитой»; сердит ее многое: то, что английская молодежь растет без цели, без моральных критериев, достойных уважения, что рядом с богатыми улицами прозябают грязные городские задворки, что английская школа равнодушна к своим питомцам и не готовит их к жизни.. В интервью, данном корреспонденту американского еженедельника «Уоркер», Шейла Делани сказала: «Наши пьесы должны не только развлекать зрителя, но и заставлять его думать... Если мы честны с собой, то от реальности нам не уйти никуда». И при всем том «Вкус меда» очень поэтичная пьеса. «Вкус меда» — значит вкус радости; он может быть мимолетен, смешан с горечью и грязью, и все же он благословен.

Мы рассказали о некоторых английских драматургах и их произведениях последних лет. К этим именам можно было бы присоединить и другие — например, Джона Ардена и прежде всего Роберта Болта, автора пьесы о великом английском мыслителе Томасе Море, которая заслуживает особого разговора.

Говоря о новых голосах в английской драматургии, английские критики спорят о литературных влияниях, называют имена Брехта, Беккета, Ионеско... Само сближение этих имен свидетельствует о поверхностности подобных суждений: между Брехтом и Беккетом — бездна, они не могут влиять одновременно. Конечно, молодые драматурги, еще ищущие собственного почерка, дышат «воздухом» современной западной драмы. Но главное в творчестве лучших из них — это стремление честно выразить свои раздумья о жизни, абсурды и уродства которой вызывают у этих писателей явный и очень эмоциональный протест.

Писатель и время

ЛЕОН КРУЧКОВСКИЙ

ПОЗИЦИЯ ХУДОЖНИКА, ПУТИ ИСКУССТВА

— Вероятно, мало кто из читателей и зрителей знает, что вы начинали как поэт?

— Хотя я и публиковал стихи, разную прозаическую мелочь, выступал как публицист, начиная с 1919 года, но настоящим своим дебютом я считаю роман «Кордиан и хам», вышедший 13 лет спустя.

— Вы, вероятно, уже были человеком «с именем», которому сравнительно легко выйти на книжный рынок?

— Это ошибочное представление. Несмотря на «имя», мой дебют не обошелся без трудностей. Достаточно сказать, что я вынужден был выпустить свой первый роман как издание автора. Дело в том, что несколько издательств, которым я вначале поочередно предлагал роман, отклонили его. К счастью, эту вещь опубликовала в нескольких номерах краковская социалистическая газета «Вперед». Вместо гонорара (что весьма характерно для тогдашних взаимоотношений издателей с автором) редакция предоставила мне возможность отпечатать в ее типографии тираж (800 экземпляров!) романа за мой счет.

— Книга стала событием и разошлась за короткий срок?

— Роман был распродан за несколько недель, хотя издатели его и не рекламировали. Уже после этого я получил несколько предложений на переиздание. Собственно говоря, другие литературные дебюты в Польше 30-х годов мало чем отличались от моего собственного, особенно в поэзии. Чаще всего издание приходилось оплачивать самим авторам, причем не только типографские расходы. Определенный, заранее оговоренный, процент дохода с будущей книжки шел в пользу издателя. Могу вас, во всяком случае, заверить, что несмотря на все нынешние наши издательские затруднения, условия для «старта» литератора-дебютанта в народной Польше несравненно благоприятнее.

— При этом само понятие «издание автора», кажется, отошло у нас в область предания?

— Разумеется. А тем молодым людям, которые только начинают марать бумагу, даже и представить себе трудно, что можно было издать книгу и не получить за это авторского гонорара. И уж тем более сейчас не может быть и речи о том, чтобы самому автору пришлось нести расходы по изданию. Да, теперь у нас легче, значительно легче «стартовать». Скорее можно было бы говорить о другом: о чрезмерной легкости некоторых литературных дебютов. Словом, молодой литератор не позавидует условиям довоенной буржуазной Польши. Особенно примечательны веяния нашей литературной жизни последних лет, когда наши издательства значительно расширили критерии отбора книг.

— Вы имеете в виду отказ от узкодоктринерского толкования понятия «политической принадлежности» писателя?

— Вот именно. Кстати, мне хотелось бы коснуться здесь проблемы, которая очень оживленно обсуждается в творческих кругах, особенно на Западе. Определенность идейно-политических убеждений писателей — это одно из основных требований.

Текст беседы с Л. Кручковским, опубликованной в еженедельнике «Политика» 30 сентября 1961 года, Варшава. Печатается с сокращениями.

какие наша современность предъявляет художнику.

— Вокруг проблемы так называемой «завербованности» писателя там существует немало путаницы?

— Редкий случай, когда одно понятие вызывает столь разные, даже противоположные реакции. Для одних идейно-политическая тенденциозность художника — единственно возможная позиция. Другие не считают ее обязательной, третьи начисто отвергают. Противники служения художника политической идее рассуждают приблизительно так: «холодная война», столь осложнившая нынешнюю международную обстановку,— это, как выразился один из них, двусторонняя борьба с помощью арсеналов грозных фраз, за которыми кроются еще более грозные арсеналы современного вооружения. Поскольку, говорят они, писатели своим словом не в состоянии уничтожить ни танков, ни баллистических ракет, им следует хотя бы вносить сумятицу в эти «арсеналы фраз», иначе говоря, выступать против любой идеологии. Необходимым условием этого является полная непричастность писателя к политическим силам или, другими словами, его «независимость».

Такая позиция не достойна людей мыслящих, сама профессия которых предполагает наличие хорошей памяти. В конце концов, и перед второй мировой войной в течение многих лет продолжалось идейно-политическое сражение между фашизмом (не только немецким и итальянским) и антифашистскими силами. Как все мы хорошо помним, многие представители творческой интеллигенции в капиталистических странах стояли тогда именно на позициях «вне политики», равно неприязненным было их отношение к обеим борющимся силам, к обеим идеологиям. Одинаково скептически расценивая как ту, так и другую политическую силу, они тогда действительно внесли немало путаницы и замешательства не только в сами «арсеналы фраз», но и в сознание целых общественных слоев, как об этом свидетельствовало потом поведение французского и английского мещанства в дни Мюнхена. Увы, когда эти люди осознали свое заблуждение, было слишком поздно. Стремясь стать над схваткой, они, в известной мере, потворствовали *одному* из «арсеналов», а именно — арсеналу агрессоров, невольно способствуя их каннибальским победам первых лет войны.

Были и у нас в Польше (правда, в гораздо меньшей степени) подобные же настроения. Та часть нашей творческой интеллигенции, что пережила гитлеровскую оккупацию, прошла суровую школу познания существа исторического процесса. В большинстве своем эти деятели культуры избавились от губительных иллюзий относительно «нейтральности» художника в продолжающейся общественной борьбе, составляющей неотъемлемую часть современного движения за мир. Многие из них извлекли из истории наглядный урок, став на сторону социализма сразу же после освобождения страны или даже до этого.

— Эта обанкротившаяся теория «арсеналов фраз» не является в основе своей законченной философской концепцией?

— Да, разумеется, это не философская доктрина в классическом ее понимании. Однако она имеет немалый практический общественный смысл.

Между прочим, швейцарский драматург Дюрренматт показал нам в «Визите старой дамы»*, что посулами жизненных благ можно соблазнить не одного человека, а целую группу людей, толкнуть их на преступление. А ведь «концепция» благосостояния в том виде, в каком она преподносится в капиталистических странах с самым высоким жизненным уровнем, как бы подчеркнуто «антиидеологична», «нейтральна» по отношению к острейшим спорам нашей современности.

Швейцария, разумеется, приятная и традиционно миролюбивая страна, которая никому не угрожает. Однако страшно подумать, что проповедники «безыдейной доктрины преуспевания» способны увлечь на преступление целую нацию, поверившую в эту «философию».

Писатели тех стран, которые я имею в виду, как в Европе, так и за ее пределами, должны бы, казалось, уже сейчас, загодя, задуматься над этой дюрренматтовской альтернативой, определяя свое отношение к существу спора о тенденциозности художника. Им следует особенно поразмыслить, приглядна ли сама позиция — быть «выше» того идейно-политического спора, предмет которого — ближайшее будущее всего человеческого общества.

— Перейдем, однако, к проблемам более частным: например, к современной драматургии, которая вам, кажется, ближе всего

---

* Пьеса Дюрренматта «Визит старой дамы» напечатана в «Иностранной литературе» (1958, № 3).

Сейчас часто говорят о кризисе этого жанра.

— Трудно рассуждать о кризисе драматургии, не говоря о положении в театре. Между тем именно в театре последние годы происходят процессы, которые можно было бы охарактеризовать как «кризисные». Мне представляется, что в смысле общественной значимости театр постепенно утрачивает свою роль перед лицом необычайно стремительного развития кино и телевидения.

— Но ведь вы не считаете, я думаю, что кино и телевидение являются, как это теперь принято говорить, конкурентами театра?

— На мой взгляд, дело не в «конкуренции», а во влиянии, которое затрагивает самые основы театральной специфики. Кино, как и (в известной мере) телевидение — наиболее массовые и современные формы искусства — по самой сути своей — плацдармы реалистических художественных традиций. В нынешней ситуации многие деятели театра как раз в отходе от реализма видят возможность сохранить специфику театра. Таким настроениям подвержена и часть драматургов, главным образом молодых.

— Значит, вы не сторонник эксперимента в театре?

— Я высоко ценю эксперимент как в театре, так и вообще в искусстве. Я опасаюсь, однако, широкого курса на «авангард». Именно формальное экспериментаторство легче всего приводит либо к бесплодному подражательству, либо к эстетским, снобистским вывертам.

— Это упреки только в адрес театра, или их можно отнести и к драматургии?

— В данном случае — скорее больше в адрес самого театра. Именно со стороны сцены некая опасность угрожает и драматургии. В руках иных «новаторов» театра произведения драматурга превращаются в нечто, с чем можно обращаться с полным пренебрежением. Более того: нам уже показывают спектакли, где не только пьеса, но даже режиссура и актерские работы целиком подчинены, например, замыслу художника-декоратора.

— Какой же выход видится вам из создавшегося положения?

— Во всяком случае, я не верю в успех тех средств спасения театра, которые предлагают люди, опасающиеся конкуренции со стороны кино и телевидения. Эти средства могут привести театр к формалистическому окостенению, и притом значительно быстрее, чем старые добротные каноны сценического реализма XIX века. Мне кажется, что назрела необходимость пересмотреть само понятие сценического реализма, пора расширить его границы, отказаться от излишнего описательства, особенно от натуралистических схем. В своем стремлении к отражению действительности, к созданию образа времени театр по сути своей не может — и чем дальше, тем все меньше будет способен — конкурировать в этом смысле с кино. Да в такой конкуренции, собственно, и нет необходимости. Театр в состоянии, однако, вернуть себе утраченную роль, смело поднимая большие и острые проблемы современности — общественно-философские, политические, морально-этические. Слово, поэзия, диалог, в тесной связи с искусством актера — вот на чем держался, держится и будет держаться театр во все эпохи, со времен Софокла, Шекспира, Мольера, романтиков, великих реалистов XIX века, вплоть до Шоу, Маяковского и Брехта. Короче говоря, действительные попытки творческого обновления театра как автономной области искусства должны опираться на подлинное новаторство, исходить из диалектической взаимосвязи важнейших конфликтов современности и психологии современного человека. Это, по-моему, единственный путь к созданию подлинно социалистического театра, театра для массового, а не избранного зрителя, единственный путь, который позволит порвать с принципами мещанского театра и с его ублюдочным потомством, каким является большинство начинаний нынешнего сценического «авангарда», со всеми его золотушными попытками создать так называемый «интегральный» театр.

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ О ЛИТЕРАТУРНОМ МАСТЕРСТВЕ

— Приятны ли вам те часы, которые вы проводите за работой?

— Очень.

— Не могли бы вы сказать несколько слов о том, как вы пишете? В какое время вы работаете? Придерживаетесь ли строгого расписания?

— Работая над книгой или рассказом, я пишу каждое утро, по возможности как только рассветет. В эти часы никто не побеспокоит; еще прохладно, а то и холодно, начинаешь писать и за работой согреваешься. Прочитываешь написанное накануне и, так как останавливаешься, только когда знаешь, что должно произойти дальше, начинаешь с того, на чем кончил вчера. Пишешь до тех пор, пока не доходишь до такого места, когда еще есть «горючее», и знаешь, что будет дальше, и нужно только дотерпеть до завтра, чтобы снова запустить мотор. Начинаешь, например, часов в шесть утра и проработаешь до полудня, а может быть, кончишь и раньше. К концу чувствуешь себя опустошенным и вместе с тем полным жизненных сил, как после близости с женщиной, которую любишь. Ничто не может тебя расстроить, ничего с тобой не может случиться, ничто тебя не встревожит, пока не наступит завтра, когда снова примешься за работу. Трудно только дождаться завтрашнего дня.

— Удается ли вам отвлечься от своего замысла, когда вы не за машинкой?

— Конечно, но это требует самодисциплины, навыка. Это я выработал в себе. Иначе нельзя.

— Правите ли вы рукопись, перечитывая написанное накануне? Или эта работа делается позднее, когда вещь совсем закончена?

— Я ежедневно правлю то, что написал накануне. Когда вещь кончена, то, естественно, проходишься по всему тексту. Потом читаешь и правишь опять, после того как рукопись перепечатана набело — тогда яснее видишь текст. Последняя возможность вносить правку — корректура. И каждой такой возможности радуешься.

— По сколько раз вы переписываете одно и то же?

— Как случится. Конец романа «Прощай, оружие», последнюю страницу, я переписывал тридцать девять раз, и только тогда она удовлетворила меня.

— Дело было в трудностях формального порядка? Что не удавалось?

— Найти верные слова.

— Именно с перечитывания начинается подача «горючего»?

— Перечитывание подводит к тому месту, откуда ты должен двигаться дальше, зная, что накануне выжал из себя все, что мог. «Горючее» всегда находится.

— А бывает ли так, что совсем нет вдохновения?

— Конечно бывает. Но если накануне прервешь работу, зная, что будет дальше, то все-таки можно сдвинуться с места. А раз можешь начать, значит, все хорошо. «Горючее» пойдет.

— Торнтон Уайльдер говорит, что у писателя вырабатываются своего рода условные рефлексы, помогающие ему начать работу. По его словам, вы рассказывали, будто вам для этого нужно очинить двадцать карандашей.

— По-моему, двадцати карандашей одновременно у меня никогда не было. Чтобы исписать семь карандашей второго номера, и то проработаешь целый день.

— Где вам работалось лучше всего? Судя по тому, сколько книг вы написали, живя в отеле «Ambos Mundos», там работалось особенно хорошо. Или окружающая обстановка не имеет для вас большого значения?

— «Ambos Mundos» в Гаване был отличным местом для работы. Это вообще превосходный отель — не знаю, как сейчас. Но мне везде хорошо работалось. Я хочу сказать, что мог работать в полную силу в самых разных условиях. Мешают работе только телефон и посетители.

Интервью, данное Хемингуэем, воспроизводится нами с сокращениями по книге «Hemingway and His Critics», New York, 1961.

— Необходимо ли для того, чтобы писать хорошо, полное душевное равновесие? Вы как-то говорили мне, что можете писать хорошо, только когда влюблены. Не могли бы вы несколько развить эту мысль?

— Трудный вопрос. Попытаюсь все же ответить. Писать можно в любое время, лишь бы тебя оставили в покое и никто не врывался во время работы. Точнее, если будешь достаточно беспощаден к посетителям. Но, безусловно, лучше всего пишешь, когда влюблен. Если вы не возражаете, я предпочел бы не развивать эту мысль.

— Каково ваше мнение о материальной обеспеченности писателя? Может ли это нанести ущерб его творчеству?

— Если обеспеченность приходит рано и любишь жизнь не меньше, чем свою работу, то требуется большая сила воли, чтобы устоять перед соблазнами. Когда же творчество уже стало твоим главным пороком и величайшим наслаждением — только смерть может пресечь его.

— Не можете ли вы точно припомнить, когда именно вы решили стать писателем?

— Нет. Я всегда хотел быть писателем.

— В книге о вас Филипп Янг высказывает мысль, что травма от тяжелого ранения в 1918 году оказала большое влияние на вас как писателя. Помнится, в Мадриде вы мимоходом заметили, что предположение Янга несерьезно, и добавили, что, по вашему мнению, качества, необходимые художнику, говоря по Менделю,— признаки не приобретаемые, а наследуемые.

— Видимо, в том году в Мадриде голова у меня была не очень ясная. Хорошо еще, что эти замечания по поводу книги мистера Янга и его теории о влиянии травм на литературу были сделаны мимоходом. Такая безответственность с моей стороны объясняется скорее всего двумя контузиями и трещиной в черепе, полученными в тот год. Я припоминаю мои слова о том, что творческое воображение может явиться итогом унаследованного опыта нескольких поколений. Для легкой беседы после контузии это звучит недурно, но, пожалуй, только в подобной беседе такие заявления и уместны. А потому отложим дискуссию на эту тему до следующей спасительной травмы. Согласны? Спасибо, что вы не упомянули моих родственников, которых я, чего доброго, назвал тогда.

Самое интересное в любом разговоре — разведка словом, но не все, что говорится, можно записывать, особенно если это сказано безответственно. От написанного уже нельзя отступаться. Может быть, это было сказано только для того, чтобы убедиться, веришь ли в это сам.

Что же касается вашего вопроса о травмах, то тут могут быть самые разные случаи. Легкие раны — если кости целы — не имеют значения. Иногда они даже укрепляют уверенность в себе. Раны, которые калечат кости, разрушают нервную систему, писателю добра не принесут, как, впрочем, и никому другому.

— Какую духовную закалку вы считаете наиболее полезной для будущего писателя?

— Неплохо бы ему, скажем, пойти и повеситься, после того как он обнаружит, что писать хорошо — трудно до невозможности. А потом пусть его без всякой жалости вынут из петли, а он пусть заставит себя до конца писать как можно лучше. По крайней мере, у него будет с чего начать — с рассказа о повешении.

— Не кажется ли вам, что многие писатели, занимаясь преподаванием, идут тем самым на компромисс со своей литературной деятельностью?

— Смотря что называть компромиссом. Вы имеете в виду компромисс со своей совестью, на который идет легкомысленная женщина? Или тот вид компромисса, на который идут государственные деятели? Или полюбовную сделку с бакалейщиком, с вашим портным, когда вы обещаете заплатить побольше, но только не сейчас? Если кому дано и писать и преподавать, пусть занимается и тем и другим. И многие даровитые писатели доказали на деле, что это возможно. Я на это не способен, я это знаю и восхищаюсь теми, кто способен. Все же, думается мне, образ жизни университетского ученого может приостановить общение с внешним миром и ограничить знание действительности. Правда, такое знание увеличивает ответственность писателя и писать становится труднее.

Пытаться создать нечто такое, что имело бы непреходящую ценность, значит отдать этому все свое время без остатка, если даже за письменным столом писатель проводит всего несколько часов в день. Писателя можно сравнить с колодцем. И разных писателей столько же, сколько разных колодцев. Самое важное, чтобы в колодце всегда

была хорошая вода, и лучше черпать ее умеренно, а не выкачивать колодец досуха и ждать, когда он снова наполнится. Я вижу, что ушел в сторону от поднятого вами вопроса, но он и не был особенно интересным.

— Кого бы вы назвали своими предшественниками? У кого главным образом учились?

— Марк Твен, Флобер, Стендаль, Бах, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов, Эндрю Марвел, Джон Донн, Мопассан, лучшее у Киплинга, Торо, Мариэт, Шекспир, Моцарт, Кеведо, Данте, Вергилий, Тинторетто, Иероним Босх, Брейгель, Патинье, Гойя, Джотто, Сезанн, Ван-Гог, Гоген, Сан Хуан де ла Крус, Гонгора...— чтобы припомнить всех, понадобился бы целый день. Кроме того, вы могли бы подумать, что я стараюсь не просто вспомнить людей, оказавших влияние на мою жизнь и творчество, а блеснуть эрудицией, которой у меня нет.

Этот ваш вопрос я не считаю ни избитым, ни скучным. Интересный вопрос, но очень серьезный, и отвечать на него надо по совести. Я назвал некоторых художников потому, что художники учат меня писать не меньше, чем писатели. Вы спросите: как? Чтобы объяснить это, понадобился бы еще день. Что касается композиторов, то и без объяснений ясно, как учиться у них гармонии и контрапункту.

— Вы сами когда-нибудь занимались музыкой?

— Я когда-то играл на виолончели. По настоянию моей матери я целый год не ходил в школу и учился музыке. Ей казалось, что у меня есть способности, но я был совершенно бездарен. Мы исполняли камерную музыку: кто-нибудь приходил играть на скрипке, сестра играла на виоле, а мать — на рояле. На виолончели играл я — хуже ничего быть не могло. Разумеется, в тот год у меня были и другие занятия.

— Перечитываете ли вы названных вами писателей? Твена, например?

— С Твеном приходится ждать два-три года. Слишком хорошо запоминается. Шекспира читаю каждый год. И непременно «Короля Лира». Очень подбадривает.

— Вы, стало быть, постоянно читаете и с неизменным удовольствием?

— Всегда читаю и все, что есть под рукой. Я придерживаюсь известной нормы, поэтому у меня всегда имеются книги про запас.

— Случается ли вам читать чужие рукописи?

— Этим рискуешь нажить хлопот, если не знаком с автором лично. Несколько лет назад меня привлекли к суду за плагиат: истец утверждал, что «По ком звонит колокол» я написал по его неопубликованному киносценарию. Он читал этот сценарий на званом вечере у кого-то в Голливуде. А я, по его словам, там присутствовал, во всяком случае, некто по имени Эрни слушал его чтение. И этого оказалось достаточно, чтобы он предъявил мне иск на миллион долларов. Одновременно он подал в суд и на продюсеров картин «Конная полиция Северо-Запада» и «Малыш Чиско», утверждая, что эти фильмы тоже украдены из того же неопубликованного сценария. Мы явились в суд и, разумеется, выиграли дело. Сценарист оказался неплатежеспособным.

— Мне хотелось бы вернуться к перечню ваших учителей и поговорить об одном из художников, скажем, о Босхе. Ведь символика кошмаров, присущая его полотнам, как будто очень далека от того, что пишете вы?

— Кошмары бывают и у меня, и я знаю, какие бывают у других. Но переносить их на бумагу совсем не обязательно. Если опустишь то, что знаешь, то опущенное тобой все равно останется и скажется в твоей работе. Когда же писатель опускает то, чего не знает, ясно видны пустоты.

— Можно ли сказать, что близкое знакомство с творениями перечисленных вами мастеров способствует наполнению того «колодца», о котором вы говорили выше? Или вы сознательно учились у них совершенствовать свою технику?

— Они помогли мне, когда я учился видеть, слышать, думать, чувствовать и не чувствовать и писать. А колодец — это и есть то, откуда поступает «горючее». Никто не знает, из чего оно состоит, меньше всего ты сам. Знаешь только, есть ли оно у тебя или надо подождать, когда оно снова поступит.

— Согласны ли вы с тем, что в ваших романах имеется символика?

— Очевидно, символы есть, раз критики только и делают, что их находят. Простите, но я терпеть не могу говорить о них и не люблю, когда меня о них спрашивают. Писать книги и рассказы и без всяких объяснений достаточно трудно. Кроме того, это значит отбивать хлеб у специалистов. Если пять-шесть или больше таких истолковате-

лей кормится этим, зачем мне мешать им. Читайте то, что я пишу, и не ищите ничего, кроме собственного удовольствия. А если вы еще что-нибудь найдете, это уж будет ваш вклад в прочитанное.

— Я понимаю, что вопросы о «тайнах» писательского ремесла вообще очень неприятны.

— Разумные вопросы ни приятны, ни неприятны. Однако я все же думаю, что для писателя очень вредно говорить о том, как он пишет. Он пишет для того, чтобы читали написанное им, и никаких объяснений и толкований быть не должно. Можете мне поверить, писателем сказано гораздо больше, чем можно вычитать с первого раза, но не его дело пускаться в объяснения или быть проводником при читателе в наиболее трудных местах своей книги.

— В связи с этим мне вспоминается, вы говорили, что писателю опасно рассказывать о замысле книги, над которой он работает, что он может, так сказать, «выговорить» его. Почему это так? Я спрашиваю только потому, что многие писатели — например, Твен, Уайльд, Тёрбер, Стеффенс — отшлифовывали свой текст, испытывая его на слушателях.

— Не верится мне, чтобы Твен «испытывал» на слушателях «Гекльберри Финна». Если он это делал, то они, должно быть, заставляли его вычеркивать хорошие места и вставлять плохие. Те, кто знавал Уайльда, говорили, что рассказывал он лучше, чем писал. Стеффенс тоже писал хуже, чем рассказывал. И в то, что он писал, и в то, что он рассказывал, иногда трудновато было поверить, и многие его рассказы с годами менялись. Если Тёрбер рассказывает так же хорошо, как пишет, то он должен быть величайшим и наименее скучным из рассказчиков. Из людей, кого я знаю, самый живой и злой язык у Хуана Бельмонте, матадора,— и он же лучше всех говорит о своей работе.

— Не могли ли бы вы сказать, много ли продуманных усилий понадобилось вам, чтобы выработать свой собственный стиль?

— Отвечать на такой вопрос и долго и утомительно, это заняло бы несколько дней, а потом почувствуешь такое смущение, что не сможешь писать. Я бы сказал так: то, что дилетанты называют стилем,— обычно всего-навсего неизбежная корявость, которая отличает первые попытки создать нечто, чего до тебя не создавали. [illegible] никто из новых классиков не похож на классиков, живших до них. В начале только корявость и бросается в глаза. Позднее она становится менее заметна. Но именно вначале, когда она особенно ощутима, ее принимают за стиль, и многие стараются ей подражать. Это очень грустно.

— Вы как-то написали мне, что сами обстоятельства, в которых созданы те или иные произведения, могут оказаться поучительными. Можете ли вы отнести это к «Убийцам» — вы говорили, что этот рассказ, «Десять индейцев» и «Сегодня пятница» были написаны вами за один день,— и к вашему первому роману «И восходит солнце»?

— Дайте подумать. «И восходит солнце» я начал в Валенсии, в день моего рождения, 21 июля. Хедли, моя жена, и я приехали в Валенсию пораньше, чтобы достать хорошие места на ферию, которая начиналась 24 июля. Все мои сверстники уже написали по роману, а я все еще не мог справиться с одним абзацем. Так вот, начал я эту книгу в день моего рождения, во время ферии, работая по утрам в постели, потом переехал в Мадрид и продолжал писать там. В Мадриде ферии не было, поэтому нам досталась комната со столом, и я работал с полным комфортом — за своим столом или в соседней пивной на Пасахе Альварес, там было прохладно. Наконец наступила такая жара, что писать стало невозможно, и мы поехали в Андей. Жили мы на длинном и широком пляже в маленькой недорогой гостинице, и я очень хорошо поработал, а потом поехал в Париж и окончил первый набросок романа в квартире над лесопилкой на улице Notre Dame des Champs, 113 — через шесть недель после того, как я за него принялся.

Я показал этот первый набросок писателю Натану Ашу, который тогда еще говорил с сильным акцентом, и он сказал: «Хем, с чего это ты фоопразил, будто ты написал роман? Вот так роман! Это же книга путефых заметок!» Я был не слишком обескуражен и переписал книгу заново в Шрунсе на Форарльберге в отеле «Таубе», сохранив в ней путевые заметки (главы о поездке на рыбную ловлю и о Памплоне).

Рассказы, которые вы упомянули, я написал в Мадриде 16 мая в день святого Исидро, когда из-за снегопада был отменен бой быков. Сначала я написал рассказ «Убий-

цы», за который брался уже раньше, но безуспешно. После обеда я устроился в постели, чтобы не замерзнуть, и написал «Сегодня пятница». У меня было столько «горючего», что я подумал, уж не схожу ли я с ума, а у меня было задумано еще штук шесть рассказов. Тогда я оделся и отправился в «Форнос», старинное кафе, в котором собирались тореро, выпил там кофе, а затем вернулся домой и написал «Десять индейцев». От этого рассказа мне стало грустно, я выпил коньяку и лег спать. Поесть я забыл, но официант принес мне немного трески, небольшой бифштекс с жареным картофелем и бутылку вальдепеньяса.

Хозяйка пансиона постоянно сокрушалась о том, что я мало ем, и это она прислала официанта. Помню, как я, сидя в постели, ел бифштекс и пил вальдепеньяс. Официант сказал, что принесет еще бутылку. Потом сообщил, что сеньора просила узнать, буду ли я писать всю ночь. Я сказал: нет, не буду, хочу немного отдохнуть. А почему бы вам, спрашивает он, не написать еще один рассказ? Мне, говорю, положено писать за раз не больше одного. Чепуха, говорит, вы можете и шесть написать. Завтра, говорю, попробую. Попробуйте сегодня, говорит. Для чего же, по-вашему, старуха прислала вам еду?

Я устал, говорю. Чепуха (он употребил не это слово). Как вы могли устать, написав каких-то три пустяковых рассказика? Переведите-ка мне один.

Не приставайте, говорю. Как я могу писать, когда вы ко мне пристаете. Так я и сидел в постели, пил вальдепеньяс и думал, какой же я, черт побери, замечательный писатель, если только первый из написанных рассказов вышел таким удачным, каким я надеялся, что он выйдет.

— Насколько полно вы представляете себе замысел будущего рассказа? Меняются ли в процессе работы его тема, сюжет, образы?

— Иногда знаешь, какой будет рассказ. Иногда он складывается во время работы, и сам понятия не имеешь, что в конце концов получится. По мере того как действие развивается, меняется все. Это и создает движение, которое, в свою очередь, создает рассказ. Иногда движение так замедлено, что кажется, его нет. Но и то и другое всегда есть — и перемены и движение.

— То же самое происходит при работе над романом, или вы разрабатываете весь план от начала до конца и строго его придерживаетесь?

— «По ком звонит колокол» был для меня задачей, которую я решал изо дня в день. Я знал, что должно произойти, в общих чертах. Но все то, что происходит в романе, я придумывал день за днем во время работы.

— Не были ли «Зеленые холмы Африки», «Иметь и не иметь», «За рекой в тени деревьев» задуманы как рассказы, а потом развернулись в романы? И если так, то значит ли это, что оба жанра настолько схожи, что писатель может перейти от одного к другому, не меняя коренным образом свой подход к теме?

— Нет, это неверно. «Зеленые холмы Африки» вообще не роман — я хотел написать абсолютно достоверную книгу и посмотреть, могут ли картины природы и перечень поступков за один месяц, очень точно описанные, соперничать с творческим вымыслом. После этой книги я написал два рассказа: «Снега Килиманджаро» и «Недолгое счастье Френсиса Макомбера». Оба эти рассказа я сочинил, исходя из опыта и знаний, приобретенных во время той же долгой поездки на охоту, один месяц которой я попытался описать как можно точнее в «Зеленых холмах Африки». Что касается романов «Иметь и не иметь» и «За рекой в тени деревьев», то оба были начаты как рассказы.

— Сравниваете ли вы себя мысленно с другими писателями?

— Никогда. Вначале я пытался писать лучше некоторых умерших писателей, в чьих достоинствах был убежден. Но уже давно я просто стараюсь писать так хорошо, как только могу. Бывает, что посчастливится, и тогда я пишу лучше, чем могу.

— Считаете ли вы, что талант писателя убывает по мере того, как он стареет? В «Зеленых холмах Африки» вы заметили мимоходом, что в известном возрасте американские писатели превращаются в ворчливых бабушек.

— Об этом ничего сказать не могу. Те, кто знает свое дело, должны держаться, пока голова работает. Если вы заглянете в «Зеленые холмы», то увидите, что я там болтал об американской литературе с непонимающим шуток австрийцем, который приставал ко мне с разговорами, когда мне хотелось заняться чем-нибудь другим. Я просто записал разговор слово в слово Я не имел намерения изрекать вечные исти-

ны. Но очень многое из сказанного в этом разговоре — справедливо.

— Не можете ли вы сказать что-нибудь о самом процессе превращения реального лица в вымышленный персонаж?

— Если бы я объяснил вам, как это иной раз делается, то получился бы справочник для адвокатов, ведущих дела о диффамации.

— Доставляет ли вам удовольствие перечитывать собственные книги — вне зависимости от того, хочется вам что-нибудь исправить или нет?

— Я иногда перечитываю их, чтобы подбодрить себя, когда не пишется: тогда я вспоминаю, что писать всегда было трудно, а подчас почти невозможно.

— Когда вы находите название — во время работы над рассказом?

— Нет. Я составляю список возможных названий после того, как кончу книгу или рассказ,— иногда их набирается до сотни. Затем начинаю вычеркивать их, бывает, что вычеркиваю все.

— И даже в тех случаях, когда название взято из текста, как, например, «Белые слоны»?

— Да. Название приходит после. В Прюнье, куда я зашел поесть устриц перед обедом, я встретил одну девушку. Я знал, что у нее был аборт. Я подсел к ней, мы разговаривали совсем о другом, но по пути домой я сочинил рассказ, пропустил обед и к вечеру написал его.

— Значит, когда вы не пишете, вы все время наблюдаете, выискивая, что можно использовать?

— Конечно. Если писатель перестанет наблюдать, ему конец. Но ему нет нужды ни сознательно вести наблюдения, ни думать о том, как то или иное будет использовано. Может быть, в молодости так бывает. Но со временем все, что он видит, пополняет огромный запас его наблюдений и знаний. Если то, что я скажу, может на что-нибудь пригодиться, так вот: я всегда стараюсь писать по методу айсберга. Семь восьмых его скрыто под водой, и только восьмая часть — на виду. Все, что знаешь, можно опустить — от этого твой айсберг станет только крепче. Просто эта часть скрыта под водой. Если же писатель опускает что-нибудь по незнанию, в рассказе будет провал.

В «Старике и море» на тысяче с лишним страниц могло быть рассказано о всех жителях рыбачьего поселка: о том, как они зарабатывают на жизнь, о том, как появляются на свет, растут, родят детей и так далее. Это сделано другими писателями, и сделано превосходно. Все то, что уже сделано хорошо до него, ограничивает деятельность писателя. Поэтому я старался научиться делать что-нибудь другое. Прежде всего — исключать все, без чего можно обойтись, оставляя только то, что помогает донести до читателя пережитое, чтобы он (или она) почувствовал, что это случилось на самом деле и пережито им самим (или ею самой). Сделать это очень трудно, и мне много пришлось поработать.

Не буду останавливаться на том, как это делается, скажу только, что со «Стариком и морем» мне необычайно повезло — удалось донести до читателя свой жизненный опыт, и притом такой, о каком еще никто не писал. Удачу принесло то, что я узнал хорошего старика и хорошего мальчика, а писатели в последнее время забыли, что хорошие люди еще существуют. Кроме того, и океан не меньше, чем человек, достоин описания. Вот мне и повезло в тех краях. Я видел свадьбу марлинов и знаю, как это бывает. Потому я опустил это. Я видел, все в том же месте, стадо в пятьсот с лишним кашалотов и однажды загарпунил кашалота длиной почти в шестьдесят футов и упустил его. Потому я этого и не описывал. Не написал и тех историй, которые узнал в рыбачьей деревне. Но такое знание образует подводную часть айсберга.

— Арчибальд Маклиш говорил об особом приеме, открытом вами, который будто бы помогает донести свой опыт до читателя. По его словам, вы открыли этот прием еще в те давние времена, когда писали отчеты о бейсбольных матчах для «Канзас-сити стар». Прием сводился к тому, что в минуты кажущегося бездействия писатель должен сосредоточиться, и тогда описание таких минут будет действовать на читателя, властно заставляя его осознавать то, что до этого жило в его подсознании.

— Тут что-то напутано. Никогда я не писал о бейсболе для «Стар». Арчи просто припомнил 1920 год, когда я учился в Чикаго писать и искал те неприметные подробности, которые, однако, производят впечатление, например жест, каким один из игроков, не глядя, бросил перчатку через плечо; скрип брезента под плоскими подош-

вами боксёрских башмаков; посеревшая кожа Джека Блекбэрна, когда он только что поднялся на ноги, и разные другие мелочи, которые я запомнил подобно тому, как художник делает наброски. Отмечаешь необычный цвет кожи Блекбэрна, старые порезы бритвой, удар, которым он отбрасывает противника,— еще не зная его жизни. Вот такими черточками увлекаешься, еще не зная, каким будет рассказ.

— Случалось ли вам хоть раз описывать какую-нибудь ситуацию, вам лично не знакомую?

— Странный вопрос. Если вы имеете в виду знакомство в буквальном смысле, то я отвечу утвердительно. Писатель, если он чего-нибудь стоит, вообще не описывает. Он выдумывает или *возводит* на основании своего знания, личного или безличного, а иногда он словно обладает знанием необъяснимым — быть может, это забытый опыт, унаследованный от предков. Кто учит почтового голубя его полету? Откуда у боевого быка его бесстрашие, а у охотничьей собаки — ее нюх? Вот вам в развернутом или, напротив, сжатом виде суть того разговора в Мадриде, когда голова у меня плохо работала.

— Насколько вам нужно отойти от собственного переживания, прежде чем вы можете воплотить его в художественной форме? Я имею в виду, например, воздушные катастрофы, в которые вы попали в Африке.

— Смотря по тому, какое переживание. Какая-то часть твоего «я» с самого начала смотрит на происходящее совершенно со стороны. Другая — полностью захвачена. По-моему, общего правила, когда именно нужно писать о пережитом, не существует. Все зависит от того, насколько хорошо человек приспособлен, и от его (или ее) умения быстро восстанавливать свои силы. Разумеется, для поднаторевшего писателя весьма поучительно рухнуть на землю в горящем самолете. Несколько важных истин он познает при этом в мгновение ока. Пригодятся ли они ему — зависит уже от того, уцелеет ли он. А уцелеть, выйти из испытания с честью — хотя это речение, столь много значащее, вышло из моды — сейчас так же трудно, как было всегда, и так же много значит для писателя.

Тех, кто остается в литературе, всегда больше любят, потому что никто уже не видит те долгие, невеселые, безжалостные схватки, в которых не дают и не просят пощады и которые им приходилось вести, чтобы успеть сделать что-нибудь до смерти так, как они считали нужным. Тем же, кто рано умирает или без боя, благоразумно и заблаговременно отступает, отдают предпочтение потому, что они понятней и по-человечески ближе. Несостоятельность и умело замаскированная трусость по-человечески еще ближе и потому особенно любимы.

— Можете ли вы сказать, что когда-либо писали с целью поучать?

— Поучать — слово, которым столько злоупотребляли, что смысл его извратили. «Смерть после полудня» — поучительная книга.

— Говорят, что писатель посвящает все свое творчество одной-двум идеям. Считаете ли вы, что в вашем творчестве воплощены одна-две идеи?

— Кто это сказал? Что-то уж очень просто! Может быть, у сказавшего это и были всего одна-две идеи.

— Тогда поставим вопрос по-другому. Грэм Грин сказал в одном из интервью, что преобладание какой-нибудь одной страсти сводит в единую систему целую полку книг. Вы сами, кажется, говорили, что великая литература рождается из сознания несправедливости. Важно ли, по-вашему, чтобы писателем владело какое-нибудь неодолимое чувство?

— Мистер Грин обладает даром четких формулировок, которым я не наделен. Я не умею делать обобщений по поводу полки книг, стайки бекасов или стада гусей. Но одно обобщение я попытаюсь сделать: писателю, который лишен чувства справедливости, лучше не писать романы, а редактировать ежегодник в школе для вундеркиндов.

— И, наконец, основной вопрос: в чем вы, как писатель, видите назначение своего творчества? В чем преимущество изображения факта перед самим фактом?

— Что же тут непонятного? Из того, что на самом деле было, и из того, что есть как оно есть, и из всего, что знаешь, и из всего, чего знать не можешь, создаешь силой вымысла не изображение, а нечто совсем новое, более истинное, чем все истинно сущее, и ты даешь этому жизнь, а если ты хорошо сделал свое дело, то и бессмертие. Вот ради чего пишешь, а другой причины я не знаю. Но, быть может, есть причины, которых никто не знает?

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

НЕМЕЦКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И МИРНЫЙ ДОГОВОР

Современный молодой западногерманский поэт **Ганс Магнус Энценсбергер** принял ответственное решение: он покинул пределы ФРГ и поселился в Норвегии. Этот шаг его был продиктован несогласием с политикой правящих кругов и разгулом реваншизма в Западной Германии. Еженедельник **«Зоннтаг»**, выходящий в ГДР, следующим образом охарактеризовал поступок Энценсбергера:

> «До нас дошло известие о том, что лирик и эссеист Ганс Магнус Энценсбергер повернулся спиной к Федеративной Республике...
>
> Случай с Энценсбергером,— говорится далее в статье,— симптом того «недовольства временем», которое охватило всех значительных молодых писателей ФРГ... И вот Энценсбергер сделал из своего недовольства далеко идущие выводы... это поступок, обнаруживающий перед всем миром трудное положение, в котором находятся западногерманские писатели».

В чем именно заключаются трудности положения писателей в ФРГ, чем они вызваны и обусловлены? Подобные трудности являются следствием всей политики боннских реваншистов. Эта политика не может не сказаться пагубно на состоянии и поведении любого гражданина ФРГ, не стремящегося к реваншу и не связывающего своих интересов и своего будущего с тем, что военный министр Штраус назвал «продолжением второй мировой войны».

Вместе с тем, говоря о трудности положения некоторых западногерманских писателей, нельзя не учитывать и того, что, не соглашаясь с нынешним внешнеполитическим курсом Бонна, они вместе с тем занимают половинчатые позиции, стараются идти по так называемому «третьему пути» и, объявляя свое «нет» пропагандистам новой захватнической войны, делают это, так сказать, вполголоса, а то и вовсе шепотом. Именно об этом с полным основанием и напомнил профессор **Курт Хагер** в своем докладе, озаглавленном **«Немецкая интеллигенция и мирный договор»**, сделанном на расширенном заседании Культурбунда в Берлине.

Полемизируя с теми представителями творческой интеллигенции, которые в мерах по охране безопасности ГДР, принятых 13 августа 1961 года, умудрились увидеть «ущемление личной свободы», Хагер подчеркнул, что все эти меры — прямое следствие реваншистской политики боннских властей. В создавшихся условиях, сказал Хагер, вопрос о выборе пути, об определении своей позиции имеет первостепенно важное значение. Данный вывод касается и западногерманских писателей, всей линии их поведения. Напомним о таком факте: участники «группы 47» — Генрих Бёль, Гюнтер Грасс и другие — обратились к председателю Генеральной Ассамблеи ООН с просьбой о посредничестве в разрешении проблемы будущего статуса Германии.

> «Хотя мы считаем,— разъяснил Хагер,— что им лучше было бы обратиться к правительствам США, Англии, Франции и прежде всего Бонна с призывом пойти на предложенные Советским Союзом и ГДР переговоры, тем не менее можно лишь приветствовать то, что писатели из «группы 47» подчеркивают необходимость мирного решения германской проблемы при любых условиях».

Вместе с тем профессор Хагер в своем докладе ясно и недвусмысленно указывает на противоречивость позиции даже тех западногерманских писателей, которые считают себя убежденными противниками реваншизма и неонацизма!

> «Нужно открыто сказать,— говорит Хагер,— что эти писатели путают друзей и врагов, не разбираются отчетливо в той или иной позиции, преуменьшают силу германского империализма, помогают партии войны в Вашингтоне и Бонне... Они нападают на силы, которые олицетворяют мир и социальный прогресс, и в то же время вынуждены признать, что боннская политика является роковой и потерпела фиаско. Так, Бёль пишет: «Мне стало ясно одно, а именно: что политика силы оказалась самой слабой из всех возможных; что теперь мы вынуждены

> вести переговоры с Советским Союзом в значительно более неблагоприятных условиях, чем несколько лет назад». То, что теперь стало ясным Бёлю, мы, марксисты, утверждаем уже многие годы,— говорит далее профессор Хагер,— мы постоянно предупреждаем, что политика силы потерпит провал. Однако Бёль и другие писатели из «группы 47» не настолько честны, чтобы признать, что марксисты снова оказались правы, или еще не осознали их правоты. Вместо этого они нападают на ГДР, которая со времени ее основания живет в дружбе с Советским Союзом, то есть давно уже пошла по верному пути. Позиция этих писателей не выдерживает испытания временем. Упрямый антикоммунизм и вредные предубеждения против ГДР, жертвой которых они стали, завели их в тупик».

■

В то же время факты свидетельствуют, что и в самой ФРГ среди деятелей культуры имеются люди, которые стремятся — словом и делом — занять более определенную позицию, чем некоторые из тех писателей, чьи имена упоминаются в докладе Хагера. Что же это за факты? На первый взгляд, они могут показаться не очень значительными. Однако смысл и значение их раскрываются до конца, если мы представим каждый из этих фактов, выражаясь языком топографии, «на местности», иначе говоря, если мы полностью учтем особенности сегодняшней обстановки в ФРГ. Приведем некоторые из этих фактов, кажущиеся нам наиболее весомыми и красноречивыми.

Одним из плацдармов, на котором в сфере культуры сейчас идет борьба между силами реакции и силами прогресса в ФРГ, является драматургия Бертольта Брехта (заметим, между прочим, что Брехт теперь едва ли не самый популярный драматург на Западе. Тенесси Уильямс в статье, напечатанной в «Нью-Йорк таймс бук ревью», назвал «Матушку Кураж» «лучшей пьесой нового театра». Постановки пьес Брехта объявлены сразу в четырех крупнейших театрах Парижа). Так вот, борьба, ведущаяся сейчас вокруг драматургии Брехта в ФРГ, касается отнюдь не только содержания его творчества. Нет, дело обстоит и проще и в то же время сложнее. Боннские правящие круги делают все для того, чтобы не дать возможности режиссерам вообще ставить пьесы Брехта. Таким образом, постановка любой пьесы Брехта вопреки требованиям властей становится своеобразным актом гражданского неповиновения и даже протеста.

Как пишет еженедельник «Зонntаг», президиум Академии искусств в Гамбурге высказался против снятия со сцены оперы Вейля на текст Брехта «Величие и падение города Махагони». «Молодой театр» в Гёттингене открыл сезон пьесой Брехта «Исключение и правило». Гарри Буквиц, управляющий театром во Франкфурте-на-Майне, несмотря на угрозы, отказался прекратить работу над пьесой Брехта «Галилей».

По сообщению газеты **«Вельт»**, Гарри Буквиц, отвечая на требования христианских демократов (партия Аденауэра.— *Ред.)*, заявил, что добровольно он ни в коем случае не прекратит работы над пьесой... Репрессии по адресу умершего писателя со стороны ХДС он считает позорными...

Отвечая на вопрос о том, кто в ФРГ выступает против Брехта, газета **«Альгемейне цейтунг»** пишет:

> «В первую очередь, те, для кого Брехт является острой занозой и кто боится его боевой антибуржуазности».

Журнал **«Театр хейте»** следующим образом откликается на те же события:

> «Следует ли ставить пьесы Брехта?.. Следует ли ставить у нас пьесы авторов из Восточной Германии? Даже теперь? Мы полагаем, следует. Ибо наш журнал ставит своей целью информировать читателей. Редакция нашего журнала все это хорошо обдумала. В этом номере мы печатаем пьесу Петера Хакса (один из драматургов ГДР.— *Ред.*)... Хакс — очень одаренный автор. Образцом для него бесспорно является Брехт, но есть у него и одному ему присущие качества: остроумие, едкость, боевой задор... Свое основное назначение как драматурга он видит в разоблачении предшествующих общественных формаций — Хакс считает их прогнившими...»

Наконец, небезынтересно привести высказывание газеты **«Ганноверше прессе»**, раскрывающее политическую подоплеку «атаки на Брехта» и тому подобных «мероприятий» боннских властей.

> «В третьем рейхе в список запрещенных пьес попал шиллеровский «Дон-Карлос» из-за стиха, в котором выражено требование свободы мысли,— замечает газета.— Для всех особенно ясно, что все подобного рода меры бойкота являются выражением слабости, страха перед словом поэта, которое не совпадает с требованиями политического момента».

Глядя на поведение боннских властей, можно с полным основанием суммировать его в одной фразе: скажи мне, какие книги ты запрещаешь, и я скажу тебе, кто ты!

МАРИАННА В ТИСКАХ ЦЕНЗУРЫ

В массе бесчисленных мемуаров, посвященных французами Наполеону, имеется и такой эпизод. Поглощенный своими мыслями, будущий «узник Святой Елены» однажды на поле боя увидел, как один из офицеров, составлявших его свиту, внезапно побледнел и покачнулся в седле.

Наполеон приблизился к нему, сидя верхом на коне, и удостоил вопросом:

— Вы ранены, друг мой?

— Извините, ваше величество, я мертв,— виновато ответил офицер и рухнул наземь.

Глядя на то, как смертельная бледность сейчас все сильнее и сильнее заливает лицо буржуазно-демократической Марианны (как обычно называют Францию), невольно представляешь себе своеобразный вариант того же эпизода. Некий генерал, считающий себя без пяти минут Наполеоном, приближается в бронированной машине к смертельно побледневшей Марианне.

— Вы ранены, Марианна? — следует вопрос.

— Извините, мой генерал, я мертва,— отвечает буржуазная демократия, и ноги у нее подкашиваются.

Найдутся, вероятно, во Франции люди, которые возразят, что мы с излишней торопливостью предвосхищаем ход событий. К сожалению, согласиться с ними не представляется возможным. Разве уже не только в Алжире, но и в самой Франции под аккомпанемент взрывов не действует с вызывающей наглостью пресловутая фашистская «секретная армия» — ОАС? Разве приговоренный к смерти генерал Салан не продолжает преспокойно готовить новый путч, свободно появляясь на алжирских телеэкранах и даже выступая с интервью корреспондентам американских радиокомпаний?

Наконец, сейчас мы можем привести новый пример из сферы культуры, являющий очередное и в достаточной мере убедительное свидетельство наступления на остатки буржуазной демократии. Мы имеем в виду новый закон о цензуре, подготовляемый правящими кругами Пятой республики. Вот та характеристика, какую дают этому закону сами французские писатели и издатели.

По мнению романиста и критика **Пьера Дэкса,** новый закон, призванный якобы защищать литературу и искусство от «аморальных влияний», на деле попросту окончательно развязывает руки цензуре и дает ей то, что называется «карт бланш», то есть полную свободу действий. Закон этот, подчеркивает Дэкс,

> «отдает художественное творчество во власть правящих кругов. Все, что имеет отношение к судьбе Франции, к защите мира и человечества, все то, что задевает честь, совесть, моральное самочувствие французов, уже давно является предметом самого пристального внимания властей и подсудно ловкому судопроизводству».

Однако новый закон даже по сравнению с прежде существовавшими является поистине драконовским. Он увеличивает сроки тюремного заключения для авторов «неугодных» книг в два раза, а штраф в сто раз (с двух тысяч до двухсот тысяч новых франков). Он предусматривает ответственность не только автора и издателя, но также типографа, экспедитора, критика, позволившего себе рекомендовать книгу в каком-либо издании.

> «С момента своего возникновения Пятая республика уделяла немало внимания литературе,— пишет Дэкс.— За три года мы явились свидетелями конфискации не менее тридцати книг, не говоря уже, разумеется, о газетах, еженедельниках и журналах. Речь шла об известном «продвижении вперед» по сравнению с Четвертой республикой в момент ее упадка. И среди запрещенных книг не только политические эссе, но также два романа и сборник поэм».

Новый закон, в частности, предоставляет возможность лицам, власть имущим, возбуждать дело против любого автора романа, если эти лица сумели распознать себя в каком-либо из персонажей книги.

> «В наши дни Стендаля могли бы преследовать по пятам люди, которые узнали себя в Жюльене Сореле, а Бальзак имел бы больше процессов, чем долгов. В наше время никто не может и мечтать об издании правдивых мемуаров, если заинтересованные лица не скончались полвека назад... Вместе с тем существуют различные доказательства того, что власти готовы уже возложить на автора ответственность за все, утверждаемое его персонажем. Я не хочу сказать, будто именно это обстоятельство породило у нас «новый роман». Но, согласитесь, что трудно удержаться от желания вместе с Роб-Грийе разрушить персонажи своих книг или превратить их в какие-то алгебраические абстракции»,— пишет в своей статье Дэкс.

О том, насколько возмущена новым законом французская общественность, свидетельствует открытое письмо представителей буквально всех крупнейших буржуазных издательств министру юстиции. С осуждением закона выступили все члены Академии Гонкуров. Представитель издательства Грассе **Бернар Прива** на страницах еженедельника **«Ар»** назвал новый закон проявлением «литературной инквизиции» и заявил:

> «Если законопроект будет принят, все издатели, объятые страхом, перед тем как выпустить в свет какой-нибудь роман, будут ломать себе голову над тем, что может в нем шокировать жандарма...»
>
> «...Все, что относится к развитию событий, свидетельствует о необратимом движении к тоталитаризму, против которого мы якобы боремся»,— заявил издатель **Рене Жюллиар.**

Нам представляется в высшей степени характерным также высказывание известного французского композитора **Жоржа Орика,** звучащее в унисон со многими гневными голосами писателей и издателей.

> «Я плохо себе представляю,— пишет Орик,— каким образом удастся объявить аморальной сонату или симфонию. Но закон этот можно распространить на песни, и, если он будет одобрен, такие

прекрасные произведения, как песни Жоржа Брассанса,* могут подвергнуться запрету. Брассансу не придется краснеть за свой большой талант, но краснеть придется нам, причем не тогда, когда мы будем его слушать, а когда мы представим себе, что полицейский комиссар вправе помешать ему петь.

Защищать свободу — наш долг,— продолжает Орик.— Тридцать лет назад я написал музыку к фильму, который назывался «Свобода с нами». И сейчас для меня невыносима мысль о том, что это название стало лишь воспоминанием. Все же я надеюсь, что закон провалится, что именно он и превратится в одно лишь воспоминание».

Не удивительно, что в создавшейся обстановке романист **Мишель Бютор** публикует остросатирическую статью, в которой пространно доказывает, сколь опасна, с точки зрения нового закона, такая распространенная и аморальная книга как... библия!

У французов существует выражение «сухая гильотина». В прошлом так называли самые страшные и гиблые места ссылки в колониях, в том числе и печально знаменитую Французскую Гвиану.

Сейчас можно утверждать, что метод «сухой гильотины» переносится во Францию. Разве новый закон об «охране морали» не является открытой попыткой подвергнуть литературу и искусство «сухому гильотинированию»?

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ — БОРЬБА

Несмотря на чудовищный террор, царящий сейчас во франкистской Испании, современный испанский роман, более или менее явственно проникнутый чувством социального протеста, переживает пору возрождения. Это констатирует не только многоязычная критика в различных странах мира. Важнее то, что вполне зримые черты этого возрождения можно различить в самих книгах, и в первую очередь в книгах молодых писателей. Но констатировать такого рода пусть даже неоспоримое явление еще недостаточно. Не менее существенно разобраться в нем, подвергнуть анализу причины, его породившие, понять корни явления, исследовать его сильные и слабые стороны. Известный испанский критик и публицист **Хесус Искарай** в статье, озаглавленной **«Размышления о современном романе»** и напечатанной в теоретическом органе испанской компартии **«Нуэстрас идеас»**, как раз и предпринимает такую вполне удавшуюся, на наш взгляд, попытку.

«За несколько последних лет,— пишет Искарай,— в Испании издано гораздо больше романов, чем за предыдущие периоды, включая и период Республики. Растет также количество романов, которые вскоре после своего выхода в Испании переводятся на иностранные языки: русский, французский, итальянский... Почти все произведения, привлекающие внимание иностранных читателей, принадлежат молодым авторам...»

Рассматривая общественные и эстетические тенденции, преобладающие в литературе последних лет, автор статьи замечает:

«Большинство опубликованных романов — по крайней мере, те из них, какие завоевали наибольшую популярность,— в той или иной форме являются следствием разочарования в современной испанской действительности и разоблачают отдельные ее стороны».

С каких позиций выступают авторы новых романов, выходящих в современной Испании? Хесус Искарай так отвечает на этот немаловажный вопрос:

«...с позиций буржуазных, либеральных, демократических, иногда с позиций, тяготеющих к религии, иногда с позиций простого разочарования».

Несмотря на такое «разнообразие» точек зрения, которое следовало бы скорее назвать «разнобоем», нужно все же учесть, что в Испании сегодня существует «целая плеяда молодых авторов, стоящих на народных позициях, авторов, чье творчество пронизано революционным духом». Некоторые из них стремятся связать содержание своих книг с поступательным движением жизни и пронизать свое творчество такими идеями, которые, как пишет Искарай, не только разоблачат современную действительность, но и «побудят человека изменить эту действительность».

Довольно высоко оценивая состояние и уровень развития современного испанского романа, Хесус Искарай вместе с тем предостерегает от чрезмерно радужных оценок и говорит о возможности ошибок двоякого рода. Ошибки первого рода заключаются в том, что между авторскими намерениями и их воплощением ставится полностью знак равенства. Ошибки второго рода совершаются обычно тогда, когда не учитываются условия создания романа и к оценке его критик подходит с позиций того, что ему *хотелось бы* видеть. В этом случае, справедливо подчеркивает Искарай,

«мы не сможем объективно оценить ни того, что само по себе означает возрождение реалистического романа в условиях фашизма, ни тех перспектив, какие таит в себе наиболее прогрессивное направление этого романа».

Как же следует, не впадая в преувеличение и не преуменьшая его значения, охарактеризовать состояние современного реалистического романа в Испании?

«Испанские романисты, о которых мы говорим,— пишет Искарай,— в более или менее отчетливой и в более или менее искаженной форме отражают душевное состояние огромного большинства испанского народа, разнородной массы людей,

* Французский композитор — автор и исполнитель популярных песен.

одни из которых просто не довольны современным положением вещей, а другие вовсе его не приемлют».

По мнению Искарая, творчество писателей-реалистов, в первую очередь молодых, в известной мере содействует расшатыванию фашистской диктатуры и, в свою очередь, стимулируется этим процессом. Отсюда — усиление социально-критического, разоблачительного направления в современном испанском романе.

«Мы видим,— подчеркивает Искарай,— что группа реалистов расширяется и что первые произведения только недавно вступивших в нее писателей отличаются большей глубиной реализма, чем книги их предшественников».

Разумеется, в современном испанском романе есть и ясно различимые слабости О них следует говорить, даже отдавая должное его историческому значению и политической роли. Один из наиболее очевидных недостатков, по мнению Искарая, заключается в поверхностной обрисовке характеров.

«Эта слабость,— пишет Искарай,— являющаяся самой существенной для большинства рассматриваемых нами романов, обусловливает их поверхностный реализм, ограничивающийся воссозданием обстановки, атмосферы. Мастерское описание обстановки, тонкое воспроизведение атмосферы, столь частые у наших молодых авторов, действительно необходимы в хорошем романе. Но не будем предаваться иллюзиям: как бы превосходно ни были изображены обстановка и атмосфера, это никогда не сможет компенсировать поверхностной обрисовки характеров».

Этот существенный недостаток отмечает не только критика. Пожалуй, еще важнее, что он не проходит незамеченным для читателей.

«...Многие читатели, заканчивая чтение некоторых из романов, восклицают с известным разочарованием: «Ну, ладно!» Но в Испании люди говорят не только об этих вещах, они говорят и о том, на что здесь нет и намека. Да, верно, что многие не знают, как выйти из создавшегося положения. Однако неверно, будто они настолько глупы, что не понимают, в чем непосредственная причина их бедствий».

Мало, однако, отметить пусть неоспоримое наличие такого недостатка в современном романе. Важно объяснить его происхождение. Говоря об этом, Искарай считает, что здесь следует иметь в виду не только недостаточную политическую зрелость и творческую зоркость писателей, но и тяжелые условия, в которых им приходится жить. Не следует скидывать со счетов и влияние на молодых писателей Испании декадентской литературы Западной Европы.

Могут ли те, кто своим пером возводит сейчас «здание» современного романа в Испании, устранить эти недостатки, достигнуть творческой зрелости? Искарай отвечает на этот вопрос утвердительно, опять-таки исходя из самого материала литературы.

«В романах молодых писателей дана целая галерея рабочих, служащих, крестьян, изображенных преимущественно как страдальцы, подавленные действительностью, обрушившейся на них. Некоторые из этих писателей поднимаются на новую, более высокую ступень, стремясь изобразить тружеников уже не только как угнетенную массу, но и как наиболее ценную часть общества нашего времени».

В такого рода романах появляется все чаще ощущение того, что автор по достоинству оценивает настоятельную необходимость всесторонне освещать жизнь народа, быт трудового люда (хотя не всегда еще располагает средствами, необходимыми для того, чтобы воплотить это в жизнь). Только на этом пути сближения писателя с народом и существует возможность кардинальной смены героя

«...от столь часто встречающегося в современном романе типа недовольного и страдающего испанца к типу рабочего, крестьянина, интеллигента, который борется за преобразование действительности» (кстати говоря, черты этого нового, положительного героя Искарай видит и в образе рабочего, изображенного в романе Хуана Гойтисоло «Прибой»*).

В свете всего сказанного особенно остро стоит перед современными испанскими писателями проблема так называемого «посибилизма». Смысл этой проблемы можно образно и кратко выразить словами русской пословицы: «По одежке протягивай ножки!» Кое-кто и советует испанским писателям «протягивать ножки» соответственно такой «одежке», как смирительная рубашка франкистской диктатуры. Среди современных романистов в Испании идут споры о том, должны ли они в своих книгах глубоко изображать противоречия действительности или им дано лишь применяться к существующим условиям, исходя, мол, из того, что плетью обуха не перешибешь. Нетрудно понять, что это один из самых острых вопросов, стоящих перед писателями в современной Испании. Не обходя и этого вопроса, Искарай отвечает на него так:

«Разумеется, в каждый данный момент нужно стремиться к тому, что *возможно*. Но измерять возможности нужно не критериями приспособленчества, а критериями борьбы».

---

* Роман напечатан в журнале «Иностранная литература» № 5 за 1961 г.

ЧТО ВОЛНУЕТ ПИСАТЕЛЕЙ НИГЕРИИ

Тяжелое наследие досталось нигерийскому народу. В результате колониальных порядков подавляющее большинство населения неграмотно. В стране, коренные жители которой говорили на многочисленных языках своих предков, был искусственно насажден в качестве государственного английский язык.

Даже тем немногим нигерийцам, которым удавалось получить образование, не приходилось и мечтать об изучении родного языка, своей истории, создававшихся в течение многих веков сокровищ устного народного творчества.

> «До недавнего времени,— писала газета **«Найджириэн трибюн»**,— африканцы, получившие образование на английском или французском языках, знакомились с литературой исключительно по произведениям европейских писателей. В школах и университетах они должны были изучать работы одних лишь европейских писателей, поэтому они творчески формировались в процессе изучения чужеземной культуры и учились презирать собственное прошлое».

Крупнейшая проблема, с которой сталкиваются сегодня нигерийские писатели, по их единодушному мнению, заключается в том, как дать правильное представление о культуре и традициях страны на английском языке, который пока остается государственным языком страны.

Об этом говорили нигерийские писатели **Сэм Эпелл, Тимоти Алуко и Фоларин Коукер** в беседе с представителем радио Йеми Луджаду, которая затем была опубликована в газете «Найджириэн трибюн».

> «Эта проблема,— заявил Сэм Эпелл,— является очень актуальной, ибо до тех пор, пока нигерийские писатели не будут в своих книгах точно воспроизводить мысли и речь среднего нигерийца, они не сумеют внести ничего существенного в культуру и литературу своей страны».

А это, по мнению писателей, далеко не просто сделать на английском языке, тем более что зарубежные издатели вовсе не стремятся издавать книги о жизни простых нигерийцев, а, наоборот, как горестно отмечает Сэм Эпелл, «желая угодить иностранным вкусам, предпочитают печатать таинственные, сенсационные рассказы, которые бесконечно далеки от новой Нигерии».

> «Писатель, который намеревается дать в своей книге,— как бы продолжает его мысль Фоларин Коукер,— правдивую картину сегодняшней Нигерии, очень легко может потерпеть крушение. Не удивительно поэтому, что книги, написанные нигерийцами, которым бурно аплодируют за рубежом, не пользуются популярностью в самой Нигерии».

Однако, несмотря на трудности, писатели Нигерии полны оптимизма и верят, что недалеко то время, когда в стране будут созданы свои издательства, считающиеся со вкусами не зарубежных, а нигерийских читателей, что писатели наконец перестанут зависеть от иностранных издателей, залогом чего является предоставленная в настоящее время писателям возможность более прямого и откровенного обсуждения волнующих их вопросов на страницах печати.

Как будет развиваться культура Нигерии? Какие задачи стоят сейчас перед писателями страны? Эти и многие другие связанные с ними вопросы не сходят со страниц нигерийской печати.

Особенно жаркие споры разгорелись вокруг так называемого «негритюда» — теории, согласно которой существует некая «общенегритянская культура», негро-африканская цивилизация и особый «темный и загадочный дух негро-африканской личности», якобы отличающий негров, где бы они ни жили. (Характеристику этой теории и связанных с ней дискуссий в говорящих по-французски странах Африки см. также в «Иностранной литературе» № 4 за 1961 г.) Относительная популярность этой теории среди некоторых деятелей культуры Нигерии объясняется, видимо, тем, что в своей критической части она резко осуждает проводившуюся прежде политику прямого подавления негритянской личности, африканской культуры.

Однако надо сказать, что в своем большинстве интеллигенция Нигерии сумела правильно оценить ограниченность и ошибочность положительной программы «негритюда», подменяющего национальное и классовое сознание мистическим понятием «африканская личность».

В этом отношении весьма характерны статьи **Нельсона Отта «Африканская личность и негритянская поэзия»** и **Эзекайла Мпашлеле**, писателя из Южно-Африканской Республики, проживающего сейчас в Нигерии, **«Культ негритюда»**, опубликованные в газете **«Уэст-африкен пайлот»**.

Почему сторонники «негритюда» распространяют свою теорию лишь на область культуры? По мнению Эзекайла Мпашлеле, это объясняется тем, что очевидное каждому разнообразие политических условий в различных странах обусловило полную несостоятельность попыток превращения «негритюда» в политическую концепцию.

> «Потерпев неудачу,— продолжает автор,— в попытке создать из так называемой «африканской личности» политическую концепцию, сторонники «негритюда» обратили свои взоры на африканское искусство, чтобы там найти обоснование своим взглядам. Но парадокс в том-то и заключается, что от идеи «единой африканской личности» и в искусстве не остается камня на камне именно из-за огромного разнообразия индивидуальных черт художников».

Нельзя не согласиться с теми африканскими писателями, которые, критикуя тео-

рию «негритюда», считают, что она, искусно подделываясь под «эмоции африканцев», на самом деле тянет народы Африки назад, мешает укреплению их политического и общественного самосознания. Один из основоположников «негритюда» поэт из Мартиники **Э. Сезэр** писал:

Ура тем, кто никогда ничего
не изобретал,
Ура тем, кто никогда никого
не эксплуатировал,
Ура тем, кто никогда никого
не завоевывал...

Эти стихи вызвали решительную критику со стороны Нельсона Отта. Его возмущает, разумеется, не утверждение, что народы Африки не вели войн и никого не эксплуатировали, а, как он пишет, «прославление пораженчества, хвала умственной и физической атрофии». Отта отвергает эти стихи как

> «...хвалу Африке мелких цыплячьих душонок, конфетных негритят и бравурной музыки».

Отта считает, что теория «негритюда» не может содействовать созданию подлинно художественных произведений.

> «В произведениях африканских писателей,— отмечает он,— может и должно быть нечто общее, но это никоим образом не означает, что в силу этого факта африканский писатель должен преклониться перед культом «негритюда».

Нельсон Отта предостерегает против опасности распространения взглядов сторонников «негритюда» и считает, что, пока не поздно, их надо остановить, чтобы они не причинили огромного вреда культуре Нигерии и других африканских стран.

По мнению Эзекайла Мпашлеле, теория «негритюда» замалчивает конфликты, существующие между неграми, противоречит жизненной правде. Сама жизнь подсказала западноафриканским писателям необходимость перейти от изображения некоего «универсального человека» к описаниям повседневной деятельности простого человека в его родной стране.

Действительность, которую писатели должны воплотить в своих произведениях, включает, по его словам, нищету, болезни, классовое сознание, бесчеловечность отношений одних негров к другим и т. д.

Казалось бы, согласно теории «негритюда», негр в любой африканской стране должен был бы чувствовать себя как на родине. На самом деле чаще всего бывает наоборот. Мпашлеле приводит тому многочисленные примеры.

Отвергая теорию «негритюда», прогрессивные нигерийские писатели и критики выступают вместе с тем за бережное и внимательное отношение к богатому древними традициями народному искусству стран Африки, за правдивое и точное изображение в литературных произведениях сегодняшнего и вчерашнего дня континента.

Гравюра на дереве ГАБРИЭЛЫ МЕЙЕРДЕННЕВИЦ *(ГДР)*

Дневники
Воспоминания

АНРИ АЛЛЕГ

Бойцы в плену

Перевод с французского
В. ФИНКА и К. ХЕНКИНА

Нет такого каземата, в который можно было бы заточить правду. Она ломает тюремные решетки, проходит сквозь любые кордоны и путешествует без виз.

И нет такой одиночки, в которой был бы одинок истинный патриот и коммунист. С ним всегда его партия, его народ и все, кто не глух к голосу правды.

Тому пример — жизнь Анри Аллега, неустрашимого борца за свободу алжирского народа, и его гневная книга «Допрос под пыткой», получившая всемирную известность.

Бывший директор «Альже репюбликэн», в то время единственной в Алжире демократической газеты, Анри Аллег на ее страницах беспощадно разоблачал французских колонизаторов и их приспешников. Арестованный в 1957 году и попавший в руки заплечных дел мастеров, которые подвергали его чудовищным истязаниям, долгие годы томившийся в тюрьмах и недавно совершивший успешный побег из тюремной больницы, Анри Аллег и в заключении ни на минуту не складывал оружия, не оставлял борьбы за правое дело. В тюрьме им написан «Допрос под пыткой», в тюрьме написана и его новая книга «Бойцы в плену» — неопровержимый обвинительный акт и потрясающий человеческий документ.

Ниже мы печатаем в сокращенном переводе книгу Анри Аллега «Бойцы в плену».

Когда перед нами открыли дверь камеры, мы увидели темный пол, весь в круглых жирных пятнах. Наши три тюфяка закрыли его целиком. Казалось, если мы еще втащим наши пожитки, то, хоть их было не так много, нам самим уже негде будет поместиться. Все же мы кое-как расположились, и тут Кристиан и Фернан «представились» друг другу и обменялись рукопожатиями.

Кристиану лет тридцать, он был школьным учителем в Хусейн-Дэи и укрывал подпольщиков, которых разыскивала полиция. Фернан работал на почте и тоже укрывал подпольщиков. Оба все время вспоминают обстоятельства своего ареста и погреба казино «Корниш», которое после памятного взрыва мины замедленного действия, заложенной под эстраду, было обращено в «сортировочную».

То один, то другой уточняет какую-нибудь деталь, добавляет какой-нибудь штрих, и так без конца. Я тоже в свое время немало просидел в одиночке и знаю по опыту, какую потом испытываешь потребность поговорить с первым встретившимся товарищем.

В полутьме звучит голос Кристиана:

— И какая у них злоба, у этих полицейских и парашютистов! Ввалились около часу ночи и точно с цепи сорвались. Еще одно слово, и они бы нас перестреляли. Они перетряхнули все, что было в доме, а нас приставили к стенке и — руки вверх. Потом нас отвезли в «Корниш», и там один полицейский сказал: «Вам-то еще повезло. Вы попали в удачное время». Мы все ожидали, что нас будут пытать. «Удачное время»... Это он имел в виду шум, который стал подыматься вокруг их методов допроса, вокруг смерти Мориса. Чувствовалось, что ими овладела какая-то нерешитель-

ность. В конце концов они на время отказались от пыток.

Сейчас они, должно быть, подбирают себе новые жертвы. Теперь им уже не так легко «работать», как хотелось бы: мешают разоблачения.

Кристиан оказался шурином Мориса Одэна. Он видел все, что пережила Жозетта Одэн после ареста мужа, и рассказывает нам, как в течение десяти дней ее отсылали из одной канцелярии в другую, из одного «сортировочного центра» в другой, и все попусту: она так и не дозналась, где он, пока наконец ее не вызвали.

— Я отвез ее. Чтобы не привлекать внимания к автомобилю, я остановился немного не доезжая до того здания, куда ей было надо. Скоро она вышла из подъезда. Одного малыша она несла на руках, второй шел рядом с ней. Вид у нее был растерянный. Казалось, она вот-вот упадет в обморок или с ней будет истерика. Я чувствовал, что ей трудно передвигать ноги. Вдруг она разразилась рыданиями: «Морис! Морис! Они убили Мориса!» Какой-то офицер из парашютистов только что прочитал ей протокол о «побеге»...

И мы снова возвращаемся к разговору о казино «Корниш».

— Каждый сидел там в отдельном погребе. А полицейские и парашютисты приходили и забирали, кого им было нужно.

— Пытали?

— Одного пытали — Жоржа С. Он был арестован раньше нас. Мне удалось обменяться с ним несколькими словами через дверь. Его «обрабатывали» главным образом электрическим током. И, конечно, били. У него на руках еще не зажили рубцы. Он хотел покончить самоубийством.

— Я тоже,— признался Фернан.— Когда меня схватили и привезли в Бу Зареа, я хотел покончить с собой. Со всех сторон стоны, крики, вой... Я не мог выдержать... Как-то бессознательно, почти автоматически я разорвал свою рубашку и сплел из нее веревку. Меня вынули из петли. Я был без чувств, но мне сделали какое-то вспрыскивание, и я пришел в себя. Не понимаю, как я мог до этого дойти.

Фернан уже не понимает этого, несмотря на решетки и мрачные стены, которые нас гнетут. Все дело в том, что ночные кошмары уже отошли в прошлое.

Несколько выстрелов разрывают тишину.

— Слыхали? — говорит Фернан.

— Да, это не прекращается.

Так бывает почти каждую ночь. То со страху даст очередь часовой, то расстреляют заключенного, а назавтра газеты прикрывают эту расправу россказнями о «попытке к бегству».

Из коридора доносятся шаги, они приближаются и замирают перед нашей камерой. Над дверью вспыхивает свет и бьет нам в глаза. Из темноты неожиданно возникают лоснящиеся от пота тела моих товарищей и их босые ноги, которые при этом освещении кажутся гигантскими.

Тюремщик прильнул к глазку, прорезанному в окошке, и, невидимый, обшаривает все уголки нашей камеры. Одновременно лязгает висячий замок, который он дергает для проверки. Мы вздрагиваем.

Свет гаснет, решетка сливается со стеной.

Шаги удаляются, но у каждой двери остановка; щелкают выключатели, лязгают замки, и наконец все стихает.

Через час следующий обход.

...Едва старший надзиратель и его помощник уходят, заключенные собираются у решеток и окошек и в течение получаса, а иногда и целого часа идет беседа, обмен новостями. Те, кто занимают камеры, расположенные в конце коридора, дадут знать остальным, когда услышат шаги тюремщика. Едва раздается установленный сигнал, все стихает. Сегодня это «кауа (кофе)!». Когда опасность миновала, кричат «зиду (продолжайте)!».

Раздаются приветствия. Они относятся к смертникам, для которых эта ночь может оказаться последней. Им в первую очередь принадлежит всеобщее почтение и любовь. Их сто двадцать человек. Они размещены в старых карцерах, где так темно, что приходится жечь свет круглые сутки. Карцеры рассчитаны на одного заключенного, но в каждом из них сидят по четыре смертника.

Для них начинается новая ночь без сна: чтобы рассвет не захватил их врасплох и чтобы тот из них, кого поведут на гильотину, не встретил один своих палачей, они не спят, объединенные изнурительным ожиданием, которое возобновляется каждый вечер. Чтобы поддержать себя, они выпивают невероятное количество кофе и разговаривают до рассвета, истолковывая по-своему каждый звук, каждый шорох и вздрагивая, когда где-нибудь щелкнет замок. Вся их воля направлена на то, чтобы не заснуть и уйти на смерть с ясным сознанием или же успеть сказать последнее «прости» тем, кого уведут палачи. Таковы ночи *«пкс»* *, как их зовут надзиратели.

Из своего 3-го отделения мы не видим их камер, но их голоса нам уже знакомы. В большинстве своем это молодежь, иным еще нет и двадцати. Мы узнаем горцев по их грубым голосам, кабилов по певучему говору и горожан по четкому произношению. Сегодня один из смертников получил вести с воли и делится ими. Все нас волнует, но всего

* Приговоренные к смерти.

более — бои Армии национального освобождения. Каждому хочется знать подробности о схватках, о том, как идет борьба в городах, обо всех операциях, проведенных алжирскими бойцами. У всех одна забота — только бы борьба продолжалась до победы.

«Боевые схватки на границе с Тунисом и в Кабилии»... «Перестрелка на юге Орана»... «Гранаты против полиции в Константине»...

Известия выслушиваются с глубоким вниманием и сопровождаются негромкими замечаниями. Потом вдруг раздается: «Шш... Эскуту (молчание)»,— и комментарии смолкают.

Затем следует новая информация и по-прежнему все об алжирских делах: что говорят в Тунисе, в Марокко, во Франции, какие шаги предпринимают политические деятели — враги и друзья. «В Китае происходят собрания, на которых народ знакомят с борьбой алжирцев... В Ираке и других арабских странах идет сбор пожертвований в пользу Фронта национального освобождения. Во Франции проводится День в защиту мира в Алжире».

Нередко мы узнаем старые новости, которым уже несколько дней, а то и несколько недель, но для нас и они не менее интересны, чем последняя вечерняя газета.

Того, кто рассказывает, со всех сторон засыпают вопросами, как будто он обязан знать все: «А что в Каире?», «А в Москве?», «А в Алжире?», «А что «ультра»?».

Кто-то бросает по-арабски:

— Жоржо! Повтори это по-французски для наших европейских братьев, может быть, они не все поняли.

Жорж Акампора, бывший член организации «Борцы за свободу», позднее вступивший в алжирскую Армию национального освобождения,— единственный европеец среди ста двадцати смертников. Его судили и приговорили к смерти одновременно с Мурадом Аккашем. Их обвиняли в нападении на полицейский участок в Редуте. Обычно Жорж служит переводчиком.

Когда новости сообщает кто-нибудь из 2-го отделения или кто-нибудь из нас, Юсеф переводит их на арабский язык для тех, кто не знает французского.

— Кауа!

Из глубины коридора предупреждают: идет Дон. Обычно он пьян во всякое время дня и ночи. Однажды вечером он остановился перед нашей дверью, приоткрыл окошко и, уставившись на нас, сказал таким тоном, точно просил об одолжении:

— Не надо кончать самоубийством... Хорошо? А то, знаете, я потом буду иметь неприятности...

Настроение меняется у него резко и неожиданно. То он в бешенстве просовывает револьвер за решетку и грозит «ухлопать одного», то погружается в полное безразличие. Все зависит от того, сколько он выпил. Дон нетвердыми шагами проходит по коридору, ворча:

— Кончится наконец этот бордель, а? Я прикажу закрыть все окошки!— Но этим все и ограничивается.

Надзиратель Гаргуль, который приходит вслед за ним, куда опаснее.

— Вы сегодня кончите, сволочи? Мне это осточертело!— орет он, остановившись у 1-го отделения.

— Будьте повежливей, вы разговариваете с людьми!— бросает один из смертников.

В ответ раздается ругательство.

— Вы, однако, храбрец!— доносится еще один голос.— Нас-то ведь легко оскорблять.

— Хватит! Закрой свое хайло! Мало ты получил в последний раз? Опять захотелось месяца на три в погреб? Я тебя запишу!

— Запиши! Запиши десять раз, запиши пятьдесят раз, сын мой!

И смех.

Гаргуль уходит в бессильной ярости. Он знает, что лишения, побои, месяцы карцера имеют мало власти над теми, кто принес в жертву свою жизнь.

И наконец какое еще более тяжкое наказание можно придумать для людей, которых уже и без того бросили в сырые и холодные могилы, лишив воздуха и света, и которые выходят из своих ям только в цепях?

Как бы в отместку за всех, кого Гаргуль унизил и оскорбил, один из смертников затягивает партизанскую песню:

Кровь наша кипит,
Наше знамя развевается над горами,
В бою мы отдаем свою жизнь.
Мы — солдаты Освобождения!

Когда пение смолкает, из камер смертников и из других отделений доносится:

— Саха! Саха! Тахиа аль-Джазаир ва-ль-Истикляль! (Спасибо, брат! Да здравствует Алжир! Да здравствует независимость!)

Эти люди презирают наказания, которые посыпятся на них завтра.

Проходит стража и захлопывает наши оконца.

Душевнобольной воет ночи напролет. До недавнего времени его держали в одиночке, в подвале. Это далеко от нас, мы ничего не слышали. Но с тех пор как его перевели во 2-е отделение, его пронзительный, нечеловеческий голос заполняет всю «старую тюрьму».

С вечера до утра, почти без остановки, с неистощимой энергией выкрикивает он в каком-то прерывистом и лихорадочном темпе одну и ту же фразу. В ней можно разобрать только последние слоги, которые он растягивает, точно заводит песнь: «...а-а-а-а бо-о-мба-а-а-а...».

И так в течение долгих часов — то с негодованием, то с испугом, то угрожая, то умоляя. Внезапно он смолкает, но

скоро снова раздается этот пронзительный вопль страдания.

Мы затыкаем себе уши, мы хотим забыть и сумасшедшего, и эти гнетущие стены камеры. Мы хотим спать. Но крики не дают нам сомкнуть глаза, нервируют нас, изнуряют, и в конце концов нас самих начинает охватывать тоска.

Какие пытки, какие страдания довели этого человека до того, что он потерял рассудок?

Есть и другие душевнобольные. Их держат в одиночках, некоторых — в цепях. Иных оставляют в общих камерах. С ними, конечно, трудно, но здесь они не так несчастны, как в одиночках, потому что заключенные по крайней мере обращаются с ними по-человечески. Это все, что можно сделать для них.

Пытки в полиции и в застенках парашютистов, побои, месяцы одиночного заключения, ледяная вода, которой тюремщики, ради забавы обливают спящих,— все это сламывает или по крайней мере подтачивает сопротивление организма.

Во 2-ом отделении почти на наших глазах медленно сходит с ума один «изолированный». Каждое утро он высовывается в окошко и умоляет соседей из ближайших камер;

— Пожалуйста, скажите ему, пусть он перестанет меня звать! Вы слышите! Зачем он меня зовет? Ведь вы его знаете, скажите же ему, пусть перестанет. Всю ночь! Всю ночь он меня зовет! Зачем он это делает?

В психиатрических больницах нет мест. В Блида-Жуанвиль полно, да, кроме того, больных заключенных и не признают больными.

В галерее 2-го отделения раздаются быстрые шаги. Со стуком открывается оконце:

— Заткнись, черт возьми! Слезай! Слезай, говорю, худо будет!

Это орет пьяный надзиратель.

— Слезай!

Должно быть, помешанный взобрался на приступок, который служит полкой, и сидит там. Он не отзывается и продолжает выть в темноте.

Надзиратель снимает висячий замок и отпирает дверной. Слышатся глухие тяжелые удары и снова злобный голос тюремщика:

— А теперь замолчишь? А если еще вот так, замолчишь?

Еще удар, дверь закрывается, надзиратель уходит, сумасшедший начинает плакать. Мало-помалу рыдания стихают. И все та же нелепая фраза все в том же безумном ритме пилит нам нервы, и нам уже трудно сдерживать свой гнев.

Мы выходим из камер во двор. Сияет солнце, и кусок голубого неба, который мы внезапно видим, кажется нам огромным и радостным, как свобода.

Мы даже забываем о неприступной, как отвесные скалы, высокой стене, о ярусах окон, похожих на бойницы, откуда за нами следят, об охранниках, которые кружат вокруг нас.

Этот «загон», как называют двор на тюремном языке,— самый большой из пяти имеющихся в тюрьме Барберус. Это четырехугольник шириной примерно 15 метров, а длиной 25. С трех сторон— стены тюремных зданий и ограда, на четвертую выходит невысокое строение: больница с террасой, где прогуливаются больные. По ту сторону каменной ограды высится дом, в котором живут семьи жандармов. К нему примыкает казарма.

В углу двора находится своего рода беседка под белым куполом, украшенным гипсовым полумесяцем с давно осыпавшимися рогами. Купол покоится на небольших арках в мавританском стиле. Мы называем это строение «кубба». В былое время, когда заключенных было не так много, оно служило молельней. Муэдзин стоял у входа, а верующие молились, расположившись снаружи на своих циновках. Неподалеку находились небольшие бассейны для омовений, в которых теперь нет воды.

Под ногами грязно и скользко от помоев и нечистот. Тут и там валяются брошенные котелки с остатками пищи. Сегодняшнее меню, которое в помещении легко узнать по запаху, написано на асфальте, как на грязной скатерти. По понедельникам и пятницам — картошка с тмином, по вторникам — рисовая похлебка, по средам и субботам — нут *, чечевица, фасоль или чина **, по четвергам и воскресеньям — макароны. Все это относится к первой, дневной еде, по вечерам дают только жидкий суп, неизменный, как тюремные стены. По четвергам и воскресеньям мы имеем право на кусок говядины, по большей части совершенно несъедобной. Ее приносят в бидонах, куда дежурный запускает руку, чтобы достать очередную порцию. Кругом валяются отбросы и объедки.

И все-таки, как наш двор ни грязен, после сырой камеры нам кажется, что он залит светом и от него веет свежестью.

С некоторых пор мы выходим на прогулку вместе с заключенными из 3-го отделения... Это — новшество, потому что правила требуют, чтобы мусульмане и европейцы содержались раздельно, а коммунисты — в стороне от всех остальных.

Нас приняли тепло, по-братски. С первого же дня задал тон Юсеф с его врожденным тактом и широтой взглядов. Когда один из наших товарищей, европеец, из деликатности остановился у порога куббы и, не решаясь войти, спросил,

* Бобовое растение, употребляется преимущественно на корм скоту.

** Травянистое бобовое растение.

отправляется ли там и теперь богослужение, Юсеф, добродушно подталкивая его, сказал.

— Входи, входи, ия койа (мой брат)!

— В завтрашнем Алжире хватит места для всех,— прибавил другой из наших товарищей-мусульман.— Для всех, кто верит в бога по-своему.

— И даже для тех, кто вообще не верит,— поправил его Юсеф.

— Прежде чем нас стали выпускать на прогулки вместе с вами,— рассказал он мне, смеясь,— к нам пришел помощник начальника тюрьмы и сказал: «Вы пойдете на прогулку вместе с семьдесят второй камерой, но будьте осторожны, они коммунисты».

Администрация пошла на это, потому что не могла поступить иначе. Тюрьма переполнена, и по-настоящему изолировать одних заключенных от других становится все трудней. До мая все коммунисты, независимо от национальности, содержались в одной общей камере, расположенной в центре тюрьмы. Но, собранные вместе, они стали силой, которая дала себя знать, когда пришли за одним из них, чтобы повести на пытку.

Это было в нынешнем году, в марте или апреле.

Секретаря Алжирской коммунистической партии (АКП) Ахмеда Аккаша парашютисты около недели продержали в застенках виллы Сезини, а затем он был передан судебному следователю и посажен в тюрьму. Прошло недели две, и следователь решил не предъявлять ему никакого обвинения.

На деле это было уловкой, имевшей целью отдать его в руки палачей.

Но коммунисты забаррикадировались в камере вместе с Ахмедом Аккашем и отказались выдать его. Начальник тюрьмы в виде подкрепления вызвал жандармов. Те опрокинули заграждение из матрацев, одеял и подушек, наваленных у решеток, и после настоящего побоища, во время которого заключенных избивали дубинками, силой увели Ахмеда Аккаша.

Это событие имело последствия.

О нем стало известно на воле, оно вызвало шум, и это несколько обуздало палачей и избавило секретаря компартии от новых мучений.

Его недолго продержали в лагере Бени-Мессу и снова перевели в Барберус. На сей раз его сразу поместили в одиночную камеру во 2-ом отделении, ибо если этот пример мужества горячо приветствовали все заключенные, то и администрация тюрьмы извлекла из него урок. Теперь, когда прибывают коммунисты, их разбивают на мелкие группы или сажают в одиночки.

Неподалеку от бассейна мы разговаривали с Юсефом. Он стирал. Его движения были стеснены и неумелы. Смуглые тонкие руки, погруженные в сверкающую мыльную пену, казалось, мсили солнце.

К стене, отделяющей двор от забранных решетками окон, за которыми сидят смертники, прислонился надзиратель. Он наблюдает за нами и что-то заносит в свою записную книжку.

— Что это он делает?

— Отмечает, кто разговаривает, чтобы доложить начальнику,— говорит Юсеф.

— Ну и что будет?

— Что будет?.. Наплевать...

Юсеф продолжает свой рассказ.

Ему было шестнадцать лет, когда была захвачена группа бойцов Армии национального освобождения, к которой он принадлежал. Теперь ему еще нет семнадцати. Это высокий, худой, смуглый юноша с детскими чертами лица, очень черными глазами и слегка горбатым носом. Легкий пушок обрамляет его рот, улыбка обнажает золотой зуб. Из-за всякого пустяка он краснеет, как ребенок. Юсеф полон юношеской веры, энтузиазма, жажды знаний и в то же время наделен той необычной проницательностью, зрелостью и твердостью, которые отличают десятки тысяч алжирских патриотов, выросших среди страданий и боев. Начиная с ноября 1954 года они с каждым прожитым месяцем становились старше на целый год: из детей сразу превращались в мужчин, в борцов за независимость.

Свойственные Юсефу ласковость и юношеское простодушие сразу уступают место непримиримой ненависти, когда он говорит о колониалистах и их зверствах. К алжирцам, которые не выполняют своего долга, он суров, почти жесток, и некий «шейх», содержащийся в тюрьме, втайне побаивается его.

Мы узнали, что этот «шейх» играл подлую роль в округе Батны, где он раньше заведовал зауйя *. Позже, перебравшись в Алжир, он выдавал себя за католического священника и требовал, чтобы его звали «брат Жан». Прикрываясь этим званием, он набрал у местных крупных коммерсантов несколько миллионов, якобы взаймы, но был разоблачен как мошенник. В тюрьме он стал старостой камеры, в которой сидели молодые заключенные, и пытался деморализовать их, на что имел указания свыше.

Мы остерегаемся и сторонимся его. А что касается Юсефа, то он открыто выказывает «шейху» свое отвращение.

— Такие типы,— говорит он,— только позорят нашу страну.

Он свободно и правильно говорит по-французски, если не считать твердого «р», некоторого скрадывания гласных и подчас своеобразных оборотов речи.

Я смотрю, как он стирает и полощет белье.

— Я хотел стать механиком,— гово-

* Исламистское духовное училище.

рит он.— Отец пытался определить меня в специальную школу. Но ты ведь сам знаешь, какие там порядки. Для нас никогда нет мест, только для европейцев. Всегда найдется предлог, чтобы не принять араба. Тогда я нашел место у одного владельца гаража в Редуте. Он держал меня на побегушках, заставлял мыть полы, выполнять всякую грязную работу, но чтобы учить меня — дудки!.. Приходилось урывать минуты, когда хозяина не было. Тогда меня немного подучивал рабочий. Но это продолжалось недолго — меня арестовали. Когда выйду отсюда... Хотя, что загадывать! Там будет видно...

Он рассказал мне, что его отец служил в больнице Мустафа и тоже побывал в тюрьме.

— В 1945 году, после 8 мая, он сам научил нас, меня и брата, бороться за независимость.

Брат немного старше Юсефа и был арестован раньше его. Недавно его приговорили к десяти годам тюрьмы. Он отбывает наказание в Ламбезе.

— А твой отец? Как он смотрит на то, что оба его сына в тюрьме?

— Конечно ему больно... Но он доволен. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Конечно. Он гордится вами.

— Вот именно, гордится. Что касается матери, ей тоже тяжело, но ведь таких, как мы, очень много...

Это верно. Одной из характерных черт революции, которая до самой глубины всколыхнула алжирский народ, является то, что в борьбе участвуют близкие родственники. И в тюрьмах они тоже вместе. В отделении смертников одно время было две камеры, в которых сидели родные братья: в одной — три брата Мельзи, в другой — три брата Менаа. А в общих камерах нередко лежат на одном тюфяке отец и сын. Никто не удивляется этому, никто этим даже не восхищается. Считается естественным, что каждая семья отдает священному делу все свои силы.

В ноябре 1956 года Юсеф и его товарищи, перед тем как попасть в Барберус, подверглись пыткам в одном «сортировочном центре» недалеко от Руибы.

— Нас туда привезли жандармы. Продержали несколько дней. Пытали водой и били плетьми. Мы все распухли и почернели.

Юсеф не распространяется о том, что именно привело его к аресту, только говорит, что в квартале Кло Саламбрие, где он жил и где все улицы носят названия цветов — улица Мимозы, улица Мака, улица Роз,— группы Армии национального освобождения были крепки и хорошо вооружены. О своем Кло Саламбрие он вспоминает со своего рода патриотической гордостью. Иногда он полушутя, полусерьезно восклицает:

— Разве есть более патриотический квартал, чем наш Кло Саламбрие? Посчитайте, сколько нас здесь, в тюрьме, из этого квартала! Среди нас есть даже европейцы! Майо и Фернан Иветон были тоже из Кло...

Ребенком он знавал их обоих. Он уже сидел в Барберус в феврале, когда казнили Фернана Иветона. Голос его становится глухим и строгим.

— Когда узнаешь,— говорит он,— что твой брат убит в бою, ты плачешь, но тебе легче от того, что он погиб свободным, с оружием в руках. А если так, на гильотине... разрывается сердце. Особенно если это твой сосед, если ты встречался и разговаривал с ним на воле... Никогда этого не забуду... Когда пришли за Фернаном и Ахмедом Лакнешем, мы слышали, как они оба прощались с нами. Иветон кричал громко и спокойно, как будто ему предстояло скоро вернуться:

— Да здравствует независимый Алжир!

Перед смертью они обнялись.

Чувствуется, что, несмотря на свою молодость, Юсеф уже свыкся с мыслью о смерти.

Смерть! Она слишком явно присутствует в этих стенах, чтобы, говоря о ней, можно было фанфаронить. Но есть мысль, которую люди, рискующие жизнью, не высказывают вслух, потому что боятся громких фраз или просто считают ее настолько естественной, что даже и не думают ее выражать: «Если придется умереть, я умру, как другие. Но как хотелось бы жить! Как хотелось бы по крайней мере дожить до первого дня независимости!»

С наступлением ночи, перед тем как захлопываются окошки в дверях камер, снизу нередко доносится голос какого-нибудь смертника: «Привет всем наверху... В особенности нашим братьям европейцам!»,— как будто мы заслуживаем особого упоминания. Для нас это подлинная радость Мы слишком горько страдали все эти ужасные годы из-за поведения большинства европейцев. Нам было стыдно расизма и каннибальской ненависти, которая охватила большинство европейского населения Алжира. В годы подполья, когда приходилось растворяться в этой толпе, слышать, видеть и молчать, мы научились сносить суровые и возмущенные взгляды мусульман, которые, не зная, кто мы, распространяли свой законный гнев и на нас. Могло ли быть иначе, если европейцы аплодировали линчевателям?

Из окна одной конспиративной квартиры мне довелось видеть, как орудуют так называемые «командос», выступающие под лозунгом «Алжир остается французским».

По улице проходила похоронная процессия — провожали на кладбище жертву какого-то покушения. За гробом позади семьи покойного шли его друзья.

АПРИАЛЛЕГ
БОЙЦЫ В ПЛЕНУ

Когда показался хвост процессии, мы почувствовали неладное: что-то готовилось. Солдаты территориальных войск в форме шагали без строя, болтая с какими-то молодыми людьми, и эта группа занимала проезжую часть улицы во всю ширину.

Как бы повинуясь неожиданному приказу, несколько молодых людей подошли к стоявшему у тротуара автомобилю, окружили его и принялись рассматривать номерную табличку. Я видел, как они стали утвердительно кивать головой и созывать других. В мгновение ока стекла были вдребезги разбиты, шины проколоты и автомобиль опрокинут на тротуар. В двадцати метрах от этой банды стояли полицейские. Их было четверо или пятеро. Они все видели и покровительственно молчали: владелец автомобиля был мусульманин.

Бакалейщик-араб быстро опустил железные шторы своего магазина, так что те молодцы не успели обратить на него свою ярость. Выкрикивая «Алжир остается французским», эти распоясавшиеся молодые люди в голубых куртках и их подружки в пестрых легких платьях расположились поперек улицы, от одного тротуара до другого, и стали задерживать все проезжающие автомобили, чтобы проверить номера и посмотреть, кто едет. Несколько автомобилей было пропущено без задержки — европейцы. Но вот вся банда, охваченная лихорадочным возбуждением, сбилась в кучу, задержав светлую машину марки «ведетт». Оттуда вытащили женщину под чадрой с младенцем на руках. Ее избили и отшвырнули в сторону. Машину легко, как игрушку, опрокинули колесами вверх. Она на мгновение как бы в нерешительности повисла над парапетом, который идет вдоль бульвара, потом рухнула и, пролетев метров двадцать, разбилась о скалы. Молодые люди и девицы сгрудились у перил и молча смотрели вниз — видно, у них вдруг сдали нервы. Но вот одна из девиц стала истерически весело аплодировать. Вся банда приободрилась и с воем ушла навстречу новым «подвигам», по-прежнему сопровождаемая безмолвными полицейскими.

Минуту спустя женщина под чадрой с младенцем на руках, оставшаяся почти одна на набережной, тоже перегнулась через перила. Она увидела мужа. Он лежал мертвый среди обломков автомобиля.

Многие из нас присутствовали при подобных сценах и были бессильны помешать негодяям. Все это отнюдь не отошло в прошлое, но, хотя война становится все более жестокой и пропасть, которую она вырывает между французами и алжирцами, с каждым днем делается все глубже, алжирские патриоты окружают нас любовью и дают нам почувствовать, что среди них мы у себя дома. Именно в этом смысл приветствий, с которыми обращаются к нам заключенные из «новой тюрьмы», когда мы встречаемся с ними, идя в душевую, или из 22, 24 и 17-й камер, когда они, отправляясь на прогулку, проходят по галерее 2-го отделения. Пусть беснуются тюремщики — кто-нибудь непременно крикнет нам на ходу:

— Саха, братья, саха!

Слово это, собственно, означает «здоровье», а в обычной речи употребляется в смысле «спасибо». Но в Барберус оно имеет особое, гораздо более широкое значение, неизвестное на воле, и вновь прибывшие сразу улавливают и усваивают его.

Здесь «саха» значит «дружба», «мужество», «вера». Нередко прибавляют: «Гхриб, гхриб (скоро, скоро)», подразумевая «аль - Истикляль (независимость)».

Друзей у нас сотни. Из наших окошек мы видим на нижней галерее все новые лица. Проходят смуглые усатые крестьяне, белокурые или рыжие горцы из Кабилии, рослые южане с бронзовыми лицами, черные жители Сахары, городские рабочие в спецовках, торговцы и интеллигенты, сохраняющие даже здесь, несмотря на помятые костюмы, некоторую элегантность, и все они проявляют к нам ту же любовь и то же доверие.

Здесь есть почти дети — такие, как тот четырнадцатилетний чистильщик обуви, который бросил гранату во двор центрального комиссариата. Тюремной администрации даже пришлось отвести для них отдельную камеру — «детскую».

И есть старики, которые пожелали отдать родине последние силы, и среди них — слепые, калеки, больные.

Черный атлет несет безногого мужчину с измученным, но волевым лицом, которое озаряют необыкновенно черные, глубоко запавшие глаза. Обеими руками обхватив своего товарища за шею и повернув лицо в нашу сторону, инвалид приветствует нас.

— Знаешь, кто это?— спрашивает Юсеф.— Это он организовал сбор средств в пользу Фронта по всей Большой Кабилии!

Целый народ борется за свое освобождение, и каждого вдохновляет его дыхание. Несмотря на все страдания и унижения, которыми полна жизнь в тюрьме, несмотря на гнетущую атмосферу, которая здесь царит, люди сохраняют душевный подъем и веру в будущее, как бойцы в пылу справедливой битвы.

Зрелые мужчины, старики, юноши... Борется целый народ.

Одинокий пронзительный крик разрывает тишину ночи. Мы вскакиваем. Действительно ли кто-то кричит или нам померещилось? Мы все трое стоим в темноте и с бьющимся сердцем прислушиваемся к этому крику обреченного на смерть человека, взывающего к своим братьям. Этот крик не угасает, а раство-

ряется в сотне других голосов, голосов смертников, посылающих привет и щемящее душу «прощай» своему товарищу, которого ждет гильотина.

Вся тюрьма, охваченная волнением и гневом, присоединяется к ним. Вопль протеста подымается до такой мощи, что кажется, камни дрожат, и вдруг все смолкает.

Тюремщики сорвали его с тюфяка. Он не спал, никто не спит в эти часы... Недели, месяцы, быть может, годы ждал он этой ночи. Она пришла.

Топают сапогами тюремщики и жандармы. Они уводят его, но он успевает что-то сказать. Утром мы узнаем, что именно.

Закованный в кандалы, окруженный охраной из десяти человек, которые тащили его и пытались помешать ему говорить, он все же сумел обернуться к двум камерам, расположенным в конце коридора, где заключенные прильнули к решетке, и к нашим закрытым глазкам, и прокричать:

— Простите, братья, если я кого-нибудь обидел или оскорбил... Бог велик. Да здравствует Алжир! Да здравствует независимость!

— Тахиа аль-Джазаир!

Внезапно в ответ на наши крики раздается дикое и страшное пение женщин — гимн страданию, жертвам и борьбе алжирского народа, провожающий осужденного до самого места казни.

Исступленные, неистовые женщины рубят фразы, словно вырывают их с кровью из самого сердца.

Слова их песни, произносимые так отрывисто и четко, что мы понимаем их несмотря на расстояние, будут услышаны и по ту сторону ограды, на еще спящих улицах Казба *, который весь живет, как в тюрьме, и возвестят ему, что этой ночью кто-то умер в Барберус.

В последний раз слышится «Тахиа аль-Джазаир», и воцаряется тяжкая тишина — тысячи людей затаили дыхание.

Мысленно мы следуем за обреченным, шепчем ему, что этого не забудем.

С каждой минутой, с каждым шагом, который он делает навстречу смерти, растет наша скорбь.

Он в канцелярии... Теперь, должно быть, открывают решетку... Он выходит... Он уже во дворе... Гильотина стоит справа, в углу, на цементной площадке, где обычно останавливается тюремный фургон с подследственными.

Все это тянется долго-долго. На стены камеры падает бледная тень решетки. В тишине, должно быть, слышно, как бьются наши сердца. Из крана капает, и этот звук кажется нам святотатством.

У ворот заводят мотор, потом второй. Хлопают дверцы автомобилей, трещат мотоциклы. Вершители «правосудия» уезжают. Все кончено.

Сквозь решетки вползает мутный рассвет... Появляются надзиратели — их не было во время прощания и пения женщин. Надзиратель П., который обычно сидит в канцелярии, подходит к камере 24 и, теперь уже без всякой причины, просто ради удовольствия, кричит:

— Довольно, слышите? Марш по тюфякам! Понятно?

Наказания за ночную манифестацию последуют завтра.

Уже светло. Муэдзин затягивает молитву. Сегодня она звучит как заупокойная. Прибегает дежурный со своим бидоном кофе, за ним следует надзиратель, который спрашивает у каждой камеры:

— Кофе?

— Нет!

У всех один ответ.

В окошках показываются лица.

Слышится голос Юсефа. Тихо, очень тихо, как в доме, где лежит покойник, он спрашивает 24-ю камеру:

— Кто ушел?

Никто никогда не говорит «умер» или «казнен».

— Мы еще не знаем. Они взяли трех братьев,— отвечает один из заключенных и, просунув руку за решетку, показывает три пальца. Он говорит так тихо, что многие не расслышали, но все видят три пальца.

Когда принесут обед, все откажутся. Так будет до завтрашнего дня — в знак коллективного протеста против казни плennых бойцов. Большинство мусульман, сидящих по уголовным делам, участвуют в этом протесте, разделяя чувства политических.

Кое-кто из надзирателей чувствует накаленную атмосферу, которая царит в тюрьме, и поддается общему волнению. Кракрак, отпирая замки, кивает нам и роняет сквозь зубы:

— Война... это ужас!..

Но остальные равнодушны или даже готовы бросить вызов той всеобщей молчаливой враждебности, которую они ощущают. Они больше обычного сыпят похабными словами и обмениваются шуточками, оскорбительными для заключенных, которые только что потеряли товарища.

Один надзиратель с пухлыми и румяными, как яблоки, щеками и перекошенным ртом, что придает ему некоторое сходство с актером Мишелем Симоном, бросает своему напарнику с деланным смехом:

— Слушай, да ведь это даже хорошо, что они отказываются жрать! Для администрации — экономия... И меньше налогов придется платить...

Для тюремщиков-расистов ночь гильотины — праздник. После казни они достают бутерброды и бутылки и начинают пить и веселиться. У этих «креп-

---

* Арабский квартал в городе Алжире.

ких парней» пролитая кровь алжирцев только возбуждает аппетит.

Европейцы-уголовники, работающие на медицинском пункте, тоже пируют в таких случаях. Они хотят показать, что хоть они воры и убийцы, а все-таки принадлежат к расе господ, раз умеют так ненавидеть.

В наказание за отказ от еды начальник тюрьмы отменяет прогулки, так что мы целый день проводим взаперти.

К вечеру настроение немного поднимается. Один товарищ виделся со своим адвокатом и через окошко сообщает новости. Он говорит тихо: сегодня ему кажется неуместным кричать. Он знает, что для смертников начинается новая ночь без сна: ведь бывает, что гильотина работает две ночи подряд. Но из камеры смертников послышался твердый голос:

— Брат, говори громче и по-арабски: мы хотим знать... Что слышно на воле? Это главное...

Заключенного Махмуда Б., сына бывшего депутата от города Орлеанвиля, перевели в одиночную камеру. Он уже не новичок в тюрьме: его арестовали в Орлеанвиле и перевезли сюда. Несколько недель он просидел в общей камере. Он говорит, что сам попросился в одиночку.

«Что за причуда!» — думаем мы. Как бы ни было неудобно в общей камере, но разве не лучше быть со всеми вместе и иметь хоть какую-нибудь возможность двигаться, чем двадцать два часа в сутки сидеть в тесной клетке и быть отрезанным от коллектива, а если и сноситься с ним, то лишь тайно?

Махмуд Б. — молодой человек среднего роста, тщедушный и хрупкий. На его остриженной наголо голове уже начинают отрастать белокурые, почти рыжие волосы, они торчат, как щетина. Белое продолговатое лицо с тонкими чертами усыпано веснушками. В своем синем костюме, слишком опрятном и слишком элегантном для Барберус, он похож на английского студента, который по нелепой случайности попал к нам в гости. По-французски он изъясняется без акцента, с изысканной небрежностью.

Его семья считалась одной из самых богатых и знатных в Шелифе. Господа Б. жили у себя в имении, как могущественные феодалы, и были более близки к крупным помещикам-французам и высокопоставленным чиновникам, чем к алжирскому народу. В награду за их заявления о преданности Франции и услуги, оказываемые колониальной администрации, они, как и некоторые другие, пользовались покровительством властей, получали синекуры и мандаты депутатов Алжирского собрания и генеральных советов, избираемых «по-алжирски», то есть по-колониалистски.

Именно так стал депутатом и господин Б.

Но могучая народная буря, с непобедимой силой разразившаяся в Алжире, порвала самые прочные связи людей со старой властью. Даже те, кто находятся в привилегированном положении, зачастую не в силах противиться увлекающему их потоку. Они срывают с себя позолоченные ошейники рабства, и вот феодалы, еще недавно гордившиеся своим богатством и поддержкой иностранной силы, оказываются в одном лагере с хамесами *, с батраками, лавочниками, служащими, с трудовым людом городов, со всем народом, поднявшимся на борьбу за национальное освобождение.

Так было и с семейством Б. Поэтому появление Махмуда в тюрьме не может нас удивить.

— Моего отца,— рассказывает он,— не было, когда пришли солдаты. К счастью... Меня они пощадили, но его убили бы. Он во Франции, и управление имением взял на себя я.

Однажды пришли бойцы **. Мы помогли им в меру наших сил, ведь мы — алжирцы. Конечно, об этом стало известно в усадьбе и в соседних дуарах ***, но я продолжал жить по-старому и ни о чем не тревожился. Незадолго до последних событий мы наняли одного мастера, европейца, отставного сержанта из Иностранного легиона. Он нас и выдал — конечно, по наущению соседних помещиков-французов. А ведь мы вели с ними дела.

Он рассказывает все это со странной улыбкой. Похоже, что он смакует каждое произносимое слово как подтверждение, что он все еще жив.

— Солдаты оцепили усадьбу,— говорит он,— вошли, собрали всех моих рабочих... и стали стрелять. Сколько было убито? Не знаю. Десятки... Трупы они свалили в яму. Меня допросили, избили, а потом бросили в ту же яму, где лежали покойники. Там было полно крови. Я думал, меня тоже убьют, но вмешались друзья-европейцы из Орлеанвиля, и благодаря им я попал в тамошнюю тюрьму, а потом меня перевели сюда. Я потерпел убытков больше чем на десять миллионов,— продолжает он.— Они все разгромили, изломали мебель маркетри, которую мы выписали из Персии, растащили картины, ковры...

Он все улыбается, странным образом равнодушный к собственному повествованию.

Юсеф со злобой говорит ему по-арабски:

— Если бы ты продал свои картины и отдал десять миллионов на революцию, они бы не достались французам...

И потом, когда его упрекали в этой грубой выходке, указывая, что Махмуд все-таки поступил как патриот, что прошлое уже не имеет значения, что челове-

---

* Хамес — крестьянин-арендатор, отдающий владельцу земли четыре пятых урожая.

** Имеются в виду бойцы Армии национального освобождения.

*** Дуар — деревня.

ку, привыкшему к богатству и роскоши, в Барберус еще трудней, чем другим, и что со всем этим надо считаться, Юсеф упрямо отвечал:

— Конечно, для детей нищеты вроде меня пойти на гильотину дело нормальное, а сынку депутата в тюрьме слишком трудно! Он выполнил долг алжирца? Ну и хорошо... Но он сделал не больше, чем всякий другой, например, чем те рабочие, которых застрелили у него на ферме. Пусть он это зарубит себе на носу.

Наши друзья-алжирцы охвачены необыкновенной жаждой знаний. Неграмотные, естественно, хотят прежде всего научиться читать и писать по-арабски и по-французски. Но они не удовлетворяются этим.

Что известно им, например, о богатом прошлом Алжира, о его культуре, о его вековой борьбе за свободу? Даже наиболее образованные из них отдают себе отчет в том, что образование, которое им дали в условиях колониального режима, предусматривало намеренное искажение или сокрытие истории алжирского народа и древней арабской цивилизации, представляя дело так, будто единственным источником культуры был колониалистский Запад. Они горячо восстают против этого национального обезличения, которое испытали на себе, и с жаром принимаются за изучение литературного арабского языка, проглатывая и обсуждая те немногие книги об Алжире, которые им удается заполучить в тюрьме.

Добровольные учителя пользуются у своих учеников неописуемой любовью.

Один рабочий-металлист из Блиды, Огюст М., который за два года успел обучить чтению и письму человек сто феллахов и рабочих, рассказывал мне впоследствии, какую глубокую признательность они питали к нему. Когда его переводили в другую тюрьму, один из его учеников обнял его и взволнованно сказал:

— Ты сделал для меня больше, чем отец: он только дал мне жизнь, а ты открыл мне глаза.

Пока еще взаимное обучение по-настоящему не организовано, и каждому предоставляется самому выбрать себе учителя, который будет заниматься с ним разговорным французским или арабским.

Мне особенно охотно помогает один строительный рабочий, Абделькадер, родом из Таблата, который в поисках работы приехал в Алжир, где и попал в тюрьму. Он терпеливо поправляет мои нескладные фразы, а иногда принимается и за Поля Кабальеро, который спит рядом со мной.

Я обрадовался, увидев Поля, услышав его оранский выговор и его сочные шутки. У нас с ним уже есть общие тюремные воспоминания, потому что в 1955 году мы целый месяц просидели в одной камере в Барберус *. Алжирские судьи посадили меня за то, что я слишком горячо протестовал против конфискации «Альже репюбликэн».

А Кабальеро просидел там год. Он был представителем алжирской компартии в руководстве алжирского Фронта национального освобождения и выпустил листовку, в которой приветствовал тунисский народ, боровшийся за свою независимость. За это Полю и дали год тюрьмы.

Итак, мы оба — ученики Абделькадера. Но когда пение, разговоры и хождение прекращаются, решетку заслоняют циновкой, защищающей нас от ледяного дыхания ночи, и камера засыпает, я часто один беседую с Абделькадером.

Его тюфяк лежит возле железной доски, которая служит столом, как раз под единственной электрической лампочкой, дающей немного света. Наверно, он выбрал себе самое освещенное место, чтобы ему было легче бодрствовать. Он наш «ночной староста». Когда все спят, он кипятит чай на спиртовке, которую обычно прячет под тюфяком, и угощает меня. Абделькадеру лет тридцать, но выглядит он старше. Его черные волосы выбиваются из-под шешии, которую он сам себе связал от нечего делать. У него близко посаженные глаза и орлиный нос. Дырявый пуловер плотно облегает его широкие плечи. Рукава слишком коротки, из них высовываются большие огрубелые руки рабочего. На одной не хватает двух пальцев: несчастный случай на работе. Я пью чай маленькими глотками, стараясь не опережать Абделькадера: было бы невежливо выпить разом всю кружку. Мы шепотом разговариваем в полутьме и скоро уходим очень далеко от изучения арабского языка.

Объясняясь на плохом французском и плохом арабском, мы тем не менее отлично понимаем друг друга. Он рассказывает о стройках, на которых работал, о забастовках, в которых участвовал, о руководителях профессионального союза, с которыми ему приходилось иметь дело. Он знает бывшего секретаря профсоюза строительных рабочих Буали Талеба, который ныне стал партизаном. Он ходил на митинги и слышал Ларби Бухали и Башира Хаджали, секретарей подпольной алжирской компартии, которые вызывают у него восхищение.

Абделькадер задает вопросы, которые обычно начинаются так: «Гули (скажи мне), как мы поступим с...», точно мы всесильны и только от наших решений зависит будущая судьба Алжира.

Впрочем, он тут же сам отвечает на эти вопросы:

---

* Эта запись сделана в тюрьме Мезон-Карре.

— Гули, как мы поступим с этими европейцами? Они впитали расизм с молоком матери... Ты думаешь, когда мы добьемся независимости, они согласятся быть наравне со всеми, а не вести себя как хозяева? Правда, среди них есть и хорошие люди... Но подчас даже рабочие держат руку колониалистов. Они должны перемениться...

— Гули, как ты думаешь, в завтрашнем Алжире нами по-прежнему будут командовать хозяева?

Или:

— Гули, как мы поступим с Францией? Знаешь, брат мой, у меня из-за Франции камень на сердце... Как будет после войны? Скажем друг другу «селям» и разойдемся в разные стороны? Я знаю, есть рабочие, которые за нас, но пока там еще командуют богачи... Сколько тысяч наших детей уже истребили французские колониалисты?

Однажды наша ночная беседа приобрела научный характер. Речь зашла о спутнике. Слава о нем дошла до нас сквозь стены тюрьмы, несмотря на усердие цензоров, которые вначале вымарывали те места в приходящих нам письмах, где упоминалось о спутнике хотя бы намеком.

Абделькадер восхищен и озадачен, он не может понять, как люди вырвались в мировое пространство, о котором он не имеет никакого представления. Мы переходим поэтому к элементарной космографии: одна кружка — Солнце, другая — Земля, коробка спичек — Луна, а спичечная головка — спутник.

Передвигая эти учебные пособия, я думаю о Чапаеве, о том, как он использовал картошку, давая урок стратегии.

Потом мы спускаемся на землю и возвращаемся к будущему Алжира, к истории других народов, к опыту народного Китая и СССР.

Абделькадер опять начинает расспрашивать:

— Асма, у фи Руссиа (скажи мне, как живут там, в России)?

Не он один со страстным интересом относится ко всему, что исходит из СССР или из Китая. Хотя старая клевета еще отравляет умы, немало заключенных вырезают портреты Хрущева или Мао Цзэ-дуна из газет, которые нам иногда тайно передают.

Сидящие в нашей камере крестьяне и рабочие обращаются к заключенным коммунистам с расспросами о текущем положении и о перспективах на будущее как к соратникам, которым они доверяют, как к людям, призванным руководить строительством новой, счастливой жизни.

Мы болтаем до тех пор, пока нетерпеливое движение одного из спящих, которому мы, по-видимому, мешаем, не напоминает нам, что пора замолчать. Абделькадер садится на скамью возле стола и продолжает дежурить. У решетки показывается закутанный и продрогший надзиратель. Короткая синяя пелерина и фонарь придают ему вид ночного сторожа стародавних времен.

— Все в порядке, староста?

— Все в порядке,— отвечает Абделькадер.

Суд по делу Лахдара продолжался какой-нибудь час. Небольшая задержка в камере предварительного заключения до судебного заседания, еще одна задержка до отхода обратного фургона, и в половине одиннадцатого Лахдар вернулся — все было кончено.

— Сколько?

— Восемь лет! Им очень хотелось, чтоб я раскаялся!

Еще бы! Судебная машина правосудия не работала несколько дней по случаю праздников. Теперь ее снова пустили в ход, и каждое утро Рабах собирает тех, кто должен немедленно предстать перед судом. Около полудня, к вечеру или, реже, на следующий день подсудимым уже объявляют приговор, и, когда они снова появляются в тюрьме, им еще издали кричат:

— Аш-хал (сколько)?

С гордой улыбкой людей, которым враг оказал честь, они отвечают: «Ашера (десять)». Или: «Хамсташ (пятнадцать)!»

— Конечно,— говорят полицейские,— плевать они хотели на тюрьму. Одна только гильотина может держать их в страхе.

Но полицейские неправы. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на того, кому вынесли вчера смертный приговор. Как прямо он держался, как гордо занял он свое место среди товарищей! Его встретили возгласами: «Саха! Саха!» — но эти приветствия говорили ему не только «мужайся», но и «поздравляем».

Все политические расценивают по достоинству это «правосудие». Они испытали его на себе, начиная с камеры пыток и кончая кабинетом судебного следователя, к которому они все же попадают, прождав две недели, месяц и даже больше после своего незаконного ареста.

Некоторые заключенные, ослабев от побоев и пыток, от бессонных ночей и голода, не имея представления о своих правах и о способах защиты, желают только одного: как можно скорей вырваться из рук своих мучителей. А те постоянно напоминают им:

— Тебе еще повезло. Тебя могли и вовсе прикончить. А ты жив... Только не вздумай валять дурака у следователя и отказываться от показаний, которые ты нам дал. Иначе мы тебя затребуем обратно и больше уж не выпустим.

Обычно у следователя та же забота, что и у полицейских. Главное для всех них — это добиться от арестованного подтверждения того, что у него было вырвано под пыткой.

— Вы подтверждаете свои показания, не так ли?— таковы первые слова судебного следователя. Иногда он тут же добавляет:— Потому что, знаете ли... если вы не подтвердите... эти господа снова заберут вас к себе...

После гражданского процесса дело еще может затребовать военная прокуратура. Тогда следствие будет вести военный следователь. Когда оно будет закончено, обвиняемого известят о передаче его дела в военный трибунал. Пройдет месяц или два, и он получит повестку.

Чего от него ждут? Чтобы он признал справедливость и беспристрастие такого «правосудия»? Но это невозможно! Ведь он алжирец и сражается именно за то, чтобы его отечество, Алжир, само управляло своими делами, а его хотят судить как француза, который якобы «покушался на внешнюю безопасность» Франции. Его грубо оскорбляют, называют «злоумышленником», в то время как он готов жизнь отдать за свободу своей родины. Вот почему он не признает ни французских законов, по которым его собираются судить и осудить, ни военных судей, не правомочных решать вопрос о будущем государственном устройстве Алжира. Вот почему он не признает этого иностранного трибунала, который является лишь придатком колониалистского военного аппарата, где каждый делает свое дело: парашютисты производят облавы, судьи выносят приговоры.

Один из этих судей особенно прославился своей ограниченностью и жестокостью. Речь идет о председателе суда Руанаре. Заявления подсудимых, речи защитников он пропускает мимо ушей. У него уже составилось собственное мнение. Иногда он спрашивает, и для него это единственный существенный вопрос:

— Любите ли вы Францию?

Он не допускает никаких оговорок. Да или нет? Его решение зависит только от прямого ответа. Изредка, когда подсудимый готов по своей слабости ухватиться за соломинку и заявляет, что он действовал «по принуждению» и что он любит Францию Руанара и парашютистов, его осуждают условно или выносят ему очень мягкий приговор.

А если подсудимый не сдается, то председатель и судьи соглашаются с требованием прокурора и автоматически выносят смертный приговор.

Но на суде присутствует и другая Франция — та, которая страстно борется за великие идеалы человечества. Она говорит здесь устами французских адвокатов — коммунистов и демократов, верных благородным традициям своего народа и добровольно берущих на себя защиту алжирских патриотов. Выступления этих мужественных французов, заявляющих на суде, что они уважают борющийся алжирский народ и восхищаются им, не очень высоко расцениваются судом и властями Алжира, которые обрушивают на них всевозможные кары вплоть до высылки. Зато какой необычайной любовью пользуются они среди заключенных!

С половины января майор Миссоф* возобновил следствие по нашему делу. С такими обвиняемыми, как мы, судебному следователю очень легко: если он хочет доказать наше участие в борьбе алжирского народа за независимость (в «мятеже», как выражается «Эко д'Альжери»), то тут и доказывать нечего: мы не только не отрицаем этого участия, но торжественно требуем своей доли ответственности. Если ему нужны сведения о нашей подпольной деятельности, о людях, с которыми мы были связаны, или другие подробности, которые могли бы нанести ущерб продолжающейся борьбе, мы попросту заявляем, что отвечать не будем.

Он принимает этот отказ с гримасой, которой старается придать иронический оттенок, и переходит к другим вопросам. С нами он не опускается до вульгарных ухищрений, к каким иногда прибегают следователи. Зная, что он имеет дело с людьми, которые не укрываются от ответственности, следователь с циничной улыбкой сообщает, что намерен добиваться для нас максимального срока наказания, а для некоторых — смертной казни, если только это окажется юридически возможным.

Но этот словоохотливый человек умолкает и начинает рыться в бумагах, как только ему напоминают, что у него в шкафу лежит еще одно дело, а именно — дело о пытках и что оно ждет разбора. Его внезапное молчание может сразу рассеять иллюзии — если бы они еще были возможны — насчет действительной роли этого однобокого правосудия.

Поль, тоже вызванный к следователю, встретил в тюремной канцелярии одного французского солдата, которого посадили в военную тюрьму. Не считая нужным таиться перед европейцем, солдат рассказал Полю о своем деле: как-то во время облавы его рота захватила пять человек. «Вечером,— говорит он,— капитан сказал мне: «Необходимо избавиться от этих людей, но без шума». Я их зарезал всех пятерых, одного за другим... Семьи убитых подняли бучу. А начальство сделало меня козлом отпущения. Теперь мне приходится отвечать! Капитан уверяет, будто никогда не давал мне такого приказа».

Этот солдат обвиняется в убийстве. Но если по политическим мотивам, ради

* К нему попала на расследование жалоба Аллега.

умиротворения народа подобных убийц и отдают под суд, то им заранее обеспечено «полное понимание» судей.

В 22 часа обход кончился, окошки были закрыты, все легли спать, но тут, грохоча сапогами, в тюремном дворе внезапно появились жандармы.

Зачем они пришли в такой поздний час? Просто показать заключенным свою силу или по более важному делу?

Из камер, расположенных в глубине коридора, всем приказано выйти. Слышно, как заключенные спускаются во двор. Из окна мы видим несколько сот человек, уже сидящих на корточках на асфальте. Тут и там вспыхивают кружки света от карманных фонарей. У каждого заключенного на плечах одеяло, в руке — кружка и деревянная ложка. Похоже, они собираются просидеть здесь до утреннего кофе. Жандармы не сводят с них глаз, держа наготове автоматы.

Вот и мы слышим, как ключи поворачиваются в наружном висячем замке, а затем в дверях. На пороге появляется начальник поста, а за ним в слабо освещенном коридоре стоят десять вооруженных гигантов, перетянутых ремнями. Фельдфебель, этакий старый колониальный вояка в сдвинутом на затылок кепи, сухо командует:

— Всем выйти и раздеться!

Обернувшись к своим людям, он говорит:

— Вторую сторону коридора пройдем после.

Другая команда обыскивает камеры, из которых только что вывели заключенных. А по эту сторону решетки тем временем растет кипа бумаг и тетрадей.

Нас человек двенадцать.

Мы стоим голые перед дверями еще не осмотренных камер и ожидаем, когда фельдфебель наконец приступит к обыску. Он проходит мимо нас, обшаривает всех карманным фонарем, заставляет каждого открыть рот, заглядывает в ноздри, в уши, грубо запускает руку в волосы и тщательно ощупывает платье, лежащее на полу. Мы быстро одеваемся.

Разборка бумаг продолжается.

— Ну что, кончили? — спрашивает фельдфебель двух солдат, которые возятся в нашей камере.

— Да нет еще! Тут много! — отвечает один из них и указывает на пачку бумаг. Это наши записи о прочитанном, конспекты бесед, упражнения по грамматике изучаемых языков. Если они будут во все вникать, работы им хватит надолго.

Но все кончается гораздо быстрей, чем мы думали, потому что они поступают весьма радикально: все уносят с собой. Начальник поста и двое надзирателей отходят в сторону с угрюмым и обиженным видом специалистов, которым пытаются преподать урок какие-то подмастерья.

Переходят ко 2-му отделению.

— Здесь сидят сумасшедшие. Их вы тоже хотите обыскать? — спрашивает один из надзирателей.

— Да, откройте... Приказано...

Душевнобольные худы, как скелеты. Их выстраивают в ряд.

Позади нас — камеры, которые еще не обысканы. Из одного окошка слышится шепот.

— Что они делают? Бьют?

— Нет. Обыскивают. Забирают тетради... Но..

За дверью кто-то тихо смеется.

— Быть может, они ищут еще один «Допрос под пыткой»?

Вся тюрьма уже знает. Прежде всего узнали заключенные. Хоть они не читали моей книги, они довольны как тем, что их палачи разоблачены, так и тем, что этот документ удалось написать в стенах тюрьмы. Затем узнали надзиратели: за это служебное упущение им досталось от начальника тюрьмы, которому, в свою очередь, досталось от его начальства. Зато теперь он действует осторожнее, понимая, что все может выйти за пределы тюрьмы. Он притворился, что ничего не знает и не ведает, и велит своим подчиненным держаться той же линии. Но, как это ни парадоксально, один из них проявил к нам симпатию.

Среди надзирателей-европейцев есть горстка людей, пытающихся уважать достоинство заключенных в той мере, конечно, в какой это позволяют существующие условия. Они всегда начеку, так как в царящей здесь атмосфере исступленного расизма любой надзиратель сразу может попасть в разряд подозрительных из-за малейшего проявления человечности. Вот почему несколько алжирцев европейского происхождения, которых не захлестнула волна ненависти, замкнулись в своих раковинах, боясь провокаций и доносов как в тюрьме, так и вне ее. Некто И. никогда не проявлял своих истинных чувств к нам, но мы заметили его вежливость и корректность — такие качества здесь сразу бросаются в глаза.

За несколько дней до появления жандармов он зашел к нам попробовать, крепки ли решетки. Выходя, он воспользовался тем, что в камере не было посторонних, и бросил нам скомканный клочок газеты.

— То, что вы сделали, очень хорошо.... — сказал он. — Уничтожьте газету, когда прочитаете.

Это была вырезка из одной парижской газеты о «Допросе под пыткой». И. знает, что может навлечь на себя очень серьезные неприятности за этот поступок. Идя на такой риск, он проявил к нам дружбу и доверие. Этого он и хотел.

— Знаете, что это мне напоминает? — спросил я у товарищей. — Гостеприимство госпожи Н. Помните?

Конечно они помнят. Разве такие вещи забываются?

Однажды мне с товарищем пришлось поспешно уйти из дома, где мы скрывались. он попал под подозрение. И действительно, на другой день после нашего ухода явились парашютисты, оценили дом и произвели обыск. Мы не знали, куда нам деться, пока у нас нет постоянной конспиративной квартиры. По городу сновали патрули, на каждом перекрестке проверяли документы. Мы напрасно бегали в поисках места, где можно было бы провести одну-две ночи, никого не скомпрометировав. В отчаянии мы решили попроситься к госпоже Н., муж которой сидел в лагере. Ее квартира, понятно, тоже находилась под подозрением, но другого выхода не было. Мы хорошо запомнили эту добрую женщину, преданную своим детям, но отнюдь не боевую. Лицо ее покрылось мертвенной бледностью, когда она узнала нас, несмотря на измененную внешность.

— Мы бы не пришли, будь у нас какое-нибудь другое убежище. Нам нужно только переночевать... Скажите, что вы согласны.

Она была в ужасе, мы это видели.

— Нет, нет! Я не храбрая, нет... Я боюсь... Кроме меня, в семье некому работать. Муж в лагере. У меня двое детей. Если со мной что-нибудь случится...— И она нерешительно прибавила: — Вы же знаете... там пытают, во всем заставляют признаться... Я не могу... Я слишком боюсь...

Рядом с ней молча с бесстрастным видом стояла ее старшая дочь, не решавшаяся ни поддержать мать, ни возражать ей.

Мы стояли в коридоре и уже были готовы уйти, когда госпожа Н. неожиданно остановила нас.

— Это невозможно. Я не могу вас отпустить. Мне очень страшно, но... оставайтесь!..

И тут девушка в первый раз улыбнулась.

— Идемте пить кофе,— сказала она.

Впоследствии мы узнали, что она тоже, тайно от матери, участвовала в алжирском Сопротивлении.

После обыска, во время которого у нас забрали все наши записи, в тюремной лавчонке перестали продавать тетради: «Запрещено военными властями»,— сообщил нам надзиратель, заведующий лавочкой. Возможно, это и в самом деле было ответом властей на появление «Допроса под пыткой». Ведь чем больше бумаги, тем больше тайных записей!

Один из заключенных спрашивает, не моргнув глазом:

— А если бы мы писали на стенах? Быть может, они развалили бы стены?!

— Веди его к следователю, в 9-й кабинет!— говорит жандарм своему коллеге, указывая на меня пальцем.

Меня ведут в конец коридора. Новая задержка, на этот раз перед кабинетом следователя, который еще не пришел.

На дверях читаю:

«Кабинет № 9, судебный следователь Базуало».

А вот и он. Это огромного роста мужчина лет шестидесяти. Короткое темное пальто, застегнутое донизу, топорщится на животе. Под строгой, очень «судейской» шляпой — широкое красное лицо. очки без оправы. Берясь за дверную ручку, он бросает на меня взгляд, как бы оценивая мою особу. Спустя несколько минут с меня снимают ручные кандалы, и я вхожу в кабинет. Следователь с трудом умещается в кресле. Розовый череп, на котором еще уцелел клок коротких и жестких седых волос, тройной подбородок, почти скрывающий мощную шею, короткий и широкий нос — все это придает ему сходство с ушедшим на покой мясником, только благодаря очкам он еще немного смахивает на интеллигента.

Раскладывая свои бумаги и время от времени поглядывая на меня поверх очков, он объясняет густым басом, зачем я вызван.

— Мне поручено следствие по делу Одэна. Я допрошу вас как свидетеля. Я не хотел этого делать, ведь вы вряд ли станете отвечать, не руководствуясь ненавистью. Но прокуратура требует...

Не руководствуясь ненавистью! Требовал ли он того же, когда до меня здесь сидели палачи, пытавшие заключенных!

— Меня интересует только одно... Не будем путаться в подробностях. Я прошу вас ответить без предвзятости: мог ли Морис Одэн ходить, когда вы видели его в последний раз?

Он знает заранее, что я отвечу. Я уже писал — и это всем известно,— что в последний раз я видел Мориса в распределительном центре, в тот вечер, когда меня арестовали. Накануне Морис подвергся пытке. Он был очень слаб, разбит, он шатался, но мог сделать несколько шагов, ведь его же подвели ко мне. Следователь хочет, чтобы я ответил ему утвердительно, и нетрудно угадать, к какому выводу он тогда придет: если Одэн мог ходить, то, несомненно, он мог и бегать, а следовательно — совершить попытку к бегству... Такова была версия парашютистов.

Я протестую:

— Вы заставили меня присягнуть, что я скажу всю правду, а сами хотите выслушать только частицу правды. Если вы желаете пролить свет на это дело, то должны допросить меня обо всем, что я знаю.

Он недоволен и с минуту молчит, затем нетерпеливым движением выдергивает из дела один лист:

— Я прочитаю вам, чего требует прокуратура.

Он читает сначала очень быстро: «...просит вас допросить... поименованного Аллега, содержащегося в г. Алжире, в гражданской тюрьме...» Затем медленно, отчеканивая каждое слово: «Потребовать у него точных сведений о физическом состоянии, в каком находился Морис Одэн». Конец он проглатывает, но в его бормотанье я улавливаю: «...и все прочие данные, могущие способствовать установлению истины».

— Вот видите? — спрашивает он в заключение.

— Да, «все прочие данные». Именно о них я и хочу говорить.

— Нет! Нет! Это только принятая формула! И не будем спорить, у меня и без этого дел по горло.

— Заявляю, что на таких условиях я отказываюсь отвечать вам!

Он как будто смягчается.

— Ладно, вы расскажете все, что захотите, а я возьму из этого то, что меня интересует...

— Извините, но я прошу вас записать все мои показания полностью.

На этот раз он сердится или делает вид, что сердится.

— Здесь я руковожу следствием.

Стук в дверь, раздавшийся весьма кстати, приносит некоторую разрядку. Входит писец-мусульманин и подает следователю письмо. Пока тот читает, писец дружески улыбается мне, потом, кивая в сторону склонившегося над бумагами следователя, делает ироническую гримасу и качает головой.

Когда письмо прочитано и писец вышел, Бавуало поворачивается ко мне и примирительно заявляет:

— Вы можете не подписывать показаний, если не захотите.

У нас с ним происходит еще несколько стычек (он, например, отказывается записать имена тех, кто подвергал допрашиваемых пытке, он хочет, чтобы я сказал «побег» вместо «убийство», и мы наконец сходимся на «исчезновении»). Мои показания закончены, следователь диктует их секретарю. Я ставлю свою подпись, и он вступает со мной в разговор.

— Кажется, вы тоже подали жалобу на парашютистов?

— Да. Она находится у военного следователя.

Он пожимает плечами:

— Пытки? Ну и что ж из этого? Вы, быть может, желаете, чтобы после ареста вас поудобней усадили в кресло и любезно предложили: «Расскажите нам, пожалуйста, все, что знаете»? Но ведь тогда мы ровно ничего не узнали бы!

Он принужденно смеется. Его приводят в бешенство мягкотелые парижские интеллигенты, эти «щелкоперы», которые ничего не понимают в алжирской проблеме, этот Одэн, которого так неудачно убили. Всех бы их в тюрьму, вместе с коммунистами, вместе с Фронтом национального освобождения!..

— И почему из-за этой истории подняли столько шума? Потому что мсье Одэн был учителем? Да ведь такие вещи случаются с сотнями... «стрелочников». Оно и понятно. Эти люди понимают только язык автомата...

На лице его появляется циничная и довольная усмешка. Таков алжирский следователь, которому поручено «пролить свет» на дело Одэна.

Праздники Рамадана принесли нам передышку. Из соображений скорее политических, чем гуманных, на весь этот месяц приостановили казни, и тюрьма словно посветлела, вздохнула свободнее.

С самого утра слышится рокот толпы, собравшейся перед тюремными воротами: там производится осмотр передач, которые разрешены только на время праздников. Сотни женщин ежедневно приносят мужьям, отцам или сыновьям всякие домашние кушанья, а также продукты, подаренные торговцами (это делается в каждом квартале) из чувства патриотической солидарности.

Каждая из них ждет часами своей очереди, чтобы передать корзинку надзирателю, который, грубо тыча ножом, будет «прощупывать» пироги, испеченные с такой нежной заботливостью, часто ценой невероятных лишений, а также фрукты, яйца, мясо... Раньше чем попасть к заключенным, эти передачи будут собраны на круглом дворе внутри тюрьмы. Румяные лепешки из манной крупы, оранжевые апельсины, коричневые, блестящие, точно лакированные, финики, ярко-красные помидоры покрывают унылые серые плиты, расцвечивая их непривычно свежими красками.

Дележка передач между заключенными производится с соблюдением строгих правил равенства. «Изолированные» тоже не забыты, хотя и трудно бывает передать им более или менее объемистый сверток. И вот, проходя мимо наших камер, один из товарищей бросает нам по пакетику лепешек, собранных специально для нас.

На галерее идет обмен: каждый хочет, чтобы товарищи оценили его домашние кушанья. После долгих месяцев питания из общего котла и тяжких лишений все эти фрукты, все эти блюда с забытыми ароматами приобретают для нас особый вкус — вкус воли.

На закате, когда над городом раздается звук пушечного выстрела, а у нас об окончании дневного пóста возвещает звон колокола, тюрьма начинает гудеть, как улей: она точно просыпается, счастливая тем, что ночь пройдет без казней.

Какой радостный шум стоял прежде над городом в праздники Рамадана! Все улицы Казбы звенели от веселого гомона детишек, выпущенных на свободу,

кофейни сразу наполнялись посетителями, довольными тем, что они могут затянуться первой сигаретой и выпить первую чашечку кофе. Во время трапезы устанавливалась тишина, но зато потом начинался настоящий праздник — чудесные вечера в кругу семьи или в клубе. Люди мечтательно слушали грустные песни о славе минувших времен, и навеянные ими расцветали надежды и вспыхивали мятежные мысли. На улице Лиры, под ее обычно темными сводами, сверкали угли жаровен, а выставленные товары — корзины, вышивки, изделия из кованой меди или чеканного серебра — казались роскошными и таинственными. Воздух бывал напоен ароматом гирлянд жасмина, цветочных эссенций и мятного чая.

А площадь Правительства превращалась в сплошную выставку восточных сладостей. Нуга, рахат-лукум, фрукты в сахаре, всевозможные пирожные, пирожки с начинкой из миндаля, смазанные медом и усыпанные лепестками роз, в духе изысканных древних традиций, воскресающих только в праздник Рамадана,— все манило людей, сознательно забывавших в эти вечера каждодневный гнет и нищету.

Но кто осмелится говорить сегодня о веселье в стране, где нет ни одной семьи, в которой не было бы горя? Кто подумает отмечать праздники, когда весь народ воюет? Если вы скажете какому-нибудь заключенному «Аид аль-мабрук (поздравляю с праздником)», он ответит вам, улыбаясь с грустью и надеждой:

— Спасибо, брат! Но если богу будет угодно, в будущем году мы отметим праздник Свободы.

Юсеф переправил нам несколько пирожных. Их испекла его мать. Она придала им цвета Независимого Алжира — зеленый, белый и красный — и украсила каждое из них звездой и полумесяцем. Он смеется и кричит нам из своего оконца:

— Вы видели, какие пирожные мне прислали из дому? Я их не ем: берегу, как знамя!

(Окончание следует)

КОЛЬБЕРГ *(ФРГ)*
Патриот

ТАТЬЯНА КАРСКАЯ

«БОЖЕНА НЕМЦОВА, БОРЮЩАЯСЯ»

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ

У тех, кто побывал в Праге, Литомышле, Домажлицах, Ческа Скалице и других местах Чехословакии, связанных с именем Божены Немцовой, надолго останется в памяти с любовью запечатленный в многочисленных скульптурных изображениях образ прекрасной молодой женщины: классически правильные черты лица, гладкие волосы, стянутые тяжелым узлом, ясный и смелый взгляд, тень скорби возле губ. Такой она была и в жизни — великая дочь чешского народа, его гордость любовь и совесть.

Имя Божены Немцовой так же неразрывно связано с историей чешского национального возрождения, как имена ученых Юнгмана, Шафарика, Палацкого, Пуркине, поэтов Коллара, Челаковского, Гавличека-Боровского, драматурга Тыла — самоотверженных патриотов, заложивших во второй четверти прошлого века прочную основу чешской культуры нового времени несмотря на жестокое сопротивление австрийской деспотии.

Когда в 1843 году Немцова, робкая двадцатитрехлетняя провинциалка, дебютировала в пражском журнале «Кветы» стихотворением «Чешским женщинам», вряд ли кто-либо мог предположить, что вскоре она завоюет всеобщее признание сказками, очерками, рассказами о судьбах простых людей Чехии и спустя десятилетие подарит соотечественникам ныне всемирно известное произведение — роман «Бабушка» — по существу первый в чешской литературе роман из народной жизни.

Божена Немцова — смелый художник-новатор. Опираясь на литературный опыт своего народа и его фольклор, она проложила новые пути художественного живописания — реалистического, создала произведения демократической прозы, неразрывно связанной с жизнью нации. Немцова писала о народе языком народа. Ее по праву называют основоположницей языка современной чешской прозы. Это она влила широким потоком в чешскую литературу речь простых людей. Ее язык, чистый, правильный, легкий, и сейчас является классическим образцом, подобно языку Пушкина в России.

С любовью и болью сердечной рисует Немцова современную ей Чехию. Страна предстает в ее книгах в резких контрастах. Прекрасны горы и долины, луга и леса, то благоухающие весенними цветами и травами, то озаренные летним солнцем, то припорошенные искрящимся первым снегом. Еще прекраснее люди: героиня ее лучшего романа «Бабушка», хранительница языка своего народа, его самобытной культуры и традиций, возница Гаек, яркий народный тип, фигура почти символическая, жизнерадостные парни и девушки, быстрые за работой, неутомимые в танцах, чистосердечные и поэтичные. А рядом с этим — картины страшной неустроенности народной жизни: лачуги городского мастерового люда, женщины, опустившиеся на «дно», ранние смерти от голода и изнурительных болезней, подневольный труд крестьян под окрики и понукания господских приказчиков.

Писательница создала немало сатирических типов, среди них — князек-вертопрах, титулованные и буржуазные завсегдатаи

модного курорта, представители пражского «высшего света», многоликое буржуазное мещанство, торгаши, алчные сельские богатеи. Немцова мечтала об установлении всеобщего братства путем нравственного усовершенствования людей, но идея социального примирения вовсе не охватывает содержания ее творчества. В одном из очерков Немцовой крестьяне говорят: «Мы только с виду покоряемся господам, а в душе ненавидим их»; «...придет еще время, когда господа захотят удрать и уже будут одной ногой в телеге, а народ вытянет их оттуда за сюртуки и поведет на суд». Так нередко думала и говорила и сама писательница.

Голос Божены Немцовой смело звучал в эпоху реакции, наступившей после поражения революции 1848 года, когда многие из ее единомышленников отказались от своих идеалов. Несмотря на полицейские преследования и тяжелую материальную нужду, подорвавшую ее здоровье, Божена Немцова прошла свой короткий жизненный путь с высоко поднятой головой. Гражданское бесстрашие Божены Немцовой и имел в виду Юлиус Фучик, когда в годы фашистской оккупации Чехословакии избрал ее в качестве примера человека, до конца верного своим идеалам. Он назвал посвященный ей очерк «Божена Немцова, борющаяся».

СЕМЕН КИРСАНОВ

О НАЗЫМЕ ХИКМЕТЕ

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Уже много лет Назым Хикмет на свободе — вот он подымается на подмостки московских аудиторий под ураган аплодисментов, шагает по улицам Варшавы, узнаваемый всеми, кто любит поэзию, стоит на мосту над Сеной, толпы друзей встречают его в Гаване... И все же мне чудится, что на его лице еще лежит тень от тюремной решетки, которую не могут стереть ни экваториальное солнце, ни белые лучи театральных прожекторов. Эта решетчатая тень — словно суперобложка его поэзии, за которой живет вездесущая свобода его поэтической мысли, способной пройти сквозь все запертые двери, все окованные железом окна. Его поэзия была вездесуща и свободна и тогда, когда тюремная тьма была долголетней реальностью.

Половина сердца моего здесь,
а другая, доктор, другая
среди войска, текущего к Желтой реке,
в Китае.
И еще,
каждый рассвет, доктор,
каждый рассвет
в Греции
сердце мое
ведут на расстрел...

Эти стихи потрясли мир, человечество из них узнало о поэзии, которая сильнее одиночества, и о людях, которые остаются с человечеством, даже когда их отрывают от него и заслоняют жизнь каменными стенами. Они, эти стихи, стали вездесущи, как вездесущ человек, думающий обо всем человечестве, как о своем родном большом доме, не знающий равнодушия ни к своему чилийскому брату, добывающему медь в заокеанских рудниках, ни к своему брату — негру с жемчужными зубами, поющему песню о мире.

Советские поэты давно узнали и давно полюбили этого светловолосого турка с синими глазами, читавшего турецкие стихи так, что мы влюблялись в них еще до перевода. Его стихи увлеченно, задыхаясь, читал Эдуард Багрицкий — первый, кто переводил Хикмета. Я видел его стихи в ладонях Маяковского, он радовался — новая поэзия рождается всюду, куда бросает свой червонный свет «золото новорожденной советской зари». Это были наши двадцатые годы — эпоха рождения в мире принципиально нового поэтического движения, поэ-

зии для человека и во имя человека, которая позже заявит о себе голосом Витезслава Незвала, Пабло Неруды, Поля Элюара, Николаса Гильена, Рафаэля Альберти, Владислава Броневского, Юлиана Тувима и поэтов, не названных здесь, родственных друг другу тем, что идее замкнутости поэта в себе, в своем мире они противопоставили единство поэта с людьми, с человечеством, с его настоящим и будущим.

Когда я говорю о единстве поэта с будущим, я не могу не вспомнить об одном стихотворении Назыма:

Ты должен так любить жизнь
и этот шар земной,
чтоб чувствовать печаль
при одной только мысли о том,
что когда-нибудь,
через мильярд,
через сотни мильярдов лет,
он погаснет
и, обледенев,
будет вечно куда-то лететь,
слепой,
как пустой орех.

(1948)

Может быть, кому-нибудь эта печаль покажется пессимистичной, мне же это стихотворение кажется наполненным светом и надеждой. От этих строк я испытываю чувство бесконечно далекой продолженности жизни одного человека, которому так важен и нужен этот земной шар, эта жизнь, даже и через миллиарды лет. «Ты должен так любить жизнь» противостоит всем афоризмам типа «после нас хоть потоп», от которых жизнь кажется короче воробьиного носа. Так же, как не безразличен Хикмету плач женщины в его Стамбуле и плач Варшавы о погибших в гетто, нет у него безразличия и к будущему: та жизнь, которую любит Хикмет, не кончается со смертью одного, она продолжается с людьми, с земным шаром, с новыми рождениями и новой любовью.

Поэзию Назыма Хикмета и в самом ее начале отличало своеобразие столь же индивидуальное, сколько черты лица, взгляд, усмешка, интонация голоса. Его стихи мне всегда казались удивительно новыми и состоящими из ему одному доступных поэтических находок. Можно заметить, что уже тогда сложилась особая композиция хикметовского стиха, эта настойчивость повторений, придающих его стиху свойство магнетического внушения. Возможно, эти повторения пришли к нему из касыд и газелл Востока, но они настолько преобразованы, что превращены Хикметом в новую форму поэтического построения. Они заменяют Хикмету рифму и ритм, становясь законными преемниками строфы, ритма и рифмы. Назым Хикмет — полноправный член семьи новаторов искусства нашего века, новаторов формы и революционной мысли в поэзии.

Для многих, так сказать, «рядовых» поэтов характерно инерционное стремление конкретный образ превращать в отвлеченный, реальность в отражение. Хикмет обладает исключительной способностью любую отвлеченность превращать в жизненную конкретность. О чем бы ни писал Хикмет — кажется, что это произошло с ним, с тобой, с нами.

На XX съезд пришел товарищ Ленин,
улыбнулся, постоял немного у дверей,
до начала в зал вошел, уселся на
ступени
у трибуны, положил тетрадку на
колени;
даже не заметил статуи своей.

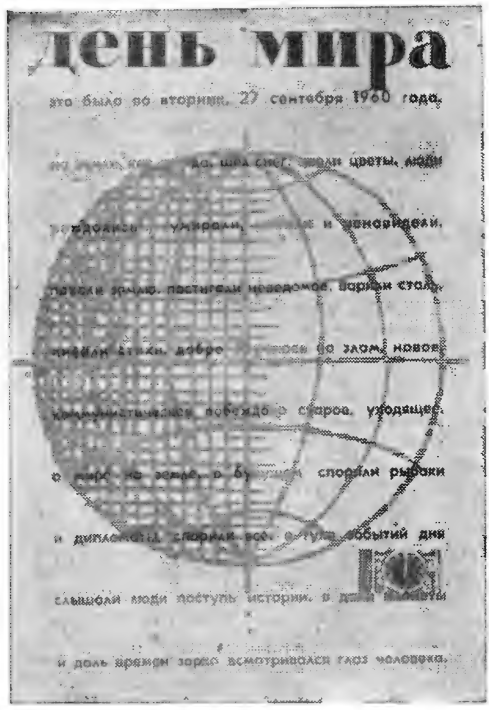
Вот эта последняя строка, такая простая, сказанная как бы вскользь, сообщает всему стихотворению необычайную достоверность, превращает мысль воображаемую в мысль явственную. И мы верим этим строчкам, как правде.

Поэзию Назыма Хикмета невозможно расчленить на жанры — где там лирика, где эпос, сатира и тому подобное. Это просто поэзия — вне жанра, она и лирическая, она и гражданская, в ней и личная любовь и общая боль, личная боль и общая любовь.

Поэзия Хикмета — это поэзия лучших человеческих качеств, это совесть, воплощенная в поэтическом слове.

Часто к шестидесяти годам художники, неистовые в годы своей молодости, приходят к спокойной классичности, которая венчает их творчество, как бурную жизнь спокойная, пенсионная старость. Этого невозможно сказать о Хикмете, каждая его новая вещь, я бы сказал, еще «неусидчивей», еще беспокойней предыдущей. И, закрывая страницы его новой поэмы, мы знаем, что у Назыма Хикмета есть еще много Назыма Хикмета, которого он еще не написал, а мы еще не прочли.

Такой поэт необходим человечеству, ибо оно смотрится в него как в истинное зеркало и видит свое лицо, человечное, беспокойное, встревоженное судьбой каждого в любом уголке земли, сегодня и в будущем, с тенью тюремной решетки на мужественных чертах, с глазами, сияющими мыслью навсегда согнать с лица человечества решетчатую тень.



ЮРИЙ СУРОВЦЕВ

ВЕСЬ ЭТОТ МИР — ТВОЙ!

Короток день человека. От утренней до утренней зари. Огромен день мира, потому что помножен на миллиарды человеческих дней. Но дни эти только астрономически совпадают. Человечески они разные и в пространстве, и во времени. Поразному движется время внутри человеческих жизней и разными измерениями меряется».

Этими словами Сергея Образцова мне хочется начать рецензию на необычную и увлекательнейшую книгу — книгу о том, как прожило человечество день 27 сентября 1960 года.

Какова ее цель? Редакция отвечает: «Чтобы лучше, нагляднее представить себе, чего достиг и куда идет род человеческий, мы попытались запечатлеть облик современной эпохи в один из ее обычных дней. Этому научил нас Алексей Максимович Горький...» — инициатор первого «Дня мира», книги о 27 сентября 1935 года.

История создания «Дня мира» второго? Этому посвящена в книге особая глава.

Жанр? Ответ дан опять-таки прямой и точный: это — моментальный снимок жизни современного человечества на одном из самых крутых взлетов истории».

Выигрышно было бы сравнить первое издание — книгу о 27 сентября 1935 года — с нынешним. Но это значило бы по сути дела написать историю человечества за 25 лет. Сравнение двух годов — тридцать пятого и шестидесятого — встречается очень часто опять-таки в самом тексте: в параллельных колонках цифр и политических картах, в «столкновении» фактов, в обобщающих заметках о той или другой стране.

Первая книга открывалась главой о сражающейся Абиссинии; второй «День мира» Эфиопия «провела в спокойном труде. Вы видите на нашем снимке, как император Хайле Селассие I — четверть века назад он руководил национально-освободительной борьбой против итальянских захватчиков — осматривает строительство гидротехнических сооружений в Кока»...

Или: «В книге «День мира» 1935 года рассказ о Канаде начинался с пшеницы, с трудностей ее сбыта в мире, где голодали миллионы людей. Прошла четверть века... А в Канаде проблема осталась та же: «избыток» пищи среди недоедания и голода»...

Молодой ашхабадец Нурмурад Тачмурадов двадцать пять лет назад впервые переступил порог операционной — 27 сентября 1960 года этот замечательный хирург сделал десятитысячную операцию... В 1935 году дипломнику физического института Ленинградского университета Алексею Базину — в недавнем прошлом слесарю и кочегару — было 28 лет. Сейчас у него три сына и все трое физики... 1935 год — древний рыцарский замок Хонштейн превращен в фашистский застенок. 1960 год — здесь разместился дом отдыха имени Эрнста Тельмана для молодежи разных стран... «Двадцать седьмого сентября 1935 года я сидел в английской тюрьме в Бенаресе за то, что помогал Индии в ее борьбе за свободу,— рассказывает буддийский священник, видный борец за мир цейлонец Удакендавала Сарананкара Тхеро.— Сегодня Британская империя рушится на глазах, я — свободный человек...»

«День мира». Москва, издательство «Известия», 1961 г., под редакцией редколлегии газеты «Известия». Главный редактор А. Аджубей, руководитель редакции книги Ю. Филонович, ответственный секретарь редакции С. Гарбузов, ответственный за издание Л. Грачев.

Сопоставление таких фактов очень поучительно. Они поистине в комментариях не нуждаются.

Первое достоинство книги как раз и состоит в том, что она вся, с первых до последних страниц, *фактична*, до предела насыщена сообщениями о *реальных* событиях и *«случаях жизни»*. Как известно, А. М. Горький весьма сурово оценил первый вариант книги «День мира» 1935 года. В письме к М. Е. Кольцову он, в частности, советовал дать заговорить самому материалу. «Надобно выжать из него воду,— писал Горький,— высушить казенное славословие и тогда зажечь,— он самосильно вспыхнет ярчайшим костром...» Этот совет был учтен при дальнейшей работе над книгой. Он стал одним из основных принципов создания второго «Дня мира». Путешествуя по книге, читатель, если только он не равнодушно перелистывает ее страницы, может на какое-то время окунуться в жизнь той или другой страны. Вот почему хочется отметить как вторую очень важную заслугу составителей «Дня мира» их стремление к полноте воссоздания жизни народов. Факты экономики, политики, культуры «перемешаны» между собой на страницах, отведенных каждой стране, будь то громадные государства, такие, как СССР, Китай, США, Индия, или далеко не всем ведомый крохотный Лихтенштейн. Среди сообщений о событиях огромной важности составители на каждой странице не забывают и фактов, казалось бы, мелких, «случайных», даже анекдотических, ну вроде того, как 27 сентября 1960 года в хвостовом отсеке рейсового самолета Норильск—Красноярск (невиданная, невероятная в прошлом трасса!) были обнаружены дрожащие от страха «зайцы» — школьники Юра Соколов и Витя Меньшиков, решившие совершить кругосветное путешествие. Прочтите рекламу шведской фирмы, уверяющей, что, пользуясь выпущенным ею косметическим набором, модницы могут придать своим глазам попеременно кокетливость и миндалевидность, заставить их сверкать, подобно драгоценным камням, и даже сиять таинственным золотисто-зеленым светом, напоминая «выразительный взгляд тигрицы»! Многое ли скрыто, казалось бы, в таких фактах, а вдумайтесь в них, и вам неожиданно приоткроется еще что-то важное, вы лучше поймете, чем живут, о чем думают, как духовно «устроены» разные люди.

«День мира» дает факты почти без комментариев. Но это не значит, что перед нами просто механически собранное под один переплет множество справочных данных. Нет, через всю книгу проходят большие проблемные стержни; из знакомства с фактами читатель выносит ясное представление о социальной контрастности двух миров — труда и капитала, социализма и капитализма, об их противоположности политической, идеологической, культурной, бытовой. Под этим углом зрения видят авторы и составители «Дня мира» современную жизнь. Фиксируя повторяемость сходных явлений, они дают нам возможность увидеть и раскрыть их объективный смысл, их «подоплеку», их общественно-историческую логику.

Идеологи империализма, например, уверяют, что классовая борьба — дело прошлое; сейчас, мол, в капиталистических государствах (по крайней мере, в развитых) царит тишь, да гладь, да божья благодать. Факты говорят: ложь! В сентябре прошлого года газеты буржуазного мира сообщали: шведские моряки бастуют уже три месяца, причина — нежелание хозяев урегулировать вопрос о продолжительности рабочего дня; забастовали грузчики датского городка Хадсунд, причина — низкая оплата труда; идет вереница людей в белых халатах — это бастуют миланские врачи; 27 сентября в США бастовали железнодорожники, школьные учителя, не удалась попытка предотвратить грандиозную забастовку рабочих моргановской «Дженерал электрик»; австралийские докеры забастовкой в Сиднее сказали свое слово в дебатах об антидемократическом законопроекте, рассматривавшемся австралийским парламентом; демонстрация рабочих на острове Фиджи была разогнана полицией, применившей слезоточивый газ и брандспойты; не выполняет коллективные договоры американская нефтяная компания в Венесуэле, в результате — забастовка; аргентинские газеты сообщили 27 сентября: в стране бастуют текстильщики, водители автобусов, типографские рабочие и даже — о, сила солидарности! — полицейские.

Мы убеждены в победе нашего социалистического мира не потому только, что очень хотим этого, но прежде всего потому, что история с каждым новым годом, днем, часом все отчетливее показывает людям, способным слышать ее поступь: за коммунизмом — будущее, за ним уже и настоящее, потому что социалистический лагерь, его жизнь, его борьба определяют сегодня судьбы человечества. Это доказывается, подкрепляется, расшифровывается бесчисленным количеством самых разнообразных фактов, приводимых в «Дне мира»,— от свидетельств политических обозревателей западных газет до самых микроскопических проявлений повседневного бытия. В свете решений XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза эта главная, центральная идея «Дня мира» — идея необоримости исторического прогресса — звучит особенно убедительно. Она видна даже в фотографиях, которыми открываются разделы книги.

Улыбающееся обветренное лицо молодого рабочего человека. Он смотрит на вас взглядом уверенным, жизнерадостным, честным. Название раздела—«Страна Советов». Смотришь на паренька — и вспоминаются строчки Маяковского: «...А моя страна — подросток, твори, выдумывай, пробуй». И еще: «Коммунизм —это молодость мира, и его возводить молодым!»

Совсем иные ощущения вызывает портрет другого рабочего человека. Он тоже смот-

рит вдаль. Его суровое, худое лицо избороздили морщины, губы сжаты, у рта залегла горькая складка. Это лицо американского рабочего, волевое и печальное — эту печаль не развеешь автомобилем в кредит и доступным холодильником, это, так сказать, социальная печаль. Но как бы хотелось, чтоб в этих скорбно-внимательных глазах ярче разгорелся и огонь гнева!

Такого гнева, каким полыхает лицо молодого парня из Африки, которое и без подзаголовка говорит: «Африка рвет оковы». Или портрет южноамериканского крестьянина: в его взгляде боль унижения и угнетения, но боль, перерастающая в ярость сопротивления. Его рот полуоткрыт, может быть, он сейчас кричит: «Вон отсюда, гринго!» Или: «Куба — да, янки — нет!» И пусть фотограф не показал человека во весь рост — смотришь на это лицо и знаешь: кулаки у этого человека сжаты, мускулы напряжены. Подпись внизу обозначает не столько географию, сколько политику — «вулканический континент»!

Великолепны и фотосимволы буржуазной Европы и разбуженной Азии. Сухой профиль глубоко задумавшегося пожилого человека, умного, много знающего, много пережившего и передумавшего за долгие годы жизни,— и все же, видимо, не все понявшего, не полностью разобравшегося в том, куда идет мир и где его собственное место в этом бурно изменяющемся мире. А дальше прекрасное какой-то древней красотой, но обретшее новое выражение лицо женщины. Направленная мысль свела в складки кожу на лбу, и сколько в этих огромных глазах решимости постоять за себя, сколько силы (уже не силы терпения), сколько ума (не скованного старыми запретами)! Рядом — огромные пальмы, согнувшиеся от ветра, в их изгибе — та же сила сопротивления, они разогнутся, они уже разгибаются.

Старая Европа и новая, пробужденная Азия. Конечно, не всю истину о них сказали нам эти портреты, но очень существенную часть истины — сказали!

Из материалов сборника можно воссоздать не только день человечества, но и «структуру души» современного человека.

Буржуазная политика, идеология, нравственность и культура всячески внедряют в сознание «простых людей» пренебрежение к личности. Буржуазия — это с огромной силой подчеркивал Горький — усилиями «разных утешителей и развлекателей мещанства» играет на «понижение ценности жизни». Книга «День мира» фактами доказывает, что эти усилия, грандиозные по затратам и настойчивости, не вовсе пропадают даром (см. факты о внедрении ремилитаризации в быт ФРГ, о росте преступности в США и в Швеции, о торговле «живым товаром» в Японии). И в то же время буржуазная идеология эту битву за души людей проигрывает, она проигрывает ее в принципе, проигрывает как на своей территории, так и на территории «нейтралистских» стран.

Человеческая культура — а подлинная культура не может не быть глубоко человечной — неуклонно растет.

На этот рост все больше влияет светлый пример социалистического образа жизни, социалистической культуры.

...На далеком Сахалине гастролирует выдающийся кавказский танцовщик Махмуд Эсамбаев; Юрий Гагарин, как всегда, отдал вечер 27 сентября 1960 года чтению; в Киргизии, во Фрунзе в тот день началось всесоюзное совещание языковедов; в Эстонии выступал ансамбль таджикской песни и пляски; кинотеатры Казани за 27 сентября посетило шестьдесят три тысячи зрителей; в Краснодаре в городском университете культуры читалась лекция «Драма и ее своеобразие»; в театральную студию одного из киевских театров принята свинарка из Полесья Мотя Ющенко, активная участница самодеятельности. Перечень таких фактов можно продолжать без конца, я не выбираю их специально, они — на каждой странице, в разделах книги, посвященных Советскому Союзу и другим странам социалистического содружества. Как интересно прочитать о жизненном пути замечательного молодого болгарского певца Николы Гяурова, как радостно узнать, что в Шанхае китайские рабочие стали строить свои корабли, что на заводе в городе Сибиу (Румыния) проходят «суды над миллиметром», как называют там борьбу за рационализацию, а в Чехословакии, в Злата-Бане почила в бозе последняя керосиновая лампа: обогнав США, Англию и Францию, ЧСР стала страной, электрифицировавшей все свои населенные пункты.

Все эти факты — культура, культура в широком смысле слова. И — что очень важно — культура, ставшая повседневностью. Читаешь «День мира» и ловишь себя на мысли, что факты открытия новых театров, клубов, библиотек, факты проявления благородных черт у людей стран социализма не поражают твоего воображения — мы привыкли к своему образу жизни. Зато со вниманием отыскиваешь скупые информации о развитии культуры в бывших колониальных странах — и радостной неожиданностью возникают перед вами сведения о том, что в Египте теперь делают свои автомашины, в Аккре открывается институт государственного управления, а на революционной Кубе проводятся конференции в честь столетнего юбилея Чехова. И горько видеть соседство сфотографированного памятника древнегреческого искусства с сухим сообщением: в современной Греции всего двести пятьдесят библиотек...

Показатель культурности человека — это не только количество книг, которые ему довелось прочитать. Это, прежде всего, ощущение, что твоя жизнь связана с жизнью других людей. Смещаются границы между тем, что «меня касается» и тем, что «меня не касается»; все больше людей на земле сознательно участвуют в «делании истории». Разумеется, не надо успокоительных

преувеличений и ложного оптимизма на этот счет: мещанство с его проповедью замкнутого личного блага и душеустройства («было бы мне хорошо, а там хоть трава не расти») еще держит в своей паутине множество людей на планете. Общество, где господствует частная собственность, которая, с нравственной точки зрения, есть, как говорили классики марксизма, «бездушное начало, противостоящее человеческому, духовному началу», общество, где «извращение человеческих отношений завершено» и «происходит разложение человечества на массу изолированных, взаимно отталкивающихся атомов» *,— это общество еще сильно, еще способно в противовес социалистическим идеям распространять хитроумную ложь. Но все ширится число людей и на Западе, которые понимают, что девизом современного человека должно стать: «меня касается все», «я могу сделать все, что необходимо для лучшей жизни, весь мир — мой дом!».

Книга «День мира» 1961 года уловила эту важную перемену в нравственно-психологическом климате земли. Я уже не говорю о людях социалистических стран — чувство хозяина жизни, вера в творческие силы человечества, способного предотвратить пагубную термоядерную войну и дать ход лучшему, что сейчас есть в современной жизни,— это чувство и эта вера, можно сказать, у нас «в крови». Но вот я читаю письмо французского летчика, проникнутое грустью, потому что это был для него тяжелый день — от него ушла женщина, которую он любил,— и вижу, что не только личная драма волнует этого человека, но и память о погибшем во вторую мировую войну товарище, и кровавая драма Алжира, и жизнь людей другой страны, где живут его друзья, «летящие, возможно, сейчас в звездном пространстве». Я читаю о его душевной буре и соглашаюсь с ним: да, «...в этой буре есть не только печаль. В ней есть и какая-то правда, что-то реальное и конструктивное». Эта правда — все то же чувство: мир, весь мир с его бурями,— дом подлинного человека!

А вот бесхитростно трогательное письмо Осты Холт, норвежской домохозяйки. Ее мир — «Медвежонок», маленький сынишка. Но она понимает, что его будущее зависит и от событий в Конго, и от борьбы против атомного вооружения, против «ежедневно поднимающихся в воздух самолетов с атомным грузом на борту». И это тоже один из кирпичиков той крепости, о которой Н. С. Хрущев сказал в день 27 сентября 1960 года в беседе с корреспондентами «Известий»: «Единство народных сил во всем мире — крепость, которую не возьмут враги мира».

А письма простых американцев Н. С. Хрущеву, когда он в прошлом году был в Нью-Йорке, на Генеральной Ассамблее ООН, которую составители книги по праву называют «главным событием дня»! Из них вырисовывается лицо подлинной Америки, не той, которая с тупым безразличием выстроилась в полицейской форме с дубинками в руках у здания, где жила советская делегация, не Америки Дюпонов (выразительный групповой портрет этой финансовой династии дан в книге), а той Америки, которая не верит лжи империалистической пропаганды, думает самостоятельно, надеется на мир. Откройте книгу на странице 492, там помещен фотоснимок группы американцев — вот думающая Америка, ее не сконструировала «красная пропаганда». Этот снимок взят из журнала «Лайф»... Вот такие американцы писали, что прибытие Н. С. Хрущева в Америку было «подобно волне свежего воздуха, которая прошла по этому городу, помешавшемуся на деньгах», вот такие американцы осуждают и безответственное бряцание оружием, которому предаются пентагоновские генералы, и антидемократические беззакония во внутренней жизни США, в том числе самое мерзкое беззаконие — «закон» Маккарэна, направленный против коммунистов — лучших сынов Америки.

Я не сказал о многом, что есть интересного в этой книге. Я ничего не сказал о литературе и искусстве, где борьбу противоположных тенденций и качественные сдвиги не так легко уловить и тем более показать в краткой рецензии. Но главное в этих сдвигах, как дает почувствовать «День мира», состоит в том, что литература и искусство «в общем и целом» стали ближе и нужнее человеку, чем четверть века назад, что углубилось и расширилось то понимание их общественного назначения, которое так хорошо выразил знаменитый наш Мартирос Сарьян: «Человеку нужно быть убежденным, что вечное созидание красоты происходит не где-то за морями и горами, а в самом непосредственном его окружении. Он участвует в создании прекрасного, и мощное течение несет его вперед, раскрывая совершенно новые его возможности, выявляя неосознанные до того грани красоты... Художник, чувствующий биение сердца своего народа, живет светлыми идеи всего человечества и, как всякий честный труженик, по-своему создает красоту мира».

Светлые идеи всего человечества... За ними — будущее, об этом ясно говорит «День мира» — книга о нашем времени.

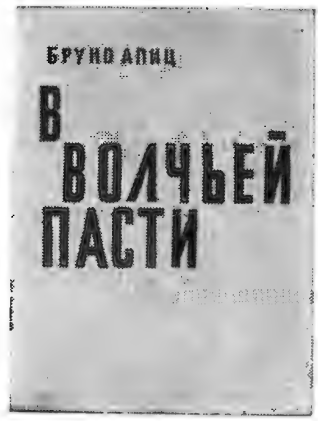
* К. Маркс, Ф. Энгельс об искусстве. Т. I, стр. 184.

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ВОЛКИ И ЛЮДИ

Бруно Апиц. В волчьей пасти. Перевод с немецкого Д. Горфинкеля. Редактор В. Адмони. Предисловие З. Шейниса. Москва, Издательство иностранной литературы, 1961. 392 стр.



Миллионы людей прошли через разбросанные во время войны по всей территории Европы гитлеровские лагеря смерти, где планомерное, тщательно продуманное и «рентабельное» уничтожение людей проводилось фашистами самыми разнообразными способами и приемами.

Главным принципом во всех этих лагерях было унижение человека и его достоинства, низведение людей до состояния животных, уничтожение личности, замена человеческих чувств рефлексами с помощью голода, окриков, избиений и ежечасной угрозы гибелью. А конечной целью фашистов было подавление воли людей, уничтожение всякого сопротивления и затем — всеобщая смерть.

Но фашист мог отчетливо представить себе только психику таких, как он. Сила ума и сердца, воля и классовое единство рабочих-революционеров были недоступны его пониманию. Потому никакие ухищрения фашистов, рассчитанные на успех в среде им подобных, не могли сломить волю и дух лучших людей — ясных умом и сильных сердцем. Для них и лагеря смерти стали ареной борьбы.

Бруно Апиц — писатель-антифашист, который живет в ГДР. Как мог он не рассказать людям о смертельной схватке, которой ему довелось быть не только свидетелем, но и участником!

Колючая проволока под током высокого напряжения отгораживает от прочего мира пятьдесят тысяч человеческих жизней. Другие пятьдесят шесть уже прошли через лагерный крематорий, их больше нет.

Тренированные эсэсовцы с пистолетами и пулеметами и тренированные овчарки охраняют лагерь смерти Бухенвальд.

Все заключенные разных национальностей по плану гитлеровцев — одни ранее, другие позже — обречены на сожжение в печах того же крематория.

Концлагерь Бухенвальд — это типовое стандартное фашистское предприятие для уничтожения. Здесь сделано все для того, чтобы стереть признаки человеческой личности: все заключенные одеты в одинаковую каторжную одежду, головы одинаково выбриты, имена и фамилии заменены безликими номерами. На этап, на расстрел, в крематорий идут не люди, а цифры. Так это выглядит для эсэсовцев.

Но человеческие мысль и чувство не умирают и не сдаются. Внешне обезличенные люди живут полной напряжения жизнью. Внешняя обезличенность для них даже удобна, она помогает маскировке. Под каторжной полосатой рваниной, отличающейся лишь порядковыми номерами, бьются благородные мужественные сердца. В глазах людей горит упорство борцов. Смотреть на начальство запрещено? Тем лучше: фашисты не увидят этот неугасимый огонь, не смогут понять, что под внешней покорной исполнительностью таятся ненависть, сила и воля.

Заключенные объединились в тайной организации и готовят удар по врагу, готовят прорыв ограды и выход с оружием в новую жизнь, освобожденную от фашизма. Невидимые нити подпольной организации связывают тысячи лагерников так, что бойцы подпольной армии в большинстве даже сами не знают, что эти незримые нити тянутся

к единому интернациональному центру лагеря, который повседневно и методично готовится к выполнению своей миссии: приближение фронта должно стать исходным боевым рубежом, на котором вспыхнет сигнал к началу восстания в Бухенвальде.

Для восстания в лагере уже припасено оружие. Его немного, но важен первый удар. Остальное оружие будет взято в бою с фашистами. Солдаты подполья втайне ведут подготовку к этому бою.

Книга Бруно Апица, в русском переводе названная «В волчьей пасти»,— это не хроника Бухенвальда, не мемуары. Это роман об антифашистской борьбе узников лагеря смерти. Роман, полный чувства любви к людям и ненависти к фашистам.

Жизнь лагеря — нудная, однообразная, превратившая в будничный скучный обряд побои и муки, повседневные унижения и самую смерть. Это подобие жизни течет медленным мутным потоком долгие годы, но сколько в глубине этого мертвого течения таится великих горячих сердец, острых умов, человеческих личностей, полных страстности и самоотвержения!

И вот в общую напряженную жизнь, которая спаяла верностью делу тысячи бойцов, испытавших все, что только может вынести человек, входит новая маленькая тайна, олицетворенная трехлетним мальчиком, спасенным из варшавского гетто; его пронесли в чемодане через смертный рубеж Освенцима, по страшным этапам, где гибли сотни и тысячи взрослых. Мальчик из Польши! Эти люди в течение долгих лет заключения в лагере смерти не видели ни одного ребенка. Оторванные от человеческой жизни, они утратили ощущение дома, семьи. Лагерные отношения товарищества, политической спайки, политические и чисто тюремные интересы, чувство дисциплины, долга и лагерного братства оттеснили на задний план память о близких, родных людях, о семьях.

Трехлетний ребенок польского адвоката-еврея, сожженного в крематории Освенцима, воскресил в них обыкновенные человеческие чувства. И эта новая тайна, тайна крошечной жизни, становится вдруг опасной для их общего дела, нависает угрозой над подпольной организацией, подвергает смертельному риску одного из заключенных — военного инструктора организации.

ВЫШЛИ В СВЕТ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Барат, Эндре. **Парламентер.** Повесть. Авторизованный перевод с венгерского Б. Гейгера. 111 стр.

Конвицкий, Тадеуш. **Дыра в небе.** Повесть. Перевод с польского и предисловие М. Игнатова. 350 стр.

Лем, Станислав. **Звездные дневники Ийона Тихого.** Рассказы. Перевод с польского. 192 стр.

Молодая Монголия. Рассказы и повести монгольских писателей о молодежи. Перевод с монгольского и примечания Я. Аюржанаева и др. 175 стр.

Штефанеску, А. И. **Не бегай один под дождем.** Перевод с румынского Т. Ивановой. 304 стр.

Готовые на любые пытки во имя сохранения тайны боевой организации бойцы-коммунисты мягчеют сердцем перед лицом ребенка и даже становятся нарушителями своей железной дисциплины. На каждом шагу, добровольно подвергая себя опасности, они укрывают мальчика от фашистских преследователей.

Эсэсовцы, узнав о ребенке, находящемся в лагере, тотчас же понимают, что самоотверженный акт гуманности исходит ни от кого иного, как именно от коммунистов. Найти людей, которые скрывают «еврейского ублюдка», для эсэсовцев значит выдернуть из клубка нить, ведущую к подпольному руководству заключенных, существование которого гитлеровцы уже подозревают. Так борьба за жизнь мальчика превращается в ожесточенную схватку за сохранение тайны подпольной организации.

В этой борьбе утверждается вера подпольщиков в себя и в своих товарищей, в их собственную непоколебимость, в готовность вынести страшные пытки и встретить смерть, но не стать предателями.

Гефель, Кропинский, Пиппиг — прекрасные образы стойких бойцов, борющихся до последнего предела, показаны автором во всей реалистической правде и красоте. Писатель-антифашист Бруно Апиц, прошедший лагеря смерти, показывает подпольную организацию в концлагере как школу человечности, оптимизма и великого интернационального братства, которое закаляется в этой борьбе.

Чистота чувств и помыслов заключенных-антифашистов с особенной выпуклостью выступает на фоне изображения эсэсовского начальства, тех палачей, которые, спасая свою шкуру и ускользнув от возмездия, позже нашли себе тепленькие местечки в реваншистской среде Западной Германии или на службе НАТО, подобно палачу и преступнику Хойзингеру и тысячам таких же гнусных фашистов.

Попутно автор разоблачает миф о слепом подчинении эсэсовских палачей своим начальникам, тот миф, с помощью которого гитлеровские преступники, сегодняшние реваншисты, перед судами и трибуналами старались выгородить себя, свалив ответственность за массовые убийства на вышестоящих фашистов, чьи приказы они, дескать, выполняли как послушные солдаты.

Бруно Апиц разоблачает их круговую поруку во всех преступлениях, мертвецкое, сверху донизу гнусное единообразие нищей мыслями, тупой и шкурнической касты эсэсовцев, подпиравших фашистскую империю Гитлера. Автор книги показывает, как готовы они истребить сотни тысяч людей, лишь бы не оставить

свидетелей своих преступлений, лишь бы успеть переодеться, сменить эсэсовскую шкуру на нейтральное платье, сменить имя, лицо, подхватить награбленное добришко и скрыться, чтобы принять до благоприятного реваншистского времени вид обычного мирного мещанина...

Так разбегаются эсэсовцы из концлагеря Бухенвальд, когда линия фронта приближается. Уничтожить оставшихся заключенных им не удалось благодаря интернациональной сплоченности узников.

Напряженно проходит вспыхнувший в лагере решительный бой заключенных антифашистов с палачами, запоздавшими совершить последний акт массового убийства.

В романе Б. Апица есть один знаменательный эпизод: подсаженный фашистами в лагерь шпион-уголовник пишет донос, в котором перечисляет сорок шесть заключенных, якобы составляющих руководство подпольщиков. Шпик ошибся. В списке, составленном им, фактически нет членов подпольной организации. Кому-то из подпольщиков приходит мимолетная мысль — не бороться за этих сорок шесть человек, заранее обреченных на смерть. Если их расстреляют, то фашисты успокоятся, считая, что уничтожили руководство подполья, а между тем оно будет действовать.

Но общее «нет» отвергает эту идею. Сорок шесть превращаются в тот же символ борьбы, что и скрытый в лагере смерти ребенок.

Живо показана антифашистская борьба, многохарактерность, многообразие подпольщиков. Пылкая молодежь стремится ускорить восстание. Более опытные и выдержанные борцы предостерегают от преждевременного шага, чреватого общей бессмысленной гибелью. Они — испытавшие на себе всю гнусную мерзость фашизма, враги фашизма и свидетели против него перед человечеством — не должны позволить истребить себя под предлогом подавления восстания. Они должны жить и бороться за то, чтобы фашизм никогда не мог возродиться.

«Те, кто живыми выйдут за колючую проволоку концентрационного лагеря, станут авангардом сил, которые создадут более справедливый мир! — говорит в романе заключенный коммунист Бохов, призывая товарищей к восстанию.— Мы носители высочайшего долга!»

При всем различии национальностей, возраста, профессий и характеров антифашисты представляют собою крепкое и человечное единство. Они — одно целое.

Не бедными штрихами, очерчены и фашисты. Писатель-реалист Бруно Апиц и за их внешним разнообразием видит тоже своего рода единство — эсэсовскую касту. Шваль, Вейзанг, Клуттиг, палач Мандрил, Цвейлинг и Рейнебот — все они тоже одно целое: шайка палачей и бандитов.

В книге показаны не просто заключенные антифашисты и эсэсовское начальство. Автор изобразил два мира — людей и волков, две морали — антифашистскую и гитлеровскую; одну — гуманную, альтруистическую, самоотверженную, другую — звериную, эгоистическую, трусливую и потому беспредельно жестокую.

Проведший в гитлеровских концлагерях почти двенадцать лет, немецкий писатель-антифашист Бруно Апиц остается носителем величайшего долга — борцом против возрождения фашизма во всех его видах. «Будьте бдительны, люди!» — повторяет он вместе с погибшим в борьбе антифашистом Юлиусом Фучиком, чье имя не угасает и никогда не угаснет для человечества. И так же, как Юлиус Фучик, Бруно Апиц рядом с призывом к бдительности говорит о любви к людям, о гуманистической сущности антифашизма.

Борьба не окончена. Фашисты и силы, питающие фашизм, не сдаются: гадина оживает, раздавленное тело ее начинает двигаться, ядовитая пасть с шипением скалит зубы, злобно горят тупые бандитские гляделки эсэсовцев, занявших места министров и судей, магистратских чиновников, военачальников и школьных учителей в ФРГ.

Года два назад в ФРГ в Арнсберге состоялся судебный процесс, на котором среди других палачей место на скамье подсудимых занимал школьный учитель Гэдт. Учитель-палач был оправдан судом и возвратился в школу, чтобы растить палачей, фашизировать детей ФРГ. Он не один. Их множество, и не только в Германии.

Многие люди на земном шаре сегодня забыли, что представлял собою фашизм. Правдивая книга антифашиста Б. Апица, свидетеля этой кровавой правды, остерегает народы и призывает к борьбе против возможности возрождения фашизма где бы то ни было.

СТЕПАН ЗЛОБИН

ОБЯЗАННОСТЬ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Альберт Мальц. Крест и стрела. Перевод с английского Н. Треневой. Послесловие Р. Орловой. Москва, Издательство иностранной литературы, 1961. 456 стр.

В августе 1942 года Вилли Веглер, «типичный немецкий рабочий», как о нем говорили окружающие, награжденный за примерную преданность крестом

«За военные заслуги», сложил ночью на поле огромную стрелу из сена, облил ее керосином и поджег, указав английским бомбардировщикам танковый завод, на котором сам работал. Это сделал немец, имевший по анкете расовую принадлежность арийскую, нордическую, скромный, не читавший ни книг, ни газет, посещавший вдову фермера, способную к деторождению, политически не активный. Немец, сын которого, ефрейтор СС, был убит в Нарвике и посмертно награжден, а жена которого погибла от английской бомбы. И тогда, за девять месяцев до странного своего поступка, откопав из-под обломков труп своей жены, он проклял англичан. Стоя на мостовой, засыпанной битым стеклом, Вилли грозил кулаками небу. А теперь, в мучениях умирая на больничной койке, заочно приговоренный к смерти, он с молитвой обратился к богу: «Господи... сделай так, чтобы прилетели английские самолеты. Пусть они разбомбят завод. Дай мне дожить до этой минуты. Дай мне сделать хоть одно дело за всю мою жизнь! Молю тебя, господи». Между двумя этими событиями прошло девять месяцев — срок, за который, пройдя многие стадии развития, рождается на свет человек.

Вернемся же назад и припомним вместе с Вилли Веглером всю его жизнь и последние трагические девять месяцев. Пройдем вместе с героями романа Альберта Мальца «Крест и стрела» их сложный, противоречивый путь, приведший одних к подлости, других к гибели, третьих к осознанию случившегося. Внешне роман построен как расследование. Его ведет комиссар гестапо Кер. Но на самом деле тщательное расследование ведет писатель. Самым подробным образом выясняет он, с чего началось, как немецкий фашизм вырос для всего человечества в страшнейшее бедствие.

С чего же все-таки началось? А началось с преследования коммунистов, с травли демократических сил

нации, с еврейских погромов. Все инакомыслящие были объявлены врагами рейха, их заточали в концлагеря, их истребляли в первую голову. Казалось бы, горький опыт человечества мог подсказать Веглеру, чего следует ждать дальше, когда в Германии идет уже кровавая репетиция будущей трагедии мира. Но официальное человечество, главы западных держав, тесно связанных между собой экономическими узами, не верили. Они не верили газетным сообщениям, не слышали голоса истязуемых, не верили безумным речам Гитлера, поддерживая с ним дипломатические и всякие иные узаконенные отношения, словно это был не уголовник с шайкой, пришедший к власти. Есть такая форма оправданного бездействия, а порой и поощрения: не верить. Я не верю, и совесть моя спокойна, пусть даже в этот момент убивают соседа.

Вилли Веглер тоже не верил, хотя находился в самой Германии и все происходившее мог видеть своими глазами. Но оно еще не задело его лично: ведь он не коммунист и не еврей. И потом, столько порядочных людей в Германии и за границами ее молчат, не возмущаются.

Даже Англия, Франция — могущественные страны — и те не противятся требованиям Германии. Значит, требования справедливы. Один только раз совесть Веглера была потревожена: когда он узнал, что в концлагере замучен его друг Карл. Конечно, Карл был коммунист, но разве это порядок — убить честного человека? Вместе с ним в окопах Вилли провоевал всю первую империалистическую войну. Но Вилли сказала жена: «Тише!» — хотя они всего вдвоем были в своей отдельной квартирке. А потом привела неопровержимые доводы: во-первых, им все-таки живется неплохо, а во-вторых, разве они в силах что-нибудь изменить? Чувство самосохранения, усыпляющее робкие души, как желанный наркоз, то чувство самосохранения, которое помогает видеть ближнюю опасность и не видеть главной, дальней, подсказало ей эти слова. Она не знала, что через несколько лет в своем доме будет убита английской бомбой. Зато она радовалась сейчас, что к ним едет Чемберлен, а значит, фюрер прав. И, вняв голосу жены, «голосу разума», Вилли Веглер остался солидным и надежным гражданином своей страны.

А в другом городе Германии молчал другой гражданин своей страны, доктор Цодер, запуганное существо, в душе презиравшее своих соотечественников — немцев. Он не протестовал, когда из клиники изгнали «красных», мучаясь, «он по-прежнему ходил в клинику, принимал больных, по пятницам посещал концерты, смеялся, баловал дочь, жарко обнимал свою красивую жену». Так — верил он — делали все, и вместе со всеми он из чувства самосохранения кричал «хайль!»

Иной солдат под обстрелом падает на землю, изо всех сил прижимается к ней, надеясь, что его минует, что он хоть на несколько минут переживет своих таких же прижавшихся к земле товарищей. Благоразумный гражданин молчит, когда безвинно уничтожают его друга. Что он может сделать? А в глубине души надежда: «Ведь это взяли его, не меня. Быть может, меня минует?» И вот это чувство, разъединяющее людей, делающее их бес-

сильными — бери каждого поодиночке,— названо чувством самосохранения.

«Почему не восстал мой дух, когда убили первого еврея?.. И только когда веревка захлестнулась вокруг моей собственной шеи, а на груди появилась бессмысленная надпись: «Я — еврейский прихвостень»,— только тогда я понял, что сам накинул себе на шею эту петлю, что после моего молчания это было неотвратимо, как наступление ночи после дня»,— говорит пастор Фриш, воскресший духовно, но доведенный физически до состояния полутрупа. Говорит это уже после того, как его, пастора, обрив наголо и разбив очки, эсэсовцы — «божьи создания» — поставили на четвереньки под светом уличного фонаря и принудили по-собачьи лаять на свою паству. Это он говорил после страшных двух лет концлагерей, убивших его физически.

Но даже тогда, в 1942 году, когда пастор Фриш пришел к осознанию всего этого, большинство его сограждан, даже тех, кто не поддерживал открыто нацизм, были далеки от подобных мыслей. После они оправдывались: «Что мы могли сделать? И потом, мы хотели только немножко счастья. Разве это плохо?»

Уже со всей Европы свозили миллионы людей различных языков, убеждений и верований, сгоняли их в топки Освенцима, Майданека, Треблинки. И сколько среди них было могучих умов, смелых сердец, честных душ! Эти люди достойны были самого большого счастья. А их душили в камерах газом, их жгли в топках. И сотни тысяч пар детских ботиночек, женских кос, колец с выломанных пальцев, бритвенных лезвий, карманных часов — тщательно пересчитанных, упакованных,— эшелонами из всех лагерей свозились в Германию...

«Мы хотели только немножко счастья. Разве это плохо?» Они не убивали вместе с эсэсовцами, не грабили лично, разве что только посылки получали из оккупированных стран. Ну, еще у кого-нибудь работала в доме девка, пригнанная с Востока. А у другого на ферме — поляк. Но так ведь все делали. Это стало бытом. Сами они не запятнали свои руки кровью, они только молчали, пока все это творилось. И они были молчаливыми соучастниками всех преступлений. Такова неумолимая логика жизни, в которой не бывает безучастных. Жизнь ставит выбор: либо борись и будь готов на жертвы, либо ты — соучастник преступлений.

И вот Рихард, сын, мальчик, которого Вилли Веглер недавно еще носил по лугу на плечах, потребовал от отца, чтобы тот активно включился в нацистское движение. А когда отец робко стал возражать, что ведь он никому ни в чем не препятствует, но хоть взгляды-то у каждого человека могут быть разные, сын с холодным, злым лицом отчеканил: «...у каждого немца может быть лишь одна идея — идея нашего фюрера!»

Давно ли Рихард, лежа в кроватке, впервые в жизни чихнул, и в душе отца все радостно вздрогнуло: «Он совсем как человек!» В тот день счастливый Вилли Веглер не думал, что придет время, и его сын с автоматом в руках высадится на землю Норвегии, наводя ужас на людей, «которые спасались от него бегством среди студеной зимы, по заснеженным дорогам, в тоске прижимая к себе голеньких невинных детишек...» Надо полагать, он многих из них убил, потому что даже посмертно был награжден Железным крестом. Так жизнь отняла у Вилли Веглера сына, сына, ставшего убийцей. А между тем не случилось ничего неожиданного. Просто все развивалось своим чередом в неумолимой последовательности. Ведь это очень мало: родить на свет человека и хорошо кормить его. Гораздо труднее завоевать для него жизнь, сделать ее человечной.

«Я закрыл глаза, мечтал и думал, как ты родишься, вырастешь, станешь взрослым, станешь мужчиной — и вдруг задашь мне один вопрос. Да, я знаю, что задашь. И я беспомощно ворочаюсь с боку на бок на своей постели. Мне становится страшно; что, если ты не поймешь?

Да, я знаю, вопрос этот будет мучить тебя многие годы, и в один прекрасный день он, как появляющийся на свет цыпленок, пробьет скорлупу уважения и дружеских чувств к нам, и ты спросишь: «Что же было тогда? Как могло такое случиться?»

Иногда кажется, что это было бесконечно давно, скажешь ты, но ведь и мать и отец все-таки жили в то время. Как же все-таки они могли жить? Как могли молча сносить это страшное унижение человека? Как могли любить?» Это писал ровесник Вилли Веглера, человек, мечтавший стать отцом и боровшийся с фашизмом. Писал это Юлиус Фучик в ночь, когда в Прагу вошли немцы.

«Как могло такое случиться?» К Вилли Веглеру пришел наконец этот вопрос. Но его задал ему не сын. И даже не внук, потому что внук, воспитанный матерью-нацисткой, уже в пять лет подымал руку в фашистском приветствии, обещая стать солдатом, убивать врагов и умереть за фюрера. Этот вопрос Веглер задал себе сам. Он еще многого не понимал. Он не понимал, например, что живет в государстве рабов и сам он всего лишь узаконенный государственный раб, хотя ежедневно официально говорится, что он господин и представитель расы господ.

В этом государстве учтено с потрясающей аккуратностью все: и количество свиней, готовых к опоросу, и количество женщин, способных к деторождению. Тьму веков трудилась природа, чтобы создать человека, способного любить и мыслить. В фашистской Германии все это оказалось ненужным. За немецкой женщиной закреплялась ее наиболее «патриотичная» функция: стать немецкой матерью, родить. Не обязательно от любимого человека, но обязательно от арийца, чтобы ни на секунду, особенно во время вой-

ны, не прекращался процесс воспроизводства арийских солдат, способных в дальнейшем к грабежам и завоеваниям. Тут слышится что-то очень знакомое. Вспомним роман Генриха Манна «Верноподданный», написанный о Германии времен более отдаленных. Вспомним, как Дидрих Геслинг отправляется в свое первое свадебное путешествие. Когда он остался в купе со своей молодой женой один на один и она уже закрыла глаза, склоняясь, он вдруг выпрямился «...при ордене,— железный и сверкающий.— Прежде чем мы приступим к делу,— отрывисто сказал он,— вспомним о его величестве, нашем всемилостивейшем кайзере. Ибо это имеет высшую цель: мы должны оказаться достойными его величества, поставляя ему хороших солдат»

Многое, многое уже имевшееся в Германии было возведено в квадрат и в куб в фашистском государстве, построенном по принципу армии: сколько бы ты ни подымался вверх, над тобой есть еще кто-то, кто тебе приказывает; сколько бы ты ни опускался вниз, всегда есть еще кто-то, кому приказываешь ты. Даже самому последнему крестьянину оставлена была эта иллюзия. Ему давали поляка, и вот тут в полную меру он мог почувствовать себя господином. Так делали все. «Во всей Германии хозяйки ощупывают мускулы польских девушек, а мужчины осматривают зубы у русских, словаков...» И вдова фермера Берта Линг, у которой Веглер мечтал найти последнее тихое прибежище для своей исстрадавшейся души, приводит к себе батрака-поляка, очень сожалея, что ей достался такой тощий.

Это последнее звено в длинной цепи, приведшей Веглера к его «странному» поступку. А до этого были другие звенья и, в частности, красный шерстяной свитер, привезенный Берте в подарок ее сыном из Франции. Случайно Вилли узнает, как добыт этот свитер. Однажды утром на окраине города десять немецких солдат пришли арестовать француженку. Они разбудили ее. С ней был только четырнадцатилетний сын. И тогда унтер-офицер сказал солдатам, что ее ведь все равно утром же расстреляют... Мальчик пытался остановить их, но его подтащили к кровати, на которой насиловали мать, и все время, пока это продолжалось, унтер-офицер держал его, говоря: «Смотри хорошенько, вот как аист приносит детей». А когда женщину уводили, солдат Руди Линг вернулся и захватил ее розовые ночные рубашки и красный шерстяной свитер. Все это он привез в подарок матери.

Кругом гниль, во всем гниль, все пронизано гнилью — видит наконец Вилли Веглер. Он мог бы увидеть это и раньше, если б не отворачивался. Вот в это время его награждают крестом за то, что он всю войну преданно строил танки, без которых немцы не вошли бы во Францию, не воевали бы на Волге. Награждают за то, что он работал лучше других, мог служить примером. Так закончился процесс духовного развития Веглера. Прозрев, он стал человеком. И он увидел, «что он тоже виноват, и виноват не меньше всех остальных. Что... он помогал порабощать... поляков .. Что он вместе с Руди привез Берте Линг свитер расстрелянной женщины... Что добросовестный труд и молчание сделали его соучастником этих преступлений, и теперь он тоже запятнан навеки».

Ночью он пытается освободить запертого в сарай поляка, просит у него прощения. Комиссару гестапо Керу, ведущему в романе следствие, поступок этот кажется безумным. Как можно просить прощения у человека, которого ты лично ничем не обидел, которого ты даже не знаешь? В государстве, где преступники, убийцы, патологически извращенные садисты не изолируются от общества, а, наоборот, необходимы, управляют обществом, служат столпами государства, в этом государстве, безусловно, нормальный человеческий поступок должен выглядеть безумием.

Всю жизнь Вилли Веглер боялся беды, хотел избежать ее. И она обрушилась на него во сто крат более страшная, чем мог он себе представить. У него отняты сын, внук, жена, родина, и в гибели их вместе с другими повинен он сам. И Веглер совершает свой первый поступок, достойный человека: сложив ночью из сена стрелу, он указывает английским бомбардировщикам танковый завод.

Что больше всего хотелось бы пожелать этой страстной книге? Одного только. Чтобы сегодня она воспринималась читателем как гневное напоминание о навсегда ушедшем позорном прошлом. К сожалению, этого ей не надо. Французский мальчик, уже мужчиной, опять увидел на своей земле немецких солдат. И очень может быть, что среди них — внук Веглера, тот самый, который еще ребенком обещал убивать врагов и умереть за фюрера. Опять мир слышит хриплый голос германской военщины, топот солдатских сапог на берегах идиллического Рейна. Молчать в дни, когда готовится преступление, значит становиться его молчаливым соучастником. Каждому немцу, каждому жителю нашей планеты жизнь вновь напоминает о его обязанности быть Человеком. Помните:

«Обязанность быть человеком не кончится вместе с теперешней войной, а для выполнения этой обязанности потребуется героическое сердце, пока все люди не станут людьми».

Это сказано Юлиусом Фучиком, человеком, который боролся и умер со словами: «...в жизни нет зрителей».

ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ДРУЖБА, ОКРЕПШАЯ В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

"Europe", revue mensuelle. Littérature du Viet Nam. Paris, Juillet-Août, 1961.

Любимая, ты хочешь перейти ко мне через ручей?
Сейчас я переброшу мост из ветви розовой.

Те годы грязной войны в Индо-Китае, когда французский империализм с тупым упорством хищника когтил Вьетнам, тщетно пытаясь осилить его, один вьетнамский токарь обратился в своем стихотворении к французским матерям:

Добьемся мы того, что ваши сыновья домой вернутся!
Сердце мое полно любви к заморским братьям!

Руководители нового Вьетнама, которому близки и дороги гуманистические традиции великой французской культуры, заявляли: «Наш народ ведет войну против французских колонизаторов, он не воюет с французским народом». Девиз Демократической Республики Вьетнам «Независимость, Свобода, Счастье» выразил стремления и французской нации, так же как и народных масс во всех странах: ведь счастье — это мир и созидание.

Французская прогрессивная литература отвечала Вьетнаму на том же языке любви и дружбы. Она мужественно рассеивала туман лживой пропаганды, рассказывая Франции правду о вьетнамском народе и его борьбе. Мадлен Риффо написала об этом поэтическую книгу «Нефритовые палочки», Жан-Пьер Шаброль в романе «Последний патрон» и Пьер Куртад в романе «Черная река» описали трагедию молодых французов, поверивших колонизаторам. Разоблачал ложь о Вьетнаме писатель Жюль Руа. Прогрессивный журнал «Эроп» опубликовал в 1953 году статью о цветении вьетнамской поэзии в условиях освободительной войны. А в 1954 году марксистский журнал «Нувель критик» выпустил номер, посвященный истории, литературе и искусству вьетнамского народа, его борьбе за независимость.

Дружба, окрепшая в трудное время, не слабеет. Об этом напоминает тематический выпуск журнала «Эроп», вышедший под названием «Литература Вьетнама». В статье «Братская литература», открывающей этот интересный номер, редактор журнала Пьер Абраам говорит о важности развития культурных связей между народами Франции и Демократической Республики Вьетнам.

Вьетнамская культура — одна из древнейших на планете. С XI века иероглифы и техника гравирования на дереве были использованы для печатания вьетнамских книг. Классический поэт и государственный деятель Нгуен Чай в 1428 году, после освобождения страны от чужеземных войск, писал:

Лишь справедливая война приносит счастье...

Запомни, мой народ, что, победив войну,
мы утвердили мир...

Как современно звучат эти строки!

Тогда же во Вьетнаме начался расцвет литературы и музыки. Односложный вьетнамский язык по природе своей музыкален, он обладает богатой гаммой тональностей и ударений. Народной поэзии издавна свойственны и чистота мелодии и естественность интонаций: Те Лан Вьен с любовью говорит о «нефритовой чистоте» народной поэзии.

Не имея представления об истории Вьетнама, о характерных чертах его культуры, поэзии, искусства, нельзя понять внутреннюю связь между новаторством современной свободолюбивой и проникнутой стремлением к миру вьетнамской литературы и древней традицией, нельзя понять, почему Вьетнам — страна поэзии, почему в нем литература так дружит с фольклором и в годы войны в подразделениях Народной освободительной армии солдаты-песенники шагали рядом с известными поэтами.

Чтобы дать ответ на эти вопросы, журнал «Эроп» опубликовал двенадцать статей вьетнамских и французских авторов, в которых мы находим сведения об истории и языке Вьетнама, современном и старинном вьетнамском искусстве, фольклоре, поэзии, прозе и театре. Более сорока иллюстраций (фотографий и репродукций произведений древнего и современного искусства) и справочный материал (аннотации, библиография, хронологическая таблица) дополняют статьи.

Французские ученые Поль Леви, Одрикур, Морис Дюран, Луи Безасье, вьетнамские деятели культуры Данг Тхай Май, Те Лан Вьен, Ле Тхань Кхой, Нгуен Суан Кхоат и другие помогают понять, каким образом вьетнамский народ в условиях иностранного господства и длительной борьбы за независимость сумел сохранить национальное своеобразие своей культуры, не просто впитывая влияния, но «постепенно подчиняя их себе» (Морис Дюран), творчески перерабатывая воспринятое.

Многое связывало в прошлом вьетнамскую литературу с классической литературой Китая. Позднее во Вьетнам стала проникать французская культура. И если в 30-х годах XX века там возникло «романтическое» течение индивидуалистической и пессимистической «новой поэзии», то более жизненным и прочным оказалось иное влияние. писатели поглощали произведения Ромена Роллана, Барбюса и (в переводе на французский язык) Горького, Шолохова, Фадеева, Н. Островского; «под воздействием советской литературы и прогрессивной западной наметилась очень отчетливая тенденция развития вьетнамской литературы в направлении к социалистическому реализму»,— пишет председатель Ассоциации литературы и искусства Вьетнама Данг Тхай Май.

Августовская революция 1945 года и девятилетняя война, завершившаяся освобождением Северного Вьетнама от французского колониализма, положили начало новой эпохе в истории Вьетнама.

В 1942 году Хо Ши Мин, лишенный чанкайшистами свободы, записал в «Тюремном дневнике»:

Раньше поэты умели петь
О величии гор, красоте цветов
Нам надо строки стальные иметь,
Чтобы сражаться оружьем слов.

Хо Ши Мин говорит также о своей «песне, светлой, словно отдаленный звон ключа». И стальные, сражающиеся строки и нежные, как звон ключа. стихи участвуют в едином процессе формирования социалистического реализма в литературе, «которая отражает национальную жизнь в ее реальности и диалектическом развитии» (Данг Тхай Май).

Журнал знакомит читателей с творчеством двадцати поэтов и пятнадцати прозаиков — классиков и наших современников — в переводах М. Риффо, П. Гамарра, Ж. Гошрона, Ж. Будареля и вьетнамских писателей.

Здесь и поэзия начала XV века, и классический поэт Нгуен Зу (1765—1820), с чьим именем связано формирование литературного языка и чью роль во вьетнамской литературе сравнивают с ролью Пушкина в русской. Здесь и семь стихотворений То Хыу, одного из крупнейших поэтов революции и Сопротивления. Полна нежности его баллада о мальчике-связном («Маленький Лыом»), «о сестра моя, девушка Вьетнама»,— говорит поэт с любовью в другом стихотворении, славя героинь Сопротивления; «сестра моя Польша!» — восклицает он в третьем, вспоминая о Шопене и Мицкевиче, сравнивая весеннее солнце, сияющее над Польшей, с огнем в печах Нова-Гуты. И поэт знает: «О сестра, невозможно забыть про Освенцим!»

Здесь и прекрасная романтическая баллада другого известного вьетнамского поэта Сопротивления Нгуена Дин Тхи: лирический герой после победы своего народа наконец-то соединился с любимой, которая была далеко, и они счастливы; но вот они видят, что горизонт в пламени, и молодая женщина говорит:

Слышишь — стреляют
в моей стране.
Надо туда поспешить
и мне.

Вновь расстаются любящие друг друга. Они знают, что должны приблизить день, когда все будут счастливы.

Если поэзия Вьетнама — и древняя и вечно юная, то художественная проза его сравнительно молода: крупнейший классик реалистической прозы Нго Тат То умер в 1954 году. В журнале опубликован отрывок из его книги «Лампа гаснет» (1938), в которой изображена бесчеловечность строя, основанного на господстве колонизаторов. В рассказе Нам Као, другого известного писателя-реалиста, созданном в 1948 году, публицистически заострена тема народности литературы: только вредят писателю его глаза, если все достойное восхищения они видят в далеком прошлом, а на борьбу народа за лучшую жизнь глядят неохотно и недружелюбно.

Рассказы и отрывки из романов, опубликованные в «Эроп», дают читателю некоторое представление о переменах в жизни Вьетнама. О голоде во Вьетнаме в 1944 году во время японской оккупации рассказывает То Хоай, о бедствующих крестьянах — Нгуен Ван Бонг (в отрывках из романа «Буйвол», отмеченного литературной премией в 1952 году). А в рассказе молодого писателя Нгуен Кхая «Сбор урожая арахиса» (1959) крестьяне управляют сельскохозяйственными машинами на той самой равнине Дьен Бьен-фу, где был нанесен последний сокрушительный удар французскому экспедиционному корпусу, и в этом рассказе государственная ферма Дьен Бьен-фу названа «совхозом». Большие перемены произошли на древней земле Вьетнама! И если для прозаических произведений периода освободительной войны характерно добросовестное описание в стиле очерка, то наблюдательность автора рассказа «Сбор урожая арахиса» проявляется в более сложной форме психологизма, в тонкости пейзажей, привлекательных своей свежестью.

Перед вьетнамской литературой, как и перед народом Вьетнама,— большое будущее. Оправдан оптимизм Мориса Дюрана, выразившего уверенность в том, что новая вьетнамская литература создаст книги, которые будут достойны занять место среди произведений великих классиков человечества.

Я. ФРИД

КТО В ОТВЕТЕ?

Arthur Miller. The Misfits. New York, Viking Press, 1961.

Их было трое, трое мужчин. Старшему Гэю, под пятьдесят. Младшему, Персу, нет и тридцати. Среднему, Гвидо, перевалило за третий десяток. Но разница в возрасте и различия в характерах не мешают им быть товарищами по взгляду на вещи, по несчастью, по одиночеству: за плечами у каждого — большая семейная драма. Все они — перелетные птицы, нигде не останавливающиеся подолгу, не желающие ни дарить свои привязанности, ни делиться мыслями, ни просто заниматься каким-нибудь постоянным делом.

— Как же можно так жить? — спрашивают у Гэя. «Ну... прежде всего, вы ложитесь спать. Затем поднимаетесь, когда захочется. Потом почесываетесь, жарите яичницу, смотрите, какая погода, швыряете камни, ездите верхом, навещая друзей...» «Все вы — порядочные бездельники»,— заявляет им старуха Изабел. «Но это лучше, чем гнуть спину за жалованье»,— отвечают ей друзья, повторяя эту фразу всякий раз как девиз, как молитву, как клятву.

Миллер обозначил своих героев оригинальным и очень емким словом — misfits и вывел его в название фильма и повести по нему. Испытываешь большое искушение перевести это слово как «неприкаянные» * Иначе их как будто и не назовешь, тех непрактичных, безалаберных парней с Крайнего Запада. Однако писатель вкладывает в слово misfits иной отчасти смысл. Для расшифровки приходится обратиться к статье «О социальных пьесах», которую Миллер написал шесть лет назад: «Наше общество настолько сложный механизм, и каждый человек является настолько подогнанной его частью, что при любой попытке представить личность драматическим героем наш «здравый смысл» превращает его всего лишь в недовольного, в чужака (a complainer, a misfit)».

Как видим, Миллер имеет в виду людей, не нашедших своего места в «системе», выбившихся (или выбитых?) из общепринятого уклада, не желающих становиться винтиком политико-экономического механизма современной Америки.

Судьбы таких людей давно занимали писателя. Разве Крис из «Всех моих сыновей» или Биф из «Смерти коммивояжера» не чужаки в своем роде?

Случай сводит друзей с красавицей Розлин — нервной, впечатлительной, только что разошедшейся с мужем. И вот Рено — «бракоразводная столица мира» с ее сверкающими автоматами, барами, залитыми неоновым светом и пестрой толпой приезжих; бесконечные дороги по голым полынным равнинам Невады; затерявшийся среди холмов домик, который Гвидо мысленно воздвигал еще там, на войне, возвращаясь с задания, домик, который так и остался недостроенным — как символ неудавшейся жизни; безымянный городок, куда стекаются люди на очередное состязание ковбоев со всего штата,— «последний открытый город на Западе, там нет полиции и практически нет законов...»

Герои кочуют с места на место, и автор, словно пользуясь этим, скупо и по-кинематографически лаконично дает зарисовки людей, природы, уклада жизни «вольного» Запада. Отлично передана атмосфера ковбойских состязаний: дважды сброшенный на землю, но непобежденный Перс и орущая толпа, хлопанье бутылочных пробок, завывание джаза из портативных приемников. Недаром один рецензент писал, что «Миллер попытался воздать должное современным ковбоям — то же, что Хемингуэй сделал когда-то для тореадоров».

Мужчины без ума от Розлин — то ли потому, что она красива и одинока, то ли потому, что им одиноко, то ли потому, что эта женщина обладает особым даром наслаждаться жизнью и ненавидеть все, что несет боль, страдания, смерть. И Розлин, бывшая танцовщица, «потерянное существо, чей образ жизни не позволяет забыть о своем одиночестве», разрывается от сострадания и любви ко всем троим, каким-то беззащитным, словно бы заблудившимся на перепутьях нескладной своей судьбы, хотя сама рада-радехонька куда-нибудь прислониться, найти опору. Трогательное, печальное, но и жалкое подчас зрелище!

Чем пристальнее вглядывается Миллер в свою героиню, тем более удивительные, едва не таинственные качества видит он в ней. Она становится чуть ли не воплощением вечной женственности и единственным средством излечиться от неприкаянности. Друзья, словно соревнуясь, поочередно предлагают ей свои смятенные сердца. Нельзя не заметить в последней работе Миллера столь популярных в нынешней американской прозе и драме мотивов всеисцеляющей и всепобеждающей Любви, отождествляемой с понятием «гуманизм» и выдаваемой за единственное проявление

* Под этим заглавием киноповесть А. Миллера была опубликована в журнале «Огонек», №№ 31—37, 1961.

высшей человечности. И очень трудно полемизировать с одним американским критиком, который определил их как людей, «ищущих исцеления, которые в будущем могут примириться с окружающим их миром».

На протяжении всей повести то подспудно, намеками, то аллегорически широкими обобщениями, то в открытом споре Миллер устами своих действующих лиц начинает острую, в традициях критического реализма, дискуссию о современном человеке, его месте в жизни и праве на жизнь

В 1957 году Миллер опубликовал рассказ, где отчетливо проступала мысль, что у не приручennых повседневностью людей столько же шансов уцелеть, остаться самими собой, сколько у диких лошадей, которых ловят и забивают на корм собакам. Эта мысль получает развитие в новой киноповести в великолепной по мастерству символической сцене охоты на мустангов (между прочим, есть, по-видимому, определенная закономерность в том, что современные американские писатели-реалисты обращаются к символике, как только речь заходит о человеке в буржуазном обществе в широком философском плане,— вспомним хемингуэевскую Рыбу или стейнбековскую Жемчужину)

Между Розлин и Гэем, которого она полюбила, происходит полный драматизма, надрывный, доходящий до ссоры диалог. Оба они по-своему правы и Розлин, которая утверждает, что «человек не должен убивать» — даже животных, и Гэй, который оправдывается тем, что прежде охота была чистым, мужским делом и не его вина, что из диких лошадей делают консервы для собак — «не я управляю миром, и не ты. Я охочусь, чтобы быть свободным».

Но Гэй и сам понимает, насколько иллюзорна эта свобода, и вслед за Персом, который, уступив умоляющей Розлин, отпустил всех лошадей, рубит веревки на ногах последнего жеребца. «Будь они трижды прокляты! — чуть не плачет он от обиды и отчаяния — Все испоганили, все. Замарали кровью, превратили в дерьмо и деньги... Теперь словно не лошадь ловишь веревкой, а мечту». О чем говорит Гэй, как не о конце «ковбойской вольницы», то есть о крахе американской мечты Вот тут-то бы писателю и наметить решение «проклятых» вопросов, терзающих и его героев, и, безусловно, его самого. Но дискуссия, о которой говорилось выше, теряет остроту и быстро сходит на нет.

«Испоганили...» Миллер не спрашивает у своих героев, почему так случилось, даже не намекает, что они тоже в ответе. Более того, он заключает повесть неожиданно идиллической картинкой, совсем не в духе трагической по существу музы Артура Миллера. Помирившиеся Гэй и Розлин катят на машине в темноту, и Гэй уверяет: «Будем ехать на ту большую звезду.. Она приведет нас домой». Трудно отделаться от ощущения, что Гэй не кончит службой на заправочной станции, как предрекал ему Гвидо.

Но неужели так просто? Неужели это то, чего Гэй искал и ради чего мучился? Не верится, что только это счел нужным сказать нам талантливый художник Будем ждать следующих произведений Артура Миллера.

Г. ЗЛОБИН

ПОЛИТИКА И КАССОВЫЕ СБОРЫ

Terence Rattigan. Ross. A Dramatic Portrait. London, Hamish, Hamilton. 1960.

В течение сезона 1960 — 1961 года в репертуаре лондонских театров прочно утвердился «боевик» Теренса Рэттигана—пьеса «Росс», посвященная известному разведчику полковнику Лоуренсу, проводнику британской колониальной политики на Ближнем Востоке. Пьеса вновь принесла успех драматургу, который начал было выходить из моды.

Теренса Рэттигана, чьи пьесы уже почти четверть века ставятся на английской сцене, а также на Бродвее, английские и американские критики обычно характеризуют как удачливого и плодовитого драматурга, автора занимательных пьес, который великолепно владеет профессиональной техникой и обладает безошибочным чутьем на «кассовую пьесу». Особенным успехом пользовались его легкие комедии, такие, как «Пока светит солнце» (1943), «Любовь в праздности» (1944), «Кто такая Сильвия?» (1950), «Спящий принц» (1953), «Отдельные столики» (1954).

Большинство пьес Рэттигана написано словно для того, чтобы подтвердить распространенный в английском театре тезис, что театр — место развлечения, область, по выражению Рэттигана, «смеха и слез, храм эмоций, а не интеллекта» Этот тезис, однако, все больше подвергают сомнению в Англии как зрители, так и те молодые драматурги (Дж. Осборн, А. Уэскер, Ш. Делани, Б. Биэн и другие), которые выносят на сцену острые проблемы современности.

Почувствовав, что основы драматургии того типа, к которому принадлежат его пьесы, расшатываются, Теренс Рэттиган еще одиннадцать лет тому назад выступил в еженедельнике «Нью стейтсмен энд нейшн» со статьей, в которой он обрушивался на «драматургию идей» Шоу. Бернард Шоу отозвался на статью Рэттигана. Об этой полемике стоит вспомнить, ибо

она характеризует борьбу направлений в современном английском театре.

«Теоретические обоснования» Т. Рэттигана в его статье под заглавием «О пьесах идей» сильно напоминают принципы драматургии Сомерсета Моэма, а также установки Ноэля Коуарда, заключавшиеся в его недавних статьях в «Санди таймс» *. Рэттиган проводит искусственный водораздел между человеческими отношениями и проблемами, которые выдвигает перед людьми жизнь, и объявляет, что он больше ценит пьесы о людях, чем пьесы об идеях. Убеждения тех, кто отстаивает социальную драму, Рэттиган называет старомодными. Он считает, что сторонники социальной драмы не продвинулись вперед после 90-х годов XIX века, когда Шоу начал борьбу за новый театр, призванный «будить совесть», служить «фабрикой мысли». Пытаясь скомпрометировать самую сущность этой борьбы, Рэттиган утверждает, будто Шоу преследовал единственную цель — пробить дорогу своим пьесам.

Бернард Шоу в ответной статье, в частности, писал: «Мистеру Рэттигану не нравятся мои пьесы, ибо они не похожи на его собственные и несомненно кажутся ему скучными; поэтому он спешит объявить, что пьесы, заключающие в себе какие-либо идеи, плохи... Мистер Рэттиган... так же хорошо понимает, как и я, в те моменты, когда он думает, если он вообще когда-нибудь думает: отсутствие идей означает, что мысль не функционирует, а в таком случае пьесы не могут существовать... Каковы же задачи драматурга? Если он только «держит зеркало перед природой», его видение жизни будет подобно видению полицейского на посту. Толпы людей проходят мимо него; но он не знает, почему они проходят, кто они, куда идут и зачем... И вот тут очень существенную роль играет разница между мыслительными способностями драматургов. Один может только изображать вымышленные события из области полицейской и судебной практики — разводы, убийства, адюльтер — в произведениях, имеющих весьма краткую жизнь. Другой способен подняться до уровня шедевров Эсхила, Еврипида, Аристофана, образов, подобных Гамлету, Фаусту, Пер Гюнту, создавать произведения не только занимательные, но в высшей степени поучительные (то, что мистер Рэттиган называет пьесами идей) и имеющие столь долгую жизнь, что их можно, выражаясь образно, назвать бессмертными».

Хотя позиции Теренса Рэттигана, судя по его позднейшим выступлениям, не изменились, он в целях сохранения своей репутации удачливого драматурга, по-видимому, все же пришел к выводу о необходимости известной «перестройки». Задумав пьесу о полковнике Лоуренсе — человеке, которого британские правящие круги возвели в ранг национального героя и создали вокруг его имени романтический ореол,— Рэттиган, разумеется, мог рассчитывать на успех у буржуазной публики, и расчет его оказался правильным.

Пьеса «Росс» написана в духе официальной легенды о Лоуренсе, в полном противоречии с фактами, установленными в результате такого тщательного и добросовестного исследования, каким явилась книга Ричарда Олдингтона «Лоуренс Аравийский» (1955)*, и подтвержденными свидетельствами видных военных, знавших Лоуренса в первую мировую войну.

Действие начальных сцен пьесы и заключительной сцены последнего акта происходит близ Лондона, в одной из частей Британских Военно-воздушных сил, куда Лоуренс вступил в 1922 году в качестве рядового под фамилией Росс. С середины третьей сцены автор переносит действие в 1916—1918 годы — период операций британской армии на Ближнем Востоке против Турции. Вопреки известным фактам о том, что деятельность Лоуренса в тылу турецкой армии сводилась главным образом к налетам во главе отряда бедуинов на поезда, Рэттиган рисует его военным гением, вдохновителем планов решающих наступлений.

Лоуренс, в интересах британского империализма делавший ставку на представителей арабской феодальной верхушки, предстает в пьесе искренним другом арабов, преданным делу создания единого свободного арабского государства, организатором крупных восстаний арабов против турецкого владычества. В приторных тонах Рэттиган изображает Лоуренса завоевывающим сердца арабских юношей Рашида и Хамида, вначале ненавидевших его. Жестокость Лоуренса оправдывается: он убивает раненых арабов, чтобы не оставлять их туркам; жесток к туркам, ибо мстит им за арабов.

На службу рекламе Лоуренса поставлено все. В этих целях автор использует даже фигуру турецкого генерала, подчиненным которого удается схватить Лоуренса. Генерал говорит, что Лоуренс не просто террорист, подрывающий железнодорожные пути, что он выдающийся стратег, действия которого представляют угрозу самому существованию Турции.

Рэттиган пытается выдать полную внутреннюю опустошенность Лоуренса за сложность душевной жизни, пытается изобразить его как трагическую фигуру. Он заставляет Лоуренса терзаться муками совести при воспоминании об убитых его отрядом турках, при мысли о том, что договор между Англией и Францией о разделе сфер влияния на Ближнем Востоке разрушает его мечту о независимости арабов.

В пьесе Рэттигана есть все, что соответствует со-

* См. «Иностранную литературу» № 6, 1961.

* См. «Иностранную литературу» № 1, 1957.

временной «моде» в буржуазной литературе: эффектная фигура героя, сенсационные события, щекочущие нервы сцены, претензии на усложненный психологизм фрейдистского толка Есть и необходимая доза патологии (Лоуренс, изображенный аскетом, осознает, что он гомосексуалист, и это усугубляет его «душевную драму»), есть, наконец, и доза мистики. Обвиненный английским полковником в жестокости, Лоуренс впадает в истерику, и в этот момент слышит голос умершего Хамида: «Бог ниспошлет тебе мир». Таким образом, его действия как бы санкционируются свыше.

В полном противоречии с тем, что известно о саморекламе Лоуренса, его страсти позировать, склонности к театральным эффектам, автор изображает Лоуренса скромнейшим человеком как во время его пребывания на Ближнем Востоке, так и впоследствии, когда Лоуренс вступает в армию рядовым якобы для того, чтобы укрыться от шумихи, изжить душевный кризис. Когда раскрывается его инкогнито, Лоуренс вынужден расстаться со своей частью. Покидая казарму с намерением все же вернуться на военную службу рядовым, он повторяет фразу, донесшуюся до него из потустороннего мира. «Бог ниспошлет тебе мир»...

К какому же выводу подводит нас Теренс Рэттиган пьесой «Росс»? Совершенно очевидно, что драматург изменил здесь своим установкам и написал пьесу отнюдь не безыдейную, но заключающую вполне определенную идею — идею возвеличения героя британского империализма. Другими словами, вопреки собственным правилам, он вводит в свою пьесу политику, по-видимому решив сделать исключение для политики, которая хорошо оплачивается.

Д. ЖАНТИЕВА

О БДИТЕЛЬНОСТИ, О ДОВЕРИИ

Marta Nawrath. Das letzte Gesicht. Roman Halle (Saale), Mitteldeutscher Verlag, 1961.

Когда берешь в руки эту книгу, ее заглавие кажется странным. «Последнее лицо»? «Последнее обличие»? О чем, собственно, речь? На этот вопрос отвечает одна из героинь романа — фотограф Барбара Брюкнер. Она говорит, что у времени, как и у людей, есть свое лицо. Это верно.

Но что такое «последнее лицо»? То, которое будет? Да, именно так. Барбара Брюкнер говорит, что и сегодня уже можно разглядеть черты этого лица, нового, завтрашнего, «последнего». Но почему же все-таки последнего? Ведь облик времени будет меняться без конца. Очевидно, тут имеется в виду другое: время перестанет быть двуликим, придет конец тем разительным противоречиям, о которых недавно с горечью писала Анна Зегерс: «В одну и ту же неделю, быть может, в один и тот же день совершается полет на Венеру и убийство Лумумбы, проникновение в космос и нападение на Кубу» Веря в лучшее будущее, свободное от таких противоречий, героиня романа понимает, что оно не придет само собой Люди переделывают жизнь, люди переделывают себя. О том, как это происходит в послевоенные годы на Востоке Германии, и написана книга Марты Наврат, чье имя впервые появилось в литературе.

Просматривая краткую аннотацию на суперобложке, невольно думаешь: опять то же самое. Герой романа, юноша, ослепленный фашистской пропагандой, начинает прозревать, жизнь открывает ему глаза на правду. Спору нет, для немецкой литературы эта тема — одна из самых животрепещущих. Советский читатель знаком со многими (например, с «Украденной юностью» Вольфганга Нейхауза*), но, конечно, далеко не со всеми романами, посвященными этой теме. Вопрос заключается в том, сумела ли Марта Наврат по-новому подойти к старой теме. Да, сумела, и в этом заслуга молодой писательницы

Марта Наврат, ничего не затушевывая, рисует картину того, что было Вот один из начальных эпизодов романа: в 1945 году четверо воспитанников фашистского учебного заведения, так называемой «национально-политической школы», скрещивая кинжалы, клянутся отдать жизнь за фюрера. Эта клятва не напоказ, мальчишки и в самом деле верят в то, что им внушалось из года в год, изо дня в день. Шестнадцатилетний Луц Боймлер, главный герой книги, готов с голыми руками броситься на американский танк. С той же готовностью он подчиняется приказу старшего по званию Гансгюнтера Нагеля уйти в подполье и бороться.

Завязка романа, таким образом, представляет собой обычную историю, пережитую сотнями боймлеров. Однако писательница превращает обычное в особое, ее Боймлер по-своему проходит путь от старого к новому.

Нагель на первых порах приказывает Боймлеру лишь одно: работать, учиться, стать таким, как все, получше замаскироваться. Это значит, что Боймлер вредит не государству, а только самому себе, обрекая себя на внутреннее раздвоение. А согражданам он даже приносит пользу. Хотя бы тогда, когда задерживает шайку спекулянтов. В этом случае Боймлер действует не задумываясь: он всей душой презирает тех, кто обогащается за чужой счет, да еще в трудные времена И, к величайшему изумлению, получает от Нагеля строгий выговор за то, что сделал: задержанные были его людьми. Так благородные человеческие задатки Боймлера входят в противоречие

* См «Иностранную литературу» №№ 2—3. 1961.

с подлой бесчеловечностью преступных замыслов Нагеля и его покровителей в ФРГ и в США

«Ты стал подлецом!» — кричит Боймлер Нагелю. Да, Нагель не мог не стать подлецом. Враг народа неминуемо становится врагом всего светлого, всего живого, для него уже нет ни любви, ни дружбы, как нет ни чести, ни совести.

Сопоставлением двух образов — Нагеля и Боймлера — писательница доказывает то, что, на наш взгляд, само собою разумеется: нельзя оставаться чистым, участвуя в грязном деле.

Однако ни в коем случае не следует думать, будто она ломится в открытую дверь: дело в том, что в ФРГ снова и снова издают книги, которыми пытаются доказать обратное. Герои подобных книг, офицеры и солдаты гитлеровской армии, все как на подбор изображаются этакими славными парнями, которым, собственно, не в чем себя упрекнуть: ведь в глубине души они были против того, что их заставляли делать. Конечно, Нагель — человек другого сорта Он убежденный фашист, это исключает прямую ассоциацию с героями упомянутых западногерманских романов. Тем не менее Марта Наврат, в сущности, полемизирует с писателями, старающимися реабилитировать соучастников преступного прошлого. Ее книга без всяких скидок предъявляет счет каждому, кто повинен в поступках, наносящих ущерб трудящемуся человечеству.

Боймлер порывает с Нагелем. Но это еще только середина романа. Если в первой его половине время двигалось медленно, то во второй оно шагает быстро, от этапа к этапу большого пути, пройденного народом ГДР. Луц Боймлер уже идет в ногу со временем.

«Нагель» по-немецки гвоздь. Одному юноше, повесившемуся оттого, что Нагель втянул его в преступную авантюру, в предсмертный час чудится, что его пригвоздили к прошлому, распяли на свастике. Этот яркий художественный образ

содержит в себе обобщение. Чтоб не было больше распятых, надо уничтожать нагелей К этому выводу, бесповоротному и решительному, автор приводит своего героя. Конфликт между тем миром, в котором нашел себя Боймлер, и всяческими нагелями, старающимися разрушить этот мир, изображается в книге как конфликт между жизнью и смертью.

Для Боймлера существует одно-единственное решение этого конфликта, но оно дается ему нелегко. Отныне и навсегда он верен родине, народу, партии. И все же у него недостает мужества признаться в том, что было. Он скрывает свое прошлое даже от жены. В этом причина его душевных терзаний: его мучает совесть, его мучает страх до тех пор, пока голос совести не заглушает голос страха. Это происходит 17 июня 1953 года, в день, когда западногерманские агенты тщетно пытаются устроить в ГДР государственный переворот. Боймлер знает, что Нагель, пойманный им, не станет молчать о его прошлом. Тем не менее он делает все, чтобы поймать Нагеля на месте преступления.

Однако и это не развязка. Нагель погибает, не успев заговорить. Но именно тогда, когда уже некому выдать тайну Боймлера, он раскрывает ее сам. Так завершается трудный процесс перевоспитания человека жизнью.

В финале романа на партийном собрании разбирается дело Боймлера. Этот финал помогает понять одну из основных идей книги. Ее автор требует одновременно и бдительности и доверия. К тому, кто, пытаясь вернуть старое, вредит новому, нужна беспощадность. К тому же, кто, отрешившись от старого, помогает новому, нужна чуткость. Утверждая это, писательница доказывает и другое: о человеке надо судить по его делам.

Одаренной писательницей создана умная и честная книга. И все же Марту Наврат можно кое в чем упрекнуть. Книга написана неровно, первая половина сильнее второй. В первой — впечатляющее изображение конкретных примет времени, во второй — беглое, скороговоркой, упоминание о крупных исторических событиях. В первой — рельефные очертания всех фигур, даже эпизодических, во второй — явная расплывчатость некоторых второстепенных образов. Даже и главный герой к концу книги как-то тускнеет. Писательнице порой недостает ярких и теплых красок, особенно тогда, когда они нужны для зарисовки глубоко личных переживаний.

Боймлер к концу романа становится новым человеком. Он обретает свое настоящее лицо. Молодой писательнице, утверждающей новое, трудно дается его творческое перевоплощение. Но это преходящие трудности, испытываемые не одной Мартой Наврат. Чем дальше, тем больше в новой немецкой литературы—как и в жизни ГДР — проясняются черты нового.

Марта Наврат мечтает о том, чтоб все стало прекрасным: и лицо времени, и лицо человека. Во имя этой мечты и написана ее книга.

Л. СИМОНЯН

Эрн Брукс в студии

ПИТЕР ТЕМПЕСТ

Эрн Брукс

— Все время шел дождь...

Художник Эрн Брукс рассказывал мне о своем путешествии в шахтерские поселки Южного Уэльса. Мы сидели в его студии в Лондоне на южном берегу Темзы. Перед нами, прислоненные к стульям и на самих стульях, вдоль стен и у мольберта выставлены черно-белые рисунки — плоды пребывания Эрна среди валийских шахтеров.

Сквозь высокие окна в комнату вливался теплый поток солнца, под его лучами оживали все краски этой со вкусом обставленной комнаты. Мрачным контрастом выделялись уэльские зарисовки Эрна на фоне его картин, написанных маслом, ярких веселых орнаментов на металле и керамике, висящих над низким камином и вдоль всех книжных полок, на фоне пламенеющих всеми цветами карандашей и банок с красками, заполнивших его простой деревянный рабочий стол.

— Все время шел дождь...

Откинувшись на спинку низкого кресла, Эрн Брукс продолжал вести рассказ спокойным, проникновенным голосом. Спокойствие и решительность были в движениях его легкого, упругого тела, в его манерах, в жесте, которым он предложил мне сигарету, и в

том, как он откинул с широкого лба длинную прядь светлых густых волос. Таким же розным мягким голосом он высказывал весьма проницательные суждения, сдабривая их легкой иронией. Но по мере того как Эрн все больше распалялся, вспоминая о жизни уэльских шахтеров, он то выпрямлялся в кресле, то вставал, и жесты его красноречиво передавали горячий энтузиазм.

В Южный Уэльс он ездил со своим приятелем Джорджем Пулом, тоже художником. Джордж родился в Маэрди на Ронде и в молодости сам был шахтером.

— Мы ходили из дома в дом, по всему поселку, мы говорили со всеми без исключения жителями, и все двери были для нас открыты,— рассказывал Эрн Брукс.

Вдоль узкой дороги, по обеим ее сторонам вытянулись, как блестящие черные гусеницы, ряды шахтерских домов, а за ними поднимаются острые гряды диких гор. Во дворах груды угля и открытая уборная, и лишь кое-где виднеются островки грязной от сажи травы. В маленьких каменных домишках нет никаких ванн, только кран с холодной водой. Весь день и всю ночь горит здесь камин, и в одной-единственной переполненной комнате, где живет вся семья, и готовят, и едят, и стирают белье, и отдыхают.

— У камина мы заставали обычно старика шахтера,— продолжал Эрн,— и, как правило, у него была болезнь легких — начало пневмокониоза. Старик лоскутком бумаги разжигал от камина свою трубку и объяснял нам, что существует на «компо» — компенсацию, выдаваемую шахтерам в случае этого профессионального заболевания, а на «компо», как говорят, много пива не выпьешь.

— В горах или в лугах, куда мы ходили иногда порисовать, шахтеров встретишь редко. Там зажиточные фермеры издавна разводят овец. В тридцатых годах, когда туго было и с едой и с деньгами, всякий, кто осмеливался посягнуть на их стада, рисковал остаться без работы. Но овцы сами спускались с гор и прибегали в поселки, толпясь у калиток «Поглядите-ка на эту лучшую валийскую баранину,— шутили шахтеры,— посмотрите, как она очищает наши помойные ведра!» Потом, когда наступило самое голодное время, шахтеры стали строить хитроумные планы, как бы стащить хоть одну овечку. Бросали жребий, кому убивать и кому сбывать шкуру Мясо убитой овцы делили поровну между всеми. Все это походило на похищение овец в средневековье,— заметил Эрн Брукс.— Вся улица упивалась запахом жареного мяса. А что же делала полиция? Да ничего: уж коли шахтеры с отчаяния отваживались на столь решительный шаг, полицейские разумно предпочитали держаться в сторонке.

В тридцатые годы, как и сегодня, выступлениями шахтеров, их борьбой руководили коммунисты. И шахтеры воспринимали их руководство как самый естественный, простой жизненный факт. Ведь именно коммунисты организовали в поселке рабочий клуб, где были и специальные комнаты для отдыха, и лекции, и концерты, и кино. Это был единственный культурный центр на весь поселок. И именно коммунисты помогли создать в поселке футбольную команду...

— Один из бывших членов шахтерской футбольной команды сейчас работает в зеленной лавке — вспоминал Эрн Брукс — Он показал мне старый снимок всей своей команды и при этом заметил, что из всех них он один-единственный уцелел и после болезней и после изнурительной, смертоносной работы в шахте А все потому, говорил он, что успел вовремя «выбраться наверх» и шахтная пыль уже не смогла его догнать!..

— Профессия человека формирует его фигуру, его внешность, а шахтера вы узнаете даже со спины,— замечает Эрн Брукс.— Здесь, под землей, человек как бы сливается с нею: сильные мускулы крепкого тела вдавливают в твердый уголь прыгающий отбойный молоток. Я пытался зарисовать шахтеров, когда они лежат почти горизонтально на пласту угля, но на рисунках не удавалось передать их напора, их вгрызания в землю. Здесь шахтер весь сжимается,— объясняет Брукс,— его фигура — почти треугольник, и все его силы направлены на то, чтобы удержать и ввинтить молоток.

— В трехфутовых пластах, слишком узких для врубовых машин, шахтер, чтобы отдохнуть, присаживается на корточки. Глаза его полузакрыты, а тело принимает позу почти монументальной скульптуры,— продолжает свой рассказ Эрн Брукс.— Когда шахтеры из Кентского угольного бассейна приезжали на выставку этих рисунков они обратили внимание на то, что валийцы садятся не так, как они. И тут же прямо в выставочном зале они уселись на корточки, чтобы показать мне, в чем же эта разница...

Приближался вечер, и за площадью, пробиваясь сквозь завесу тумана, на город садилось солнце, комнату заполняли тени, и постепенно рисунки становились менее рельефными. Наш разговор продолжался при свете камина. Теперь Эрн Брукс говорил о себе, о своей жизни и творчестве

— Когда я был мальчишкой, в школе меня считали одним из «хороших рисовальщиков»,— рассказывал Эрн.— Но когда пришла пора покинуть школу, об искусстве я даже и не помышлял

Школа находилась в Манчестере, городе грязи, нищеты и богатства. Манчестер — это центр Ланкашира, где очень развита хлопчатобумажная промышленность. В семье у Бруксов, кроме Эрна, было еще шестеро де-

Глоток воды

Молодой шахтер

тей — пять мальчиков и одна девочка. Для всей этой рабочей семьи искусство представлялось чем-то нереальным, просто несуществующим. Отец Эрна был прядильщиком и активистом профсоюза. Он работал на текстильной фабрике еще в те годы, когда прядильщики носили цилиндры и в кабачке у них была своя отдельная комната. Но те времена прошли, и отец Эрна хорошо знал, что ныне текстильная промышленность уже ничего не могла предложить его детям.

Эрна определили учеником в типографию, где нужно было вырисовывать буквы. В свободное время он посещал уроки живописи, занимался этюдами и вскоре понял, что больше всего в жизни ему хочется рисовать.

Это были тридцатые годы — годы эконо-

мического кризиса, голода и массовой безработицы. В типографии, как и во всех других местах, начались увольнения, и Эрн оказался среди тех, кто вынужден был выстаивать в ожидании работы нескончаемо тягостные очереди. И каждое утро, «отметившись», как и накануне, в длинных списках на бирже труда, Эрн садился на грохочущий, дребезжащий трамвай и отправлялся на занятия в класс живописи. Даже в те годы безработный Эрн Брукс мечтал стать художником

Эрн занимался рисованием очень упорно и добился трехгодичной стипендии в Манчестерской школе живописи. Здесь он писал дипломную работу и получил немало премий и наград.

Студенческие годы открыли перед Эрном Бруксом путь к марксизму. Он присоединяется к группе художников, которые отдавали свой талант борьбе трудящихся против капитала, горячим битвам тех дней... Руководила этой группой молодая преподавательница живописи коммунистка Барбара Нивен. В ее студии все и собирались: готовили знамена и плакаты, рисовали табло и фрески для бурных рабочих демонстраций и коммунистических митингов.

— Так я начал работать в партии,— просто сказал Эрн.— Со временем мне стало ясно, что, даже когда рисуешь ландшафты, под твоим карандашом не просто фрагменты, а сама жизнь — именно жизнь, ее непрерывное развитие и рост, упадок и возрождение.

Эрн Брукс начинает работать в театре. Чтобы собрать деньги для оказания помощи народу Испании, Эрн Брукс, Барбара Нивен и Джоан Литтлвуд создают в Манчестере театральную труппу. Новая труппа называлась «Театральный союз». Ставили «Овечий источник» Лопе де Вега, «Лисистрату» Аристофана, пьесу «Бравый солдат Швейк». Силами артистов «Союза» была устроена «Живая газета», все «номера» которой посвящались борьбе против фашизма.

Но началась война. Эрна призвали в армию, где он служил маскировщиком, рисовал камуфляж. Под его рукой неузнаваемо меняли свой облик здания и военные объекты. Так их старались спасти во время налетов фашистских бомбардировщиков. В 1943 году Эрна освободили от военной службы по инвалидности.

После войны для Эрна Брукса началась другая жизнь, полная неуверенности и более чем скромная. Такую же участь разделяли все смелые художники

Эрн устраивает выставки своих рисунков и картин в Лондоне и провинции. Когда друзья и почитатели раскупили его работы, Эрн с жадностью ухватился за возможность передохнуть. Он устал от своей «живописи во имя хлеба насущного»; непрерывным потоком выходят из-под его кисти и пера отличные книжные иллюстрации и обложки.

Как и прежде, Эрн Брукс ведет активную пропаганду за мир и социализм. Он консультант-оформитель издательства «Лоуренс энд Уишарт лимитед», выпускающего марксистскую литературу. Подпись Брукса стоит под десятками памфлетов, брошюр и плакатов, издаваемых органами компартии и другими прогрессивными организациями. Он иллюстратор марксистского журнала «Лейбор мансли», газеты «Лейбор рисёрч», его рисунки нередко публикуются и на страницах «Дейли уоркер». Кисти и перу Эрна Брукса принадлежат декорации для рабочего «Театра единства», созданного в Лондоне. Он же рисует декорации в театре Джоан Литтлвуд «Театральная мастерская», с успехом продолжающем дело труппы «Театральный союз».

На стенах студии Эрна в Лондоне десятки рисунков и картин, по которым можно представить себе, сколь неустанно в своем творчестве ищет он правды.

В гостиной художника висит нарисованный маслом портрет ирландского крестьянина. На пустынном берегу, там, где над мрачным морем нависло серое небо,

После работы

Новая смена

стоит закаленный в невзгодах человек. Он занят своим скромным трудом — собирает и сортирует морские водоросли, то немногое, что островитяне урывают у жестокого моря для своего скудного существования. В этом портрете хорошо раскрывается редкое умение Эрна Брукса создавать и передавать нужную ему атмосферу. Вы чувствуете тяжелую трудовую жизнь, серую и однообразную, как морской туман. Вы видите трудолюбивых людей, которые отважно и стойко ведут борьбу с природой, отвоевывая себе право на жизнь.

Другое полотно поражает своим чувством и красками. Это закат солнца и восход луны на побережье Северной Франции. Кругом все пусто, если не считать одинокой хижины у самого горизонта. Два огромных шара: один — пылающий, устремленный вниз, и другой — холодный, медленно поднимающийся вверх, создают на небе полный хаос. И скромное жилище человека, и полоска земли, на которой оно стоит, как бы вовлечены в эту битву двух гигантов.

А это иллюстрации к темам Лорки. Вот одна из них наиболее выразительная: на безмолвной, полной покоя земле лежит удивительно белый человеческий череп. Здесь прошла смерть. Но «и кости наши жизнь дадут росткам грядущим». Посмотрите — кости черепа излучают таинственный свет, а на темном заднем фоне бурлит, пробуждается жизнь. Первые стройные поросли нежных цветов и растений обвили череп своими стеблями и оживляют выпирающие кости скул и пустые глазницы. Я видел это полотно неоднократно, и каждый раз оно с но-

«И кости наши жизнь дадут росткам грядущим»

Ирландский крестьянин

В день зарплаты

вой силой надолго приковывает к себе мое восхищенное внимание.

Во всем своем творчестве, и особенно в толковании тем, взятых у Гарсиа Лорки, Эрн Брукс добивается удивительного слияния образа и идеи. Я не знаю никого из современных английских художников, кто владел бы в такой же степени этой удивительной властью заставлять зрителя думать, думать неустанно. Произведения Брукса не оставляют спокойным, они вызывают на спор. И в то же время уверенная и умная, умудренная опытом рука художника помогает зрителю в решении новых проблем. Убедительность картин Эрна Брукса — результат его глубокого раздумья и изучения жизни, она основывается на самокритичной переоценке автором своих творений, каждого своего шага в искусстве, строгой оценке всего того, к чему художник стремится и чего он уже достиг.

— Я ищу непосредственности и простоты выражения,— говорит художник.— Меня интересуют люди, ибо они составляют основу окружающей нас жизни, они формируют это окружение и сами формируются в нем. Быть может, именно потому, что сам я уроженец промышленного города, с его весьма скудными достоинствами, города, где в повседневной жизни нет места для музыки и живописи, быть может, именно это и заставляет меня искать всюду хоть немного поэзии. А когда хорошо знаешь все конфликты в себе самом и в обществе, тебя окружающем, то хочется разрешить эти конфликты в своем творчестве

«Не искусство для искусства, а искусство для жизни» — вот что мог бы Эрн Брукс с полным правом считать своим девизом художника.

Идет шахтер...

Открылась дверь, и вошла Барбара Нивен, грациозная и обаятельная. «Уже закончили ваш разговор?» — спросила она, включая свет. Да, это была та самая Барбара из Манчестера, друг и товарищ Эрна, а теперь и его жена. Она улыбается нам, предлагая выпить чашку сладкого черного кофе. Тысячам читателей и друзей «Дейли уоркер», всей Англии хорошо известно ее имя. В течение многих лет Барбара по заданию партии возглавляла Фонд борьбы, источник жизненной силы этой народной газеты. По сей день ни один номер «Дейли уоркер» не выходит без призывного обращения к рабочим о поддержке их родной газеты, и под обращениями этими всегда одна и та же подпись — Барбара Нивен.

Сейчас мы вместе беседовали о наших общих друзьях, о работе, которая ждала нас. Эрн показал мне первые, еще свежие типографские оттиски иллюстрированной им брошюры. И рисунки и текст брошюры излагали программу Коммунистической партии Великобритании в борьбе за будущее нашего народа.

Как всегда, было уже далеко за полночь, когда я наконец распрощался со своими гостеприимными друзьями. На чистом прохладном небе ярко светили звезды. Приглушив фары, громыхали по улицам тяжелые машины, направляющиеся на городские рынки, чтобы пополнить запасы продовольствия для ранней утренней торговли. Совсем рядом, с Темзы донесся гудок океанского парохода, выходившего с отливом в море. И пусть город, как обычно, не знал ни сна, ни покоя, у меня на сердце было тепло и хорошо: я думал о брошюре Эрна Брукса, которую он только что мне показывал. Это было новое блестящее оружие в нашей борьбе против лжи, за то, чтобы правда социализма и справедливость восторжествовали бы и в Англии, как это произошло уже в других, более счастливых странах. До глубины души взволновала меня дружеская встреча с дорогими моему сердцу товарищами, истинными художниками и борцами, преданными нашему великому делу.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

«Первыми опубликованными у нас романами советских писателей были произведения на боевую тематику, в которых воспевается патриотический дух сопротивления вражеской агрессии, и естественно, что бóльшая часть этих книг сразу же попала в руки бойцов нашей народной милиции»,— пишет известный кубинский литератор Хосе Родригес Фео в журнале «Боэмия». Автор напоминает о том, что издательство «Импрента насьональ де Куба» включило в свой план произведения Максима Горького, Д. Фурманова, А. Толстого, К. Федина, В. Катаева, П. Вершигоры. А. Бека и других советских писателей

Отмечая стремление кубинских читателей познакомиться также с произведениями, рисующими сегодняшнюю жизнь советского народа, автор статьи особо останавливается на повести Анатолия Кузнецова «Продолжение легенды». Подробно разобрав содержание этой повести, недавно вышедшей в переводе на испанский язык в издательстве «Импрента насьональ», Хосе Родригес Фео пишет: «Сегодня, когда мы, кубинцы, подняв знамя социалистической революции, ведем борьбу за ее идеалы, книга Кузнецова для нас — свидетельство великолепного созидательного труда наших братьев в Советском Союзе».

Румынский критик Матэй Кэлинеску пишет в «Газета литерарэ»: «Нет сомнения в том, что недавнее издание «Поэм» В. Маяковского — выдающееся событие. Заслуживает всяческой похвалы работа переводчика Чичероне Теодореску, которому удалось сделать замечательный перевод произведений великого поэта-революционера... Содержательное послесловие М. Новикова (по сути маленькая монография) — ценный вклад в дело изучения Маяковского в нашей стране».

По сообщению бейрутского журнала «Аль-Маариф», три сирийских писателя Амджад Хусейн, Ганим Хамдун и Али Ашок работают над переводом на арабский язык романа Михаила Шолохова «Тихий Дон».

Израильское издательство «Сефрият-поалим» выпустило в переводе на иврит вторую часть «Поднятой целины» Михаила Шолохова.

Бразильское издательство «Виторна» сообщило об издании на португальском языке романов советских писателей, в том числе таких, как «Чапаев» Д. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Первые радости» К. Федина, «Жатва» Г. Николаевой, «Далеко от Москвы» В. Ажаева.

«Появление на французском языке романа Константина Симонова «Живые и мертвые» должно стать событием»,— пишет Андре Стиль в статье «Сила правды», опубликованной газетой «Юманите» в связи с выходом этой книги из печати в издательстве «Жюллиар» в переводе Рене Хунцбуклера и Андре Робеля.

Одновременно в издательстве «Эдитер франсе реюни» вышли книги К. Симонова «Дни и ночи» и «Товарищи по оружию».

«Наиболее примечательное в романах Симонова,— пишет далее автор статьи,— связано, прежде всего, не со стилем, а с подлинностью и силой ситуаций, исторических или не исторических фактов, характеров, мыслей и чувств. Но более всего следует сказать о впечатляющей человечности, о правде, которой смотрят в лицо и которая господствует во всей книге».

Рисунок французского художника Бориса Таслицкого к роману Константина Симонова «Живые и мертвые», вышедшему в парижском издательстве «Жюллиар».

Лейпцигский театр молодежи поставил инсценировку Штелика по роману «Как закалялась сталь» Николая Островского. На снимке: Сцена из спектакля.

(Журнал «Театер дер цейт»)

В переводе на болгарский язык вышли главы последнего и незаконченного романа Александра Фадеева «Черная металлургия».

«Автор работал над романом несколько лет,— отмечает критик еженедельника «Народна култура».— Смерть помешала ему закончить книгу. В переводе даны несколько опубликованных глав, а также заметки автора».

В венгерском издательстве «Эуропа» вышла «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.

«Эта книга,— пишет рецензент бюллетеня «Тайекоштато»,— о беспримерном подвиге советского пилота Маресьева. И, несмотря на то что книга написана около двух десятилетий назад, она не потеряла своей актуальности, она учит молодое поколение строителей социализма и коммунизма выдержке, честности, воспитывает волю, характер».

Финское издательство «Кансанкултттуури» выпустило в переводе Эллен Ноот книгу советского эстонского писателя Рудольфа Сирге «Земля и народ». Автор рецензии, опубликованной в «Кансан уутисет», отмечает, что «Земля и народ» является выдающимся явлением в литературе, отразившим годы великих перемен... «Земля и народ» открывает для нас, финнов, панораму Советской Эстонии».

По словам рецензента «Газета литерарэ», выход в Румынии «Ледовой книги» Юхана Смуула открыл румынскому читателю строгого и умного наблюдателя, подкупающего честностью и искренностью высказываний. Смуул умеет передать краски пейзажа, захватить читателя пластичностью описания, оригинальностью ассоциаций. Как правило, его характеристики лаконичны, но красноречивы. Многие страницы о героизме исследователей дышат романтикой. Ясно выступают скромность, простота в обращении, гуманизм советского человека.

Книга написана тонким литератором, мастером слова, который сумел выразить в высоко художественной форме каждое из своих впечатлений. Подкупает тон его суждений об искусстве, его компетентность, тонкая ирония подтекста.

«Ледовая книга» Смуула, подчеркивает рецензент, может служить счастливым образцом для подражания в этом жанре литературы.

По сообщению тель-авивской газеты «Кол гаам», на иврит переведены «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях» А. Макаренко. В рецензии на книги Макаренко отмечается большое значение его трудов «для воспитания нового человека — человека коммунистического общества».

Под названием «Покорители степей» варшавское издательство «Искры» выпустило на польском языке повесть М. Бубеннова «Орлиная степь».

«Орлиная степь», по словам критика журнала «Нове ксенжки»,— книга честная, она дает яркое представление о людях и их делах, это сердечное слово писателя к советской молодежи.

Итальянское издательство «Мондадори» выпустило уже не раз выходившую в Италии книгу И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка». Автор рецензии, опубликованной в литературном приложении к римской газете «Паэзе-сера», Карло Фиаски, высоко оценивая творчество советских сатириков и отмечая, что их путевые заметки, относящиеся к 1935 году, во многом еще не утратили своей актуальности, настойчиво призывает перевести и опубликовать их основные произведения — «12 стульев», «Золотой теленок» и «Таня»,— еще неизвестные итальянскому читателю.

Еженедельник «Зоннтаг» сообщает, что в издательстве «Фольк унд вельт» (Берлин, ГДР) выходит сборник стихов Евгения Евтушенко. Два стихотворения из сборника опубликованы на страницах «Зоннтаг».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника

С большим успехом в сиднейском Новом театре идет пьеса Шона О'Кейси «Барабаны отца Неда» «Это пожалуй самая радостная пьеса Шона О'Кейси,- пишет рецензент еженедельника «Трибюн» Эйлин Аллисон — И хотя она адресована ирландцам идея этой пьесы полна глубокого смысла для всех народов борющихся за мир и лучшую жизнь». На снимке: Сцена из спектакля.

(Еженедельник «Трибюн»)

АВСТРАЛИЯ

«ЖАРА В БЕРЛИНЕ»

Под этим названием вышел в свет новый роман Димфны Кьюсэк, вызвавший широкий отклик не только в австралийской, но и в английской прессе.

Австралийская девушка выходит замуж за немца, который во время войны бежал из Германии в Австралию. Прошло более десяти лет с конца войны, и теперь родители мужа, живущие в Западном Берлине, приглашают их к себе погостить.

Воспитанная в богатой семье, политически невежественная и наивно верящая буржуазным газетам, героиня романа долго не может разобраться в том, что происходит в Западном Берлине и даже вокруг нее — в семье мужа. Постепенно все-таки начинается прозрение: она видит, что в Западном Берлине у власти стоят те же люди, которые хозяйничали при Гитлере, что молодежь воспитывают в нацистском духе, а антифашистов преследуют с такой же жестокостью, как и во времена фашизма. В довершение она узнает, что ее свекор был одним из столпов гитлеровского режима и его огромное состояние создано рабским трудом насильно угнанных в Германию русских, поляков, чехов, французов.

Рецензент австралийского еженедельника «Трибюн» Джун Миллз пишет, что роман «Жара в Берлине» читается с огромным интересом и его необходимо прочесть всем, особенно молодежи, которая не помнит войну и считает, что победа над гитлеровской Германией навсегда покончила с фашизмом.

АВСТРИЯ

«САДАКО ХОЧЕТ ЖИТЬ»

«Выпущенная венским издательством «Югенд унд фольк» книга Карла Брукнера «Садако хочет жить» рассказывает о первом взрыве атомной бомбы над японским городом Хиросима и обращена к молодежи, еще не осознавшей всего ужаса этого события»,— пишет рецензент газеты «Фолькс-штимме».

Садако, когда четырехлетняя девочка, была свидетельницей почти полного уничтожения ее родного города. Бесхитростными детскими словами она так описала зловещее событие: «Это была молния, ярче солнца, и такой ужасный гром, что вся земля дрожала. Меня обожгло...» Однако никаких видимых следов ожога не было, и никто не придал серьезного значения словам малютки. Лишь к четырнадцати годам девочка начала чахнуть, а позд-

нее умерла от лучевой болезни.

«Обращаясь к читателям, автор показывает им единственный путь к предотвращению гибели миллионов таких же молодых жизней, как Садако: уничтожение атомных бомб во всем мире. В этом видит он настоящее геройство, в котором нуждается все человечество, если оно хочет существовать»,— заключает «Фольксштимме» рецензию на роман Брукнера.

АНГЛИЯ

«КЛЮЧ ОТ ДВЕРИ» АЛАНА СИЛЛИТОУ

«Алан Силлитоу открывает своим ключом новую дверь» — так озаглавила газета «Дейли уоркер» рецензию на новый роман писателя, в своих произведениях рисующего жизнь рабочего класса Англии. Предыдущая книга Силлитоу «В субботу вечером и в воскресенье утром», по которой был сделан одноименный фильм, показывала рабочую семью Ситонов Герой книги Артур Ситон политически был еще незрелым человеком и, «осознавая что-то неладное в капиталистической системе, по-своему восставал против нее»

В романе «Ключ от двери» та же семья Ситонов из Ноттингэма. На этот раз героем выведен не Артур, а, по-видимому, его старший брат, Брайан — человек более глубокий и вдумчивый, чем Артур. По словам автора этой рецензии Арнольда Кеттла, основная разница — в отношении к теме самого Алана Силлитоу, в большей глубине и тонкости его творчества. Это уже не тот Алан Силлитоу, который три года назад написал «В субботу вечером и в воскресенье утром». Ныне писатель видит Ноттингэм и семью Ситонов по-другому. У него больше понимания, и он проникает значительно глубже в события и в духовный мир героев.

Читая предыдущее произведение Силлитоу, можно было критиковать автора за то, что семейство Ситонов не представляет собой типичное для английского рабочего класса явление. «Что же касается нового романа,— заявляет Кеттл,— то мне кажется, что подобная критика уже не подойдет». Брайан постепенно начинает понимать жестокость общества, в котором он живет, начинает видеть, где враг. Когда его посылают воевать за интересы колониалистов в Малайю, он окончательно осознает, что такое империализм, против которого он намерен бороться. Нужда рабочих Ноттингэма и борьба малайских патриотов сочетаются теперь в его сознании как звенья одной цепи. «Больше я не буду рабом»,— заявляет он, и это решение знаменует его переход на иную, более высокую моральную и духовную ступень, обогащает и освещает дальнейшую его жизнь.

«Ключ от двери», по мнению Арнольда Кеттла,—

Алан Силлитоу.
(Газета «Дейли уоркер»)

один из лучших романов из жизни английского рабочего класса. «Это,— пишет рецензент,— политический роман в самом глубоком и лучшем смысле. Такая книга доводит до читателя политические проблемы через правдивый человечный показ живых людей, их чувств и переживаний».

Нашумевшая пьеса молодой английской писательницы Шейлы Делани «Вкус меда» (см. «Иностранную литературу» № 6 1959) недавно была экранизирована По оценке лондонской критики, фильм — произведение искусства, а не просто заснятый на пленку спектакль. На воспроизводимом здесь кадре из фильма сняты исполнители главных ролей— Рита Тэшингхэм и Мэррей Мелвин.

(Еженедельник «Обзёрвер»)

ЛОНДОН С ЧЕРНОГО ХОДА

Новая книга Колина Уилсона «В Сохо по воле судьбы и обстоятельств» вызвала одобрительные отзывы многих английских критиков. Это история молодого человека, приехавшего из провинции в Лондон искать счастья и начинающего свои первые шаги в столице в окружении полуголодной богемы.

Рецензент еженедельника «Таймс литерари сапплмент» пишет, что, вопреки своей обычной манере излагать мысли с большим количеством «цитат из философов, циников, скептиков, эклектиков и других», Колин Уилсон, один из «сердитых молодых людей», написал эту книгу простым, ясным и свежим языком. «Здесь все конкретно: образы, описания, диалоги. Все сделано настолько хорошо, что повествование получилось необыкновенно живым. Мистер Уилсон превзошел самого себя».

По ходу повествования о приключениях героя читатель знакомится с Лондоном как бы с черного хода.

АМЕРИКАНСКИЙ ИМПОРТ НЕГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

Американские «книги ужасов» стали усиленно проникать в Англию, и «король кровавых кошмаров» Микки Спиллейн появился на прилавках книжных магазинов уже в английском издании. Речь идет о последнем его детективе «Глубокий».

«Глубокий», — саркастически замечает рецензент газеты «Дейли уоркер» Питер Форстер,— слово, отнюдь не характеризующее этот опус. «Глубокий» — кличка гангстера».

Изложение содержания книги Спиллейна, по иронической замечанию английского критика, сводится к «перечню» трупов, которыми герой книги устилает путь.

Самое страшное, заключает рецензент газеты, состоит в том, что Спиллейн всерьез пытается изображать своих гангстеров чуть ли не рыцарями.

АРГЕНТИНА

В ЗАЩИТУ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Несколько месяцев назад группа буржуазных аргентинских писателей, в том числе Хорхе Луис Борхес, Эдуардо Мальеа, Адольфо Биой Касарес, опубликовала декларацию, содержавшую клеветнические выпады против кубинской революции.

Известный аргентинский литератор Эсекиэль Мартинес Эстрада, находящийся на Кубе, выступил с гневной отповедью этим писателям. В своем ответе, напечатанном уругвайским еженедельником «Марча», он пишет:

«Господа аргентинские интеллигенты, защитники североамериканской демократии от кубинской тирании! Когда подписанная вами декларация была обнародована, президент США Джон Кеннеди уже раскрыл с циничным бесстыдством перед лицом всего мира свою личную причастность к тайным операциям госдепартамента по вторжению на Кубу с помощью наемников...

Когда вы подписывали вашу декларацию, не оставалось никакого сомнения в том, что действия США были грубым нарушением прав человека, международных договоров, касающихся государственного суверенитета, и оскорблением общественной морали. Вы же квалифицировали эти достойные вандалов действия как «эпизод войны между свободным и порабощенным миром» — определение, которое вполне справедливо, только не в том смысле, который вы в него вкладываете..

Мне грустно говорить о том, что официальные учебники по истории нашей страны и подобные им книги исказили представление о мире даже у не лишенных таланта людей. Вы не имеете понятия о том, что такое народ, осуществляющий свой суверенитет, который ранее находился в руках предателей и лицемеров; вы не знаете, что такое народный вождь, в котором воплотилась всеобщая воля»

«Ваша декларация,— заявляет в заключение Мартинес Эстрада,— так разочаровавшая любителей художественной литературы, оставляет впечатление, что вы ничего не знаете о том, как этот народ живет, трудится, учится и созидает новый мир, возникший на руинах ненавистного режима. Я нахожусь здесь, и это я вижу собственными глазами».

Эсекиэль Мартинес Эстрада.

(Фото «Каса де лас Американас»)

БОЛГАРИЯ

ПИСАТЕЛИ ЗАЩИЩАЮТ ДЕЛО МИРА

—Болгарские писатели — патриоты и интернационалисты — не могут остаться безучастными в этот решительный момент, когда на карту поставлен вопрос о мире и войне,— заявил Андрей Гуляшки на собрании болгарских писателей.— Не колеблясь ни минуты, литераторы Болгарии вместе со всем народом будут защищать мир и светлое будущее человечества.

Ангел Тодоров в своем выступлении подчеркнул, что, защищая мир против империалистической агрессии, писатели отстаивают и собственное творчество, достижения литературы и культуры. Великие традиции болгарской литературы, отметил Тодоров, учат нас, писателей, бороться за мир и прогресс против порабощения и угнетения. В этой борьбе мы стоим плечо к плечу с нашими братьями — советскими писателями, с немецкими писателями, следующими великим гуманистическим традициям своих классиков. Борьба за новую демократическую Германию — это и наша борьба.

— Мы безусловно нуждаемся в мирном договоре, чтобы окончательно пресечь грязные деяния фашистских извергов,— заявил гостивший в Болгарии немецкий поэт Вернер Линдеман.— Везде в Болгарии это наше желание было понято и поддержано. Все мы, объединенные великим лагерем социализма, должны бороться за мирный договор с Германией — и в мире будет мир!

Приехавшая вместе с Линдеманом в Болгарию немецкая писательница Аннемари Рейнгардт сказала: «Мы знаем, что наша родина — не только земля между Одером и Эльбой. И в этой борьбе мы не одни!»

— Да, мы с вами, с вами моральная сила, могущество всего социалистического общества! — говорили немецким гостям болгарские писатели Димитр Ангелов, Ангел Каралийчев, Анна Каменова, Димитр Димов, Крум Пенев.

Собрание послало телеграмму солидарности Союзу писателей ГДР.

НОВИНКИ 1962 ГОДА

Еженедельник «Народна култура» помещает обзор изданий, которые в ближайшие месяцы выйдут в свет.

Поэзия будет представлена многими сборниками стихов поэтов различных поколений. Издательство «Блгарски писател», в частности, выпустит избранные стихотворения В. Ханчева и Н. Ланкова, лирику Б. Райнова и Б. Божилова, поэмы В. Петрова, сборники «Осенняя гроздь» Д. Пантелеева, «Далекое плавание» И. Пейчева, «Радость у каждого порога» И. Давидкова, «Золотой сноп» В. Стайкова, «Звезды Копривштицы» И. Рудникова.

С интересом читатели ожидают появления четвертой книги романа Г. Караславова «Простые люди» и второй части романа Е. Станева «Иван Кондарев». Выйдут также романы и повести: «Анна Чемширова» Е. Коралова, «Покоренные горизонты» П. Славинского, «Весна в Черешово» К. Григорова, «Около года» А. Наковского, «Для тебя» Л. Александровой, «Влюбленные птицы» К. Калчева, «Мужчины» Г. Маркова, «Новая жизнь» Д. Ангелова, повести и рассказы Л. Стоянова, Д. Талева, С. Даскалова, П. Велкова.

Намечено издать три сборника пьес, куда включаются произведения К. Зидарова, Л. Стрелкова и других.

В этом году появятся и такие книги, как «Современные проблемы литературы» Г. Димитрова-Гошкина, «Народ и писатель» Л. Стоянова, «Писатель и современность» Б. Нонева, «Проблемы кинодраматургии» Я. Молхова и другие критические труды.

Широко известный на родине писателя — в Болгарии — и за ее пределами роман писателя Д. Димова «Табак» экранизируется болгарскими кинематографистами. Фильм, снимаемый по этому роману, выпускается в двух сериях. Здесь помещен кадр из этого фильма.

(Газета «Работническо дело»)

БРАЗИЛИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ

«Праздником бразильской культуры» назвала печать крупнейшее событие в литературной жизни истекшего года — Второй фестиваль бразильских писателей, проведенный в Рио-де-Жанейро. Первый фестиваль был организован в 1960 году.

Журнал «Лейтура» отмечает, что хотя цены на книги значительно возросли ввиду повышения стоимости бумаги и типографских работ и книга, таким образом, становится почти недоступной для масс, тем не менее на Втором фестивале побывало свыше пятидесяти тысяч посетителей; из-за нехватки мест многим не удалось пройти в фестивальные помещения. Этот факт, по словам журнала, свидетельствует о живейшем интересе народа к художественной литературе. В фестивале участвовало около пятисот поэтов и прозаиков, критиков и литературоведов. Среди участников были виднейшие писатели, в том числе Жоржи Амаду, Афонсу Аринос, Адалжиза Нери, Омэру Омэм, Дина Силвейра ди Кейрус, Нестор ди Оланда Кавалканти, Винисиус ди Мораис, Мариа ди Лурдис Тейшейра. Больше всего, по сообщениям печати, было продано произведений Жоржи Амаду с автографами автора. Из иностранных гостей пресса особо отмечает присутствие немецкой писательницы Анны Зегерс, книги которой, переведенные на португальский язык, на фестивале продавала Анита Престес, дочь немецкой коммунистки Ольги Бенарио-Престес (погибшей в гитлеровском концлагере) и Луиса Карлоса Престеса, председателя Национального руководства Коммунистической партии Бразилии.

«Фестиваль стал триумфом бразильской литературы, — подчеркивает «Журнал ди летрас»,— и более того, он подтвердил, что народ высоко оценивает все, что является выражением подлинной творческой мысли».

«Вероятно, столь человечнейшей речи еще ни разу не произносилось в этой аудитории»,— так комментировал журнал «Лейтура» выступление Жоржи Амаду на торжественном акте, устроенном по поводу его официального избрания в члены Бразильской академии литературы. Жоржи Амаду говорил о героях своих произведений — простых тружениках Бразилии, строящих лучшее будущее своей родины, борющихся за счастье бразильского народа. Явно намекая на то, что до последнего времени эта Академия характеризовалась своей замкнутостью, кастовостью, консерватизмом, журнал добавляет: «Жоржи вошел в Академию вместе с героями своих книг — своими товарищами. И приветствовавший его от имени Академии Раймунду Магальяэнс Жуниор не смог отделить романиста от окружавшей его пестрой толпы созданных им литературных героев». На снимке: Академик Жоржи Амаду (в центре) в день вступления в Бразильскую академию литературы.

(Журнал «Лейтура»)

ВЕНГРИЯ

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПЛАНЫ ОБСУЖДАЕТ ПАРЛАМЕНТ

На заседании Государственного собрания Венгерской Народной Республики при обсуждении вопроса о дальнейшем развитии образования в стране особое внимание было обращено на издание художественной литературы.

Автор статьи в еженедельнике «Элет эш иродалом», комментируя разговор в парламенте об издательских планах, пишет: «Мы не можем запланировать на пятилетие все имена и определенное количество книг современных авторов, но тем не менее произведениям на современные темы отведено во втором пятилетнем плане самое большое место, потому что, как показали недавние анкеты, именно книги на темы современности больше всего владеют умами и сердцами наших людей».

Среди запланированных изданий произведения старейшего поэта Лайоша Кашшака, романиста Ене Тершански, поэта, прозаика и литературоведа Милана Фюшта, сборник переводов литературоведа и переводчика Дьердя Раба.

Большое внимание уделяется изданию классической венгерской и мировой литературы, а также книг для юношества и детей.

«ВРЕМЯ — СТОП!»

В издательстве «Сэпиродалми киадо» вышел первый поэтический сборник Андраша Мезеи, чьи стихи, публиковавшиеся ранее в печати, успели завоевать признание читателей.

«Первый сборник стихов,— отмечает рецензент еженедельника «Элет эш иродалом»,— не всегда го-

ворит о том, что в литературу вошел новый поэт. Обычно об этом свидетельствует его второй или третий сборник. Однако первый томик стихов Андраша Мезеи в данном случае опровергает такое утверждение».

Сборник «Время — стоп!» можно назвать автобиографическим. Молодой поэт через призму личных переживаний раскрывает «биографию» своей страны.

Мезеи в своих стихах, пишет рецензент, воедино слит с народом — он живет его думами, заботами, радостями.

Известные венгерские киноактеры Клари Толнаи, Калман Латабар и Антал Пагер снялись в новой кинокомедии «Вне игры», поставленной режиссером Мартоном Келети по сценарию Юдит Мариашши. В этой веселой комедии рассказывается о приключениях кассирши кинотеатра, премированной путевкой на озеро Балатон. На снимке: Клари Толнаи и Калман Латабар в одном из эпизодов фильма.

(Журнал «Филм-синхаз-мюжика»)

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РОМАН ОБ ОЛЬГЕ БЕНАРИО-ПРЕСТЕС

Автор известного в ГДР произведения «Необыкновенная девушка» Рут Вернер посвятила свою новую книгу немецкой коммунистке, жене и другу председателя Национального руководства Коммунистической партии Бразилии Луиса Карлоса Престеса — Ольге Бенарио.

Еще в ранней юности Ольга освободилась от буржуазного мировоззрения, царившего в семье, и отдала себя борьбе за идеи коммунизма. Выполняя задание партии, находящейся в глубоком подполье, она нелегально выезжает из гитлеровской Германии во Францию. Позднее, также с партийным поручением, она приезжает в Советский Союз. Здесь Ольга познакомилась с бразильским коммунистом Луисом Карлосом Престесом, прозванным бразильским народом «Рыцарем надежды».

Ольга Бенарио-Престес.
(Газета «Юнге вельт»)

Молодые супруги направляются в Бразилию. Там Луис Карлос Престес ведет большую и полную опасности нелегальную работу. Рядом с ним Ольга. После ареста Престеса и его жены бразильские реакционные власти высылают Ольгу в фашистскую Германию. В берлинской женской тюрьме у молодой женщины родилась дочь. Ольгу переводят в концентрационный лагерь Равенсбрюк. После пяти лет каторжных работ ее бросают в газовую камеру.

Измученная, больная, но не сломленная духом шла коммунистка Ольга Бенарио в последний путь... Мужество и силу ей придавало сознание правоты дела, за которое она боролась.

Рецензент «Нейес Дейчланд» считает, что в образе героической коммунистки автор романа «Ольга Бенарио» сумела раскрыть черты непоколебимого борца за коммунизм и женщины, жены, матери, человека.

ПРЕМИИ ЛУЧШИМ

В печати Германской Демократической Республики сообщается о присуждении Национальных премий 1961 года. В области искусства и литературы премия первой степени присуждена Людвигу Ренну за все его творчество, «посвященное борьбе за мир и за социализм», а также коллективу, создавшему телевизионный фильм «Восстание совести», который «является вкладом в борьбу против милитаризма, борьбу за сохранение мира» (см. «Иностранную литературу» № 12, 1961).

Премии второй степени присуждены Вальтеру Горришу за сценарий фильма «Пять патронов», коллективу, создавшему спектакль «Фрау Флинц» по пьесе Гельмута Байерля (см. «Иностранную литературу» № 8, 1961), Гансу Лорбееру за его творчество, особенно за исторические романы, и другим.

Печать отмечает также присуждение премии третьей степени Вальтеру Виктору за его «большие заслуги в области популяризации классической немецкой литературы, за народные книги для чтения и книги для молодежи».

НЕИЗВЕСТНЫЙ СБОРНИК ИОГАННЕСА БЕХЕРА

«Перед нами едва сшитая, растрепанная книга... Напрасно искать в ней страницы с первыми строками сонета... Но по стилю мы узнаем, что сонет написан Иоганнесом Бехером. Только оглавление в конце книги раскрывает его название: «Этюд одного лица». И действительно, лицо отражает внутреннюю жизнь человека: оно то зло смеется, то серьезно задумывается, то трагически плачет. Это лицо Германии, покрытое морщинами печали, заботы о своем будущем, помрачневшее от уныния... Мы узнаем дальше, что это произведение поэт написал, находясь в эмиграции в СССР в 1940—1941 гг. Загадочная книга, в которой найдена большая часть этого сонета,— том произведений Иоганнеса Р. Бехера, не вышедший в свет и не внесенный ни в один из перечней работ поэта».

В сообщении об этой книге, опубликованном в еженедельнике «Вохенпост», указывается, что том, названный поэтом «Небесная высь над полем битвы», сохранился только в единственном экземпляре корректурного оттиска. Во время эвакуации типографии весь набор потерялся. Из оставшегося у Иоганнеса Р. Бехера оттиска поэт выбирал произведения для последующих изданий. Вырезая выбранные им стихотворения из оттиска и наклеивая их на лист бумаги, он сдавал в набор. При этом целые стихотворения, строфы отдельных сонетов и других произведений, отпечатанные на обратной стороне листов оттиска, бесследно исчезли. О названии потерянных произведений поэта говорит лишь оглавление.

Основная тема произведений, собранных в этом томе,— горячий протест против войны, призыв к активной борьбе с нацизмом, к борьбе за победу демократии.

Приговоренной гитлеровцами к смерти советской женщине Вере, находящейся в концентрационном лагере, удалось скрыться от своих палачей. Ее прячут другие политзаключенные — и это проба сил для всех. Речь идет уже не только о спасении Веры. Для узников гестапо Вера олицетворяет их собственное будущее, надежду. Кто помогает ей — тот спасает себя, даже жертвуя своей жизнью... Такова идея пьесы Гедды Циннер «Равенсбрюкская баллада», поставленной Народным драматическим театром в Берлине. На снимке: Заключительная сцена спектакля.

(Газета «Берлинер цейтунг»)

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

РЕВАНШИСТСКИЙ ЯД

«Книги, заслуживающие вашего доверия» — такая реклама встречала посетителей стенда издательства «Фриц - Шлихтемайер - ферлаг» на очередной ежегодной выставке книг во Франкфурте-на-Майне.

Но то, что согласно этой рекламе предлагалось купить, по сути ничем не отличалось от поделок геббельсовской пропаганды.

«Рухнет ли мировой коммунизм?», «Великий адмирал Рёдер», «Солдат между алтарем и мечом», «Заградительный огонь во имя бога» — вот несколько названий из литературного хлама, представленного на выставке.

В этом массовом отравлении реваншистским ядом населения Западного Берлина, по сообщениям печати, участвуют кроме «Фриц-Шлихтемайер-ферлаг» и другие издательства, в том числе «Шютц» (Гёттинген), «Вельсермюль» (Мюнхен), «Миттлер и сын» (Франкфурт-на-Майне), «Кёлер» (Югенгейм) и уж конечно небезызвестный «Пабельферлаг», давно специализирующийся на выпуске фашистской литературы.

По мнению демократической прессы, выставка книг во Франкфурте-на-Майне, точно в зеркале, показала процесс фашизации и милитаризации западногерманского книжного рынка, как и всей Западной Германии.

ВОЗНЯ ВОКРУГ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГАУПТМАНА

Судьба обширного творческого наследия Герхардта Гауптмана сложилась несчастливо (см. «Иностранную литературу» № 6, 1960). Немецкие литературоведы не смогли своевременно взять под свой контроль архивы драматурга, и часть их после войны исчезла для науки. В последнее время, однако, в

связи с приближением 100-летия со дня рождения Гауптмана (оно будет отмечаться в ноябре 1962 года) в западногерманской прессе появились сообщения о тех или иных неопубликовавшихся произведениях драматурга.

Газета «Тагесшпигель» сообщила любопытные подробности о деятельности сына драматурга — Бенвенуто Гауптмана, давно приобретшего «популярность» своими спекулятивными махинациями с творческим наследием отца. В последние месяцы войны архив был перевезен в южногерманскую провинцию Верхний Пфальц, где он и оказался «под надзором» Бенвенуто Гауптмана. Этот архив включал тринадцать ящиков с рукописями, набросками, зарисовками, фрагментами, дневниками и заметками драматурга. После смерти Гауптмана сын увез архив в Швейцарию, и, по слухам, часть архивных материалов им продана за границу. Сам Бенвенуто Гауптман хранил молчание...

И вот теперь «Тагесшпигель» спешит успокоить общественное мнение: ничего страшного не случилось, доктор Бенвенуто Гауптман, видите ли, просто ждал, когда можно передать наследство отца «в достойные руки».

Да, это Радж Капур — на этот раз герой поставленного им фильма «Там, где течет Ганг». И снова Радж Капур затрагивает в своем новом фильме тему преступности. Однако он не просто рассказывает о преступниках и их антиобщественной деятельности. В меру своих сил художник пытается предложить свое решение этой сложной проблемы... Бродячий поэт попадает в плен к шайке бандитов. К своему глубокому изумлению, он узнает, что и на неприкосновенных землях священного для индийцев Ганга обитают преступники. Внимательно наблюдая за их жизнью, поэт, роль которого исполняет Радж Капур, убеждается, что этим людям свойственно не только плохое. Он сумел увидеть в них человеческие черты и решает помочь им выйти на светлую дорогу. «Особенно убедительно,— отмечает критика,— звучит вторая половина фильма, где показано, как трудная миссия поэта завершается успехом». Критикой высоко оценена работа всего творческого коллектива во главе с Раджем Капуром, создавшим простой и искренний образ поэта. Вместе с Капуром снималась молодая актриса Падмини (на фото).

(Журнал «Филмфэр»)

ИНДИЯ

КНИГА О ЖИЗНИ ТАГОРА

Много книг и статей написано о Тагоре в Индии и в других странах, но его жизнь так же, как и его творчество, представляет собой почти неисчерпаемую тему.

С большим вниманием в Индии было встречено новое исследование доктора Кришны Крипалани «Жизнь Тагора».

«Когда закрываешь эту книгу,— пишет рецензент еженедельника «Стейтсмен оверсиз уикли»,— поражаешься богатству жизни Тагора. Книга представляет собой волнующий человеческий документ».

ИНДОНЕЗИЯ

ОРДЕН ДЛЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Индонезийские газеты сообщают об учреждении нового ордена «Сатья Ленчана». Этим орденом будут награждаться за заслуги перед обществом писатели, художники, артисты и другие деятели, внесшие крупный вклад в развитие национальной культуры.

«РАСКАЛЕННАЯ СТАЛЬ»

Режиссер и сценарист Бахтиар Сиагиан, поставивший кинокартину «Туранг», которая шла на советских экранах, закончил работу над новым фильмом «Раскаленная сталь», повествующим об освободительной борьбе индонезийского народа. Действие фильма происходит в Аче (Северная Суматра) во время второй мировой войны, когда страна оказалась оккупированной японскими войсками.

...Два друга Дулло и Будиман, убив японского солдата, убегают из концентрационного лагеря. Во время преследования Будиман погибает от шальной пули. Дулло скрывается в лесу. Он узнает, что оккупанты угрожают расправой жене и ребенку его друга. Чтобы спасти их, Дулло выдает себя врагу, хотя и понимает, что ему отрубят голову... Благородный поступок земляка поднял на борьбу всех жителей Аче. Оккупанты нигде не чувствуют себя в безопасности, пишет рецензент газеты «Хариан ракьят», повсюду они встречают «раскаленную сталь» народного гнева.

Фильм тепло встречен индонезийскими зрителями.

ИТАЛИЯ

РАССКАЗЫВАЕТ ЭДУАРДО ДЕ ФИЛИППО

В большом интервью, опубликованном в газете «Унита», известный драматург, режиссер и актер Эдуардо Де Филиппо поделился с читателями своими творческими планами на ближайшее будущее.

В текущем сезоне труппа Де Филиппо не выступает на театральной сцене Италии, за исключением гастролей в Милане, где она покажет комедию Де Филиппо «Мэр района Санита́», пользующуюся большим успехом (см. «Иностранную литературу» № 3, 1961). Весной Де Филиппо предполагает отправиться со своей труппой в давно задуманное турне по Советскому Союзу, а также посетить Польшу, Чехословакию, Венгрию и другие страны.

Отвечая на вопрос о том, над какими произведениями он работает сейчас, итальянский драматург сказал, что он пишет две новые пьесы — «Искусство комедии» и «Об этом знали только ласточки»; последняя — комедия, предназначенная им специально для известной актрисы театра и кино Анны Маньяни.

Газета «Унита» сообщает, что Де Филиппо в последнее время живет очень замкнуто после постигшего его горя — в течение года он похоронил жену и дочь — и не расстается с сыном Лукой, которого предполагает взять с собой также и на гастроли за границу.

Эдуардо Де Филиппо с сыном.

(Газета «Унита»)

КАНАДА

СУДЬБА ОДНОЙ ПЬЕСЫ

Около двух лет назад во время театрального фестиваля в Стратфорде с большим успехом была поставлена пьеса канадского драматурга Доналда Ламонта Джека «Полотняная баррикада». Она была признана лучшей на фестивале и удостоена премии газеты «Глоб-энд мейл».

В пьесе рассказывалось о нелегкой судьбе художника, который не хочет отдать свое искусство на службу капиталу несмотря на то, что этого требует его любимая девушка, несмотря на богатые посулы и шантаж.

Устами своего героя автор осуждает общество, где «доллар является силой, которая способна разрушить и погубить все хорошее не только в искусстве».

О печальной судьбе этой пьесы и ее автора сообщила недавно газета «Кенэдиен трибюн». Пьеса навлекла на себя гнев реакционных критиков трех крупнейших торонтских газет. Они устроили травлю драматурга, в пьесе которого, по словам рецензента «Кенэдиен трибюн», со всей серьезностью ставятся под сомнение достоинства «канадского образа жизни». К этой травле присоединились и издатели.

«А между тем,— пишет газета «Кенэдиен трибюн»,— эта пьеса заслуживает несравненно более теплого приема, чем она имела. Таких писателей, как Доналд Ламонт Джек, теперь очень мало в Канаде: он ставит вопросы и мужественно отвечает на них».

КИТАЙ

ПОЕЗДКИ ПИСАТЕЛЕЙ ВО ВНУТРЕННЮЮ МОНГОЛИЮ

По инициативе Комитета национальной литературы группа китайских писателей, художников и других деятелей культуры посетила Внутреннюю Монголию, ознакомившись в этой автономной области с промышленными предприятиями и лесными хозяйствами, домами творчества, клубами.

На совещании, проведенном после возвращения группы в Пекин, как сообщает газета «Гуанмин жибао», отмечалось большое значение подобных поездок для усиления работы в области национальных литератур, которая обогащает литературу всех братских народов Китая.

О жизни маленькой народности ли и о тех больших переменах, которые произошли в китайской деревне за последние годы, рассказывает новый художественный фильм «Да Цзи и ее отец», выпущенный Чаньчуньской киностудией. Этот фильм, поставленный режиссерами Ван Цзя-и, Чжан Ци и Чжан Бо, высоко оценен китайской критикой.

(Журнал «Шанхай дяньин»)

«ВОСПОМИНАНИЯ О ЛУ СИНЕ»

В книгу Сюй Гуан-пина, выпущенную под этим названием Издательством китайских писателей, включены воспоминания автора о великом китайском литераторе.

В воспоминаниях Сюй Гуан-пина, по сообщению журнала «Вэньи бао», показано, как влияние Великой Октябрьской социалистической революции и советской литературы отразилось на мировоззрении и творчестве Лу Синя.

В книге воспроизведены записи бесед с Лу Синем и Цюй Цю-бо, свидетельствующие об их горячей симпатии к Советскому Союзу.

МЕКСИКА

БЕСЕДА С ДАВИДОМ АЛЬФАРО СИКЕЙРОСОМ

Давид Альфаро Сикейрос в тюрьме.
(Еженедельник «Вистасо»)

Больше года всемирно известный мексиканский художник Давид Альфаро Сикейрос находится в центральной тюрьме города Мехико. Его «преступление», пишет еженедельник «Вистасо», заключается лишь в том, что он публично протестовал против преследований Коммунистической партии Мексики, открыто говорил о том, что в тюрьмах Мексики томятся сотни политических заключенных.

Еженедельник «Вистасо» опубликовал текст беседы Давида Альфаро Сикейроса с одной мексиканской журналисткой, посетившей художника в тюрьме. В этой беседе Сикейрос говорил о своей жизни, жизни художника-коммуниста, о дружбе с крупнейшими мексиканскими художниками Хосе Клементе Ороско и Диего Риверой, которые вместе с ним составляли знаменитую «тройку» мексиканского искусства.

— Почему вы вступили на путь коммунизма? — спросила Сикейроса журналистка.— Что вы видели в нем?

— Мое вступление в коммунистическую партию,— заявил Сикейрос,— не было чем-то случайным или непродуманным. В 1919 году мне пришлось уехать в Европу. Я стал работать в Аржантее, близ Парижа, в художественной мастерской. Там я познакомился со многими коммунистами. Позднее я вступил в Коммунистическую партию Мексики. Тогда газета «Мачете», которую мы основали вместе с Диего Риверой, стала ее официальным органом.

— Однако вы не сказали, что видели в коммунизме.

— В коммунизме, прежде всего, я вижу политическое учение, имеющее целью освободить человеческое общество от различных форм эксплуатации человека человеком, превратить это общество в наиболее совершенное и демократическое.

— Известно, что, будучи еще очень молодым, вы участвовали в мексиканской революции. Что вас толкнуло на это?

— В 1913 году я принял участие в выступлении народных масс против захватившего тогда власть в стране диктатора Викториано Уэрты. В 1914 году я, еще семнадцатилетний студент, стал рядовым солдатом конституционалистской армии Каррансы. И пять лет, с 1914 по 1919 год, наиболее бурные годы гражданской войны, воевал в рядах революционных войск... В начале революции я познакомился с Ороско, который работал художником армейской газеты «Вангуардиа»... Он был, очевидно, лет на двенадцать старше меня и всерьез меня не принимал. А потом мы стали друзьями.

— А как вы познакомились с Диего Риверой?

— В 1909 году из Европы вернулся Диего Ривера, уже завоевавший славу художника, и мой отец посоветовал показать Ривере мои рисунки. Но тогда я был увлечен бейсболом, рисование меня крайне мало интересовало. Хороший игрок был мне ближе, чем Тинторетто. Тем не менее пришлось вытащить какие-то наброски, чтобы показать их маэстро. Я пошел на выставку Риверы и как раз столкнулся с ним тогда, когда его окружили репортеры. Посмотрев рисунки, он похвалил меня, о чем на следующий же день было сообщено в газетах присутствовавшими при встрече корреспондентами. Спустя дня два отец, расспросив меня, как прошла встреча, сказал: «Ну-ка, дай взглянуть, что ты ему показывал?» Я протянул рисунки: «Что ты наделал! — воскликнул отец.— Ведь это рисунки твоего кузена Энрике!» Так это и было.

Сикейрос рассмеялся.

— Возможно, покажи я Ривере свои рисунки, они ему не понравились бы...

Время свидания в тюрьме заканчивалось, пишет журналистка. Сикейрос становится задумчивым, потом произносит.

— Несправедливо бросать в тюрьму невиновного, и еще более несправедливо бросать в тюрьму невиновного деятеля искусств либо ученого, ведь его лишают не только человеческих прав, но и прав на творчество или научную работу... Мы, коммунисты, боремся за такой мир, в котором тюрьма не будет угрожать честному человеку.

НИГЕРИЯ

«ВЕТОЧКА ОТ БЛАГОРОДНОГО ДЕРЕВА»

Нигерийская печать высоко оценивает первый роман журналиста Онуоре Нзекву «Веточка от благородного дерева».

Герой романа — нигериец Пит Обьеси, как и сам автор, работает журналистом в Лагосе и, подобно своим друзьям, давно уже оторван от жизни и от обычаев своего племени. Но все же порвать окончательно с прошлым он не может.

Подробно, красочно и реалистично, по мнению критика журнала «Уэст Африка», описаны в романе люди, обряды и обычаи племени Онитша, из которого вышел герой книги. Онуоре Нзекву удалось показать жизнь современной Нигерии.

ПОЛЬША

«Едут гости, едут...» — так называется комедийный фильм, в постановке которого пробуют силы три молодых режиссера — Ромуальд Дробачинский, Ян Руткевич и Герард Залевский под общим руководством режиссера Антони Богдзевича. В фильме — три новеллы, каждая из которых рассказывает о судьбе поляка американского происхождения, приехавшего взглянуть на родину своих предков. Многое этим людям непонятно в народной Польше, часто они попадают в смешное положение... На снимке: Артистка Ванда Кочевская в одном из эпизодов фильма.

(Журнал «Экран»)

ПОЛЬСКИЕ ПИСАТЕЛИ О ПРОГРАММЕ КПСС

Редакция еженедельника «Нова культура» обратилась к известным польским писателям с просьбой ответить на вопрос: «Какие проблемы вы считаете наиболее существенными и поразительными в новой Программе КПСС и в работе XXII съезда».

Леон Кручковский пишет, что в Программе КПСС наиболее «поразительна» преемственность мысли, подтверждающая преемственность и закономерность исторического процесса, происходящего на протяжении почти пятидесяти лет. Поражает прежде всего факт, что в документе, написанном в 1961 году, не пришлось менять ни одного из основных положений, во имя которых было поднято победоносное знамя Октябрьской революции

Старейший польский писатель-коммунист Люциан Рудницкий отмечает оптимистический энтузиазм, которым было проникнуто выступление Н. С. Хрущева. Через двадцать лет Советский Союз станет в шесть раз мощнее. Польша, ближайший сосед и союзник Советского Союза, также имеет все условия для значительного роста в ближайшую четверть века.

— XXII съезд КПСС,— заявил Ежи Путрамент,— интересует меня прежде всего проблемой дальнейшей демократизации и восстановления ленинских норм партийной жизни. Это имеет огромное значение для развития социалистической культуры. Ведь не подлежит сомнению, что в период культа личности догматизм в критике причинял большой вред, задержав развитие некоторых областей искусства, отразившись и на всех остальных. В настоящее время, когда фактически ликвидированы ревизионистские попытки подорвать основы социалистического искусства, XXII съезд КПСС должен способствовать возникновению произведений, проникнутых духом партийности. Только такие произведения достойны великой эпохи, в создании которой мы участвуем.

Поэт, литературный критик и переводчик Анатоль Стерн отметил среди важнейших проблем, поставленных на XXII съезде, и проблему защиты мира. В истории человечества почти не было мирных эпох. В наше время мы также находимся в центре исторических бурь. И поэтому нельзя без волнения читать предложение великой социалистической державы о всеобщем и полном разоружении. Ведь от его осуществления зависит также безопасность, мирный труд и счастье Польши.

Поэт Арнольд Слуцкий обращает особое внимание на пункт Программы, в котором говорится, что всесторонее и гармоническое развитие человека — цель новой эпохи. Стремление художника к полноте личного восприятия мира не путем обеднения, а путем внутреннего обогащения других личностей — вот в какой-то мере прототип гармонических отношений между людьми.

Касаясь вопросов материального обеспечения советских людей в коммунистическом обществе, представитель молодого поколения польских поэтов Станислав Гроховяк говорит, что на Западе есть люди, не замечающие конкретной проблемы голода сотен тысяч, даже миллионов своих собратьев, но зато предостерегающие от опасности «унификации» общества. Для них неважно то, что голод, простой биологический голод — худший вид «унификации». Беда западной интеллигенции состоит в том, что она видит голод в своей части света, но не может решиться на риск социальных преобразований. Она солидаризируется со своим народом, однако не видит для него выхода

Маленькая девочка-еврейка чудом спаслась, когда гитлеровцы уводили на казнь ее семью. И простые люди не бросили ребенка: девочку прячут, берегут. И вот гестаповец-«доктор» как-то после осмотра заявил, что девочку надо отправить в немецкий приют, потому что в ней он обнаружил все признаки «чистейшей немецкой расы»... Об истории этой девочки говорится в новом польском фильме «Свидетельство о рождении», снятом по сценарию Тадеуша и Станислава Ружевичей.

(Журнал «Фильм»)

ПОВЕСТЬ ОБ АНТИФАШИСТАХ-ПОДПОЛЬЩИКАХ

Записки Станислава Гаека, руководителя подпольной молодежной группы «Променисты», которая в оккупированной Лодзи вела бесстрашную борьбу с гитлеровцами, публиковались в «Иностранной литературе» (№ 10, 1960). Эти записки легли в основу недавно вышедшей из печати повести Моники Варненской «Ребята из города Лодзи».

Варненская собрала дополнительные материалы о молодых подпольщиках, показала их связь с польскими коммунистами, расширила круг действующих лиц и рамки повествования. Перед читателем проходит вся история «Променисты»: от первых, еще несмелых шагов в движении Сопротивления до широких боевых действий.

«Нет, фашисты не могут, не вправе отнять у нас молодость!» — восклицает один из героев книги. Юноши и девушки, вступившие на опасный путь подпольной борьбы, подчиняются властному зову долга; борьба с ненавистным врагом для них — дело решенное, не вызывающее никаких сомнений. «Драться до тех пор, пока в Польше не останется ни одного фашиста!» — таков был девиз молодых подпольщиков.

Организация «Променисты» была выслежена немцами, многие из подпольщиков схвачены и замучены в застенках гестапо.

Однако книга в целом, пишет рецензент журнала «Новы ксенжки», оставляет светлое чувство. «Променисты» останутся жить в памяти народа, как живут и поныне герои молодогвардейцы.

ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ АНДЖЕЯ МУНКА

— Какова тема моего нового фильма? Он рассказывает о войне и оккупации, но действие его происходит в настоящее время. Главные проблемы моего фильма? Сознание ответственности и предел того, что может вынести человек...

Так говорил в одном из интервью выдающийся кинорежиссер Анджей Мунк, который недавно погиб в автомобильной катастрофе. Требовательный и правдивый художник, Мунк воспевал труд людей нового общества. Советским зрителям знаком его фильм «Человек на путях». Проблемам периода немецко-фашистской оккупации Польши посвящены его фильмы «Эроика» и «Косоглазое счастье».

Свой последний фильм «Пассажирка, или Обратная дорога» Мунк задумал несколько лет назад. Действие фильма происходит в наши дни, на трансатлантическом лайнере, идущем из Америки в Европу. На нем возвращается в Германию немка Лиза, которая во время войны служила в войсках СС и была надзирательницей в Освенциме. Здесь она встречает женщину, похожую на узницу концлагеря Марту, с которой у бывшей надзирательницы происходила своеобразная психологическая дуэль. Присутствие Марты на корабле раздражает Лизу, вызывает в ней неприятные воспоминания. Своим беспокойством Лиза делится с мужем, который не знал ее эсэсовского прошлого...

Освенцим показан в фильме ретроспективно — через восприятие Лизы. И потому в фильме нет того, о чем не хочется вспоминать бывшей надзирательнице,— издевательств, массовых казней. И в то же время, даже при соблюдении такой сдержанности, освенцимские эпизоды фильма очень выразительны — они рождают в зрителе протест против войны.

Мунк не случайно избрал эту тему, пишет критик журнала «Фильм», и не случайно большую часть «Пассажирки» он снял в Освенциме. Своим последним фильмом он бросил обвинение тем силам на Западе, которые породили Освенцим и готовы спровоцировать новую военную катастрофу.

РУМЫНИЯ

ОБРАЗ КОММУНИСТА-БОРЦА

В серии «Малая библиотека критики» недавно вышло в свет исследование румынского профессора М. Новикова «Образ коммуниста-борца в современной румынской прозе». Выбор темы исследования, пишет «Газета литерарэ», оправдан тем, что в современной румынской литературе популярен образ передового рабочего, а коммунист стал главным героем нашей литературы. И проза прославляет созидательный труд румынского народа по построению нового социалистического общества.

Книга румынского критика, отмечает далее «Газета литерарэ», определяет главный источник силы коммунизма и партии рабочего класса. Впервые обсуждаются образы героев-коммунистов в наиболее значительных повестях и романах румынских писателей, как «Бэрэган» В. Галана, «Корни горьки» З. Станку, «На острие ножа» М. Бенюка, «Шесть часов» Н. Цика, «Судьба» А. Михале и других произведений. В книге Новикова подчеркивается духовная красота, дух самоотверженности, неиссякаемая сила коммунистов в борьбе с трудностями, с противниками нового.

УСПЕХ МОЛОДОГО ПОЭТА

Творчеству одного из молодых поэтов — Никите Стэнеску уделяет особое внимание критик А. Сэндулеску в своей статье «Отражение социалистического строительства», опубликованной в «Газета литерарэ».

«Мне кажется, — пишет Сэндулеску,— что этот молодой поэт первым томиком своих стихотворений, а также поэмами о социалистическом строительстве достиг значительных успехов. Никита Стэнеску не регистрирует действительность, он интерпретирует, истолковывает ее, пропуская через свое личное, поэтическое видение».

США

В ОДНОМ ГОРОДКЕ ЮГА..

Недавно бостонским издательством «Хаутон Милтон компани» выпущен новый роман американской писательницы Карсон Маккуллерс «Часы без стрелок».

«Когда узнаешь, что писатель, которого ты любишь, работает над новой книгой, то невольно испытываешь чувство тревоги, — пишет критик Р. Годден в книжном обозрении «Нью-Йорк геральд трибюн».— Тем более что со дня опубликования последнего романа Маккуллерс «Баллада о печальном кафе» прошло уже много времени (роман вышел в 1951 году; потом была написана лишь пьеса «Квадратный корень замечателен», поставленная на Бродвее). Окажется ли новый роман на уровне предыдущих? Когда я открыл книгу, то увидел, что опасения излишни».

Роман «Часы без стрелок» знакомит с жизнью провинциального южного городка в США. Заболевший скромный аптекарь Мэлон вызывает врача, и тот на профессиональном жаргоне сообщает ему диагноз. Мэлон лишь постепенно осознает, что болен неизлечимо и скоро умрет.

Жители городка живут своей обычной жизнью, а Мэлон вдруг обнаруживает, что оказался за бортом. Положение обреченного на смерть помогает ему по-иному понять себя, своих родных и друзей, по-новому видеть окружающее. Он убеждается в том, что его сограждане «после многих лет борьбы, блужданий и ухищрений сталкиваются с неумолимой действительностью, попадают в тупик, гибнут...»

Расовая дискриминация в США и реваншизм в Западной Германии, американские интриги в Лаосе и подрывная деятельность в сенате США ярого проповедника «политики силы» сенатора Бэрри Голдуотера, «битники» и запутавшиеся в своих выкрутасах формалисты...— перечень тем для острых сатирических скетчей, с которыми выступают эти молодые чикагские артисты, исключительно широк. Восемь молодых артистов показали ревю «Из второго города» (Чикаго считается вторым по величине и значению городом США после Нью-Йорка). Не ожидая продукции от драматургов, эта группа решила ставить импровизированные спектакли на актуальнейшие темы американской жизни, она откликается и на международные события. Ее выступления привлекли внимание американской критики. На снимке: Артистка Барбара Гаррис, выступающая в сатирическом ревю «Из второго города».

(Газета «Нью-Йорк таймс»)

КНИГА О СИНКЛЕРЕ ЛЬЮИСЕ

В связи с десятилетием со дня смерти Синклера Льюиса вышло в свет объемистое исследование профессора калифорнийского университета М. Шорера «Синклер Льюис. Жизнь американца».

По словам рецензента «Нью-Йорк таймс бук ревью» Эрвина Хоу, «Шорер предпринял смелую попытку заново оценить романы Льюиса. Однако если не считать блестяще написанной главы, посвященной «Элмеру Гэнтри», то можно сказать, что эта попытка не удалась».

Ныне, указывает рецензент, типажи романов Синклера Льюиса «Главная улица» и «Бэббит» восприняты всеми как мегкая карикатура на американский образ жизни. И в связи с этим, по мнению рецензента, перед критиком, пытающимся анализировать творчество Синклера Льюиса, встает сложная и большая задача.

«Главы, в которых Шорер превосходно описывает жизнь Льюиса на склоне лет,— отмечает далее Хоу,— настолько мучительны, что хочется отвернуться от них из чувства жалости и стыда. Не так уж трудно увидеть провалы в жизни другого человека, и всякий биограф, я полагаю, должен писать о них. Но когда, читая о последних годах жизни Синклера Льюиса, вспоминаешь, что такая трагическая трата сил характерна не только для него, то начинаешь чувствовать к этому замечательному человеку больше сострадания, чем позволяет себе выразить Шорер».

РОМАН АРАГОНА В ОЦЕНКЕ АМЕРИКАНСКОГО КРИТИКА

В Нью-Йорке вышел в переводе на английский язык известный советскому читателю роман Луи Арагона «Страстная неделя». В рецензии, опубликованной в книжном обозрении «Нью-Йорк геральд трибюн», профессор Вернон Холл отмечает, что, с точки зрения литературных достоинств, это произведение стоит «гораздо выше почти любого из романов, изданных в США в последнее время».

Благодаря «психологическому реализму», которым, как заявляет рецензент, в совершенстве владеет Луи Арагон, среди его персонажей нет почти ни одного, который был бы окрашен только в черный или белый цвета.

По словам рецензента, одно время во Франции дискутировали на тему о том, является ли роман Арагона подлинно историческим. Сам автор указывал в одной из своих статей, что его книга представляет собой лишь попытку «использовать историю для написания художественного произведения». Однако, говорит Холл, «вряд ли можно найти литератора, пишущего на исторические темы, и даже историка, который в такой же степени был бы верен историческим фактам, как Арагон».

УГАНДА

ПЕРВЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Недавно в городе Кампале, впервые в странах экваториальной Африки, был создан национальный драматический театр. Перед ним стоит задача развития основных форм африканской драматургии, обучения африканцев театральному искусству.

Пока в театре могут выступать любые труппы, но дирекция надеется в скором времени сформировать постоянную труппу, в репертуаре которой были бы разнообразные спектакли.

Театр, как сообщает печать, уже показал две пьесы — «Каббо ка мувала, или Свадебные дары» и «Вокудера»; последний спектакль разоблачает суеверия и колдовство.

ФИНЛЯНДИЯ

НАЙДЕНО В АРХИВЕ ЛАССИЛЫ

Как сообщает газета «Кансан уутисет», руководитель Народного рабочего театра в Хельсинки Туре Юнтту обнаружил среди посмертных произведений финского писателя-революционера Майю Лассилы, расстрелянного в 1918 году белогвардейцами, черновик принадлежащей ему рукописи комедии «Перпетуум мобиле». Эту комедию рецензент газеты М. Савутие характеризует как «редкостную, ценную находку, обогатившую писа-

Сцена из комедии Майю Лассилы «Перпетуум мобиле» в постановке Народного рабочего театра в Хельсинки.
(Газета «Кансан уутисет»)

тельский портрет Лассилы как драматурга».

Найденная комедия по своей тематике отличается от других «народных» комедий Лассилы, изображавших обычно жизнь финского крестьянства второй половины прошлого столетия. «Перпетуум мобиле» описывает период, когда в крестьянский быт вторгается новая техника. Приходят газеты с сенсационными сообщениями о новых открытиях. Главные герои пьесы — мастер ткацких станков Хапатус и его сын Ниссе, принадлежащие к числу «свободных» ремесленников «без дома и хозяйства», мечтают об изобретении «вечного двигателя» и не щадя сил работают над ним.

Премьера «Перпетуум мобиле» в постановке Народного рабочего театра была тепло встречена зрителями.

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ

Финская общественность широко отметила столетие со дня рождения классика финской литературы Юхани Ахо, замечательного художника слова, одного из крупнейших финских реалистов прошлого века.

В Хельсинки и на родине писателя — в городе Иисалми состоялись торжественные открытия памятников писателю (скульптор Аймо Тукиайнен). Министерство связи Финляндии выпустило в честь Ахо юбилейную марку с его портретом. По финскому радио была передана пьеса Ахо «Приговор», написанная писателем в 1907 году и тогда же снятая властями со сцены Финского национального театра.

МУЗЕЙ АКСЕЛЯ ГАЛЛЕН-КАЛЛЕЛЫ

Под Хельсинки в местечке Леппяваара открыт дом-музей выдающегося финского художника Акселя Галлен-Каллелы. Как известно, Галлен-Каллела был одним из друзей А. М. Горького, с которого художник написал в Финляндии портрет.

ФРАНЦИЯ

В ЗАЩИТУ АЛЖИРСКОГО НАРОДА

Деятели французской культуры обратились с призывом ко всем демократическим партиям и организациям страны совместно выступить против репрессий французских властей в отношении алжирских трудящихся, проживающих во Франции.

«Оставаясь пассивными,— говорится в призыве, опубликованном в печати,— французы окажутся сообщниками оголтелых расистов... Эти события заставляют вспомнить черные дни фашистской оккупации. Мы не видим никакой разницы между поведением гитлеровцев в отношении евреев и французских расистов в отношении алжирцев».

Под этим документом стоят 182 подписи, в том числе Луи Арагона, Симоны де Бовуар, Жан-Поля Сартра, Луи Дакена, Жана Эффеля, Натали Саррот.

Памятник Жан-Жаку Руссо в Шамбери был похищен гитлеровцами во время оккупации Франции. Прогрессивная общественность Франции вела активную борьбу за восстановление памятника. В этой борьбе принимали участие Национальный комитет писателей, а также многие литераторы, в том числе Луи Арагон, Альбер Камю, Ролан Доржелес, Жорж Сименон, Франсуа Мориак. Характерно, что нынешний министр культуры Франции Андре Мальро отказался поддерживать эти выступления писателей, благодаря которым памятник Руссо был восстановлен в столице Савойи.

(Еженедельник «Леттр франсез»)

НАГЛАЯ ВЫХОДКА ФРАНЦУЗСКИХ ВЛАСТЕЙ

Еженедельник «Леттр франсез» опубликовал протест против репрессивных мер французских властей по отношению к секретарю Союза кубинских писателей и деятелей искусств Лисандро Отеро Гонсалесу: «Из письма, которое посольство Кубы во Франции направило в печать, нам стало известно, что Отеро Гонсалесу было предъявлено требование французских властей немедленно покинуть страну. По приезде в Париж Лисандро Отеро Гонсалес был арестован, затем находился под наблюдением, после чего без предъявления каких-либо объяснений ему было предложено в 48 часов покинуть Францию. Мы протестуем против подобных мер французских властей, которые ни в какой степени не выражают волю нашей страны».

КИНО В НАМОРДНИКЕ

Французская прогрессивная печать оживленно комментирует решение властей любой ценой противиться демонстрации фильма Клода Отан-Лара «Не убий!». Этот фильм был показан на фестивале в Венеции и только из-за вмешательства французских властей, пригрозивших дипломатическим скандалом, не получил «Большую премию» (лишь актриса Сюзанн Флон ст-

Кадр из фильма «Не убий!».

(Еженедельник «Франс нувель»)

мечена премией за лучшее исполнение женской роли).

Что же это за фильм, вызвавший такую бурю страстей? В основу его положен случай, происшедший 6 мая 1949 года. Тогда французский военный трибунал оправдал немецкого священника, расстрелявшего партизана по приказу командира, и приговорил к году тюрьмы молодого француза, по религиозным соображениям отказавшегося служить в армии. Печать отмечает, что фильм, предающий анафеме войну и разоблачающий лицемерие церковной морали, естественно, не мог понравиться сильным мира сего...

Мало того что французские власти запрещают демонстрацию фильма «Не убий!» во Франции, они старались повлиять на итальянскую цензуру, чтобы не допустить его появления на экранах Италии.

В статье Жоржа Садуля, опубликованной еженедельником «Авангард», отмечается, что французские кинематографисты лишены возможности свободно творить.

Вот что произошло с фильмом Луи Дакена «Милый друг». В этом фильме, так же как и в романе Мопассана, есть упоминание о том, что Жорж Дюруа принимал участие в грабежах и убийствах африканского населения. В 1955 году цензура потребовала заменить этот эпизод упоминанием о том, что Дюруа служил в Алжире. А в 1956 году она сочла недопустимым и этот вариант и предложила вовсе не упоминать о том, что Дюруа был в Африке...

Естественно, пишет Садуль, что при таких условиях не может быть создан фильм об алжирской войне, хотя этот вопрос волнует миллионы французов.

ЮГОСЛАВИЯ

БЕСЕДА С ИВО АНДРИЧЕМ

Лауреат Нобелевской премии 1961 года Иво Андрич в беседе с корреспондентами югославской печати заявил:

— Каковы мои планы? Я чистосердечно отвечу вам. Буду терпеливо ждать, когда спадет та волна возбуждения, которую я вызвал не по собственному желанию, когда пройдет праздничная атмосфера, когда я снова окажусь в обычной, трудовой обстановке. Рабочий день для меня самый большой праздник.

В ответ на вопрос о книгах, которые он читал в юношеские годы, об их влиянии на развитие его творчества писатель сказал:

— К сожалению, я не могу ответить на вторую часть вашего вопроса, так как сам не знаю, в какой мере первые мною прочитанные книги повлияли на мое творчество. Все же могу сказать, что в юношеские годы я много прочитал книг скандинавских авторов. Помнится, в шестнадцать лет я прочел пятнадцатитомное собрание сочинений Стриндберга. Для моих лет это была довольно опасная пища. Но у меня хороший желудок. Большое значение имело для меня знакомство с творчеством Кьеркегора.

— Как вы вошли в литературу?

— Моим первым литературным критиком,— сказал Иво Андрич,— был Милан Богданович, затем Црнанский и другие. К счастью, как мне кажется, без больших препятствий со стороны критики я вошел в литературу. Другие — и более крупные писатели — зачастую сталкивались с непреодолимыми преградами... Как и все, я начал с поэзии.

— Возвращались ли вы в своем позднейшем творчестве к поэзии?

— Скрывать не стоит, поскольку все, кто занимается изучением литературы, знают все. Только я не стал бы отделять прозу от поэзии. Я спрашиваю себя, где граница между прозой и поэзией. Я стремлюсь, чтобы в моей прозе звучала поэзия.

— Думает ли автор «Моста на Дрине» и «Травницкой хроники» возвратиться к истории Боснии?

— Обязательно. Хотя сколько бы писатель ни писал, он никогда не пишет достаточно много. А достаточно много он никогда и не сможет написать... Я подготовил небольшой сборник рассказов, посвященных современности, а также историческим событиям, которые хронологически заканчиваются 1918 годом. Конечно, исторические события, о которых я рассказываю, связаны с историей Боснии того времени.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЮЗЕФ ОЗГА-МИХАЛЬСКИЙ
JÓZEF OZGA-MICHALSKI
(род. в 1919 г.)

Польский поэт, публицист и общественный деятель. Ему принадлежат сборники стихов «Партизанские странички» («Kartki partyzanckie», 1958) и «Обратная сторона Луны» («Druga strona Księżyca», 1961).

Публикуемые в журнале стихи взяты из сборника «Обратная сторона Луны».

■

ЖАК-СТЕФЕН АЛЕКСИС
JACQUES STÉPHEN ALEXIS
(род. в 1922 г.)

Гаитянский писатель. Автор романов «Добрый генерал Солнце» («Compère Général Soleil», 1955), «В мгновение ока» («L'espace d'un cillement», 1960), сборника новелл «Романсеро при свете звезд» («Romancero aux ètoiles», 1960).

Роман «Деревья-музыканты» («Les arbres musiciens») вышел в 1957 г.

■

НАЗЫМ ХИКМЕТ
NAZIM HIKMET
(род. в 1902 г.)

Турецкий поэт и драматург, общественный деятель, лауреат Международной премии Мира (1950), член бюро Всемирного Совета Мира.

Ему принадлежат сборники стихов: «835 строк» (1929), «Третий» (1930), «Портреты» (1935) и др. Н. Хикмет — автор пьес «Легенда о любви» (1948), «Чудак» (1955), «Дамоклов меч» (1959), «Два упрямца» (1959).

Публикуемая поэма получена редакцией в рукописи.

■

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ
KONSTANTY ILDEFONS GALCZYNSKI
(1905—1953)

Польский поэт, автор стихотворных сборников «Лирика» («Liryka», 1954), «Сатира, гротеск, лирическая шутка» («Satyra, groteska żart liryczny», 1955), «Стихи для детей» («Wiersze dla dzieci», 1957).

Стихотворение «Реквием?» («Requiem?») написано в 1948 году и взято из II тома Собрания сочинений Галчинского.

■

ДЖОН ЭРНСТ СТЕЙНБЕК
JOHN EARNST STEINBECK
(род. в 1902 г.)

Американский писатель. Ему принадлежит ряд книг, в том числе «Люди и мыши» («Of Mice and Men», 1937), «Гроздья гнева» («Grapes of Wrath», 1939), «Луна зашла» («The Moon is Down», 1942), «Консервный ряд» («Cannery Row», 1945), «Заблудившийся автобус» («The Wayward Bus», 1947), «Жемчужина» («The Pearl», 1945, напечатана в журнале «Иностранная литература» в № 12 за 1956 г.), «К востоку от рая» («East of Eden», 1952), «Благостный четверг» («Sweet Thursday», 1954).

Роман «Зима тревоги нашей» («The Winter of Our Discontent») вышел в 1961 г.

■

ЭРВЕ БАЗЕН
HERVE BAZIN
(род. в 1911 г.)

Французский поэт и прозаик, автор романов «Свернувшаяся в клубок гадюка» («Vipère au poing», 1948), «Головой об стену» («La tête contre les murs», 1949), «Вставай и иди» («Lève-toi et marche», 1952), «Кого я осмеливаюсь любить» («Qui j'iose aimer», 1956) и др. Ему принадлежат сборники стихов «Дни» («Jours», 1947), «В погоне за Ирисом» («A la poursuite d'Iris», 1947), «Настроения» («Humeurs», 1953).

Публикуемые в этом номере стихи взяты из сборника «Настроения».

■

ЛЮДВИК АШКЕНАЗИ
LUDVIK AŠKENAZY
(род. в 1921 г.)

Чешский писатель и публицист, автор сборников рассказов «Сто огней» («Sto ohňů», 1952), «Мы пришли, товарищи» («My přišli, soudruzi», 1955), «Украденный месяц» («Ukradený měsíc», 1956), очерков «Бабье лето» («Indiánské léto», 1956). Очерки были напечатаны в №№ 5 6 нашего журнала за 1957 г.

Пьеса «Гость из ночи» («Host») впервые была напечатана в журнале «Дивадло» № 3, 1960.

МАРИУС МАНЬЯН
MARIUS MAGNIEN

Французский публицист и общественный деятель, сотрудничающий в «Юманите», автор книг «Война в Маньчжурии» («La guerre en Mandchourie», 1932), «Война в Корее» («La guerre de Corée», 1950), «Тибет без тайн» («Le Tibet sans mistère», 1959).

Публикуемая в номере статья прислана автором в рукописи.

ПИТЕР ТЕМПЕСТ
PETER TEMPEST
(род. в 1924 г.)

Английский поэт, переводчик и публицист, автор сборника «Первые стихи» («First poems», 1957).

Опубликованные в этом номере материалы получены редакцией в рукописи.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, В. И. Верховский (отв. секретарь), **Б. Г. Гафуров, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов** (зам. главного редактора), **Е. А. Долматовский, Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, М. И. Рудомино, В. П.Терешкин, Е. Ф. Трущенко, М. А. Шолохов.**

Обложка и макет оформления художника *С. Б. Телингатера*

Художеств. редактор *М. М. Милославский*
Технический редактор *В. Л. Шачнев*
Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41.
Телефон: В 3-51-47.

А 03408 Сдано в производство 9/XI 1961 г.
Подписано к печати 30/XII 1961 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.; печ. л. 24,66+1 вкл.
Зак. 1940.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

МАТЕРИАЛЫ
ИНСТИТУТА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА
ПРИ ЦК КПСС

ИЗ ЮНОШЕСКИХ СТИХОВ КАРЛА МАРКСА

С получением в сентябре 1960 г. новой тетради стихов Маркса Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС стал обладателем всех трех тетрадей со стихотворениями молодого Маркса, посвященными его невесте — «моей дорогой, вечно любимой Женни фон-Вестфален». О существовании этих тетрадей было известно еще Мерингу, которому они были переданы Лаурой Лафарг, когда он издавал ранние сочинения Маркса и Энгельса. Но с тех пор след их затерялся, и только в 1954 г. Институт получил две тетради от ЦК Французской коммунистической партии и наконец в 1960 г. от правнука Маркса Марселя-Шарля Лонге — третью, относящуюся, как и первые две, к 1836—1837 гг.

Маркс, как известно, был очень невысокого мнения о своих юношеских поэтических опытах. Уже в 1837 г., в письме отцу от 10 ноября, он так отзывается о тетрадях, посланных им Женни: «Неопределенные, бесформенные чувства... сплошное сочинительство из головы... риторические размышления вместо поэтических мыслей, но, может быть, также некоторая теплота чувства и жажда смелого полета — вот что характеризует эти стихи» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 7). С годами же он вообще перестал принимать всерьез свои «грехи молодости», и Лаура Лафарг, посылая Мерингу тетради, пишет: «Должна Вам сказать, что мой отец относился к этим стихам весьма непочтительно; всякий раз, когда мои родители заговаривали о них, они от души смеялись».

Но для нас, кому важна каждая строчка, вышедшая из-под пера Маркса, эти стихотворения ценны, независимо от их достоинств и недостатков. Они ценны как лишний штрих из биографии Маркса, ибо мы чувствуем в них прорывающийся сквозь сковывающую их оболочку стихотворной формы неукротимый дух готового ринуться в борьбу молодого титана, его стремление к активной деятельности на благо человечества — словом, «жажду смелого полета», по словам самого Маркса. А публикуемые три сонета, кроме того, еще и еще раз свидетельствуют о глубине и красоте чувства Маркса к его Женни, обручение с которой Меринг называет «первой и самой прекрасной» победой Маркса. И это чувство Маркс пронес нерастраченным через всю свою жизнь.

Публикация подготовлена научным сотрудником Института
Н. И. НЕПОМНЯЩЕЙ

К Женни

ВОЛЬНЫЕ СОНЕТЫ

I

Женни! Смейся! Ты удивлена:
Почему для всех стихотворений
У меня одно названье: «К Женни»?
Но ведь в мире только ты одна
Для меня источник вдохновений,
Свет надежды, утешенья гений,
Душу озаряющий до дна.
В имени своем ты вся видна!

Имя Женни — каждой буквой — чудо!
Каждый звук его чарует слух,
Музыка его поет мне всюду,
Как волшебной сказки добрый дух,
Как весенней ночи трепет лунный,
Тонким звоном цитры златострунной.

II

Имен̄ем твоим, страниц не числя,
Тысячи могу заполнить книг
Так, чтоб в них гудело пламя мысли,
Воли и деяний бил родник,
Бытия открылся вечный лик
И весь мир поэзии возник,
И неистощимый свет эфира,
И восторг богов, и скорби мира.

Имя Женни я могу прочесть
В звездной зерни, и зефир небесный
Мне его несет, как счастья весть.
Я навечно буду вновь и вновь
Петь о нем — да станет всем известно:
Имя Женни есть сама любовь!

III

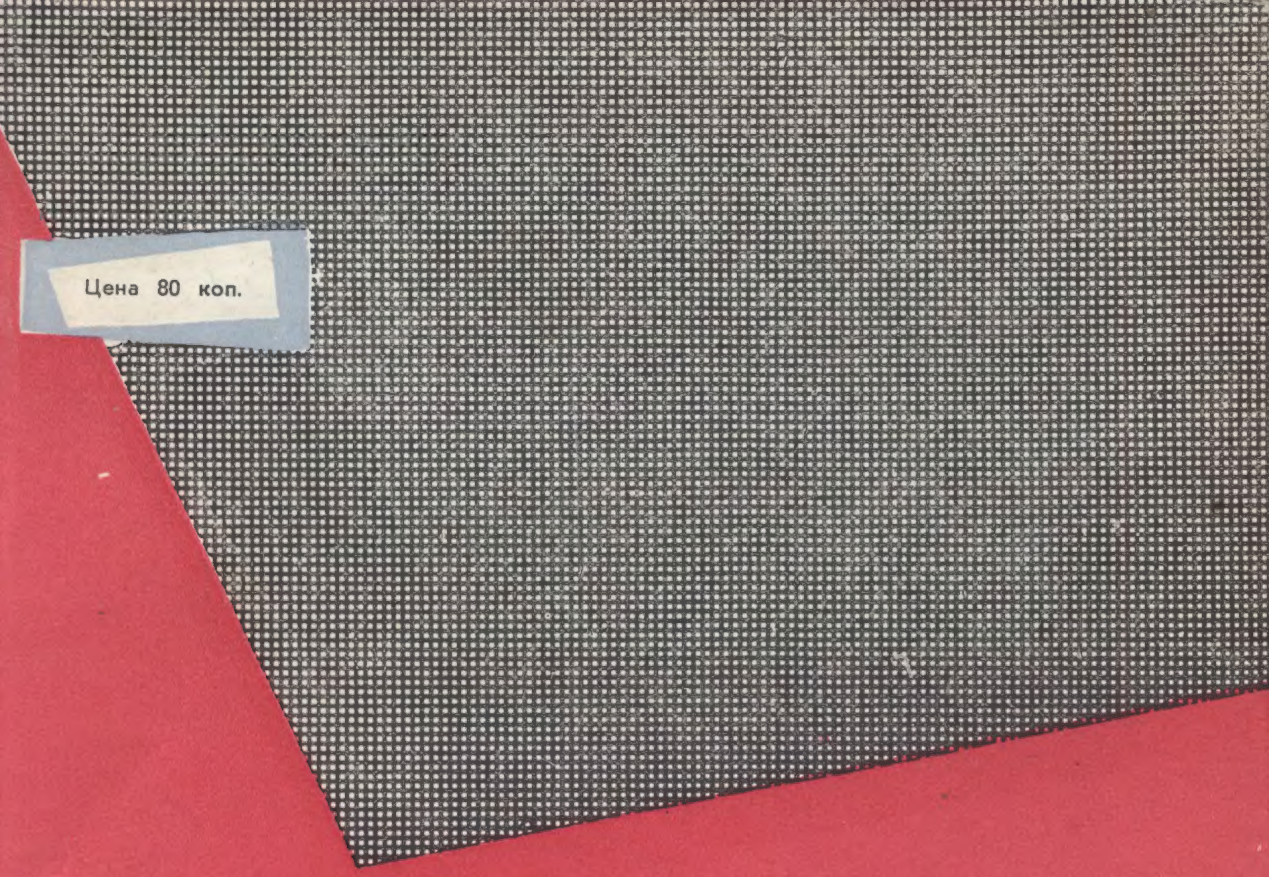
Что слова?! Для суеты, для вздора!
Им ли чувств величье выражать?!
А моя любовь— титан, который
Может гор громады сокрушать!
О, слова! Сокровищ духа воры!
Все бы им мельчить и унижать:
Что нескромного боялось взора,
Любят напоказ они держать.

Женни! Если б голосами грома,
Если б речью сфер я овладел,
По всему пространству мировому
Я бы письменами ярких молний
Возвестить любовь к тебе хотел,
Чтобы мир навек тебя запомнил!

Перевод
ЛЬВА ПЕНЬКОВСКОГО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВКЛАДКА В № 1 ● 1962 г.



Цена 80 коп.